

Александр Павлович Чудаков

Александр
Павлович
Чудаков



АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЧУДАКОВ

**АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ЧУДАКОВ**
Сборник памяти



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗНАК
МОСКВА
2013

УДК 80/81
ББК 83
Ч 84

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России (2012—2018 годы)»

Александр Павлович Чудаков: Сб. памяти / Сост.
С. Г. Бочаров, И. З. Сурат, при участии М. О. Чудаковой. —
М.: Знак, 2013. — 432 с.: ил. — (Вклейка после с. 176 и с. 368.)

ISBN 978-5-9551-0664-9

Сборник посвящен памяти Александра Павловича Чудакова (1938—2005) — литературоведа, писателя, более всего известного книгами о Чехове и романом «Ложится мгла на старые ступени» (премия «Русский Букер десятилетия», 2011). После внезапной гибели Александра Павловича осталась его мемуарная проза, дневники, записи разговоров с великими филологами, книга стихов, которую он составил для друзей и близких, — они вошли в первую часть настоящей книги вместе с биографией А. П. Чудакова, написанной М. О. Чудаковой и И. Е. Гитович. Во второй части собраны некрологи А. П. Чудакову, мемуары и статьи его коллег и друзей. Жизнь Александра Павловича и его живой образ отражены в многочисленных фотографических материалах, а также в некоторых его автографах.

Книга подготовлена к 75-летию со дня рождения А. П. Чудакова.

ББК 83

© М. О. Чудакова, М. А. Чудакова, 2013
© Авторы, 2013
© Знак, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Вспоминая Александра Павловича Чудакова	7
<i>Мариэтта Чудакова, Ирина Гитович.</i> Биография.....	10

I. Слово Александра Чудакова

Из дневников, записных книжек, писем	27
Диалоги с Бахтиным.....	166
М. М. Бахтин о «Поэтике Чехова»	181
Учились, учимся.....	191
Из «Заметок диллентанта»	210
«Веселый волк». Книга стихов	217
Когда я умру.....	269
Инскрипты.....	270
Семейные оды	276

II. Память

<i>Андрей Немзер.</i> Памяти Александра Чудакова	295
<i>Сергей Бочаров.</i> Погиб Александр Чудаков	297
<i>Александр Ошоват, Роман Тименчик.</i> Спустя две недели.....	299
<i>Александр Долинин.</i> Памяти А. П. Чудакова.....	301
<i>Юрий Манн.</i> Скорбь и благодарность.....	304
<i>Лев Соболев.</i> Остаются книги.....	306
<i>Татьяна Смолярова.</i> Расстояние	309
<i>Владимир Паперный.</i> В поисках утраченного	310
<i>Ирина Сурат.</i> Слово и мир Александра Чудакова	314
<i>Сергей Бочаров.</i> Синяя птица Александра Чудакова	322

<i>Юрий Чумаков. Воспоминания и размышления об Александре Чудакове</i>	331
<i>Андрей Немзер. Мир Чудакова</i>	338
<i>Дональд Рейфилд. «Он к величаниям еще не привык...»</i>	351
<i>Анна Саввина. Работа над чеховской библиографией под руководством А. П. Чудакова (1990—2003)</i>	355
<i>Юрий Щеглов. Памяти А. П. Чудакова</i>	362
<i>Александр Кушнер. Памяти Александра Чудакова</i>	368
<i>Елена Ушакова (Елена Невзглядова). Памяти А. П. Чудакова</i>	369
<i>Эмма Полоцкая. Памяти Александра Павловича Чудакова</i>	370
<i>Ирма Видуэцкая. «И всё ж за совесть, не за страх»</i>	377
<i>Андрей Немзер. Человек слова</i>	379
<i>Андрей Немзер. Как сохранилась Россия</i>	382
<i>Сергей Боровиков. Молниевидный брызнет луч</i>	386
<i>Юрий Попов. Наша юность</i>	390
<i>Николай Комаристый. Стромынка, 1954</i>	392
<i>Наталья Иванова. Первый, последний, единственный</i>	395
<i>Владимир Немцев. Последний романтик</i>	399
<i>Ирина Гитович. Попытка воспоминаний</i>	401
<i>Евгений Попов. Чтоб не распалась связь времен</i>	419
<i>Мария Чудакова. Мой папа Александр Чудаков</i>	422

ВСПОМИНАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ЧУДАКОВА

Эта книга памяти незабвенного Александра Павловича Чудакова. Его внезапная гибель уже семь с лишним лет тому назад потрясла тогда читающую не только Москву и не нашу одну Россию, но весь большой гуманитарный мир, и читатели книги увидят, что мы до сих пор не можем с этой гибелью примириться и даже как бы в нее поверить. Саша исчез тогда на самом своем подъеме, на развороте новой научной и писательской жизни. Столько было уже за плечами сделанного и столько лишь начато, к продолжению и развитию чего он полностью был готов. В его тогдашние 67 лет это была не смерть, а именно гибель. Гибель, какая в сознание не уместается. Великолепный филолог, историк литературы только что неожиданно для многих его читателей явился сильным писателем. Но роман естественно вырос из его филологических, научных занятий и интересов, филолог естественно обернулся прозаиком. И вот мы утратили того и другого в один роковой момент. Потеря была научная и литературная — но прежде всего утрата была человеческая. Потому что на наших глазах из нашего мира исчез на редкость свободный внутренне человек, проживший счастливую и красивую жизнь. Это истинно было явление современной нашей русской жизни и нашей культуры — Александр Павлович Чудаков.

Что составило эту памятную книгу? Она открывается биографией, написанной Маризеттой Омаровной Чудаковой совместно с Ириной Евгеньевной Гитович для филфаковского энциклопедического словаря биографий литературоведов, еще не вышедшего в свет. Здесь,

в биографии, освещается история семьи Чудаковых, рассказано о том самом деде его, послужившем прототипом центрального героя будущего романа. Речь здесь идет и о многолетнем человеческом и писательском дневнике А. П., ведшемся им почти каждодневно и оставленном нам как одно из его произведений. Из ранних записей в дневнике еще нашего исторического 1956 года мы узнаем о его писательском замысле и можем видеть, насколько издалека созрел роман. Восемнадцатилетним второкурсником была задумана «История моего современника» и его будущая структура — «используя автобиографический материал, но не давая своего портрета», — и замысел созрел затем для осуществления через сорок лет. Дневник за многие годы огромен, и полное наше знакомство с ним еще впереди; но солидная часть его подготовлена с личными комментариями М. О. Чудаковой и напечатана ею как «приложение» в последнем издании романа А. П., признанного жюри премии Букера лучшим русским романом первого десятилетия XXI века (Ложится мгла на старые ступени. М., 2012. С. 501—636). В настоящей книге эта публикация воспроизводится в расширенном виде. В 1970 году состоялась встреча А. П. с Михаилом Михайловичем Бахтиным, разговоры с которым о Чехове и о своей «Поэтике Чехова» он записал на многих листках, собираясь включить их в книгу мемуаров о своих великих учителях; этот материал («Бахтин о “Поэтике Чехова”») был подготовлен и опубликован М. О. Чудаковой в 13-м выпуске «Тыняновского сборника» (2008. С. 595—603); для настоящей книги текст расширен. В нашем сборнике авторская запись разговора с М. М. Бахтиным о Чехове и о «Поэтике Чехова» сопровождается примечанием, составленным автором этих вступительных заметок. Бахтинские записи дополняют подготовленную сейчас к изданию мемуарную книгу о разговорах А. П. на протяжении многих лет с крупнейшими филологами XX века, ставшими ему научными и личными учителями, — С. М. Бонди, В. В. Виноградовым и В. Б. Шкловским. Наконец — стихи А. П., которые он писал всегда и собрал их в целую книгу — «Веселый волк», осуществив ее домашнее издание в четырех экземплярах, но и после книги он не переставал писать стихи, а в ту же книгу тогда же начал включать и свои стихотворные инскрипты — дарственные надписи друзьям, какие он всегда писал в стихах, превратив их в особый жанр, где чудаковский шутливый юмор единственным образом сочетался с серьезными темами. Избранные стихи и инскрипты А. П. Чудакова также присутствуют в настоящей книге. Часть их вошла в стихотворный сборник, другие

возникали позже отдельно. Публикуются также и записи к подготовлявшемуся филологом-писателем роману; темы литературно-творческие соединяются здесь с волновавшими его темами общественно-политическими.

Слово самого Александра Павловича, таким образом, открывает книгу. Дальше — мемуары о нем его друзей и читателей, слово любви к нему («Память»). Частью этого мемуарного слова были прямые отклики на его гибель, появившиеся в разделе «In memoriam» в журнале «Новое литературное обозрение» (2005, № 75 и 2006, № 77) и в «Тыняновском сборнике», большей же частью это воспоминания-отклики более поздние, датируемые днем уже настоящим. Одна статья — о романе Чудакова Андрея Немзера — еще при жизни автора была написана и напечатана; мы вводим ее сюда же, в посмертное. Саша тогда же ее оценил и написал в своей дарственной Немзеру: «автору самых точных слов об этом сочинении». Жизнь Александра Павловича и живой его образ отражены в многочисленных фотографических материалах, а также в некоторых автографах. Это тоже Саша — его почерк, его живая рука.

Многие из составивших книгу материалов предоставлены для нее М. О. Чудаковой и М. А. Чудаковой, многие, особенно в личной части («Слово Александра Чудакова») сопровождаются личными комментариями Мариэтты Омаровны; ею же в основном подобран вошедший в книгу фотографический материал.

С. Бочаров

Мариэтта Чудакова, Ирина Гитович

БИОГРАФИЯ

Чудаков Александр Павлович (1938, г. Щучинск Кокчетавской области — 2005, Москва). Родился в семье учителей.

Его отец, Павел Иванович Чудаков, выпускник истфака МГУ, был родом из Тверской губернии — из села Воскресенского Бежецкого уезда. В 20-е годы вся его семья — родители, пятеро их сыновей и единственная дочь — жила в Москве, на Пироговке. Дед Ч. по отцовской линии, Иван Чудаков, происходивший в далеком прошлом из однодворцев, но росший уже в крестьянской семье, был из артельных тверских мужиков — золотильщиков церковных куполов (в такую артель по понятным причинам набирали только самых честных). Семейная легенда о смерти деда, знакомая Ч. с детства, вошла впоследствии в его роман-идиллию «Ложится мгла на старые ступени»:

Когда взрывали храм — тогда делали это, еще не скрываясь — дед пошёл смотреть. Его уговаривали остаться дома — не послушался. Видел, как в три секунды осел с неба к земле Храм; с Каменного моста была видна как раз та часть большого купола, которую десять лет золотил он. <...>

После взрыва дед слёг, болел, долго не могли определить чем; через год выяснилось — рак. В семье были уверены — *от этого*.

Могил его и его жены в Москве не осталось; обстоятельства этого также описаны в романе-идиллии:

...Антон любил ходить по отцовским местам, о которых слышал столько раз, что, казалось, он уже здесь бывал: по Усачёвке, скверу на Пироговке, вдоль стены Новодевичьего

монастыря. На Новодевичьем кладбище были похоронены дед с бабкой по отцовской линии. Но когда перед войной дядя как-то собрались посетить могилы, на их месте они увидели ровную заасфальтированную площадку. В конторе возмущенным сыновьям показали затертый номер «Вечерней Москвы», где в уголке было несколько петитных строчек о реконструкции кладбища, в связи с чем родственников таких-то участков просят в месячный срок и т. д. Но дядьям газета на глаза не попала: Василий Иванович был уже под Магаданом, Иван Иванович, отовсюду уволенный, обивал пороги в поисках работы, Алексей Иванович, специалист по горным машинам, уехал от греха подальше куда-то на шахты, а отец Антона — в Казахстан.

Действительно — после ареста (по обвинению в троцкизме) одного из братьев (Василий пробыл в советском концлагере десять лет), вызова на Лубянку другого (Андрея) и увольнения отовсюду третьего — Ивана (не затронут был только четвертый — Владимир, служивший далеко от Москвы), самый младший, будущий отец Ч., в то время — строитель московского метрополитена — принял спасительное решение: уехать как можно дальше от Москвы. Так он оказался в Казахстане; вскоре вместе с молодой женой Евгенией Леонидовной Савицкой осел в городе Щучинске (близ курорта Боровое), где уже находились дед и бабушка Ч. со стороны матери — Леонид Львович Савицкий (из священников, окончивший Виленскую духовную семинарию, но ставший не священником, а учителем гимназии) и Ольга Петровна, урожденная Налочь-Длусская-Скловская.

Хорошо подготовленный дедом, семилетний мальчик пошел сразу во второй класс.

Город был местом ссылок сталинского времени, поэтому уровень преподавания в школе, где среди учителей были доценты ленинградских вузов, оказался достаточно высоким. Мать преподавала химию в его школе, отец — историю в техникуме. Оба учительствовали в своем городе более тридцати лет; полгорода составляли их ученики.

Главное влияние на формирование личности и мировоззрения Ч. в детстве и отрочестве оказал дед (ставший впоследствии прототипом главного героя его романа), авторитет которого был в глазах ребенка незыблем. Ч. рассказывал, что с раннего детства слышал от деда при упоминании имени Сталина одно и то же слово — «Бандит!» — сопровождаемое энергичным взмахом руки. И не посадили деда в те времена лишь потому, что городской сотрудник НКВД был его учеником;

поэтому пришел к его зятю (отцу Ч.) с предупреждением — как-то унять старика: «Посадим!».

В пять-шесть лет внук читал деду заголовки свежих газет. Лежа на диване, дед слушал и чаще всего подводил черту одним словом — «Брехня!» Внук читал следующий заголовок, в редких случаях получая приказание: «Читай целиком!» Так было прочитано заключение Специальной комиссии во главе с Бурденко — фальшивка, утверждавшая, что тысячи поляков в Катюни расстреляли немцы во время войны. Дед резюмировал — «Брехня!»; малолетний внук это запомнил. В родительский дом ходили ссыльные; при мальчике велись откровенные политические разговоры — хозяева и гости доверяли друг другу и почему-то были уверены в том, что ребенок понимает — эти разговоры не следует выносить за порог дома. Специфическая атмосфера в городе и семье дала Ч. такое представление об истории своей страны в XX веке, что для него, в отличие от многих ровесников — во всяком случае, москвичей — доклад Хрущева на XX съезде не был поворотным пунктом: о многом он уже знал или догадывался.

В 1954 году Ч. окончил школу с золотой медалью и вместе с двумя одноклассниками — его ближайшими друзьями, тоже медалистами — впервые в жизни поехал в Москву, о которой так много слышал от родителей, покинувших ее поневоле. Успешно пройдя собеседование (в тот год конкурс медалистов был 25 человек на место), он поступил на филологический факультет МГУ (заметим, что оба его друга-одноклассника также поступили с первого захода — без помощи родителей или кого бы то ни было — туда, куда хотели: один на физический факультет МГУ, другой — в геологоразведочный: так учили в школе Щучинска, население которого составляло тогда всего 20 тысяч). Помощь отца понадобилась только когда выяснилось, что успешному абитуриенту — 16 лет: в Московский университет, в отличие от других вузов, принимали тогда с 17-ти лет. Отец приехал в Москву и пошел на прием к ректору Петровскому с просьбой в виде исключения зачислить 16-летнего абитуриента; ректор дал согласие. Ч. был едва ли не самым младшим на курсе. Сегодня немало его однокурсников еще могут подтвердить, что уже на первом курсе он оказался среди лучших — обладателей достаточно широкого культурного кругозора, нетривиально мыслящих.

В первом же семестре Ч. проявил себя отличным спортсменом (первая «десятка» университета по плаванию), но на третьем курсе,

когда в неделю оказалось пять тренировок, вынужден был сделать выбор в пользу науки; его тренер, известный многократный чемпион страны по плаванию Мешков, уверял, что он делает ошибку: «Ты прирожденный брассист! Я тебя готовлю на будущий год на Спартакиаду, а через три года — на Олимпиаду!..»

В Москве он в первую очередь бросился в Большой зал Консерватории. Прекрасно знавший классическую музыку (слушая ее по радио в родном городе), он любил и глубоко чувствовал ее. Одна из самых первых записей в его дневнике, начатом на втором курсе, весной 1956 года:

9 марта. Слушал вечером (попал — повезло) 7-ю и 8-ю симфонии Бетховена. Какой оптимизм, какое веселье, какой задор! Третья часть седьмой с ее славянскими мелодиями...

Решение вести дневник получает свою мотивацию (как и все его действия первых московских лет) — в самом дневнике (см. запись от 19 апреля 1956 г.)

Главные его занятия (и главные траты — скудной стипендии и небольших родительских переводов) первых московских лет — Консерватория, МХАТ и букинистические магазины. В прямом смысле слова отказывая себе в еде ради книг и музыки, на третьем курсе Ч. заболел язвой двенадцатиперстной кишки в такой острой форме, что прямо из рентгеновского кабинета университетской поликлиники был увезен в больницу и на четвертом курсе вынужден был взять годичный академический отпуск. (Тогда же он поставил себе задачу — вернуть здоровье и спортивную форму. Через несколько лет, когда слово «моржи» еще не появилось, занялся зимним плаванием и на первых же соревнованиях на Москве-реке занял третье место — следом за профессиональными спортсменами — мастерами спорта.)

Каждый день после лекций Ч. непременно обходит пять магазинов в центре Москвы — собирает главным образом филологическую литературу 1900—1920-х годов (иногда прибавляя к ней — по средствам! — философию и поэзию Серебряного века, еще не имеющего такого названия), рано поняв (каким-то инстинктом), что рекомендуемое на филфаке советское литературоведение к науке имеет отдаленное отношение; к концу пятого курса он досконально освоил труды Тынянова, Шкловского и Эйхенбаума; похвастаться этим в те годы могли не более трех-четырёх его сокурсников.

Характерная дневниковая запись 1958 года:

19 июня. <...> Сегодняшний поход по букинистам был удачен. Но на Кузнецком буквально из-под носа взяли Мандельштама!.. «Огорченья не снесла»...

(Позже вставлен инициал — «И.». Речь шла об изданной в 1902 году книге И. Мандельштама «О характере гоголевского стиля», впоследствии им приобретенной. Купить книги О. Мандельштама — в отличие от книг Гумилева — в букинистических в ту пору было невозможно — М. Ч.)

Главные его силы отданы филологии. Он занимается на кафедре русского языка; начинает печататься (Стиль и язык рассказа Чехова «Ионыч» // Русский язык в школе, 1959, № 1); пишет диплом о стиле Чехова под руководством академика В. В. Виноградова.

Уже в студенческие годы, Ч., не будучи диссидентом (хотя, естественно, диссиденты входили в семейный дружеский круг Чудаковых), столкнулся с давлением советской власти на свою научную жизнь. Студентом 5-го курса он был приглашен на I Международную конференцию по вопросам поэтики, проходившую в августе 1960 года в Варшаве, — она должна была стать настоящим научным событием: изучение поэтики в странах «социалистического лагеря» только возрождалось после ликвидации «формальной школы». Тогда Ч. впервые *не выпустили* за рубеж. С этого времени он стал *невъездным* (разумеется, как это было принято, без объяснения причин). В последние годы жизни в домашних разговорах Ч. вспоминал именно этот первый случай, глубоко его травмировавший: «Если бы я поехал на эту первую конференцию по поэтике, которой был так увлечен, — каким бы толчком могло это стать в моих научных занятиях!..»

В аспирантуру в те годы поступать сразу после Университета было невозможно, несмотря на рекомендацию Ученого совета: Хрущев потребовал, чтобы и рекомендованные в аспирантуру наряду со всеми выпускниками отработали два года прежде, чем начать научные занятия. По распределению А. П. стал преподавать русский язык в только что открытом Университете Дружбы народов — и едва ли не первым стал активно применять лингафонные средства, добиваясь больших успехов; восхищался лингвистической одаренностью студента одной из африканских стран — на новогоднем вечере 1961 года тот читал наизусть стихи Пушкина без единой орфоэпической ошибки...

Спустя год, летом 1962 года, при содействии акад. Виноградова проректор МГУ принял у Ч. документы (до этого безоговорочно отказав в этом) и допустил к экзаменам в аспирантуру; на А. П. произвело неизгладимое впечатление поведение проректора: не смотревший в его сторону при первом визите чиновник после звонка академика вышел к нему из-за стола со словами: «Что же Вы нас совсем забыли?!...».

Под научным руководством В. В. Виноградова была написана кандидатская диссертация Ч. «Эволюция стиля прозы Чехова» (М., 1966).

В 1962 году Ч. познакомился с В. Б. Шкловским и, сразу же возбуждив его интерес (прежде всего — как знаток Опояза) и несомненную симпатию, все последующие годы, до последних дней жизни Шкловского, встречался с ним; не боясь преувеличений, можно утверждать, что мемуары Ч. «Спрашиваю Шкловского» (Литературное обозрение, 1990, № 6) — едва ли не лучший очерк личности Шкловского. Впоследствии в его же предисловии к сборнику Шкловского «Гамбургский счет: статьи — воспоминания — эссе» (М., 1990) под названием «Два первых десятилетия» дан очерк самого плодотворного периода научного творчества Шкловского.

Серьезным шагом в изучении «формальной школы» стала работа (совместно с Е. А. Тоддесом и М. О. Чудаковой) над обширнейшим комментарием к сборнику статей Тынянова — и изнурительная четырехлетняя борьба за его издание (Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977); ему предшествовало издание сборника статей Тынянова «Пушкин и его современники» (М., 1968; комментарии Ч. и А. Л. Гришунина). Работа над историей отечественной филологической науки продолжалась все последующие годы; впоследствии, в 1976—2003, со статьями и комментариями Ч. вышли 4 тома «Избранных работ» В. В. Виноградова.

Ч. занимался и критикой современного литературного процесса; первая большая работа о современной литературе — «Искусство целого: Заметки о современном рассказе» (Новый мир, 1963, № 2; в соавторстве с М. О. Чудаковой, с 1957 г. — его женой).

В 1964 году, приглашенный к участию в начинавшемся академическом издании Чехова, Ч. оставил очную аспирантуру и стал сотрудником ИМЛИ, где проработал до конца дней. Одновременно читал лекции в МГУ, в Педагогическом институте им. Ленина, в Литературном институте, в последние годы — в Школе-студии МХАТ.

Первая книга А. П. Чудакова «Поэтика Чехова» вышла в свет в ноябре 1971 года; в ней, помимо новой концепции чеховского повествования — места в нем точки зрения автора и героя, было развернуто представление о принципиальной неотобранности и неиерархичности деталей у Чехова и введено в научный оборот понятие *случайности* — в противовес многолетней уверенности исследователей, что всякое ружье у Чехова стреляет. В статье видного партийного чиновника (по совместительству чеховеда) Г. Бердникова «О поэтике Чехова и принципах ее исследования» (Вопросы литературы, 1972, № 5, с. 124—141) книга была подвергнута идеологическому разному (в том же году ее высоко оценил М. М. Бахтин, назвав в беседе с автором «лучшей книгой о Чехове и вообще одной из лучших книг по филологии в последнее время»; книга получила признание мирового чеховедения, в 1983 году была переведена на английский язык). За этим последовал негласный запрет (действовавший в течение десятилетия) на печатание любой строки автора о Чехове в двух главных советских литературоведческих журналах. Условием защиты докторской диссертации в ИМЛИ был отказ автора от своей концепции. Так и не отказавшись, а, напротив, развив ее, Ч. защитил в 1982 году на филологическом факультете МГУ диссертацию «Художественная система Чехова: генетический и психологический аспекты» (один из оппонентов, М. Л. Семанова, рассказала собравшимся после защиты на кафедре русской литературы филфака, как в 1978 году редакция журнала «Русская литература» предложила ей написать обзор чеховианы за последние восемь лет, поставив одно условие — не упоминать книгу Чудакова. «— Как же я могу ее не упоминать, если это самое яркое явление чеховианы за эти годы?» — возразила М. Л. Ей подтвердили условие. Она отказалась писать обзор)¹.

В 1986 году, через 15 лет после «Поэтики Чехова» вышла продолжающая ее монография Ч. «Мир Чехова. Возникновение и утверждение». Книга была посвящена памяти учителя Ч., академика В. В. Виноградова. По библиографии работ Ч. о Чехове этих пятнадцати лет буквально по шагам просматривается путь к ней исследователя. Как член чеховской группы ИМЛИ, готовившей в те годы первое академическое собрание сочинений и писем Чехова, Ч. много и плодотворно занимался текстологией и научным комментированием томов сочинений Чехова, что придавало его теоретическим построениям

¹ Дальнейший текст биографии Ч. написан И. Гитович.

дополнительную убедительность и глубину. Для некоторых из томов он написал образцовые предисловия к комментариям. Он напечатал за эти же годы большое количество научных статей и несколько предисловий к массовым изданиям Чехова. И каждая из этих работ приближала создание монографии «Мир Чехова», новаторство которой начиналось с заглавия. Никто до Ч., кажется, не пытался придать этому устойчивому для литературоведения, но достаточно вольно используемому в научных работах словосочетанию статуса научного термина (мир писателя, по определению Ч. — это «оригинальное и неповторимое видение вещей и духовных феноменов, запечатленных словесно» (с. 3)). Никто до Ч. не пытался проследить и самый процесс «возникновения и утверждения» этого мира в свете основного двигателя литературной эволюции — «художественной целесообразности», за которой просматривался исторически обоснованный взгляд исследователя на самый генезис литературы. Работа над «Миром Чехова» продолжала, углубляла и выводила на новый уровень как саму концепцию творчества Чехова, введенную в научный оборот еще «Поэтикой Чехова», так и предложенную исследователем методологию анализа художественного текста. Сам Ч. считал, что с точки зрения хронологии и генезиса творчества Чехова его новая книга должна была бы предварять прежнюю. Однако опасение представить творческий путь писателя как «предуготовление» к чему-то заранее обозначенному, в виде целеустремленной эволюции без боковых и тупиковых ветвей, заставило отказаться от этой эвристически заманчивой мысли.

Он выбрал путь исследования, который его учитель академик Виноградов считал наиболее плодотворным. Если литературное произведение можно изучать в двух аспектах — «функционально-имманентном» (системно-синхроническом) и «ретроспективно-проекционном» (историко-генетическом), то наиболее плодотворным, по Виноградову, является исследование, совмещающее эти подходы в виде последовательных этапов. Но Ч., следуя своему личному переживанию литературы как особой целостности процесса художественного познания, которую он остро чувствовал именно как литератор, должен был пойти дальше и объединить эти два типа исследования, рассматривая их так, как они присутствуют в этом живом процессе. Безукоризненный научный анализ и мощная писательская интуиция стоят во главе угла научного мышления самого Ч. Это ощущается и в его личной стилистике — научной точности изложения с прорывами в стилистику иного, непосредственного

переживания литературного процесса, в формулировках, для которых нужен был опыт и дарование литератора. На стыке этих двух стилистических потоков происходит огромная концентрация смыслов чудаковской концепции Чехова. Таковы многие неожиданные «боковые» и столь продуктивные для будущего изучения Чехова идеи Ч., которые он как бы случайно пробрасывает, подчиняясь логике личного ощущения материала исследования, — о чувстве «нормы» прижизненной критики, которая у критиков-современников писателя значительно живее и правильнее, чем у потомков, о поэтичности Чехова на уровне поэтики текста. При этом сам Ч. не просто продуцировал идеи, озаренный собственными прозрениями, но изучал прижизненную критику, как профессиональный библиограф, просмотрев *все* российские газеты чеховского времени (1880—1904). Вопрос об истоках мира Чехова, о факторах, воздействующих на формирование этого художественного мира, мысли о массовой литературе, сформировавшей феномен Чехова, — все это сегодня предстает перед нами как саморазвивающаяся школа научного чеховедения.

В десятистраничном предисловии к «Миру Чехова» Ч., по сути, выстроил общую модель универсального способа описания «мира писателя», его основных составляющих: это — «человек, его вещное окружение — природное и рукотворное, его внутренний мир, его действия» (с. 3). При этом мирописание в этих параметрах предполагает выяснение законов построения содержаний, исходя из которых можно было бы сказать, что такое-то явление характерно именно для мира X.

Еще в «Поэтике» он выдвинул, а в «Мире Чехова» развил и укрепил систему аргументов главной своей идеи, которую считал основополагающей для мира Чехова — идеи *случайности*, восходящей к мировосприятию писателя. Чеховская художественная система, рассматривавшаяся уже при жизни писателя как недостаток его дарования, фиксировавшая прежде всего незакономерное, как бы даже необязательное — то есть собственно случайное, расширяла на самом деле тем самым возможности искусства. Ч. показал, что изображенные Чеховым эпизоды, детали, действия людей сопрягаются где-то в другом, «неэвклидовом» пространстве. Чеховские ружья во всех случаях стреляют, но их пули напоминают скорее дальнобойные снаряды, разрывающиеся где-то за линией горизонта, так что до нас доносится лишь мощный и слитный гул.

При таком расширенном понимании самой художественной целесообразности явление получает право быть изображенным не только в своих существенных чертах, но и в сопутствующих, преходящих, случайных — «тех, что всегда могут возникнуть в живом, нерасчленном потоке бытия» (с. 364). Изображенный им мир выглядит естественно-хаотично, манифестируя этим сложность мира действительного, о котором нельзя вынести последнего суждения. Индивидуально-случайное в мире Чехова имеет самостоятельную бытийную ценность и равное право на воплощение наряду с остальным — существенным и мелким, вещным и духовным, обыденным и высоким. Ч. таким образом сформулировал особенности уникального, не повторенного после него никем, мышления Чехова-писателя, сближающего его с актуальным для времени научным мышлением, лежащим в основе той новой картины мира, которая складывалась на рубеже веков.

Ч. рассматривает в двух своих книгах и множестве статей о Чехове этого времени процесс возникновения в его творчестве предметного изображения нового типа. Ч. вообще первым обратил внимание на важность исследования *предметного мира* литературы:

Рождение художественного предмета — это объективация представлений художника, это процесс, где мир внутренний сталкивается с проникающим в него внешним, и с момента этого проникновения несет на себе его явственные следы. В этом столкновении реально-эмпирическое имеет преимущество — писатель может говорить только на языке данного предметного мира, только так он может быть понят. Поэтому всякий писатель естественным образом социален: любое надвременное и вечное воплощается им в вечном обличье той эпохи, к которой он принадлежит.

Обращение к предметности и случайности чеховского мира совершенно иначе поставило вопрос о смысле обращения Чехова к *повседневности* как форме и философии жизни, что оставалось и до сих пор остается до конца не ясным для многих читателей Чехова. Ч. обращается к истокам новых для литературы сюжетно-композиционных принципов, использованных Чеховым, к вопросу о «внешнем и внутреннем мире», сравнивая фабулу и сюжет у Чехова, он совершенно по-новому ставит на основании этого проблему героя Чехова как проблему «среднего человека». Наконец, он намечает связь между художественным миром и биографией писателя, открывая пути для

создания полноценной биографии Чехова. Каждая из этих тем не просто могла и должна была бы быть развернута в самостоятельную монографию, но содержит огромное количество как бы случайно возникающих, боковых, но необычайно продуктивных для дальнейшего изучения Чехова и чеховской литературной эпохи идей, еще требующих своего исследователя. Ч., по существу, намечает в этой книге и своей чеховиане возможную эволюцию парадигмы научного чеховедения.

В основе методологии Ч. лежит великолепное знание им методов и сути академических школ литературоведения, замечательная интуиция ученого и литератора, доскональное знание предшествующей ему литературы о Чехове, знание биографии и эпохи писателя в фактах и документах. Ч. исходил из того обстоятельства, что самый путь Чехова в литературу (через массовую литературу и мелкую прессу) был уникален для русской литературы. В книге немало блестящих страниц, посвященных анализу этой литературы, читателем и «выдвиженцем» которой был Чехов. Рассматривая это опытное поле писателя, исследователь выдвигает ряд интереснейших гипотез и еще больше дает толчков будущим исследователям. Это был новый тип художественно-философского постижения мира писателя, не только не бегущий быта, вещи, но вместивший их в медитирующее сознание, надстраивающееся над ними. Этими словами открывается возможность новой специальной монографии о Чехове, никем еще не написанной, но смогшей объяснить многое из неразгаданных загадок Чехова и снять с писателя многие претензии — в частности, отсутствие романа в его творчестве, который Чехов так и не смог написать. Очевидно, мы еще только на пороге постижения сути типа чеховского мышления, его генезиса и открываемых им путей возникновения и утверждения подобного сознания в литературе².

В 1987 году в издательстве «Просвещение» вышла биография «Антон Павлович Чехов: Книга для учащихся» (переиздана в 2013 году издательством «Время» с добавлением фотоиллюстраций), где таганрогское детство и отрочество Чехова предстали в необычном свете — в морском, портовом городе, где «в разгар летней навигации пароходам и парусникам со всего света было тесно в гавани». В основном подготовил к печати полную аннотированную библиографию прижизненной чеховской критики. Написал несколько мему-

² Дальнейший текст написан М. Чудаковой.

аров о старших коллегах — своих учителях: «Слушаю Бонди», «Учусь у Виноградова», «Спрашиваю Шкловского» и др.

Весь русский XIX век был в поле зрения ученого; но главным объектом его внимания наряду с Чеховым был Пушкин; изучая поэтику его прозы, Ч. мечтал также если не создать целиком (понимая неподъемность задачи), то положить методологическое начало тому, что он называл *тотальным комментарием* к «Евгению Онегину».

Необходим скрупулезный учет, прослеживание того, как *рождаются и накапливаются* те художественно-философские и речевые смыслы, которые обеспечили уникальный статус «Евгения Онегина» в истории русского языка, литературы и русской культуры в целом.

Разумеется, исчерпывающий комментарий (если он возможен) может быть выполнен лишь коллективным иждивением лингвистов, историков, географов, флористов, астрономов, архитекторов, специалистов по истории театра и конной запряжки, гастрономии и винам, костюмам и истории оружия, дуэли и фарфора, истории экономических учений и балету, экспертов по российскому землеустроению и кредитно-банковской системе, по коврам, обоям, мебели, гаданьям и отечественной системе воспитания и образования, экспертов по коневодству и истории шахмат.

Комментирование двух строф из «Евгения Онегина» в настоящей статье автор рассматривает лишь как постановку проблемы его *тотального комментария* (К проблеме тотального комментария «Евгения Онегина» // Пушкинский сборник. М., 2005. С. 212).

С 1987 года (до этого, будучи предполагаемым участником ряда Международных съездов славистов, ни разу не был выпущен за пределы страны, как и ни на один чеховский симпозиум, куда его неизменно приглашали) преподавал в качестве визитинг-профессора в университетах Европы (Гамбург, Кёльн), США (Мичиганском, Университете Южной Калифорнии, Принстонском и др.) и Азии (в Сеуле).

В 2000 году журнал «Знамя» напечатал его роман «Ложится мгла на старые ступени» («одну из самых свободных, благородных и насущно необходимых книг, созданных после освобождения от коммунизма», А. Немзер), принесший автору редкостное внимание и любовь самых широких кругов читателей. В декабре 2011 года жюри Букеровской премии назвало эту книгу «лучшим русским романом десятилетия» (2001—2010).

Глубоко затронутый судьбой своей страны, Ч. постоянно мыслил в масштабах судьбы планеты. С юных лет озабоченный проблемами экологии (тогда, когда этого термина еще не существовало в советском официальном дискурсе), он посвятил этому проникновенные строки в «Поэтике Чехова», подчеркнув, что для Чехова был важен

не только абстрактно-духовный идеал человека. Ему важен человек в целом — он сам и тот предметный природный мир, в котором человеку предстоит жить.

Во времена Чехова — и даже много позже — ценность такого идеала не осознавалась, в сравнении с другими он выглядел слишком утилитарным и «земным». <...> Среди немногих проницательных, которые по слабым симптомам поставили диагноз начинающейся тяжелой и, возможно, смертельной болезни, угадали и предвидели судьбу планеты, был Чехов (Поэтика Чехова. М., 1971. С. 267, 269).

В своей повседневной жизни Ч. следил за тем, чтобы он и его семья не увеличивали загрязнение планеты — в бане на выстроенной им даче (в поселке «Московский писатель» в деревне Алёхново Истринского района, недалеко от «чеховского» Бабкина) проложил много слоев фильтра для стока мыльной воды и с плохо скрытым презрением относился к тем соседям по даче, которые спускали продукты своей жизнедеятельности непосредственно в землю: говорил домашним с возмущением — «Ведь все это попадает в грунтовые воды!».

Статья для готовящегося его Институтом сборника о *динамике жанра* как части поэтики русской литературы конца XIX — начала XX века «Ароморфоз русского рассказа (к проблеме малых жанров)» стала его последней работой.

Биологический термин *ароморфоз* — «это усложнение структуры и возможностей организмов в процессе эволюции, открывающие перед ними новые возможности в их взаимоотношениях со внеположенной средой».

В исторической поэтике, пояснял автор, «вводимый термин означает огромное расширение в означенный период горизонтов одного из самых распространенных жанров новейшей литературы — рассказа», открывшее в этом жанре невиданные дотолем перспективы в изображении мира и человека. Ч. вообще предпочитал в гуманитарных науках заимствование терминов из естественных наук — в противоположность так называемым наукам точным. Оправда-

нием введения термина, пояснял он, «служит давняя уже традиция, согласно которой многие важнейшие термины-категории истории и теории литературы имеют биологическое происхождение. Таковы генезис и эволюция, закрепление в развитии литературы случайных результатов (Ю. Тынянов), мутации (Е. Поливанов, В. Виноградов), конвергенция...». В работе Ч. показано, как из прозы конца века осознанно уходит выдумка — под давлением «быта, факта, материала», как «жанровая свобода малой прессы привела к стиранию на рубеже веков жанровых перегородок в сфере “малообъемной” литературы»; в качестве подзаголовков — обозначений жанра в изобилии появились

разнообразные свободные обозначения: «случай», «отрывок», «этиюд», «миниатюры» <...>.

Поле литературы ждало только землеустроителя и садовода-новатора, литературного Мичурина-Бербанка, который окончательно уничтожил бы жанровые межи и, используя в качестве подвоя дички маложурнальной и газетной прессы, привил бы им окультуренный привой художественного «языка» большой литературы». Современная критика обвиняла авторов в «дагерротипичности», «фотографичности» изображаемого, отмечая «необязательность многих вещей, эпизодов, сцен, оказавшихся в их произведениях». В прозу вводятся предметы, почти прямо взятые из эмпирического мира и всегда готовые «вернуться в него обратно, где будут приняты как свои.

Предметы рассказа Чехова внешне схожи с такими вещами, сохраняют их пропорции. Но сходство это мнимо. Центробежными силами этого предметного сообщества противостоят центростремительные, внутренние силы художественной гравитации, чеховского мира, направленные противоположно, приложенные к той же точке и создающие искусственноносную напряженность. <...> Явился новый синкретический жанр. Влияние его ощущается в литературе до сих пор (Поэтика русской литературы конца XIX — начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М., 2009. С. 365—396).

По своему темпераменту он не был борцом, не любил, когда его отвлекали от занятий, чтения, писания, дачных его работ, во время которых ему так отлично думалось, — напишут его коллеги по Институту, — но, человек спокойный, неторопливый, берегущий время и силы для научного творчества, он буквально взвизывался, когда сталки-

вался с халтурой и наглым невежеством, и тут его легко было подвинуть на действие, протест. Он мгновенно соглашался «быть заодно», когда речь шла о противодействии научному любительству или культурному варварству. И это качество не раз заставляло Чудакова вступать в настоящую борьбу за осуществление необходимых науке и культуре изданий или сохранение истинных ценностей, будь то биобиблиографический словарь «Русские писатели. 1800—1917» или чеховский флигель в Мелихове (In memoriam. Александр Павлович Чудаков // Поэтика русской литературы конца XIX — начала XX века... С. 811—812).

Добавим сюда и успешную борьбу российского общества против печально известного проекта *поворота рек*, в которой он без размышлений принял живое участие.

9 января 2005 года записал: «С тех пор как в моей душе (лет в 12) открылась дверца в литературу и науку — ее уже сможет закрыть только смерть».

После отпевания в церкви Космы и Дамиана (Столешников пер.) похоронен на Востряковском кладбище.

Соч.: Слово — вещь — мир: От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских классиков. М., 1992; Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. М., 2001; 3 изд., испр. и доп. М., 2012; К проблеме тотального комментария «Евгения Онегина» // Пушкинский сборник. М., 2005. Дневник последнего года (1 января — 31 августа 2005) // Тыняновский сборник. Вып. 12. М., 2006; Ароморфоз русского рассказа: к проблеме малых жанров // Поэтика русской литературы конца XIX — начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М., 2009.

Лит.: Немзер А. Памяти Александра Чудакова // Время новостей, 5 окт. 2005 г.; Бочаров С. Синяя птица Александра Чудакова // Филологические сюжеты. М., 2007; М. М. Бахтин о «Поэтике Чехова» // Тыняновский сборник. Вып. 13. М., 2009; In memoriam. Александр Павлович Чудаков // Поэтика русской литературы конца XIX — начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. Проза. М., 2009.

I

**СЛОВО
АЛЕКСАНДРА ЧУДАКОВА**

ИЗ ДНЕВНИКОВ, ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК, ПИСЕМ

1956

[А. Чудаков — студент 2 курса филологического факультета МГУ, с успехом прошедший в 1954 году собеседование — при конкурсе 25 медалистов на одно место; ему 18 лет.]³

9 марта. Слушал вечером (попал — повезло) 7-ю и 8-ю симфонии Бетховена. Какой оптимизм, какое веселье, какой задор! Третья часть седьмой с ее славянскими мелодиями... Мне кажется даже, что я слышал какую-то русскую песню, где есть эта, основная для части, мелодия... Какое-то особое, безоблачное настроение, какого никогда не бывает. Велика очищающая сила искусства! Испытываешь какой-то духовный катарсис, душа очищается от пошлости и грязи, стремится в заоблачные выси...

Вечноживущая музыка!

А попал я туда так. Ещё днем узнал, что вечером — Бетховен. Пошёл. У здания — человек 15 таких же гавриков. Билет достать совершенно нет никакой возможности. Но я не терял надежду до конца. Долготерпение было вознаграждено. Уже несколько минут в вестибюле около окна стояла какая-то тётя, с надеждой, тоской и ожиданием глядя в окно. Я почуял, что здесь пахнет билетом. Стал делать по залу круги, постепенно сужая их. Наконец я так близко прошёл возле неё, что она не могла меня не заметить. Я умоляюще посмотрел на неё, но ничего не сказал и отошёл вглубь фойе. Она снова отвернулась к окну. Но я

³ В квадратных скобках здесь и далее — примечания публикатора. Курсивом передается подчеркнутое в дневнике (даты записей и прочее) самим автором волнистой чертой, курсивом и подчеркиванием — подчеркнутое прямой.

уже решился. Бормоча извинения и стараясь придать своему облику робко-наивный вид, спросил тихо: «Нет ли лишнего билетика?» Она ещё раз глянула в окно, секунду о чём-то подумала и вдруг решительно сказала: «Пойдёмте!»

Мы ходили к администратору, чего-то подписывали, о чём-то говорили. Но я уже мало соображал в эту минуту. Через несколько минут я уже сидел в амфитеатре.

[Без даты, та же весна]

История моего современника.

Попробовать написать историю молодого человека нашей эпохи, используя автобиографический материал, но не давая своего портрета.

1. Наивная вера во всё — 8—9 класс, хотя дед и говорил — газеты — [определение газет — явно пейоративное — тщательно зачеркнуто автором], зачем культ личности, жизнь колхозов (его взгляд), вообще.

Он — не консерватор, положительные явления усматривал (народы — равны, промышленность).

Я (будет от «я», может, писать в форме дневника?) спорил с ним, доказывал, *но зерна в душе были.*

Написать так: нам попало несколько тетрадей из жизни Носорогова [под псевдонимом «А. Носорогов» А. П. Чудаков публиковал статьи в курсовой стенгазете «Молодёжная»] в разные годы — небольшая школьная тетрадка из 5-го класса, из 8-го и 10-го и из университета. Эволюция психологии ребенка. (В ранних тетрадях — ничего о взгляде на мир, только забавные эпизоды, переложенные, рассказанные дедом.) Потом — 7 класс — увлечение чтением и т. д., первые неясные мысли о всём (использовать тетрадку), вклинить кое-какие события международной жизни. Эволюция должна быть заметной, умелой. Язык — в первых — детская простота — Носов, комические эпизоды. Показать, показывать везде, на протяжении всех детских лет, *как* преломляются в детском сознании *важные* общественно-политические вопросы, пионерская жизнь, комсомол, политика.

Дружба, мысли о друзьях, их детская жестокость, мысли об идеальной дружбе; романтика — шпионы и т. д.

Романтика.

Он всегда был *романтиком.*

Детство — шпаги, мушкетёры, «таинственные знаки», шпионы, непроницаемость, владеть своими чувствами, настроением, расшифровывание разорванных записок, записок зачеркнутых, пережёван-

ных, цифры, моргание глазами по азбуке Морзе (с помощью головы) и т. д.

Цветы.

Отношение к разным наукам. О своей воле мысли. Добрые начинания. Герой — не идеал, а обычный мальчик.

Любовь. I тетрадь — нет. II — очень робко, намёком ... 10 кл. — ревность, чистота и т. д.

Когда впервые стал чувствовать прекрасное.

Это очень сложный вопрос, и в этом — вся соль. (Прочесть все книжки-брошюры об эстетическом (ха!) воспитании, дабы не впасть в эту ошибку.) Этот вопрос ещё не разрешён.

В связи с педагогикой — характеристика провинциальной школы, учителей, всего с этим связанного.

Школьные товарищи. Городок вообще. Самое главное — как можно компактнее, иначе это растянется на многие страницы. Но не за счет содержания. Вставить свои ранние стихотворения и еще раздобыть ранних стихов.

Спорт, игры, футбол, лыжи.

Все стороны жизни.

Учебный процесс — интересно учиться или нет, как детским сознанием воспринимается необходимость и какова здесь роль увлекательности т. д.

Детство: «Колыбельная» Моцарта. «Спи, моя радость, усни...».

[Через несколько месяцев автор дневника делает запись — на свободном листе непосредственно вслед за этой.]

19 сентября. Прочел все это. Может быть, действительно, получилось бы у меня. Вообще, мне кажется, я бы мог написать что-нибудь. Ведь должна найти применение моя способность изучать самые разнообразные и, казалось бы, никакого отношения к филологии не имеющие предметы. Я иногда сам удивляюсь — черт знает какой ерунды я только не знаю! Хорошо, что нахватался этого ранее, в школе, читая подряд все журналы и газеты. Не может быть, чтобы все это прошло даром!

Должны пойти на пользу и навыки по самостоятельному изучению эпохи. Не написать ли как-нибудь историческую повесть? О художнике, писателе? Ведь их настряпаны кучи, причём зачастую весьма низкопробных.

А стилистика? Зачатки понимания языка? Ведь сейчас я уже не могу читать что-нибудь, не обращая внимания на стиль, изобразительные средства. Должно же это дать результат и в моем собственном стиле? Посмотрим...

[Вскоре А. Чудаков полностью погрузился в науку. Следы замысла остались лишь в устных рассказах о причудливом быте родного города — однокурснице, которая на 4-м курсе стала его женой (в отличие от героя романа, у него, как и у нее, это был единственный брак). С увлечением слушая эти рассказы, она усиленно призывала его писать. Он, однако, в отличие от нее, постоянно сомневался в своих литературных возможностях. И обратился к юношескому еще замыслу только спустя четверть века.]

19 апреля. Сегодня [*после месячного перерыва*] решил возобновить писание дневника. Долго думал над целями его. У меня нет потребности «излить свою душу», «довериться единственному другу» и т. д. Нужен он потому, что сейчас я переживаю наиболее интересное время моей жизни, и не оставить в этот период никаких записей — глупо. Это ведь чрезвычайно интересно потом будет узнать, вспомнить, чем жил молодой человек эпохи 50-х годов. Здесь будет все важное, что волнует мой ум и сердце. Хоть это и будет отнимать у меня довольно много драгоценного времени — ну и что ж!

...Вчера появились деньги. Последнюю неделю жизнь вёл поистине собачью — «сшибая» по тройке, по пятёрке у кого только можно... Скверно такое полуголодное существование! Теперь я понимаю, почему пролетарии в интеллектуальном отношении отставали от имущих классов, — когда нечего есть — не очень-то будешь размышлять! Нельзя сказать, чтобы это поглощало всего меня, но всё-таки вещь очень неприятная.

Да и другие живут не лучше.

...Можно было бы рассчитывать каждую копейку, экономить на всём. Но это — не по мне. Я хочу жить нормальной жизнью, хочу выжать из Москвы все, что она может дать. Я хочу ходить в консерваторию, в театры... Но для всего этого денег, разумеется, не хватает... Вот и приходится временами класть зубы на пустые полки нашего шкафа...

Но всё-таки я многое успел увидеть и узнать. В два года по зрелищным мероприятиям догнать и перегнать москвичей — нелёгкая задача, но можно сказать, что значительная ее часть мною выполнена.

В МХАТ беру входные билеты по 3 р. Смотрю все «программные вещи». <...>

1958

19 июня. <...> Сегодняшний поход по букинистам был удачен. Но на Кузнецком буквально из под носа взяли Мандельштама!.. «Огорченья не снесла»...

[Позже вставлен инициал — «И.». Речь шла об изданной в 1902 году книге И. Мандельштама «О характере гоголевского стиля», впоследствии приобретенной. Купить книги О. Мандельштама — в отличие от книг Гумилева — в букинистических в ту пору было невозможно.]

4—14 июля. Я дома. Увидел родителей, Наташку... Дед все такой же, в мягкой шляпе и похож на Мичурина. Огород — чудо, из одного корня растет по три вилка капусты. Кукуруза, маки, помидоры. Ни соринки. И в *остальном* он все тот же — старый скептик. Прочел мне статью из «Комсомольской правды» про создание искусственно-го солнца над городами, про то, что вскоре растопят льды и обогреют тундру. Хохотал до слез:

— Искусственное солнце!.. А?

Читал мне наизусть из Ветхого завета родословную Иисуса и всех святых.

У родителей — каторжный труд. Папа по 14—16 часов в день.

А я здесь на даровых хлебах в Москве... <...>

5 июня. Узнал, что умер Кажека, веселый пьяница-стекольщик, старик, которого за последние 30 лет здесь никто не видел трезвым.

1965

16 апреля. Страна отмечает 20-летие окончания войны⁴. Единственный неофициальный юбилей. Ничего не забыто.

⁴ В 1948 году Сталин отменил День Победы как праздничный (выходной) день. В 1965 году День Победы праздновался впервые — спустя 17 лет (пояснение публикатора).

Слушал днем (случайно, в вестибюле больницы) «Темную ночь», «Танцевать я давно разучился...» — и понял, что даже я, который был ребенком, помню все. Как же помнят они, кто воевал?

Слушал передачу про 57, которые под командованием лейтенанта Очкина 9 дней защищали обрыв Волги у тракторного завода в Сталинграде. Их осталось 6. Лейтенант Очкин жив. Поклон ему, всем, кто командовал ротами, кто умирал на снегу. Память погибшим.

Мое поколение — последнее, которое будет помнить великую войну. Младшие — уже не помнят. И для них — многое проще. Им кажется, что можно простить и забыть, потому что они не помнят, как было, не помнят эшелонов чеченцев в легких черкесках в феврале, немцев Поволжья, военной барахолки, безруких инвалидов, поющих «Раскинулась степь Сталинграда», баб в отрепьях с опухшими от голода ногами, костыли, костыли...

1972

31 января.

23.50. Только что прослушал по телевизору 15-ю симфонию Шостаковича. 1-я часть с соло на флейте до меня не дошла, но 2-я с ее одинокими сольными голосами почти всех инструментов, 3 и 4 — когда только-только убаюкаешься в гармонических звуках — и вдруг обрушивается что-то — прекрасно. <...>.

26 апреля, утро. Л. [здесь и далее — инициал домашнего имени М. Чудаковой] пишет обзор для «Записок Отдела рукописей» по фонду Булгакова и страшно мучается обилием мыслей, посторонних жанру. Сейчас, убегая на работу, сказала мне у двери:

— Мое состояние во время работы над обзором можно определить так: я сижу, тупо смотрю в листы, а сама прислушиваюсь к тому гулу мыслей, который стоит в голове. И все они не имеют никакого отношения к обзору.

— Прекрасно.

— Ужасно.

16 мая. Л. с 29-го апреля по 14 мая пробыла в Доме творчества в Дубултах. Привезла 150 страниц обзора по архиву Булгакова. Не обзор архива, конечно, какие обычно бывают, а некий новый жанр — творческая история + текстология + биографическая канва

+ поэтика. И когда читаешь, то видишь ясно: автор обзора может всё. Я эти две недели доводил с Пересыпкиной комментарии к 7 тому Куприна.

Вчера было заседание кафедры в МГУ — в числе прочих я докладывал о результатах своего спецкурса и курсовых. По ходу заседания решался вопрос, что делать с аспирантами покойного Ломтева. Я сказал Н. С. Поспелову (сидели рядом), что как это ужасно умереть в автомобиле и т. п.

Н. С. — А тут все говорят, что хорошо, сразу. (Смущенно смеется.) Нет, умереть все-таки лучше в своей постели...

И было ясно, что он хотел сказать — к ней надо приготовиться.

Я стал говорить, что атеисту труднее умирать, чем верующему, что для него там пусто и пр.

— Скорее всего... Но самое ужасное, конечно, что в самый последний момент он увидит, что что-то есть — но уже поздно — и вот это страшно.

...Накануне приезда Л. в субботу пошел в магазин — купить что-нибудь из еды. Стоял в одной очереди за ветчиной 30 минут — кончилась; за фаршем в другой 30 минут — тоже кончился; за молоком тоже минут 20. Это день был как символ загубленных часов, дней, месяцев на магазины, очереди, добывание самых простых продуктов питания. И конца нет — только все хуже. Будь проклято всё. Как Л. сказала Паперному [*младшему — В. Паперному*] — Нам цензура не мешает самоосуществиться. [*М. Ч. добавила: «Мы до нее недобираем»!*] Мешают очереди в магазинах.

11 августа. Гоголя я начал без особых подходов, сразу, дерзко, сразу стал строить систему и пытаться найти конструктивный принцип. Что-то выйдет? Начал ≈ 25 июля. Одно только ясно — хорошо, что не начал раньше на несколько лет — с моей прежней добросовестной робостью.

Каверин, когда я ему сказал о «Волшебном роге Оберона» Катаева и о силе катаевской изобразительности, сказал: — Да, это у него замечательно, великолепно. Мне этого всегда не хватало.

14 августа.

Все-таки у меня в моей филологии есть две-три совершенно новые идеи — а этим не все могут похвастаться.

...Бегаю по холмам и просекам — хорошо укрепляет ноги. Вчера добежал до Ильинского (лесом) и там бегал по местным просекам возле каких-то роскошных глухих дач.

Т<амара> В<ладимировна> Иванова рассказывала (7-го), как Н. Ф. Погодин говорил в 30-е годы: — Я нашел верняк. На всю жизнь. И все будет — и слава и деньги.

Ночь на 15 августа. Перечитал роман поэта [«Д. Живаго» — вставлено позже карандашом. — М. Ч.] — не перечитывал его десять лет, с первого чтения. Да, теперь я многое знаю и о многом уже годами думал сам — о чем думал и он. И если так действует сейчас, то как было тогда. И — теперь понимаю — роль его в формировании меня теперешнего велика.

Записал ли я что-нибудь тогда? Наверное нет, побоялся. Сколько такого незаписанного осталось.

Одиночество в Ромашкове — я его запомню. Каждое следующее мое одиночество лучше предыдущего. Долго ль еще?..

Сегодня бегал по левой стороне — лес лиственный и не было той строгой красоты, что в сосновом.

...Для того, чтоб так подействовали эти строки, нужно было, чтоб прошли эти десять лет — жизни нашей с Л.

Из писем Тони: «О Юра, Юра, милый, дорогой мой, муж мой, отец детей моих, да что же это такое? Ведь мы больше никогда, никогда не увидимся. Вот я написала эти слова, уясняешь ли ты себе их значение? Понимаешь ли ты, понимаешь ли ты?»

Из прощания с Ларой: «Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда в жизни, больше никогда не увижу тебя».

16 августа, 22 часа. Только что приехал на велосипеде из Переделкина (рука не пишет), обратно ехал в темноте.

Был у Бахтина. Много он говорил о л/ведении и критике (записывал за ним). [См. «Диалоги с Бахтиным» в данном издании.]

19 августа, суббота. Ромашково. 30-е годы остались — несмотря ни на что — в памяти этого поколения светлыми потому, что было ощущение приобщения каждого к жизни всего государства, к чему-то значительному — неважно, что часто было псевдозначительным. Такого ощущения не было ни до, ни после.

25 августа. Бахтин, пожалуй, все-таки неправ, когда говорил мне, что прямое слово Гоголя повлияло только на гимназистов. Отголоски этого («где моя юность, где моя свежесть») ощущаются и у Тургенева, и у Помяловского, и у Чехова, и у Бунина («Неужели это она качала меня на руках?»). То есть он показал *возможность* такого слова, возможность прямого и смелого его внедрения. [Вписано позже карандашом: Ему об этом сказал — мне это возражение, как и в случае с Гегелем, показалось основательным. Но он ничего не ответил, как и тогда.]

... Сижу, брожу по саду и жду, когда *сами* явятся центральные мысли о гоголевской худ<ожественной > системе. Процесс неконтролируемый и сознанию почти неподвластный. Иногда это как сон — чем больше хочешь заснуть, тем дольше сон не приходит. Но это касается, конечно, особо крупных мыслей общефилософского плана. Средние и мелкие целиком зависят от усилия, от того, насколько сумеешь сконцентрироваться и сосредоточиться.

26-го, ночь. Да нет, ерунда, всегда надо напрягаться, мысль рождается только мучительно, в отбрасывании нелогичного, постороннего, нацеливании — насильственным — на главное. Иногда у меня это получалось.

27-го. Нет, самодвижение все-таки, но — при *предварительных* усилиях.

1973

6 июля, Коктебель. <...> Дважды был у Марии Степановны Володиной. Второй — сегодня. Навел разговор на Чехова и беззастенчиво записывал.

Она встретила его 14—15-летней девочкой, когда МХТ приезжал в Петербург. <...> Меня не хотели брать на «На дне». Я стала за столом просить Горького:

— Ну ради Христа...

Горький так громко:

— Такая дылда и веришь!

— А как же? А мама, а батюшка, все верят?

— Все врут.

Я вскочила и в слезах убежала. За столом зашумели, и помню возмущенный голос Чехова: «Ведь она верит твердо!».

Потом Чехов поднялся за мной наверх и стал гладить меня по голове, по плечам, что-то говорил («Успокойся, все пройдет»), а потом рассказал мне про Каштанку...

1978—1979

Из записных книжек

15/V-78. Всем очевидно, что «Евгения Онегина» восьмиклассникам читать рано. Но что делать? Все-таки читать, ибо стихи — это столько же литература, сколько и язык, а язык надо воспринимать как можно раньше.

«Белеет парус одинокий» — это уже не поэтический образ — это языковой фразеологизм, вошедший в ткань языка, как другие идиомы. Как и басни — ребенок многое не поймет, но усвоит язык.

17/VII-78. Л. Зорин рассказывал, что Шмальгаузен все лысенковское время просидел у себя на даче, нигде не служа. А кто-то говорил, что числился истопником.

* * *

Одни писатели мир только *видят* (В. Катаев, Ю. Олеша). И в *понимании* его и отношении к нему они, пассивно зрительно его воспринимая, почти всегда конформисты (те же Катаев и Олеша). Другие писатели прежде всего постигают его суть (Достоевский), и вещное для них второстепенно. Третьи думают, что постичь суть можно только через вещи (Гоголь), четвертые — что от них, как от ядра на ноге, не избавиться (Чехов). И от каждого нельзя требовать мировосприятия другого!

(О писателях, видящих мир.) К ним, несомненно, относится и Бунин. Ведь вся его философия — смерть, вечность, скарабеи — очень *расхожа*, это скорее *ощущение* этих проблем, чем их философское развитие (как у Толстого, Достоевского, даже у Чехова).

20/VII-78, Переделкино.

Шел к мостику в гору — в джинсах, легких дырчатых туфлях — резво (как всегда, когда приходится идти в гору, — так и подмывает на полубег). Навстречу пожилая женщина.

— Скажите, который час?

Я ответил и сначала не понял, что в голосе странного, но потом увидел: на глазах слезы. И она — без всяких предисловий и не стыдясь того, что я пойму, зачем она меня остановила:

— Издалека гляжу — ну точно брат мой Ваня. Он погиб на фронте. Такая же была легкая походка. Весь такой же высокий, громадный. Такие, знаете, ходят — переваливаются. А он — вот так же, легко... Увидела — ну точно он, и — на глазах слезы.

Я [*вставлено позже карандашом: Антон*] пробормотал что-то глупое, что, де, столько лет прошло, и мучительно соображал — что бы сделать ей хорошее? Но так и не сообразил, она махнула рукой и пошла.

5/XI-78. «Моя жизнь состоит из одного монотонного труда, который разнообразится самим же трудом» (Бальзак). И я б хотел. Но только чтоб это был труд, который я сам считал бы *настоящим* трудом.

26/XII-78

Если по Spitzer'у искать ключевые словечки у писателей, то у Твардовского это будет — «иной», «иные» (ср. «За далью — даль» в главе про Волгу и других главах).

* * *

5/I-79. Л. сказала, что перечитывание Чехова всегда у нее приводило к двум мыслям: что писать ничего не нужно, ибо такой совершенной прозы все равно не напишешь, и то, что вообще ничего делать не нужно, потому что все равно все бессмысленно.

* * *

В психической разноте отклонений от того отношения к вещам, что современность считает нормой (иногда очень значительном), — залог многих великих побед человеческого разума. И вообще залог разных успехов в более скромных сферах. Два примера. 1) Деяние купца, построившего высотную башню в тайге (это изобразил Вяч. Шишков в «Угрюм-реке»), казалось сумасшедшим. Через много лет это оказалось единственным сооружением на тысячи верст, пригодным для радиостанции. 2) У последней скрипки Страдивари, которую он сделал в 1730 г., в возрасте 92 лет, была странная судьба: она переходила из поколения в поколение с диким завещательным условием: чтобы на ней никто не играл. С этим же условием она была куплена

и Юсуповым в середине 19 в. и хранилась у него в особом футляре. Дикости завещания удивлялись не раз.

В 1919 г. скрипка была национализирована. Это была единственная «не постаревшая» скрипка Страдивари — ведь на ней никто не играл. Можно было услышать звук только что сделанного Страдивари. На этой скрипке играют вот уже несколько поколений выдающихся советских музыкантов (я надеюсь, не все время).

21/V-79. Махачкала, г-ца «Ленинград»⁵.

Все растущая отчужденность современного человека от творящей деятельности в *предметной сфере* (не умеет вбить гвоздя) несомненно оказывает разрушительнейшее воздействие на его духовность, только мы еще не можем осознать и понять, почему происходит это разрушение. Из-за гордыни? (Гордыня — всегда ржавчина и яд). Из-за того, что рушится единение всех людей <...>? Подумать.

27/V-79 Махачкала.

Псы⁶

Сейчас много говорят о диких собаках пригородов... Я видел одну такую собаку вблизи. Я занимался тогда дубовым шелкопрядом и жил уже два месяца в Северном Дагестане в дубовой роще возле Буйнак-ска. В Киеве мне дали 1 кг. грены — личинок (?) — 130 тыс. штук. Я расселил их по роще и наблюдал не на срезанных ветвях, а на растущих. Жил я в большой 6-местной палатке. (О том, как жук-красотел ел гусениц шелкопряда.)

Однажды я вернулся из своего обхода и сидел на раскладушке. Из-за ящика встала большая собака и медленно направилась к выходу. Я хотел крикнуть, но что-то удержало меня. Собака не оглядыва-

⁵ М. Чудакова была приглашена Союзом писателей (в котором состояли и она, и А. Чудаков) в Махачкалу с 23 по 28 мая на празднование 70-летия Эффенди Капиева (умершего 34-х лет) — героя ее первой книги, вышедшей в 1970-м году в серии ЖЗЛ. Это был случай показать А. П. Дагестан — родину его тестя; к тому же не хотелось оставлять его в Москве после смерти 1 мая 1979 года его отца, Павла Ивановича Чудакова.

⁶ Позже приписано карандашом: «Сделать отд. рассказ». И ручкой: «Рассказ биолога». А. П. познакомился с замечательным человеком Абакаром Гаджиевым — талантливым садоводом, другом юности Э. Капиева; М. Чудакова была знакома с ним с первой своей поездки в Дагестан на 5-м курсе филфака. Возможно, в основу лег его рассказ.

ясь, медленно вышла. Это была уже немолодая собака. Я узнал одну из диких собак стаи, которая жила неподалеку, — по ее редкой масти рыжего цвета. По примятой охапке сена, где она лежала, было видно, что пролежала она в палатке давно.

Продукты мои находились в картонной коробке, даже ничем сверху не закрытой. Она их не тронула. Что ей нужно было у меня в палатке? Зачем она лежала здесь? Значит, она увидела, что никого нет, вошла и легла и долго лежала.

Какая тоска заставила ее покинуть (оставить) стаю хоть на время и погнала ее в палатку человека? О чем думала она это время?

* * *

Про то, как поспорил мой дядя с соседкой и выиграл пса, я кормил его, а потом он сбежал, и поднял на меня ножку, когда я упал (не было ли это где?..).

Про Буяна и мясника⁷.

Косарь (Косьба)

Разбирая архив отца, он обнаружил его тетради, заполненные необыкновенным почерком, там же нашел листок, озаглавленный: Передать Юре (сыну). На коротком листке была только одна запись: «Он прямо попал из своей простой, органической, но действительной жизни в ту отвлеченную сферу, в которую стало русское новобранное общество и русская литература». К. Аксаков.

Получается, что он думал об отце, как пересаженном, а отец — о нем, посмертный диалог, и в результате получается, что рассказ не об отце, а о сыне, тут и всё обсуждение славянофильства, и стиля ля рюс... Все сюда войдет.

Псы. К названиям книг, стоящих у него на полке.

Я никогда не видел более странных и необычных названий («Сарматизация материальной культуры Боспорского царства»), которые содержали бы столько информации и которые хотелось бы читать: Сарматизация! Значит, там будет про сарматов. Маткультуры! И про это будет — и у сарматов и в Боспорском царстве!

Другие названия были совсем простые — но эти книги хотелось прочесть еще больше. «Сурки и места их обитания». Это была очень толстая книга, и было ясно, что из нее безусловно все можно узнать о сурках и исчерпывающие сведения о местах их обитания. Неболь-

⁷ Приписано карандашом.

шая книжка называлась кратко и энергично «Верблюдоводство». Это слово так понравилось NN (он <философ> <гуманитарий> преподаватель русского языка), что он потом на уроках все время с удовольствием не к месту его повторял. И потом, уже через несколько месяцев, в поезде, так надоел попутчику, что тот грубовато сказал: — Что ты тычешь меня своим верблюдоводством? — и добавил еще одно крепкое слово.

Хозяин, заметив, что NN держит эту книгу, сказал грустно:
— Серьезная проблема.

NN, привыкнув из общения с Иннокентием, что со всеми животными плохо и становится все хуже, почему-то надеялся, что хоть с верблюдами все в порядке. Ведь вряд ли их кто-нибудь уничтожает, отстреливает, отлавливает, травит дустом, уничтожает их пастбища — ведь им и пастбищ-то никаких не нужно! — охотится за шкурой или горбами... Вон и книжку выпустили — значит, разводят... Но оказалось, что ничего подобного. Над верблюдами нависла смертельная угроза. И только в Австралии...

24/VII-79. Судьба

Я был связан с ними странным образом. Т. е. я не был связан, но стал их судьбой, не будучи им особенно близок, ни...

Началось с того, что я их и свел снова после разлуки, когда у них уже были дети, они пришли ко мне по отдельности — а потом уже вместе. А потом Люда не встретилась со своим мужем на Ленинском проспекте, т. к. опаздывала на мой доклад в Ист. Музее, и он попал под автомобиль. И т. д.

14/I-81. Роман, пожалуй, единственный *честный* жанр, где автор говорит до конца то, что *может* сказать. Рассказ — по сути дела, если не жульничество, то фокус: мелодика, намек, деталь, оборванность, недоказанность намекают на то, что автор не сказал, потому что, скорее всего, и не знал!

24/VI-83.

«Псы»

Эколог (или другой персонаж, болезненно переживающий всё, беспрерывно говорящий о гибели природы):

— Дождевой лес гибнет!

— Какой?

— Это термин. Влажно-тропический. К концу века он исчезнет! Сейчас его — 1 млрд. га! А в год он сокращается на территорию, равную половине Англии!

— Откуда у тебя такие сведения?

— Неважно. В «Нэшнл джиографик» опубликовано. Уничтожить это чудо! Эту главную кладовую генетического фонда планеты! Ты знаешь, что такое парниковый эффект?

— Когда в одном месте тепло, а в других холодно.

— Да. Леса не будет, некому будет поглощать углекислоту от сжигания огромных количеств угля и нефти, углекислый газ накопится и накроет землю, как шапкой. Климат потеплеет, растают ледники Антарктиды, уровень мирового океана поднимется на 50—100 метров. Ты представляешь, что это — сто метров? Голландии — не будет!

Юга Франции — не будет!

Только волны, волны...

— Ты какой-то библейский потоп рисуешь. Еще про Арарат и Ноев ковчег расскажи.

— Да! Люди скучатся на возвышенностях. Равнины затопит. Начнется борьба за жизненное пространство. Война всех против всех.

— Каменный век...

— Хуже! Тогда одно племя воевало с соседним, а в каждом было тысячи 3-4 народу. Этот же будет битва миллионов с применением самого совершенного современного оружия.

— Как-то странно. Мировая история изменится из-за какого-то дождливого, пардон, дождевого леса. Какой-то дремучий биологизм, без грана социальности.

— Хватит социальности! Из-за нее погубили Землю, и спохватились только в конце... и т. п.

1985

Из дневника

29 января. И вот опять чеховский юбилей, 125-летний. Увижу ли следующий?

Отчетливо помню, как в 1960 г. 22-летний, бродил я по зимней Москве и с каждой газетной витрины смотрело лицо Чехова! И это волновало до слез. Тогда я впервые начал чуть-чуть понимать, что такое Чехов, думал о нем, писал о нем первое большое — диплом-

ное — сочинение. И вот прошло 25 лет, и я тоже думаю о нем и пишу, уже много написав всего до этого, — еще одну книгу.

Насколько в *физическом* времени он был тогда ближе. Только что умерла Книппер, и я был на похоронах; в Чеховском музее Соболевский рассказывал о встречах с *молодым* Чеховым, немало было в живых тех, кто знал его в 900-е годы.

25 лет отдано. И вижу, что это мало, мало. И что 50, если повезет, тоже будет мало. Но это справедливо: разве один человек, даже отдав жизнь, может исчерпать гения?..

В этот юбилей с витрин Чехов не смотрит, портреты не на первых страницах, а — маленькие — на разворотах. А сами газеты — через 25 лет! — гораздо больше, чем газеты 1960-го года, похожи на газеты моего детства — 48—49 гг. Все тот же знакомый дядя Сэм в полосатых брюках. Вот он шествует вниз по лестнице, составленной из слов «спад», хотя все знают, что прошедший год — год самого высокого у них подъема экономики.

Сегодня вечером иду в новое здание МХАТ на торжественный вечер по поводу юбилея.

30 января. На вчерашнем вечере в МХАТе в президиуме в первом ряду С. Михалков, Анатолий Иванов (!), во втором — Верченко, Бердников, Ан. Иванов — свежий кавалер! — пришел приветствовать Чехова. Бердников читал с пафосом из «В овраге»: «Оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа у них на лице была какая-то особенная, мошенническая»⁸. С. Михалков <...> Потом — замминистра культуры, потом — Царев, порадовавший своим поставленным голосом, потом бедолага-сталевар из Таганрога, которого заставили читать кем-то написанную речь, с чем он плохо справлялся.

⁸ Оргсекретарь Союза писателей (т. е. надзирающий за писателями по заданию партии) Ю. Верченко, как и заместитель заведующего Отделом культуры ЦК КПСС Г. Бердников, ставший затем директором ИМЛИ (в аспирантские годы — гонитель «космополитов» в Ленинграде, задавший на собрании вопрос академику В. М. Жирмунскому: «Можете Вы назвать хоть одну свою книгу, которая была бы полезна народу?»), вполне соответствовали своей внешностью чеховскому описанию; Бердников имел прозвище «Кабан». Будучи могущественным функционером, по совместительству чеховедом, он напечатал в 1972-м году разгромную статью о первой книге А. П. «Поэтика Чехова» (1971).

В концерте показали: 1 д. «Иванова» <...>, сцену из «В. сада» <...>, сцену из «Трех сестер» <...>.

Все необычайно плохо. Все играют роли не по возрасту. <...> Все пьесы выглядят одинаково, все скучно, плоско, бледно. То же самое было и с вокальными номерами. Единственное светлое пятно — С. Юрский, читавший чеховскую «Клевету» — очень смешно.

25 лет назад меня никто не знал, тут — ползала знакомых, подходят, здороваются⁹, но даже это почему-то было противно, как и все остальное.

29-го с Л. пообедали в ресторане ЦДЛ, потом подсел Семанов. Поговорили о масонах и проч.¹⁰

Сегодня весь день пытаюсь переделать статью для институтского труда «Русская литература и литература народов России». — им опять не подошла. Сколько крови она мне стоила. Каждый раз, принимаясь за нее, делаюсь болен. Не могу же я написать о «реализме Чехова» и о том, что «Победоносцев над Россией простер совиные крыла», — а им нужно именно это. Должен заниматься этим вместо доработки книги. <...>

31 января. Работа последние месяцы плохо идет еще потому, что умер Шкловский¹¹. Нет дня, чтобы он не вспомнился. Виноградов часто снится — недоговорил с ним, а со Шкловским говорил много, не снится совсем, но наяву постоянно перед глазами — мучительно живой. Ах, Виктор Борисыч, как он верил, что доживет до 100 лет, как этого хотел.

Днем. Жучка лежит, прикрыв морду своими черными лапами — как человек.

В бумажных старых завалах нашел запись: «7/1 — 72 г. “Поэтику Чехова” я писал, спутав себя ремнями, I-ю часть — вода только кистью руки, II-ю — от локтя. Новую книгу надо писать от плеча, распоясавшись, свободно». Вложил листок в зеленую папку с документацией по книге «Чехов. Утверждение худ. мира» — для перечитывания.

⁹ К.: «Поздравляю Чудакова с юбилеем!» (прим. А. Ч.).

¹⁰ Подразумевалась неизменная для С. Н. Семанова антисемитская тема, пресечь которую в публичном месте можно было только средствами, неорганическими для А. П.

¹¹ В. Б. Шкловский скончался 5 декабря 1984 г. А. Ч. до последних дней навещал его в больнице.

8 февраля. Вчера ездил в Ленинскую б-ку <...>. Разговор с зав. подсобной библиотекой НЧЗ № 3, Над. Георгиевной.

— У вас раньше была витрина с новыми журналами... <Хотел посмотреть 1-е номера с материалами о Чехове>.

— Да, теперь нет.

— А в чем дело? Почему? Для удобства читателей?

— А посмотрите вон ту витрину, и вам все станет ясно.

Я посмотрел другой стеклянный стенд, через проход. Там выступления Зимянина¹² и др.

— Вы знаете, я не понимаю, какая тут связь. Сделали ту витрину, если кому-то это очень нужно, но зачем упразднить эту?

— Но витрина-то одна.

— В физическом смысле?

— Именно в физическом (печально улыбается). Мы уже год боремся, чтоб дали еще одну. Не получается. Я знаю, вы старый читатель, я вас помню давно. Вот и напишите выше, в дирекцию...

Я живо представил себе, как Кондрашев¹³ читает заявление, подписанное столь хорошо знакомой ему фамилией. <...>

Вечер. Вдруг показалось нестрашно умереть (показались подозрительными некоторые симптомы). Высказано 2—3 идеи, которые останутся в литературоведении. Конечно, хорошо бы их развить и придумать что-нибудь еще. Но и так ладно. Все надоело. И впереди все то же — ничего нового.

19 февраля. Какие белые снега! Стою, смотрю, смотрю. (Написал стихи)¹⁴.

¹² М. В. Зимянин был секретарем ЦК КПСС.

¹³ Н. С. Карташов; А. Ч. никак не мог запомнить фамилию ничем не замечательного директора Библиотеки, летом 1984 года уволившего М. Чудакову из вверенного ему заведения (где она работала с 1965 года) как не прошедшую по конкурсу на Ученом совете.

¹⁴ Какие белые снега,
Какие мощные сугробы,
Как опушило берега!
И в сердце нет тоски и злобы.

И в этой чистой тишине
Россия заново родилась —
Иль это только в снежном сне
На миг почудилось, помстилось?..

27 февраля. Вдруг пришла в голову простая мысль: все мои идеи о предметном мире, экологии, современном человеке и вещиустройстве мира и не могут вместиться в традиционные жанры статей или даже книги (о чем я тоже думал). Об этом надо писать прозу!

2 марта. Слушал по радио какой-то спектакль о Суворове (ленинградское радио) со слезами на глазах — стар стал.

11 марта, понедельник, 12 часов дня. Хотел было в 11 узнать, что дают в ежедневной программе «Театр у микрофона», но — печальная музыка. Позже — тоже. Все программы отменены.

Ясно, что это значит. Занятия не идут, пошел на лыжах. «Россия, неужели снова...»¹⁵

13 марта. Тогда, 11-го, о смерти Черненко объявили в 2 часа дня. Сегодня смотрел по телевизору похороны, слышал впервые М. С. Горбачева.

Вчера <...> Л.: «— Ты очень бодр». Я: «— Как всегда, во время исторических переломов». Надежды, надежды.

21 апреля. <...> Болен; постоянные сильные боли в желудке; сразу всплыли все знакомые ощущения прежних лет — и безразличие ко всему, и мысли о тщете. Но столь же привычно их преодолеваю¹⁶.

В 1987 году А. Ч. перепечатал свои стихи и переплел, озаглавив «Веселый волк» и надписав на обороте титула: «Сборник отпечатан в количестве 4-х нумерованных экземпляров: № 1 — М. О. Чудаковой, № 2 — М. А. Чудаковой, № 3 — автора, № 4 — ничей». Тексты стихов здесь и далее — по этому сборнику; сборник целиком воспроизведен в этом издании.

¹⁵ Воспоминание о стихах Н. Коржавина, написанных в марте 1953 года, где были строки: «Моя страна! Неужто бестолково Прошла, пропала вся твоя борьба? В тяжелом, мутном взгляде Маленкова Неужто нынче вся твоя судьба?», всегда глубоко задевавшие А. П.; он помнил авторские чтения, где был вариант: «Россия-мать! Неужто...»

¹⁶ В 19 лет, на втором семестре 3-го курса, А. Ч. заболел язвой двенадцатиперстной кишки в очень острой, так называемой «юношеской», форме. В течение нескольких лет он упорно лечился, не желая стать хроником, и так же упорно занимался наукой. Удалось вылечиться; но непрерывное нервное напряжение, связанное с отстаиванием своих научных текстов в не деформированном всеми способами цензурного воздействия (от института до издательства) виде, нередко вызывало обострения.

21 мая. Добавляю в книгу все новое и новое. Этак еще бы месяца с три повозиться, хорошая бы вышла книга.

Узнал недавно (случайно), что без моего ведома изменили заглавие. Ну разве можно было предположить — после утверждения, плана и проч.? Нет, никогда не привыкнуть к их бандитским привычкам, никогда.

22 мая. Вдруг стал писать конец рассказа «Разговоры с собакой», где собака умирает, и почти заплакал от жалости.

29 мая. <...> Вчера ходил к П. В. Палиевскому¹⁷ по поводу того, что меня не пускают на международную чеховскую конференцию в Баденвейлер.

— Сквозь директора вам не пробиться, — сказал он. И стал утешать, что «ни один пост не вечен» и что меня «и так знают в Европе». Умолчал, что сам включил в список <...> Сахарова, автора одной плохонькой статьи о Чехове и Тургеневе¹⁸.

8 июня. Снилось, что я разговариваю с Александром Веселовским после его лекции.

— Алексей Николаевич...

— Александр.

— Простите, я оговорился...

Я страшно смущен и не знаю, как мог оговориться — ведь Алексея Ник-ча Веселовского¹⁹ я почти и не читал, а уже более двадцати лет размышляю об Александре Веселовском!

— Я хочу предложить Вам посмотреть очень интересный глаголический памятник. Вы разбираете глаголицу?

— Конечно.

Видя, что я слегка обижен, А. Н. говорит: — Я ведь не знаю, как теперь на филологическом факультете учат.

Т. е. он явился из *того* времени!

¹⁷ Заместителю директора ИМЛИ Бердникова.

¹⁸ Устроители конференции дали институту 8 мест — на усмотрение дирекции, оговорив персонально лишь одного Чудакова, на приезде которого настаивали; поехали все восемь, кроме А. Ч. Его *ни разу* не выпустили ни на одну конференцию — вплоть до пика Перестройки.

¹⁹ Брат Александра Веселовского, ученый несравнимо меньшего масштаба.

21 авг. Сдал «Мир Чехова» в корректорскую <...>. Нескоро чеховедение выберется из-под этой книги — полемика на ближайшее десятилетие обеспечена <...>.

25 авг. <...> Недавно снова снился ВВ — сидим за нашим длинным столом²⁰, ласково треплет меня по плечу — чего никогда не делал. Посвящаю ему «Мир Чехова».

31 августа. Не знаю, что чувствуют авторы, закончившие большую, но описательную книгу, но завершить книгу-концепцию, где задача — каждую клеточку этой концепцией пропитать, пронизать, — это чувствовать усталость и опустошенность полные.

Не хочется ехать в Эссенуки, хочется плавать...

4 сентября. 2 сент. прилетел в Эссенуки, в санаторий «Аврора». Удалось получить отдельный номер.

Итак, через 27 лет я вновь в этих местах, гораздо более здоровый, чем тогда.

14 сентября. Брожу по Эссенукам, бегаю за городом по степи, как в Казахстане, Коктебеле, Прибалтике, Малеевке. За столом сидит старый чекист, служивший еще при Дзержинском и Менжинском. Говоря о религии, даже заикается и дрожит от возмущенья, ему 81 год — но ничто в нем не изменилось. <...>

Хожу в павильон механотерапии, изобретение великого Цандера, закупленный целиком на Нижегородской ярмарке в 1902 году и так с тех пор и остающийся единственным в стране. В очереди рассуждают о политике. Один особенно разорлся:

— Ведь как начинала Америка? А мы? Мы начинали с нуля!

Я не выдержал:

— То-то с этого нуля вы лечитесь в павильоне, построенном в 1902 г., и грязелечебнице, построенной в 15-м! Как было, так и осталось.

Не нашелся, что ответить.

Был на концерте кисловодского симфонического оркестра: Григ, Россини, Моцарт (соль-минорная). В концерте Грига раза два, кажется, не совсем вовремя вступали духовые, но в целом ничего. В зале,

²⁰ На кафедре русского языка филфака.

рассчитанном на 1500 мест, сидело едва 40—50 человек, несмотря на то, что концерт был бесплатный²¹.

24 сент. <...> Был у Н. В. Капиевой, которую не видел 27 лет²².

Плаваю в бассейне — 25-метровый, как в МГУ. Впервые показалось, что в брассе потерял скорость. В открытых водоемах этого почему-то не казалось.

2 октября. Вернулся из Эссентуков в Москву.

²¹ *Через много лет*

Замшели камни, и у льва
 Крошатся лапы. Еще свиреп
 Оскал зубов, но уж не так,
 Не с тою мощию змею
 К граниту он когтисто прижимает.
 И трещина времен прошла
 Через шею, грудь и сердце властелина.
 И мудрый Эскулап
 Все так же держит чашу,
 В которую змия точит целебный яд.
 Но уж и он устал, и посох его треснул,
 И время
 Вернее каменистых троп
 Подошвы у сандалий изъязвило,
 И Гигея
 Забыла руку на сосуде
 Движеньем утомленным женским.

Но ты — но ты все та же.
 Все так же голос твой смеется в телефоне
 И вижу: стройно ты стоишь
 В кабинке душевой,
 Движеньем легким и знакомым
 Подносишь трубку
 И говоришь
 Со мною.

14.9.85 Эссентуки.

²² Будучи летом и ранней осенью 1958 года с А. П. в Эссентуках, М. Чудакова ездила в Пятигорск — работать в домашнем архиве Эффенди Капиева, по творчеству которого решила писать диплом; ее приветливо принимала вдова писателя, незаурядная Наталья Владимировна Капиева, с которой тогда же познакомился и А. П.

13 октября. Опять занимался «Миром Чехова» — снимал вопросы с корректором. Сдал — кажется, окончательно.

Завтра лечу в Петропавловск-Камчатский.

5 ноября. Сегодня было заседание группы по исторической поэтике, выступал Сережа Аверинцев <...>. Потом мы с Сережей поехали в Лавку писателей, куда он пошел в первый раз, т. к. его недавно приняли в Союз писателей, и я его вводил в курс дела.

По дороге рассказывал мне о своем путешествии в Грецию в 1980 г., как на о. Патмос не нашлось места в отеле и он до утра просидел на берегу моря.

— Но ночь была теплая... Греческая летняя ночь.

Я рассказал про Камчатку.

— А у меня страх перед Востоком. Начиная с восточной окраины Москвы, где я никогда не снимал дач. И холод на меня действует тоже очень плохо — даже в Риме мне показалось холодно. А на вас?

Я бы не стал ему говорить, но на прямой вопрос сказал, что скорее хорошо и что не далее как сегодня утром я купался в канале. Никогда, пожалуй, не видел я у Сережи такого остолбенелого лица сначала и болезненно-гримасного сразу вслед затем — видимо, он представил, что его заталкивают в эту погоду в воду.

Про Камчатку сказал, что он тоже хотел бы увидеть океан, но другой — Атлантический, «мой». Я сказал, что хотел бы побывать у Геркулесовых столбов, он сочувственно кивал.

9 ноября. Был в гостях (вчера) у Юрки Лейки — впервые в его квартире в Строгино. Ковры, дорогие стенки, паркет и проч. — теперь, кажется, понял выражение его лица при виде нашей квартиры: по сравнению с его — просто сарай. <...> Старшая его сестра Галя (40 или 41 г.) — пьет, у нее 7 детей, двое — ненормальные; Сашка — брат (48 г. рожд.) — тоже пьяница, и жена его пьяница. Единственная удачная сестра — Света (кажется, ей 31 год) — живет в Вороновке возле Джамантуса, держат с мужем 2-х коров, телят, 4 свиней, 50 уток (а было 100), кур вообще не считают. «Пашут с утра до вечера, как нам не снилось...».

17 ноября. На отчетно-выборном собрании в ЦДЛ <...>. О. Чухонцев рассказал, что про меня говорили в передаче Би-би-си о конгрессе в Баденвейлере, куда меня не пустили: как я у них популярен, как они изучают мою книгу и проч. и как жаль и т. п.

18 ноября. Прочел верстку своей статьи «Предметный мир литературы». Уже в самом подробном своем варианте (ок. 90 стр.) это был почти конспект, во втором — 65 стр. — еще уконспектился, а нынешнем третьем — 50—53 — это вообще *конспект конспекта*. Надо печатать полный — и расширенный вариант. А то как бы не повторить судьбы учителей — Тынянова, давшего конспект (в сущности, тезисы) своей теории в 2-х статьях, и Виноградова, собиравшегося написать книгу о сказе, а оставившего статью объемом в печатный лист.

23 ноября. <...> 22-го в полном составе ходили к Зое смотреть выступление Горбачева на пресс-конференции в Женеве²³.

8 декабря. <...> Пишу биографию Чехова. Очень стесняет объем — всего десять листов.

1986

8 января. Сегодня отвез книгу²⁴ в «Просвещение». <...> Бердников опять не дает житья — придрался на этот раз к запланированной моей статье в «Историческую поэтику» про предметный мир. Не нравится слово и проблема! Опять заниматься контрабандно. Скоро всем я буду заниматься тайно и контрабандно.

7 февраля. <...> Читаю верстку «Мира Чехова». Густо, слишком густо написано, даже сам читаю медленно — будет непривычно для нынешнего читателя.

25 февраля. <...> слушал речь Горбачева на 27-м съезде — ту часть, где он говорит о преимуществах социалистического способа хозяйствования над капиталистическим.

13 апреля. Итак, получается, что в ближайшие 3—4 года надо написать:

²³ В семье Чудаковых в советское время никогда не было телевизора — он не был им нужен; в первые «горбачевские» годы ходили иногда посмотреть политический сюжет к Зое Шитовой, доброжелательной соседке; телевизор купили летом 1987 года, когда удостоверились, что в стране уже идет настоящая политическая жизнь.

²⁴ Биографию Чехова для учащихся.

1. Книгу о В. В. Виноградове.

<...>

6. Заметки дилетанта в «Новый мир».

7. Прозу — «Псы», «СмД»²⁵.

30 июня. Был на своем участке, ночевал в палатке с Юрой Владиславским — будущим строителем моей дачи. Окончательно договорился, задаток внесен, пути назад нет, строю!

Сегодня встал в 5 утра — надо и наукой заняться, не все же пни корчевать да из болотной жижи гнилые пни таскать! <...>

6 августа. Весь июль — в тяжелой работе в газетном зале; в день просматриваю 15—20 газетных подшивок. <...>

Вышла моя статья «Предметный мир литературы» в сб. «Историческая поэтика». Ну и что? Кто заметит, что это совсем новое?

Л. в Дубултах. Дачу мне строят медленно; езжу туда каждую неделю, разобрал завал бревен и веток, обрубил сучья. <...>

11 августа. 9—10 был у Вятя — в его деревенском доме во Владимирской обл. Кольчугинского р-на. Настоящий деревенский — купили у кого-то из местных в деревне, из которой коренные жители почти все разбежались. Русская печь, низенькие притолоки, старые стулья, сеновал, сарай. Все, как в нашем детстве, — тех, кто приехал к Вятю на 50-летний юбилей: Жинов, Крючков, Лейко, я. Приехали на машинах. Пили, пели — больше всего мы с Жиновым. Косили — тоже мы с Жиновым. Читали свои стихотворные поздравления — тоже мы с Жиновым. Он оказался мне ближе по духу и пониманию поэзии, чем друзья-мушкетеры Лейко и Пономарев. Отдохнул душой от своего одиночества последних недель.

27 августа. <...> Квартира без Л. пуста; вообще тоскливо что-то. И давно.

24 сентября. Вот и лето прошло. Захотел стать собственником. Где он, дом?

30 октября. Таганрог. Только здесь, в гостинице «Таганрог» нашел полчаса, чтоб записать кое-что. <...> Во вторник 28-го ездили с

²⁵ Так обозначал А. Ч. в своих записях первоначальное название романа — «Смерть деда».

Янисом на Истру, крыли олифой дачу. Выяснил, что сумма расходов превышает предполагаемую на 800—900 руб. Где взять такую сумму?

Приехав, узнал, что пришла верстка книги о Чехове в «Просвещении». Во вторник же читал до 4-х ночи, потом — с 7.30 утра, потом в метро, потом в институте, где оформлял командировку, потом туда приехала Л. и повезла верстку в «Просвещение». В ту же ночь, с 28 на 29-е, читал еще верстку к статьям в сб-ке Эйхенбаума. «Не находите ли Вы, Женя, что что-то густовата нынешняя осень»²⁶. — «Да, густо».

30-го в 12.00 зашел в вагон и свалился на полку, проспав часов до 6 вечера.

В Таганроге сегодня был в музее, смотрел новую экспозицию.

Чехов, Чехов. Быть может, я смогу когда-нибудь сказать перед его тенью, перед его духом: я сделал для Тебя все, что было в моих силах.

20 ноября.

По радио: «...достичь 5000 л. молока в год от каждой коровы...» Как знакомо! Это же я слышал в детстве, в юности... Шли годы — двадцать, тридцать, сорок — а все еще собираются надаивать те же пять тысяч...

7 декабря. <...> Слова Вс. Рождественского: «Никого не обижающий ум». Слово найдено!.. Далеко — ох далеко! — не про всех, с кем так тесно я общался в последние три недели, можно это сказать.

Щенков (9) раздали и продали на Химкинском рынке — по 3 р. Точный расчет: если хозяин отдает даром — товар бросовый; 5 р. — уже много; 3 же — не деньги. Первую партию Маня продала за 25 минут.

Оставили одного серого в яблоках по имени Буцефал; сейчас сидит у меня на коленях и пытается грызть диссертацию Н. К. Бонецкой об образе автора.

На диване сопит Жука, на коленях теплый Буцефал, думаю о теории; и мир впервые за последние месяцы снизошел на душу, замороченную кому-то, может, и нужной, но не мне — суетой конференций, ученых советов, заседаний.

11 декабря. О, как беспощадно прав Чехов: в жизни нет никаких событий, все идет как идет, и не события движут ее, а что-то другое,

²⁶ Женя — здесь и далее Е. А. Тоддес, наш с А. П. соавтор по подготовке изданий Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и др.

неуловимое. Как я хотел напечатать «Предметный мир литературы» — и не надеялся (где?), и мечтал. Но вот работа вышла — и что же? <...> 12 лет (а с выхода его рецензии — 15) мне портит жизнь Бердников, но, боюсь, когда он уйдет, это тоже не окажется событием, а вольтерса в общее мелькание дней.

28 декабря, воскресенье. Лыжи, снег, лес — и на душе нет «тоски и злобы». Почему я об этом забываю и не прибегаю к этому целительному средству?..

20 лет тому назад умер дед, человек, которому я более всего обязан своим миропониманием.

<...>

30 декабря. <...> Занятия не движутся. Веду жизнь писателя: люблю природой, читаю и пишу стихи, размышляю, делаю заметки в записной книжке...

31 декабря. <...> Последние события²⁷ вселяют надежды, впервые после 68 года. Целое поколение, возросшее в застойное брежневское время, возмужало с отсутствием каких-либо надежд. Да и наше... Неужто и на наш закат печальный — неужто еще будет что-нибудь вроде 60-х годов?..

1987

Из записной книжки

21/I-87

Когда приходит тебе в голову мысль, которая кажется тебе новой, если не забьется твое сердце и не окатит тебя горячей волной, — значит ты не ученый и брось заниматься этим.

* * *

Несмотря ни на что по теме «30-е годы» основной историей нашего государства, канвой этой истории, ее внешностью, образным рисунком, тем, что входит в учебники, останется та история, которая запечатлена в газетах, фильмах «Веселые ребята» и «Волга-Волга», песнях Дунаевского, Утесова, Шульженко, хроникальных кадрах Горького на трибуне I съезда писателей, встречи Чкалова и челюскинцев. А о лаге-

²⁷ Возвращение академика Сахарова из ссылки в Горьком.

рях, замученных и расстрелянных миллионах будет несколько абзацев — подобно тому, как историю Египта мы знаем по истории царей, а про неизвестных строителей пирамид знаем только одно: они были, они мучались и гибли, ими построили. Такова сила архитектурного, визуального памятника, документа, запечатленного сиюминутного события. И даже сила фальшивого фильма, сделанного талантливым приспособленцем. В конечном счете остается только оно, а все реконструированное, извлеченное из забвения, воссозданное постфактум — все это, войдя в историю, никогда не станет ее доминантой — событийной, картинно-образной, музыкальной. Особенно это касается *искусства*.

Речь не о том, что Дунаевский — Александров — Орлова остались в сознании современников и трех-четырёх последующих поколений как образ эпохи потому, что их вбивали, а другого не было, — а о том, что и у тех, у кого рядом есть другое знание, все равно в качестве почти подсознательной доминанты существует вот эта, образованная, созданная фильмами и музыкой.

Из дневника

14 февраля. Просматривал «Мир Чехова». Новое здесь то, что последовательно проведен принцип сопоставления с другими писателями. Ни одна особенность Чехова не рассматривается, как это обычно делается, в себе самой, без сравнения с тем, что было до и вокруг.

4 марта. Я впервые на общеинститутском открытом партсобрании — за 23 года работы в этом заведении. <...>

6 марта. Вчера собрание в институте было продолжено, выступило еще человек 12 <...>. Я построил речь на том, что роль *ученого* в ИМЛИ сведена к нулю, что между печатным станком и продукцией *ученого* стоит масса инстанций, и из-под каждой надо выбраться. Рассказал, как было в Российской Императорской Академии наук — то, что рассказывал мне ВВ., — как к ординарному академику приставляли наборщика, и академик передавал рукопись непосредственно ему. «Я не вижу причин, по которым С. С. Аверинцев должен кто-то редактировать. Правда, могут сказать, что Аверинцев не академик. Но в том, что Г. П. Бердников член-корреспондент, а С. С. нет, С. С. не виноват. <...> Почему администрация должна указы-

вать Ю. В. Манну, какие труды он может открыть по Гоголю, а какие закрыть? Почему? Она должна это *спросить* у Ю. В. Манна!»

16 марта. 10-го, во вторник, был у Н. М. Виноградовой, принес «Мир Чехова». Была очень тронута моим посвящением В. В.²⁸

17 марта. Зря я сержусь на наш отдел русской классической литературы ИМЛИ — на самом деле он мне очень *нужен*: затем, чтоб все время видеть, как *не надо* писать, что такое тривиальное мышление, что значит писание без определенной (какой бы то ни было вообще) методологии, — видеть это воочию, еженедельно.

1 апреля. Я — сам о себе: у него было стремление к предельной ясности в мысли и изложении; вера в то, что главное в художественном мире можно определить в 2-х—3-х фразах; только концепцию мира художника он считал заслуживающей вниманья.

6 апреля. В чем ложь фильма Соловьева «Чужая Белая и Рябой» — при похожести многого? В той жестокости, которая заливает, затопляет жизнь мальчика и которой он просто не мог бы вынести. И такой жестокости в той провинциальной полудеревенской жизни просто быть не могло: как и всякая *природная* жизнь, она разветвлена, растекается, там есть природа, купанье, лес, поле, огород, покос, лопухи, сад, вечера, звезды, рыбалка — да мало ли чего еще, даже две-три вещи из этого набора достаточно, чтобы фильм стал другим. Но этого нет. Жизнь Рябого напоминает замкнутую жизнь мальчика с Арбата, не выходящую за пределы колодцев московских дворов. Автор знал провинциальную жизнь, но то ли забыл ее, то ли наложил на те впечатления городской опыт так прочно, что они исказились до неузнаваемости. Открытая жизнь провинции сжата в комок жизни людей из подполья. На самом же деле эти дворы все время продувались степным ветром²⁹, однозначной жизни не было. И инвалиды были всякие — были и веселые пьяницы. Нарушение пропорций — самая опасная ложь.

²⁸ В книге А. П. «Мир Чехова. Возникновение и утверждение» (М., 1986) — посвящение: «Памяти моего учителя Виктора Владимировича Виноградова».

²⁹ Действие фильма происходит в 1946 году в маленьком городке Западного Казахстана.

7 апреля. Лира Долотова сказала, что самое главное в моей книжке «Чехов в Таганроге» — критика текста воспоминаний Мих. П. и М. П. Чеховых и трезвые слова про чеховскую семью.

— А то ее настолько заслуживали, что даже уже Сергей Михайлович [племянник Чехова] какой-то герой, не говоря уж о Марии Павловне.

10 апреля. К записи от 6 апр. по поводу к/ф «Чужая Белая и Рябой»: это хорошо понимал Чехов, в своем «Ваньке» дав едва ли не больше светлых детских картин, чем эпизодов беспросветной жизни бедного подмастерья.

4 мая. 30 апреля были с Л., Маней и Янисом у Наташки и мамы — мамин день рождения. Юра рассказывал о ростовском деле — преступнике, убившем 38 женщин (с насилием). 1—2 занимались. 3-го с мамой и Наташкой ездили на могилу к отцу. Мама: — Ну, здравствуй, Павел Иванович Чудаков...

Звонила редактор из «Просвещения» — вышла «Биография Чехова» — моя третья книга за этот год.

30 мая. С 25 по 29 был в Вологде на конференции по поводу 200-летия Батюшкова. <...> На открытии памятника Батюшкову вологодский поэт Коротаев говорил про «вредителей», которые мешали поставить памятник в этом месте, в вологодском Кремле.

Все это — он, Викулов, Белов — меня сильно разозлило, и на заключительном заседании конференции я выступил, сказав, что вынужден внести диссонирующую ноту в общий хор похвал празднику.

— Я хотел бы сказать о тех скрытых и явных намеках, которые делали на этом празднике писатели, — о лженауке, о вредителях и т. п. По-моему, это недостойно — пользоваться юбилеем, чтобы высказывать такого сорта идеи. И вообще, мне кажется, слово «вредитель» не следовало бы возрождать... и еще две-три фразы на эту тему.

Следом за мною выступил Турбин и в начале сказал:

— Я присоединяюсь к тому, что сказал А. П. Слово “вредитель” — я давно его не слышал, и мне не хотелось бы, чтобы оно звучало со всеми перспективами, которые оно открывает.

После заседания ко мне подошла седая старушка:

— От себя и от имени части вологодской общественности хочу поблагодарить Вас за Ваши слова о «вредителях». Об этом нужно говорить, этого нельзя пропускать.

17 августа. <...> На чеховский конгресс в Англию поехать не удалось. Посмотрим, что выйдет с Германией.

11 сент. 9-го в «Праге» были с Л. на приеме, данном американскими издателями советским писателям. <...> из американцев много, в том числе Элендея Проффер с маленькой дочкой; Л. тут с ней и познакомилась.

Банкет был стоячий — не люблю.

В середине подошел В. В. Иванов, сказал, что в «Жизнеописании Булгакова» Л. его резануло «государь» в авторской речи.

Л.: — Но это же стилизация!

В. В.: — Но все же в авторской речи! Я вообще не против монархизма. Был такой зоопсихолог Вагнер, основатель зоопсихологии...

Л. делает жест в мою сторону — вот кто, де, знает про него. В. В. это не смущает:

— Он печатался до 30-х годов, когда печатание прекратилось. У него есть неопубликованные работы... Он считает, что на пути от животных к очеловечиванию утерялся *вожак*. <...> Еще одно место у Вас есть... Там где про евреев, что Булгаков в юности их избегал. *Сейчас* об этом нельзя... Я когда прочел, подумал: «Ну, пропаганда “Памяти” действует, если даже самые известные и активные деятели культуры поддаются».

Л. возражала (достаточно резко), объясняла. Я тоже сказал, что нужна свобода обсуждения всех проблем.

В. В.: — Я понимаю, что может не хотеться быть в том лагере, что все. Дело Бейлиса... Но *сейчас*...

Всегда это *сейчас*! А когда же можно? Л. говорила, что Иванову не понравится, а мне казалось — он шире.

15 сентября. Вчера на самолетике прилетел в Болдино на XVII Болдинские чтения; долго брели по жидкой грязи в Дом колхозника: четыре человека в комнате, три стула, нет розетки электрической, каких-либо тумбочек при кроватях, плечиков-вешалок, мусорной корзины, воды в единственном умывальнике. Розетка — одна на этаже, для телевизора; ходим туда включать кипятильник для чая и электробритву. Купив килограмм гвоздей, набил таковых в стенных шкафах. Умывался, поливая себе из стакана, у крыльца.

8 ноября. 29-го (кажется) был у нас Эйдельман. Подарил две своих новых книжки. Поговорили о текущем моменте. Подарил ему «Биографию Чехова» — и через несколько дней по телефону:

— Я тебя держал по научной части, а в тебе вон какие таланты открылись. Замечательно написано, какой стиль! <...>

30 декабря. Год внешних успехов — вышло 3 книги, был в Германии и Голландии (до этого за 10 лет директор ни разу не пустил никуда), достроил дачу. Кошмарно много времени ушло на общественную борьбу <...>.

Работал мало весь год. <...>

1988

2 февраля. 02 часа ночи. С Л. и Женей Тоддесом распили бутылку грузинского вина за мое 50-летие. Почему-то вспомнилось 2 февр. 1947 г. — календарь, дед. 40 лет тому.

3 февраля. Вчера на юбилей пришли старые друзья: Вят с Тамарой и Таней, Юрка Лейко, А. Крючков, Г. Жинов со Светланой; Наташка с Юрой, Инна³⁰, Маня с Янисом. С Генкой Жиновым знакомы — страшно сказать! — с 1947 года! Но все еще живы, здоровы...

12 апреля. Закончил воспоминания «Спрашиваю Шкловского». Сначала было очень тяжело — чуть не плакал. Потом ничего.

16 ноября. Вчера были с Л. в изд. «Книга». Т. Громова просит пролонгацию на мою книгу о Чехове. Когда мне ее писать?.. А написать все же надо.

26 декабря. Такая круговерть, что и записать некогда. <...> Набегают и новые доделки — ненужные — по уже сданным работам. Дима Урнов берет мой мемуар о Шкловском, но хочет, чтобы я изменил начало — что-то переставил сюда из конца! Лакшин хочет, чтоб я переделывал свою публикацию о пародиях Чехова; статья ему нравится, но сами пародии публиковать не хочет, они, де, порочат Чехова! Идиотизм не кончается.

³⁰ Младшая сестра М. Чудаковой И. О. Мишина.

1989

3 января. Вчера на дне рождения у Л. были: Саша Осповат, Л. Гудков и Б. Дубин, Е. Тоддес, Ю. А. Молок, Ю. Карабчиевский, который много рассказывал о геноциде армян в Сумгаите. <...> Говорили о Гайдаре и все сошлись на том, что «Судьба барабанщика» передает атмосферу 1937 года и вообще талантливая вещь. Потом — о Мемориале и все вокруг.

19 января. И опять Виноградов! Не отпускает покойник. Виктор Владимыч, я потратил на Вас столько лет жизни, а сейчас я хочу заниматься своей наукой, не Вашей! Или Вы считаете, что я еще не отплатил своему учителю?

Дописываю предисловие к 1-й книге VI тома, которого бóльшую часть написал в Малеевке, еще 5 лет назад. Одновременно думаю над заявкой по поводу 2-й книги этого тома, которую тоже буду делать я — больше некому! — и скоро: уже в следующем году, Боже мой! <...>

А что делать с книгой о ВВ? Опять же — если не я, то кто ее напишет? Так — никто, разве что позже, иные поколения, но это уже будет другая книга, они не напишут о том, что надо написать в связи с ВВ и его феноменом как великого ученого в тоталитарном государстве.

6 апреля. Говорил по телефону с Юркой Лейко — делал ему втык. Хотя что волноваться после разговора с другом детства, тем более, что он со всем согласился и все признал, — но вот поди ж ты. Неловкое чувство, что *на кого-то надавил* — не покидает. И победа его не уничижает, а скорее наоборот. И так всегда, буквально так: «мне неудобно, неприятно, муторно, что я заставил вас подчиниться своей воле. Так лучше, так нужно, я прав, я и сейчас не отказываюсь от своих действий, но мне все равно тяжело». Что же делать, что делать?..

7 апреля. Да, в обществе жить с таким настроем невозможно <...>.

Вечер. А вот и Толстой подоспел на эту тему: «Вечная травля, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен смочь думать выйти хоть на секунду ни один человек.... Мне смешно вспомнить, как я думывал <...>, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно, все только хорошее. Смешно! *Нельзя...* Чтобы жить честно, надо рвать-

ся, путаться, биться, ошибаться..., бороться... Дурная сторона нашей души и желает спокойствия» (письмо к А. А. Толстой 17—21 окт. 1857 г.).

Но только при этом спокойствии у меня получается что-то путное, а в суете и борьбе — поверхностное и среднее.

? апреля. <...> Из письма служащего ж/д станции Астапово П. Алексеева — когда Лев Толстой проходил через зал ожидания, «все как-то сразу встали..., а в проходе все бывшие там обнажили головы... Принесли его небольшой багаж. Многие прикасались руками к вещам этого человека». Как понятно! Как понятно!

15 апреля. Завтра лечу в Зап. Берлин — читать лекции <...>. Никуда не хочу лететь, хочу заниматься Толстым (предисловие к книге А. Л. Толстой закончил и последние дни так хорошо работал!) и вообще сидеть в Беляево. И в Америку не хочу в мае.

29 ноября. [Известие о смерти Натана Эйдельмана]. Узнали часов в 12, сейчас 2, до этого не мог взять перо — руки дрожали, Л. давала лекарства. Что-то много смертей. Но ни от одной — кроме Шкловского — не было так тяжело.

31 декабря. <...> Какой был год плохой. Умерли Каверин, Храбровицкий, Роскина, Натан (Твердохлебов, Гуральник, Над. Онуфриевна, Полина Овчарова). Сахаров.

1990

Из записных книжек

16.8.90.

Босоногое детство. Главное — именно в этой босоногости в прямом смысле. Путь домой, когда не торопишься (когда из дому — на озера, играть в футбол — бежишь) — целая гамма <приятнейших> острейших ощущений: после каменистой или жестко-кочковатой дороги — вдруг — ближе к обочине — удлинённый островок черной горячей пыли. Сойдешь с дороги — мягкая короткая прохладная травка. Дома — тоже прохладные, но по-другому — свежавымытые и выскобленные ножом желтые деревянные полы с теплыми — снова — оконцами на них от солнечных лучей.

* * *

16.9. 90

Зачем я делаю эти записи? Вот и другие делают — «Мгновенья», «Затеси», «Камешки на ладони», а потом вся страна смеется над этими мгновеньями.

* * *

Когда-нибудь все поймут, что надо оставить всё и спасти главное: воздух, воду, землю. Но будет или уже поздно, или сопряжено с таким напряжением для нынешней цивилизации, которого она не вынесет.

* * *

Размеры преступления советской власти перед филологией как-то забываются, но всякий раз поражают в каждом конкретном случае. Некрасоведение уныло и бледно, и едва ли не лучшая статья после Эйхенбаума и Тынянова — Шимкевича 1929 г. — их ученика, тоже формалиста. А, видимо, был рядовой ученик. Но сколько поставил чисто литературных проблем. И сколько бы было этого, если б не прикрыли издания вроде «Поэтики». Все наше л/ведение (история литературы) было бы иным.

Из дневника

31 декабря. Впечатление исчерпанности; закончился какой-то период нашей истории. Демократия, как можно было предполагать, но не хотелось верить, оказалась слаба, гребем все правее и правее³¹; уж не сам ли Горбачев во главе этого поправления?..

Мой год прошел в разъездах — 5 месяцев только в Америке! В 91-м не поеду никуда, хоть и зовут.

Хотя и сдал свою книгу, год был средней плодотворности.

1991

12 апреля. С помпой празднуют день космонавтики — 30 лет полета Гагарина — Терешкова и другие выступают с ностальгическими речами о 60-х годах.

³¹ Тогда «правое» и «левое» еще употреблялось в значениях, противоположных сегодняшнему: «правее» означало — в сторону *советского*.

Все время думаю о своей прозе. Колебания: рассказы — роман? Видимо, все же роман: не хватит сил на рассказы, самую трудную форму в литературе — на композиционную завершенность этой формы. Роман — гораздо более простой жанр. Романов много, «Дама с собачкой» одна.

1992

4 октября. Современные российские интеллигенты успокаивают друг друга:

— Все писали что-то, лицемеря, поддакивая власти, то, что сейчас не хотели бы перепечатать.

Не все! Я могу перепечатать сейчас — и когда угодно потом — каждую свою строку, и мне не стыдно ни за одну!

3 ноября. Пришла сверка моей многострадальной книги «Слово — вещь — мир»³². Л. завтра отбывает в Лозанну, <...> много обговаривали ее доклад о фантастике.

1993

4 января. <...> 31 — го были с Л. у мамы с Наташкой. <...> 2-го на дне рождения у Л. были: Алеша Берелович, Лазик Флейшман, Марк Харитонов, Костя Поливанов, Женя Тоддес, Юра Манн. <...> Марк поднял тост «за культурную ячейку — дом Саши и Мариэтты, которая все годы...» и проч. Было удивительно мило, хотя несколько тихо.

1994

13 августа, Истра. С 18 июля — ни дня умственных занятий, тяжелые дачные работы, одиночество, спокойствие. <...> На даче проделал такое количество работ, что, глядя теперь, удивляюсь: это я? один?

28 сентября. Вчера слушал речь Ельцина в ООН. Есть пара фраз из текста Л. Она: «Если осталась пара фраз — уже много!»³³

³² Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. Очерки поэтики русских писателей. М., 1992.

³³ С осени 1994 года (до 2000-го) М. Чудакова была членом Президентского совета; одно из заседаний (они шли всегда под председательством

21 октября. Вчера приехал в Badenweiler на II международный чеховский конгресс. <...>

...Забытое ощущение ухоженного немецкого городка!..

* * *

Со своего балкона в отеле «Sommer» Чехов видел термы в ложно-римском стиле.

<...> Сначала ходил к пруду с лебедями, потом мог только смотреть — кусочек пруда был виден с его балкона. Теперь все заросло, и пруда уже не видно, как не видно моря в Ялте, на которое смотрел с балкона Чехов.

В курпарке было то, что он любил: прекрасная природа, но облагороженная двухвековыми стараниями человека.

3 ноября, Истра. Утром пилил с ребятами березу, свалили на провод³⁴, оборвали, сажу при керосиновой лампе.

Похоронили Асю Берзер. В крематории Донского монастыря были Люша Чуковская, А. Вознесенский, Клара Домбровская³⁵ (встретили ее, когда подходили с Л. к воротам), Н. Солженицына и др. (всего человек 40). Говорили Рыбаков, Войнович, Л., еще кто-то. <...>

1995

17 января. Звонил Вят: умерла Клава Свешникова, моя первая любовь (7 января).

19 января. Клава, которую я помню 13-летней девочкой, кому я писал первые записки, кого первую поцеловал, самая жизнерадостная, самая здоровая из нас всех, — умерла! — представить это невозможно.

13 февраля. <...> 3-го на Истре — мой день рождения. Были: Осповат, Вероника Долина с мужем, Гаев, Оля Майорова. <...> Осповат в тосте сказал:

Президента) было посвящено подготовке выступления в ООН; Б. Н. записывал предложения членов Совета, показавшиеся ему интересными.

³⁴ Я предупреждал, но сказали: «Что ты, Палыч! Ляжет, как миленькая!» И легла — на линию электропередачи (прим. автора).

³⁵ Ю. О. Домбровский посвятил Анне Самойловне Берзер свой роман «Факультет ненужных вещей».

— В начале 70-х гг., когда я размышлял над проблемой: если выпил с утра, пить ли еще и в обед, мне попалась «Поэтика Чехова», и я увидел, что бывает другое литературоведение, можно писать вот так! И я пошел в науку.

30 марта. <...> Сегодня был у Светы, дочери бедной покойной Клавды. Жаловалась на одиночество — сидит с двумя детьми, хотела поближе познакомиться именно со мною.

— Вы были ближе всех к маме, она про Вас много говорила, и тетя Маша (сестра Клавды) тоже советовала с Вами познакомиться.

8 декабря, Истра. Фильм о Вавилове. Как мы по крохам лет 20 назад добывали информацию о нем, впитывали и сострадали великому ученому. Теперь — пожалуйста, всё о нем, и уже играет мерзавца Лысенко как мерзавца хороший актер. Но впитывает ли кто из нынешних 35-летних это так, как мы тогда?.. Знание без труда и знание, добытое буквально кровью и потом?..

Кадры голода на Украине — собирают и воруют колоски, ребенок ест червяка... Что бы мы тогда отдали за такие кадры на всесоюзном экране?..

10 декабря, Истра. Вывели 10 венцов бани, к следующему моему приезду обещались довести до верха и положить лаги — из пятидесятки (коей 1,5 куба), а не бруса — так договорились.

Во сне: приснились стихи:

Вы пойдете, вы пойдете
К Леониду Ильичу,
Вы найдете, вы найдете
То, что я найти хочу.

И под утро:

А дома ждет тебя
Негр в автобусе.

Кому прочесть — не поверят.

15 декабря. Истра, куда вчера приехали с Янисом, по дороге купив рубероид, утеплитель, фанеру. Сегодня начинают ставить стропила — «выше стропила, плотники!» <...>.

18 декабря. Первая неожиданность выборов: ЛДПР набрала еще больше голосов, чем в первый раз! Значит столько дураков в стране.

Л. дала прочитать очень хорошую статью Стреляного в «Русской мысли», где он задолго до выборов предсказал этот феномен, объясняя его подсознательно-патриархальным чувством русского народа. В связи с этой статьей Л. мне:

— Ты бы мог писать статьи не хуже этой. Литературный талант, стиль у тебя не меньше, чем у Стреляного, да и знание русского мужика не хуже. Вон как ты рассказываешь о своих беседах со строителями и мужиками из Алехнова.

24 декабря, Истра. Как забываются полезные патриархальные привычки: все утро топил печь, но забыл поставить на нее чайник, который пришлось кипятить потом особо. Забыл также, что надо сделать завалинку из снега, — немудрено, что от пола веяло холодом!

Мело, мело по всей земле во все пределы... Тишина, одиночество, покой.

<...> ...Снег шел до вечера; разгребал; надо бы подшить валенки — займись в следующий раз.

Вычитываю свою статью о Виноградове «Арест, тюрьма, ссылка, наука». Печально. В каких условиях работали люди. А мы все жалуемся.

1996

[Первая половина года прошла в разъездах — США, Ялта, Пушкинские горы, Петербург. Летом А. П. обосновался на даче. Было решено принять приглашение преподавать с осени два-три семестра в Южной Корее. Отсутствие хороших библиотек и сравнительно небольшие деньги надеялись компенсировать тем, что именно там, вдали от столичного обилия дел и обязанностей, он напишет наконец роман...]

2 июля, Истра. Приехав, парился впервые в собственной бане. Ух!

4 июля. <...> Сегодня — радио — перевес у Ельцина 13 %. Хоть и надеялись, но все же были волненья. <...> Л. вернулась из Горно-Алтайска.

6 июля. Сегодня приехал на рафике на дачу — завез пушкинистику, чеховскую энциклопедию и проч. — удастся ли поработать?.. <...>

11 июля. Как обычно, на даче — только физический труд. Соорудил стену из гигантских валунов. Сделал аллею. Правда, два раза был на

водохранилище. Уже три дня жара 30—35°С. С мамой разговариваем о прошлом — рассказывала о своем деде, моем прадеде Длусском-Склодовском, который проиграл имение, отчего прабабка вынуждена была давать семейные обеды, где и познакомились мои дед и баба.

Читаю дневники Троцкого. Не отпускает от себя история этой злодейской партии — интерес к ней во мне все еще не угас, — странно.

22 июля. Все лето — дача. <...> Работал целыми днями от зари до зари. Пока еще могу.

6 ноября 1996 г. Вчера приехал в СПб. <...>

8 ноября, СПб., г-ца «Москва». Был у Д. С. Лихачева в Комарово <...>.

9 ноября. Вчера приехал из СПб. <...>

10 ноября. После написания за 10 дней мемуара о ВВ в 2,5 а.л. (правда, были заготовки), когда работал как раньше — по 10—12 часов в сутки (могу еще, оказалось) принимаю решение: с ноября (с Кореи) начинаю серию КНИГ — и только книг, не статей! — и к 2004 г. напишу их:

1) роман (в Корее; ну, это как пойдет); 2) Лекции о Пушкине (или ЕО — курс для печати); <...> 9) Книгу о ВВ.

15 ноября, Сеул. <...>Квартиру дали из двух комнат с огромным холлом. Сегодня у меня первая лекция. <...>.

21 ноября. Читаю лекции, водят к высоким университетским чинам <...>.

Начал писать роман — непривычное занятие.

24 ноября. Вчера читал корейцам о многосубъектности слова в «Евгении Онегине», стилистической реформе Пушкина и проч. — крайне трудно изложить это знающим русский язык.

Роман движется плохо — куски сами по себе как будто ничего, но композиция их!..

30 ноября. <...> Вчера была моя вторая лекция по медленному чтению «Евгения Онегина» — мечта с самого начала моего препода-

ванья. За две лекции дал толкование примерно 1/3 строф. Корейцы клянутся, что понимают. Надо такой же курс по «Онегину» читать своим, в Москве.

Пишу прозу.

2 декабря. Описываю депортацию чеченцев и ингушей — по впечатлениям детства. Все это надо было описать и напечатать 15 лет назад. А теперь все всё знают и об этом пишут — кто поверит, что я все знал и так же думал об этом и 20, и 25 лет назад — в сущности, всегда, с самого детства. Не опоздано ли?..³⁶

8 декабря. М. б. осуществить чеховский замысел — писать роман в виде отдельных самостоятельных рассказов? Что-то все сваливается в эту сторону.

Из писем

[Начало декабря 1996 г.]

Пишу роман!

А. Чехов

...Обещали какую-то культурную программу — корейскую свадьбу и проч. Но пока отстали, чем я доволен — сижу, пишу, как явствует из эпиграфа, роман (=хронику=мемуары=серию записей), боюсь, что его постигнет участь чеховского романа (он его писал в виде отдельных главок-рассказов, а потом вообще бросил). «Не справляюсь с композицией». Т. е. отдельные куски вроде и ничего, но как все это соединить?.. Трудно сочинять высокохудожественную прозу. Все неприлично, начиная со стола, на котором лежит только стопка чистой бумаги, а все остальное я за ненадобностью убрал, но стал чувствовать какой-то неуют и потихоньку опять все натащил. Нашу с тобой любимую серую бумагу вынужден был оставить в аэропорту вместе с книгами, а тут продается такая роскошная, что, чувствую, моя проза ее недостойна.

Библиотека университета бедна — не то слово: просто никакая, даже у проф. Кима (главного) в кабинете — лучше. Но т. к. я теперь прозаик, то этот недостаток не чувствую. Ежели переменить профессию, то можно не токмо что в Сеуле, а на необитаемом острове писать.

³⁶ Художественное не опоздано никогда. 14/IX — 98 (прим. автора).

<...> Я почему-то взял мало рубашек под галстук — всего 3. Без перерыва их стираю. А купить тут на мой размер — нечего и думать. Когда назвал № ботинок в магазине — весело смеются. Говорят, что какие-то на нормальных неллипутских людей размеры есть в магазинах на американской базе. Туда еще не добрался.

12.12.96 в Сеуле

<...> заранее поздравляю тебя — вдруг не дойдет, если позже, — этой высокохудожественной открыткой. С днем рождения тоже — они в этих случаях посылают именно ветки — чтобы жизнь шумела, полная цветов и листьев, как писал известно кто. Я теперь тоже — пусть считается — писатель, создаю маловысокохудожественные тексты, а может средневысокохудожественные — неясно, только К <...>³⁷ скажет, прочитав. Пишу — ты будешь смеяться — за исключением двух дней недели каждый день! И — ты опять будешь смеяться — какие-то даже юмористические куски, временами кажется, что даже ничего, сам смеюсь, во всяком случае. Есть и серьез. «Рождался писатель универсального художественного и стилистического диапазона» (Ч-в А. П. А. П. Чехов. Биография писателя. М., 1987.). Все непривычно. Не надо библиотек. Пустой стол — только стопка бумаги, да черновичок слева (а то и его нет). Какая-то странная свобода в голове — не связанность каким-то материалом, оглядкой, ссылками, цитатами... Про что ни начну — что-то помню, знаю: хучь про кочегаров, хучь про лошадей... Может быть Каверин и был прав, когда советовал мне писать — «вы же много знаете». Во всяком случае, это — единственная область, где может быть востребовано все — от биологии до спорта, если вообще кому-нибудь нужно, чтобы это было востребовано. Твой телефонный совет — писать приятное, что идет, что пишется — с благодарностью принял. Ведь мы привыкли в своей науке: не только что хочется, но и что надо. М. б. в искусстве не так?.. Странно, но помогает мой небольшой мемуарный опыт, даже не знаю в чем — в каких-то приступах к темам, что ли. Вот расписался про это — привыкай, мы, писатели, любим поговорить о своих творческих задумках — проблемах — трудностях. Посылаю экран писания — как документ.

Лекции идут успешно. Почти 6 часов посвятил медленному чтению — комментированию Е<вгения> О<негина> — вопреки сове-

³⁷ «К <...>» — здесь и далее — домашнее именование адресата.

там разных экспертов, что корейцы, де, ничего не поймут. Прекрасно поняли и говорят, что это им полезней всего остального — такой тотальный лингво-стилистический и культурологический комментарий. Прошел с ними ½ I главы, рассказал им, что Щерба вступление к «М<едному> всаднику» анализировал целый семестр, — ахали, восхищались и тоже захотели.

В Сеульском университете (это не мой, другой), где я читал одну лекцию, один аспирант сказал, что не думал, что ему выпадет такое счастье — разговаривать с великим ученым. А профессор в ун-те Ён-се сказал, что они весь семестр изучали в семинаре сначала «Поэтику Чехова», а потом «Мир Чехова». Как рассказывал Шкловский, когда студент в Праге заплакал, увидев его... А еще один аспирант сказал, что был уверен, что я давно помер, т. к. «Поэтика Чехова» вышла еще до его рождения. <...>

Покой снизошел на мою душу на этом краю света — последнее время я был нервен, прости меня за это, но теперь как-то спокойно.

Экран писания романа (г. Сеул)

Нояб.

14(15) — 4 стр. высокохудожественного текста

18 — 1 стр. не -----« -----« -----

19 — 2 стр. художественного текста

20 — 1 стр. просто ---«----

21—26 — 3 стр. среднехудожественного текста

27/XI — 2 стр. так себе текста

28/XI — 2 стр. высокохудожественного текста + 1 стр. антихудожественного текста + 3 стр. малохудожественного.

29/XI — 2 маловысокохудожественные стр-цы

30/XI — 1 стр. так себе текста

Дек.

1 /XII — 3 стр. неясного качества

2/XII — До обеда — 3 стр.: хорошо, но не ой-ёй-ей.

После — ½ стр. высоколирич. текста

1 стр. — ничего себе.

3/XII — 1 стр. (про кочегара) — высокохудожественная.

4/XII — 1 стр. народного диалога, м. б. и смешного, но неясно, нужного ли. + 3 стр.

5/XII — 2,5 стр. — непонятно.

8/XII — 1,5 стр. + 1 стр. событийного повествования после разговора по тел. с Л.

9/XII — 1,5 стр. про ООН — средневысокохудожественных.

10 /XII — 2 стр. о Ваське — высокохуд. юмористич. текст.

11/XII — те же 2 стр. о Ваське, полностью переработанные — еще более высокохуд. и еще более юмористич. текст + 3 стр. дальнейшего юм. текста.

12 /XII — с утра непонятно насколько худ. 2 стр.

Из дневника

14 декабря. 7-го в ун-те «Ён-сё» — конференция «Литература и лингвистика», читал там доклад «О принципах анализа художественного произведения» — о своей теории уровней, но больше всего о предметном мире. <...> Вечером — концерт камерного хора <...> — Christmas Hymn, Monteverdi, песни Шумана, Schonberg — Friede auf Erden — все на языке оригиналов, прекрасно. <...>

Из писем

17.12. 96.

<...> Работается хорошо. Стало ясно: всю жизнь я жил в клетушках, которые меня сдавливали. Тут брожу по трехкомнатной полупустой квартире и думаю. <...> Может, я, как Гоголь, буду писать роман в прекрасном далеке?.. Неясно, правда, что из этого выйдет, только К<...> скажет, стоит ли. Не говори никому больше про мою прозу <...>. Не стоит.

<...> Иногда кажется, что вроде и ничего... Не хуже, чем у NN и XY³⁸... Правда, выяснилось, что я ненужно хорошо знаю русскую литературу — все время есть опасность свалить то в «Отрочество», то в «Жизнь Арсеньева». Неуж Тынянову это не мешало?

Из дневника

23 декабря. <...> 20-го, в пятницу, заболел, t — 39,3. Все испугались. Сказал им, что у меня быстро пройдет, — не поверили. 21-го уже была утром 37,3, а вечером — нормальная и 21-го же в 13 часов уже читал заключительную лекцию по исторической поэтике <...>.

³⁸ Так в тексте письма.

...Целыми днями пишу. Чукча теперь не читатель, чукча — писатель. Все идет в дело! Все, что знаю. Странное чувство. Все, что выливалось только в застольные и кухонные разговоры, рассказы Юре Попову (когда еще!), Жене [Тоддесу] и др. — все, оказывается, можно перелить в чеканную маловысокохудожественную прозу. М. б. прав был Каверин — и мне давно надо было писать? «Вы много знаете и вам всё интересно — и разное, а это главное», — примерно так он говорил однажды после какого-то нашего длинного разговора. Действительно, интересно мне всё — пока. Надолго ль? Странно думать, что чувство это может угаснуть.

Если писать ежедневно, возникает инерция творчества, так хорошо знакомая мне по науке — и так же знакомо ее иссякание при перерыве хотя бы в два-три дня.

...Это будет последний роман-идиллия — ностальгия по доиндустриальной эпохе, но не патриархальной, как у Ф. Искандера, а русско-интеллигентски-патриархальной, осколок дворянского XIX века.

31 дек.

<...> Читаю Фазиля. Он совершенно уверен, что все это — как шелушат кукурузные початки, как доят буйволиц и едят баранину с аджикой — всем интересно. Буду и я так считать про патриархальную жизнь города Чебачинска.

1997

[Вернувшись в Москву, А.П. вновь писал уже урывками. Дни были отданы академической работе, преподаванию.]

1 марта. Получил главы своего романа с машинки. Видимо, слишком долго изучал Чехова — все слишком кратко — «вроде стуженного бульона», как выражался классик. В главе — 8, 6, 4 страницы. Ну куда годится?..

19 марта. <...> С прозой застопорилось — нового пишу мало, штопаю (добавляю) старое. Л. отдал перепечатанные главы. Очень хвалит.

21 марта, дача. Приехал сегодня днем. Три дня валил снег — по колено. Расчистил, жду завтра Л. с Женечкой.

Набросал план теоретического введения к лекциям по исторической поэтике русской литературы, которое может быть развернуто в отдельную книжку по теоретической поэтике.

23 марта, дача. Вчера приехали Л. с Женечкой. Мы с Л. сразу пошли на лыжах, прокладывая лыжню по полуметровому снегу (оказывается, по снегу в этом месяце какой-то рекорд), а Женечка играла в снегу.

Вечером все втроем смотрели комету, так и в бинокль. Зрелище незабываемое, поймешь наблюдавших комету Галлея в 1812 г. <...>.

29 марта. Насколько проза — даже такая скромная, как моя, — насколько она сложнее литературоведения, сколько в ней странного, подсознательного, необъяснимого.

9 апреля. Не писал прозу недели две. <...> Сегодня, с громадными усилиями почти все разбросав, пописал кое-что. М. б. и напишу что-нибудь стоящее — если Бог даст жизни.

6 мая. <...> Праздничные свободные дни провел бездарно — перебирал бумажки (по прозе), нового ничего не написал. Какой-то ступор. Или так всегда бывает у прозаиков? Привык к науке — сядешь за стол — и как из тюбика идут мысли и страницы.

9 мая. Весь день почти не работал (впрочем, странички 2 написал) — смотрел по ТВ хроникальные и прочие фильмы о войне. Как все это во мне живо, а ведь мало было лет в войну. Видимо, мое поколение — последнее с живым ощущением великой войны. Поговорил по телефону с мамой — о войне. «Этот праздник не сравню ни с каким другим», — сказала она. Вспомнила, что папа не верил в 7 млн. погибших — цифру, которую называли в 45 году. Он говорил, что у нас врут всегда, — погибших было 15 млн. А дед говорил: втрое, т. е. 21 млн. Сегодня сказали — 27. Через войну прошло 40 млн. солдат. Погибла — половина.

10 мая. Сегодня писалось. Если удастся, роман будет свидетельством представителя последнего военного поколения — представителя особого, свободного в детстве от яда советской пропаганды.

Л. звонила из Италии <...>.

12 мая. Перепечатал начало романа, то, что давно лежало в рукописи, первые пять глав: «Армреслинг в Чебачинске», «Претенденты на наследство», «Воспитанница ин-та благородных девиц», «Четвертая сибирская волна», «Клава и Валя». Получилось всего 37 стр. на машинке. Думал: некоторые главы будут страниц по 15—20, а получились — 6—8 страничные главки! Видимо, многолетние занятия Чеховым так въелись в плоть и кровь, что уже органически не могу писать более пространно, хотя материала хоть отбавляй, и Л. говорила (и другие читатели тоже): жалко, что глава кончается, хочется еще.

29 мая. 25-го были с Л. в немецком посольстве, а 26-го (воскр.) — в Доме журналиста по поводу вручения Виктору Астафьеву Пушкинской премии Фонда Альфреда Тепфера. В посольстве общался с Фазилом Искандером, Латыниными <...>, Витей Ерофеевым <...>.

В Доме журналиста было само вручение. Вел Св. Бэлза <...>. Когда уже все выступили, я сказал Л.: «Где же блестящие выступления? Куда все делись?» Вдруг она подымает руку. Бэлза торжественно: «Мариэтта Чудакова!» И выступила лучше всех.

27-го был в Твери, работал в библиотеке <...>.

8 июня.<...> Сегодня с утра занятия идут плохо — за завтраком видел фильм, как целыми стадами отстреливают слонов, которых расплодилось в каком-то африканском заповеднике слишком много. Стадо мечется, не понимая, в ужасе, закрывая телами малышей, но выстрелы гремят и гремят. Жаль, не показали близко стрелков — хотелось бы посмотреть им в лицо.

Вечер. Только расписался, пошел чай пить, включил ТВ — передача, как забивают детенышей тюленей; показали их печальные черные глазки. Ну что ты будешь делать!..

19 июля. 30 июня прилетел в Иркутск. <...> Радику [Лапушину]³⁹ дал почитать две главы из романа <...>. Очень хвалил, сказал, что материал совершенно новый и стиль не повторяет никого, и что он, Радик, всегда подозревал, что я или пишу или буду писать прозу —

³⁹ Радислав Лапушин — поэт и молодой чеховед из Минска; вскоре — славист в американских университетах. А. П. относился к нему с исключительной симпатией и доверял его вкусу.

в моих научных сочинениях всегда были как бы художественные стилистические куски.

10 августа. Впервые за все годы на даче не делаю крупных работ, а — пишу. Живем с мамой, которая варит мне борщи. <...>

24 августа. Приехала Наташа, увезла в Москву маму. Прожили мы с мамой на Истре больше трех недель — вдвоем. <...> Писал прозу; в разговорах с мамой оживил детские воспоминания. Почти все, что она рассказывала, я уже слышал и помнил, но некоторые пронзительные детали для меня были новыми — напр., что тетя Таня в первый год высылки жила в телятнике, что местный сапожник дядя Дёма тоже был ссыльным и проч. <...> Все время поражалась: «И как это ты все помнишь! Ведь лет-то тебе всего сколько было!» Впрочем, сама же вспоминала, что помнит себя с 3-х лет, а хорошо — с пяти. Я — хорошо, видимо, тоже с пяти — со времени завершения Сталинградской битвы: странно, но что-то понимал даже в окружении фашистских войск (кариатура в журнале «Крокодил»).

26 августа. Ходил вчера на водохранилище — очень хорошо, тишина уже осенняя, но тепло, всласть поплавал.

25 сентября. <...> Женя [Е. А. Тоддес] прочитал главу «Землекопы и матросы»; говорит, все достоинства автора сохранились. По-прежнему считает, что сюжет должен быть слабый, проходить лишь пунктиром.

23 октября. Уже месяц как не пишу прозу — первый такой большой перерыв — без видимых причин: текучка, лекции, дачные дела. Последние отнимают много времени — задумал делать забор-стенку из гигантских валунов — как в летнем саду китайского императора в Пекине, который я видел 2 года назад. Задумал — страдай, дурак.

8 ноября. Вчера с Л. были в Большом зале консерватории — «Реквием» Артемова. Второе исполнение в России, первое — в 88 г.

10 ноября. <...> Звонил Ким Хин Тхек из Сеула. В Корею еду. М. б. там меньше будет текучки, звонков и проч. Надо там дописать роман — откладывать боле некуда.

26 ноября. <...> Сегодня вдруг написал кусочек в роман про Анну Герман. Почему приятно писать роман? Погружаюсь в вымышленную, хотя и реальную действительность — в ту, в которой я бы и хотел жить, — а не в этой, в которой живу.

1998

8 марта. Шереметьево-2. <...> С сумкой, набитой черновиками прозы, отбываю в Сеул.

11 марта, Сеул, Дом преподавателя, кв. 801. <...> Написал вчера ночью треть главы «Кооперативный конь Мальчик».

13 марта. <...> Закончил главу о Мальчике.

21 марта. <...> Писание идет хорошо. Утопаю в материале. Закончил главы «Крупный рогатый скот» («Бычаги?»), «В бане и около».

2 апреля. Закончил 6-ю главу (из середины, были черновики) — «Чебачинск, или город детства». Теперь подряд готово 13 глав. Перечитал. Детский мир не муссируется, не подчеркивается специально-детское восприятие — кому это интересно после Толстого? Мне интересен в герое не ребенок, а тот, кто запомнил взрослую жизнь 50 лет назад, т. е. запомнил уже — историю.

6 апреля. Еще раз прошелся по главе «В бане и около». Удастся ли мне показать пронизанность *всей* чебачинской жизни лагерем, ссылкой? Она была, эта пронизанность, была! А то стало модно говорить: страна жила своей жизнью, ходили в парк культуры... Может, в Москве и ходили; в Чебачинске-Щучинске тоже ходили, но Гулаг не давал забывать о себе везде.

10 апреля. <...> Вчера начал главу «Псы». Когда перед отъездом объявил Л., что будет такая глава, она сказала: «Да еще я вот такушенькая была, а ты уже хотел рассказ с таким заглавием написать!» Действительно, замысел такой, как говорит классик, сидит в голове у меня лет двадцать.

14 апреля. Все эти дни вставал рано, сегодня — в 6.00. Закончил главу «Псы». <...>

6 мая. <...> Хожу в спортзал, очень современно оборудованный. Встаю ежедневно в 7—7³⁰. Проза идет вяловато. Хотя согласились мне перепечатать на компьютере «Чебачинск, или город детства», перечел, вроде ничего. Каждый день пишу по одной «заметке дилетанта» — герой мой делал такие записи, хочу собрать их в одну главу эдак на 0,7 листа. Про филологию там мыслей не будет.

9 мая. Оказывается, я хорошо помню этот день 53 года назад. Какое было особое, *чистое* ликование, сколько надежд — увы, не сбывшихся.

Вчера устроил литературный вечер для здешних наших преподавателей русского языка, прочел им главы 3, 7, 10 — в гл. 7 как раз про день Победы.

Отзывы: «Информативно». «— А вы это специально как-то изучали? — Что специально? — Да про все эти хомуты». «Нет психологизма» (Марсакова). «Есть юмор».

26 мая. Заканчиваю главу 22 «В Москве» — про Храм Христа Спасителя, советское кино 30-х гг., Лилю (попытка написать женский характер).

31 мая. За 27—31 мая написал главу 23 «Гибель Титаника». <...> С утра разбирал бумажки — материалы по роману, набросанные за эти месяцы и лежащие в папке «Нрзб». Чего только нет! Чтоб все это оформить... Неуж не успею закончить к декабрю? М. б. к этому времени сделать журнальный вариант и отдать в «Новый мир» <...>?

3 июня. <...> В связи с лекциями перечитал свою «Поэтику Чехова» — давненько туда не заглядывал. Нет, надо, *надо* написать *последнюю* обобщающую книгу о Чехове, куда войдет и экстракт из «Поэтики Чехова» (повествование) и статьи последних лет — хотя бы затем, чтобы читатели не искали их в сахалинских сборниках, «чеховианах» и «Новом мире».

6 июня. 4-го, в четверг, с аспирантами ездили в National Park, где подымались на гору И Сон — местами вверх, цепляясь за канат, — почти вертикальная стена. Горы необычайной красоты.

7 июня. Решил, как герой «Театрального романа», посмотреть, как в современной литературе описывают деревенское детство,

30-е—40-е годы и проч., взял в университетской библиотеке почитать Василия Белова. Знаменитые «Плотницкие рассказы» оказались очень средних достоинств — вкуса маловато, авторские высказывания и внезапные вторжения газетной лексики разрывают повествовательную ткань. А вот короткие рассказы «За тремя волоками» и «Кони» оказались хороши. В «Рассказах о всякой живности» спокойно рассказывает истории про котов, петухов, собак — а я-то сомневался и главу «Псы» порезал на треть! Больше наглости! Возраст мешает. Раньше начинать надо было, дурак.

10 июня, 6⁰⁰ утра. Позавчера *вернул* в главу «Псы» несколько эпизодов — и Л. говорила по телефону, что зря выбросил. <...>

12 июня. Сбросил вчерне главку «Разговоры с черной собакою», но так расстроился, вспомнив бедную мою погибшую Жуку, что бросил — не знаю уж, когда смогу.

14 июня. Вчера сбрасывал и складывал главы. Думал — будет 33, хорошее число, но уже намечается 40 и, похоже, это не предел. Роман — эпопея, как говорит Л.!

15 июня. Л/ведение окончательно маргинализируется. Похоже, скоро я останусь *один*, кого заботит идея «Мир писателя», кто хочет писать работы, этот мир исследующие. Впрочем, и раньше — после стариков, да еще Сережи Бочарова, отчасти Юры Манна (и, конечно, Л. — но это почти «я») я был один, так живо эта идея никого не волновала, спокойно занимались частностями. Идти против всех трудно, но придется.

17 июня. Перебирал накопившееся «нрзб» — целая папка, материалу на несколько самостоятельных глав — но, видимо, придется ограничиться намеченными сорока, иначе все это грозит превратиться в бесконечный процесс.

[В конце семестра А. Ч. прожил несколько дней на острове Чечжу-до.]

...отделенном от южной оконечности Корейского полуострова стокилометровым проливом, считающимся местной жемчужиной и главным курортным местом. Океан прекрасен — те же длинные

волны, что и в Петропавловске-Камчатском, на Гавайских островах и в Лос-Анжелесе. И то: тот же Тихий океан! По берегам скалы из вулканического туфа высотой примерно 50—70 м, совершенно вертикальные...

...Плыть можно, но только боком к волне — время от времени бьет в морду белым гребешком волны; волны до 3^х метров — об этом сообщил какой-то служитель, пришедший специально и сказавший, что по этой причине сегодня купаться нельзя...Океан в такую погоду прекрасен.

Сюда взял обложку главы «Приобретенные признаки наследуются» — про биологию 50-х гг., лысенковщину и прочие мерзости — все всколыхнулось, от ненависти к этому негодяю не могу даже писать.

7 июля, дача. 1-го прилетел в Москву <...>.

2—3 читал Жене Тоддесу и Л. главы из романа «Кооперативный конь Мальчик», «Город детства», «Вдовый угол». Очень одобрили. Женя сказал, что как только возникает инерция литературности, материал всё перешибает. Л. сказала, что тот редкий случай, когда хочется слушать еще и еще и жалко, когда кончается. <...>

На даче живем с Женечкой и мамой. Встаю в 7. Дрова, газон, торф и проч. и проч.

23 июля. За три недели не написал ни строки: или работа на участке, вода, дрова и проч., — или Женечка: чтение с ней, изучение английского, рассказывание сериала «Маленький лорд Фаунтлерой на необитаемом острове» — собственного сочинения. Тренирую ее дважды в день в брасе — большие успехи, толчок хорош, есть скольжение, выдох в воду. Ошибки в работе рук.

<...> Дал наконец маме почитать главы из романа <...>.

Вполне поняла, что это не мемуары: «Ты все смешал» (т. е. обобщил). «Хорошо, талантливо. Юмор — я часто смеялась. И — хороший стиль. Чеховский. Ясный. Я люблю ясный стиль. Когда у меня плохое настроение, я беру Тургенева, Чехова. Говорят: у Толстого сложный стиль. А мне кажется — у него все очень просто излагается... Значит, ты сейчас работаешь над этим? Хочу почитать еще, что ты написал».

24 июля. Мама после главы «Кооперативный конь Мальчик, или Черепашка Наполеона»:

— Ты меня повеселил.

И действительно смеялась во время чтения, хотя многие эпизоды ей известны.

— Все так, как было. Но у тебя получается интереснее, чем было. Как-то увлекательнее, что ли. Вроде что-то немного другое. <Эффект литературы!>

30 июля. Дал маме «Натуральное хозяйство XX века» и другие главы. <...> (Отзывы записал на плёнку:)

— Вообще мне твое творчество очень нравится.

— Что именно?

— Всё, всё. И смешно так. Конечно, оппоненты найдутся, критиковать будут, но ...

— А этот эпизод, когда папа принес графин с водкой, правильно я описал?

— Правильно.

— Кстати, ты помнишь, сколько мне было лет тогда? Шесть?

— Пять или шесть. Как бы не пять или четыре... Наташки или не было или она была очень маленькая. <...>⁴⁰

— Кто вот так вот жил, тому будет интересно... Вот Цветаевой сестра жила в Кокчетаве. И я знала учительницу старую, которая была с ней соседкой. <...> Учительница рассказывала, как она, ничего не умея, сажала и картошку, и рубила...

5 августа. <...> Выучил Женечку плавать брассом — думаю, на уровне 3-го разряда (по технике; выносливости, конечно, еще нет); есть и толчок и скольжение. Классический брасс образца Мельбурнской олимпиады 1956 года! Вот удивится какой-нибудь тренер!

<...> Ничего не пишу — можно сказать, июль отдан внучке.

21 августа. <...> Вчера привез камень, плитку, бордюрный камень. Трудности были *чрезвычайны*.

⁴⁰ Ср. у С. Аксакова в «Детских годах Багрова-внука» («Вступление»): «Будучи лет трех или четырех, я рассказывал окружающим меня, что помню... Все смеялись моим рассказам и уверяли, что я наслушался их от матери или няньки и подумал, что это я сам видел. Наводили справки, и часто оказывалось, что действительно дело было так и рассказать мне о нем никто не мог» (прим. автора).

26 августа. Осуществил давнюю мечту — сложил каменную стенку, как в летнем дворце китайских императоров в Пекине. Делали втроем. <...>

30, собственно, уже 31 августа. 2.30 ночи, Сеул. Прилетел сегодня вместе со всеми преподавателями в Корею. <...> Разложил рукописи романа, завтра начну. В Москве не написал ни строки.

5 сент., Сеул. Приступил к занятиям. Корейское начальство не только не выполнило свои обещания улучшить мне расписание, но сделало его еще хуже, оставив мне всего один свободный день! Напишешь тут какую-нибудь прозу.

Меж тем есть о чем писать: просмотрел за эти дни все папки «Нрзб» — материал громаден и нов. Правду говорил Женя Тоддес — редкий случай, чем больше — тем лучше.

Осваиваю компьютер — перепечатаваю главу «Гибель Титаника». Эйфории, как обещали все, от общения с этой машиной не испытываю.

13 сентября. Жара, духота, смог. <...> Звонил в Москву. Л. прилетела из Лондона. Общались там с Юрой Щегловым, который сказал, что только в Л. и во мне видит людей, по-настоящему увлеченных наукой. Западные профессора, уйдя на пенсию, дарят свою библиотеку университету и удят рыбку.

23 сентября. Вчера — занятия с переводчиками, сегодня — с третьим курсом. И тем и другим увлекся — вообще все больше втягиваюсь в преподавание лингвистики — вспомнил молодость. На третьем курсе в учебнике вопрос: какие профессии вы испробовали в своей жизни? Сан Джон работал официантом в студенческом кафе, Миша служил на аэродроме, одна девица преподавала англ. язык. Потом они спросили: а вы? Пришлось рассказать: землекоп, столяр, плотник, садовод, тренер по плаванию. <...> Перепечатаваю на компьютере «Гибель Титаника». Готовя к перепечатке первые пять глав, перечел их. Есть некоторая робость. Сколько материала оставлено за бортом — из опасения, что будет неинтересно, скучно, длинно. Вот недостаток позднего дебюта: нет молодой наглости, сознания того, что раз мне интересно, то будет интересно всем! Набоков не боялся целые страницы заполнять перипетиями ловли и консервации бабочек — сведениями достаточно специальными. <...>

12 декабря. Продлил контракт — до февраля 2000 года (впервые увидел эту цифру на документе, ко мне относящемся). Закончил «Пельмени Ильича» — одну из самых больших глав романа (много всего). Ушел на нее *месяц*. Осталось написать <...> из II части — 4 главы, из III (не написано ни одной) 10 глав. Т. е. по теперешнему плану — на 14 мес. работы, т. е. уложусь в следующий свой корейский год только в том случае, если некоторые главы пойдут быстрее, что сомнительно — есть сложные («Прекрасное есть революция», «Диалоги 70-х», письма Серова).

17 декабря. Закончился 2-й мой семестр в Корее. Под конец расписался, устал. Кажется, удаётся вывести на принтер всю I часть — 18 глав. Сверяю компьютерную перепечатку — и снова правлю. Этак конца не будет. Говорил с Л. по телефону — считает, что моя проза благодаря односторонности (= единству) моей личности может стать явлением, дед может стать новым героем вместо Пл. Каратаева и т. п. Что не нужен сюжет — глыбы лягут собственной тяжестью, без цемента. И — никакой ориентировки на современный литературный процесс! Никакого с ним контакта!

1999

7 января, Москва. Сегодня были с Л. на приеме у патриарха по поводу Рождества <...>

13 января. Л. о моем романе (все привезенное еще не читала, а только: «Пельмени Ильича», «Вольф Мессинг» и что-то еще); списываю с бумажек — писал за нею.

— Главное достоинство — ты не озабочен созданием положительного героя — и вообще героя. Незаинтересованность в нем; он не хочет себя утвердить. Почему такой бешеный успех имеют твои мемуары? Потому что в них та же незаинтересованность собой! Ты хочешь показать Шкловского, Виноградова — а герой⁴¹ обрисовывается сам собою, между прочим! У NN в мемуарах на первом месте он, N, он хочет прежде всего дать свои мысли — и это скучно, не нужно.

⁴¹ Под «героем» подразумевалось, конечно, первое лицо рассказчика: собеседники понимали язык друг друга.

А у тебя — твои герои. И то же у тебя в романе: герой не думает о себе, он не утверждается, не описывается, он выскальзывает из рук — но в результате живой, полнокровный. Биография молодого человека 40—60-х годов 20 века всем известна, а мир, в который он погружен, всем интересен. Его биография должна проходить через роман как волосая нить, пунктир. <...>

— Я и не ставлю цель показать эволюцию героя и проч. Я бы хотел хоть чуть-чуть показать ту Россию, ту ее толщу, которую не описали эмигранты, потому что уехали, и не изобразили советские писатели, потому что было нельзя.

Л.: — Пока я чувствую: есть объект — Россия. И он — в центре. <...> Сюжета — не надо. Он будет складываться из смены тональностей в главах, которая у тебя уже есть, это как набегающие волны, похожие — но разные. И эта стихия совершенно особого, *твоего* юмора, который все объединяет.

— Для меня это оказалось большой неожиданностью, когда в Сеуле физики из ФИАН'а, которым я прочел две-три главы, сказали, что главное у меня — юмор.

— Меня это не удивляет. Тебе и стараться не надо. Половина того, что ты вообще говоришь, — смешно. «Держись, Алёша»⁴² — всё в этом роде.

Герой твой — пунктир. Как только начнешь оплотнять, приделывать руки и ноги — они проткнут полотно⁴³. <...>

— Мне все кажется, что материал этот мало кому интересен. Много отсекаю.

— И зря, и зря! В этом — главный интерес. Ты недаром вчера упомянул «Детские годы Багрова-внука». Все жили в имениях и ездили по степи, а написал об этом только Аксаков! Люди любят обстоятельное описание непрехотливых обстоятельств, бескорыстное описание простых событий и действий. В твоих устных рассказах об этом уже содержался нужный ракурс. Это покорит всех. Твой роман будет бестселлер! О чем сейчас пишут — мафия, выстрелы, секс. У тебя — возврат к нормальным ценностям. И, конечно, фигура деда. Он заметит Хоря и Калиныча и Платона Каратаева.

⁴² Мой рассказ тридцатилетней давности о расстреле царской семьи (прим. автора).

⁴³ Ср. слова Чехова: «Нос "реальный", а картина-то испорчена» (прим. автора).

— Эк куда метнула.

— А что? Это будет новый герой. Во всяком случае в русской литературе XX века такого не было — уж *мне*-то ты поверь.

Женя говорит тоже в этом роде — хотя подробно еще не беседовали. <...>

15 января. Живу на даче; снег, тишина, одиночество. Приходят собаки — Динка и Тося — 3-месячный щенок московской сторожевой, ростом со взрослого пса и с ухватками ребенка. <...>

16 января. Снилось бедная моя Клава — как все умершие, живою. Будто похудела и стала похожа на себя — семиклассницу, в которую я влюбился. Обнял ее при всех. Понятно, почему про то, что похудела, — наложилась ее предсмертная болезнь, которую она запустила. Почему она — самая здоровая, жизнелюбивая — ушла первой из нас?..

17 января. Приезжали Л. и Женечка; катались втроем на лыжах по снежному лесу 2 часа.

8 февраля. Хватит ли художественной и нервной силы описать любовь мою к старой России и ненависть к тем, кто ее разрушил и топтал столько лет?..

13 февраля. Л.: — Женя [Тоддес] говорит: в твоём романе — какая-то странная увлекательность. Никаких событий, ничего, — а катится, увлекает. <...>

— А что скажет незлитный читатель?

— За широкого читателя я спокойна. Зоценко нравился не только эстетам, а тому самому пролетарию — обывателю, которого он изображал.

16 февраля. Как всегда, расписался под самый конец. Но надо уезжать от сосен, от снега, от солнца.

6 марта. В Сеуле, как и в прошлый раз, неожиданности: расписание таково, что занят пять дней! <...>

11 марта. Занят учебными делами по горло. Прозы со дня приезда — ни строки. <...>

2 июля. 25 июня прилетел из Сеула, а 26 с Л. уже приехали на дачу. <...> Обновленный дом прекрасен. <...> Ходили на водохранилище. Остальные дни — с 7 утра и до темноты, не разгибаясь, на участке: прополка, покраска полов, наступление на болото, колка дров и т. п. <...>

4 сентября. 1-го прилетел в Сеул. <...> Перед отъездом Л. и Женя Тоддес прочли «Отважный пилот Гастелло», «Прекрасное есть революция» и «Приобретенные признаки...». Обоим больше всего понравился «Гастелло» и меньше всего — «Признаки», где чувствуется тенденция и заданность. (Видимо, так ненавижу Лысенку, что это перетекло в текст.) Женя советует чем-то разбавить. <...> Женя не имел никаких стилистических возражений, сказал, что рука стала тверда. <...>

26 сентября. Вывели на принтере главу «Мама» — 20 стр.! А уже и без нее есть страниц 320—30. А впереди еще не менее 6—7 глав. Это что же — будет 500 стр. — около 20 листов?.. Затеявая это безумное предприятие, я рассчитывал листов на 10—12!..

9 октября. Прозу удалось пописать только во время Чусока, здешнего праздника, когда все затихло, все разъехались и не было занятий; за два дня написал около 30 стр. главы «Вольф Мессинг, граф Шереметев и другие». Все остальное время уходит на подготовку комментария по медленному чтению.

6 ноября. Дописал вчера главу «Отец» — сложную для меня (идея раздвоения человека, все понимающего, но вынужденного функционировать, хоть и в слабой степени, в Системе).

14 декабря. Итак, за сентябрь — полдекабря написал 5 новых глав — 96 стр., т. е. около 4 а. л. План был — закончить роман. Но в ноябре пошли композиционные трудности, а потом выплыли 3 новых главы, которые не собирался писать: «Отец», «Мама», «Кара-си». Контракт продлил, остаюсь здесь на март — июнь. Все расписал: будет 42 главы (если не выплывет какая-нибудь незаконная), из которых не написано 8 (!). Одна очень сложная («Записки дилетанта»), к двум последним — «И все они умерли» и «Смерть деда» — не знаю, как и подступиться: два раза открывал обложки с листоч-

ками и закрывал обратно, не могу. М. б., укрепив нервы на даче в снежном лесу, смогу?..

[27 декабря 1999 года Чудаковы были на праздновании Нового года и юбилея «Нового мира», в котором когда-то начинали свою литературную жизнь — короткими рецензиями и затем первой большой — совместной — статьей о современной прозе. Там А. П. передал главному редактору журнала А. В. Василевскому пять глав из романа. Чудаковы были уверены, что роман больше всего подходит «Новому миру». Тем острее пережил А. П. происшедшее далее.]

2000

9 февраля. Первый выход моего романа в официальные сферы: И. Б. Роднянская прочитала несколько глав.

«— Некоторые читала с захватывающим интересом. Много колоритных — поразительно — деталей. И написано хорошим языком — бесхитростно в хорошем смысле (с этой точки зрения переход на 1-е лицо не работает). Особенно хороши о бабушке, о деде и “Натуральное хозяйство”. Но это, конечно, не роман! Повесть о детстве, очерки детства. Будь моя воля, я бы напечатала 3—4 главы в журнале — но только 3—4. М. б., в отдельной книге это как-то сложится по-иному — трудно сказать».

Все тащат написанное в свою сторону — понимают его не так, как автор. Сколько я видел этого в прижизненной критике о писателях самых разных!

<...> Второй выход в официальные круги (собственно первый, Роднянская читала неофициально) — полный афронт: Руслан Киреев, зав. отделом прозы «Нового мира», сказал, что проза автобиографического характера — не совсем автобиографического, но все же — «не в планах журнала».

[В последующие дни А. П. дал главы из романа главному редактору журнала «Знамя» С. И. Чупринину, и тот сказал, что прочитает очень быстро.]

21 февраля. В автобиографиях о таких днях принято писать с придыханием. Вторая попытка пристроить роман оказалась успешной. Звонил С. И. Чупринину.

— Очень интересно! Должен сказать вам откровенно: брал рукопись с некоторым страхом. Думал: будет что-то осложненное в духе

постмодерна. А прочел — хорошая литература, прекрасный язык. Берем, несомненно берем! Надо только решить — что, сколько и т. п. (И еще какие-то комплименты). Приходите в среду.

Позвонил на эту тему тут же Наталье Ивановой.

— Порадовали! Когда филолог что-то дает — страшно. Я же вас читаю очень давно, ваша первая статья с Мариэттой лежит у меня выдранная. Но тут — проза! Я ожидала чего-то усложненного, м. б. даже филологического. А у вас — интересно, грустно, весело.

Дальше я сказал, что, к удивлению, обнаружил, что пишу исторический роман.

— Конечно! Та же дистанция, что у Толстого с «Войной и миром» — 50 лет. Всё — история. Эта бабушка с ее щипчиками, ложечками...

Я прямо рыдала! Не ждите до среды. Забрасывайте завтра. Мы мгновенно прочитаем.

1 марта. Прилетел в Сеул. Последний семестр в Сеуле. 24 февраля был в «Знамени». Главы, которые я принес 22-го, прочитали, действительно, мгновенно. Обсуждали прочитанное в составе: С. И. Чупринин, Наталья Иванова, Е. С. Холмогорова.

Чупринин: — К истории вопроса. Откровенно скажу: если бы это был не Чудаков, я бы просто не взял эти отдельные главы смотреть. У нас это не принято. На днях звонит мне (назвал неведомую мне фамилию тоном, что ее все знают) и говорит: «— Написал роман на 2/3!» А я ему: вот когда напишите на 3/3 — звоните, приносите. <...> Много неожиданного. Я сам землю копал, думал, все про это знаю. Но нет! У вас прочитал такое...

Сначала сказали, что возьмут 4 листа, но потом решили: 7—8. Чтоб я сам отобрал главы. Сделать: «I часть» или «Журнальный вариант».

<...> Когда прощались, Чупринин сказал:

— А все-таки предыдущая профессия оказывает влияние?

— ?

— Предметный мир! То, что вы основательно разработали в своих статьях и книгах. И в вашей прозе он занимает особое место.

Заглавие Чупринин отверг напрочь.

— «Смерть деда!» Не вижу, чтобы человек, увидевший у прилавка книгу с таким названием, захотел ее купить.

И накануне отъезда мы с Л. и Женей [Тоддесом] ломали голову над названием. Это надо было сделать быстро — они хотят анонсировать роман. Продиктовал секретарше три варианта: 1) И все они умерли.

Роман-идиллия. 2) Натуральная идиллия. 3) В ту степь. В самолете придумал еще одно: «Там, в степи глухой». Роман-идиллия.

В разговорах в «Знамени» было видно, что главное впечатление и у Чупринина, и у Ивановой — удивление, и не от прозы, а от ее автора: «Вот он оказался какой! Чего знает. А мы думали — филолог». Иванова сказала еще, что от автобиографизма мне не уйти и что напрасно я сделал героя историком.

10 марта. Л. уехала в Италию до 25 марта. Завтра собираюсь в библиотеку в Ен-Се — а то засиделся в своей квартире и закис.

11 марта. Что значит растренированность: в Москве не обливался из тазов холодной водой (дача, в нашей ванной не получается), и, приехав в Сеул, где в роскошной ванной комнате можно обливаться хоть из цистерны, обнаружил, что обливаюсь не с прежним наслаждением. Не хочется выливать на себя 5 тазов, но только 3.

12 марта. Я не против рок-музыки, попсы и пр. Пусть — раз слушают, ходят и платят деньги. Но нужно, чтоб хоть иногда кто-нибудь говорил: все это к тому, что называется искусством, не имеет никакого отношения, это другое, и об этом надо говорить спокойно и неоскорбительно.

23 марта. Позавчера звонил Радик Лапушин. <...> Сказал ему, что роман мой взят в «Знамя». — пришел в восторг; один из немногих, кто так бескорыстно и искренне этому рад.

26 марта. <...> Звонила прилетевшая в Москву Л. <...> — У тебя особый дар описывать обычное, как у Дефо. Потому что ты сам Робинзон!

Умер Вят — ему суждено было оказаться первым из нашей троицы. <...> Как жаль, что не могу похоронить его со всеми вместе, как следует. Надо уезжать из Кореи, надо.

<...> Юрка не знает, что Вят умер, т. к. сам в реанимации — давление, сердце. Так что Вята в его последний путь не проводили оба его старых друга!..

2 ночи. Бржу; звонил маме — она, как и я, помнит Вята с его 12 лет; звонил Жинову, он был на похоронах, поговорили. Тоска, тоска.

5 апреля. Алексей Герман говорил по «Свободе», что его отец Ю. Герман по таланту сопоставим с русскими классиками, но жил в такое время, что из него получился просто хороший писатель.

Еще говорил, что Ю. Герман оценивал людей сперва всегда очень хорошо, и только потом находил в них недостатки. Это про меня.

9 апреля. Звонил Радик⁴⁴ <...>. Говорит, что для журнального варианта не обязательно писать главу «Смерть деда», даже если в отдельном издании она будет. И сюжета не надо — даже в отдельном издании. То же, что говорит Женя [Е. Тоддес], Холмогорова, Л.

17 апреля. Убит в своей подольской квартире Похлебкин — замечательный писатель, мой единомышленник и брат по ощущению предметного мира человечества. Он восстанавливал ту материальную культуру России, которая была утрачена. Если б мне в романе тоже хоть частично удалось сделать что-нибудь подобное.

18 апреля. Цветут фиолетовые багульник и рододендрон, сакура, которая здесь гигантских размеров — красота неопишная.

21 апреля. А еще говорят — нет знаков, предопределения. Я приехал в Москву 15 июля 1954 г. Вся она была уклеена газетами с портретами Чехова — был его 50-летний юбилей. И я ходил, смотрел, читал. И подумал: «Буду его изучать». Так и вышло.

22 апреля. И. С. Гагарин о Тютчеве: «Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывающейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями» (Тютчев, Б-ка поэта. 1957, с. 7). Добавлю: и даже не обмениваться! <...>

23 апреля. И о Тютчеве хочется — и мог бы — написать. Хватит ли жизни?

«Когда испытываешь <...> сознание хрупкости и непрочности всего в жизни, то существование, помимо духовного роста, являет-

⁴⁴ Р. Лапушин.

ся лишь бессмысленным кошмаром» (Тютчев. Из письма. Полн. собр. стих-ний. Б-ка поэта, 1957, с. 20).

25 апреля. Завершающая роман глава «И все они умерли». Неидет. Вспоминать смерть деда и остальных слишком мучительно.

9 мая. Пишу главу — последнюю — «И все они умерли». Как будто еще раз всех хороню. Тяжело.

По «Свободе» песни времен Отечественной войны к 55-летию Победы. Разволновался, как всегда. Мое поколение — последнее военное. Младшие — уже не помнят и чувствуют *не так*, как мы. А мы — как *они*, как участники.

27 мая. Отправил журнальный вариант романа (теперь называется «Ложится мгла на старые ступени» — слова Блока из стихотворения «Бегут неверные дневные тени», 4 янв. 1902) в «Знамя». Начал главу «Юрик Ганецкий». Осталось, кроме нее, написать «Проф. Резенкампф», «Сапожник дядя Дема», «ООН», «Кондитер Федерату», «Заметки дилетанта» — т. е., если не придумаю, не дай Бог, что-нибудь еще.

1 июня. Звонил Радик Лапушин. <...> Сказал ему, что написал — и с какими трудами — последнюю главу романа. Радовался, поздравлял.

— Ваша проза будет очень своевременна. Раскрытые окна, свежий ветер. Такого нет сейчас. <...> Это — счастливая книга, книга о счастье, вопреки всему.

2 июня. Увы, мой корейский (и — шире — восточный) опыт говорит: никакой «китайский путь», «корейский путь» невозможны — развитие экономики возможно только на западном пути.

9 июня. <...> Л. отнесла журнальный вариант романа в «Знамя». Благодарила Чупринина, что он смог встать над и проч. Он: «— Так хорошая же проза!» И снова говорил, что не ожидал получить прозу такого типа. «Подумать только — структурализм породил такую прозу».

10 июня. Л. звонила и опять говорила, какую замечательную прозу я написал (перечла, выводя на принтер вариант для «Знамени»).

Когда Чупринин удивлялся, она сказала, что уговаривала меня писать с тех самых пор, когда впервые услышала мои рассказы про наш ссыльный город. Собрался — через 40 лет!

Унесенная белой метелью
 В глубину, в бездыханность мою, —
 Вот я вновь над твоею постелью
 Наклонилась, дышу, узнаю...
 Я сквозь ночи, сквозь долгие ночи,
 Я сквозь темные ночи — в венце.
 Вот они — еще синие очи
 На моем постаревшем лице!
 В твоём голосе — возгласы моря,
 На лице твоём — жало огня,
 Но читаю в испуганном взоре,
 Что ты помнишь и любишь меня.

Блок, Посещение. 1910.

Из дневника М. Чудаковой

1 июля 2000, суббота, 13.10.

Читаю и перечитываю (оторваться невозможно!) прекрасную Сашину прозу. Вот — Россия!

Из дневника А. Чудакова

6 июля. 2-го прилетел из Сеула, а 3-го уже был на даче. Живем вдвоем с мамой. Как и в прошлые годы — разговоры, разговоры.

Без меня выстроили библиотеку (над баней) — впервые что-то построено без меня, что очень понравилось.

Роман в «Знамени» поставили в 10-й номер, в редакции говорят, что это редко: в марте автор впервые дал пробные главы, в июне представил текст, а в октябре будут печатать.

4-го был в редакции, снимали вопросы с Хомутовой.

— Замечания у меня мелкие: несогласованность в именах, датах... Не буду же я править стиль такой прозы!

Будут печатать (опять же, говорят, в виде исключения) в 2-х номерах. <...>

Больше всего Хомутовой понравилась глава «Натуральное хозяйство» и последняя — «сильная глава!»

— Мне очень нравится главная идея — как все умели эти люди — не боялись погрузить руки по локоть в грязь, хотя были вполне интеллигентными. Еще на меня произвело <впечатление> высокое отношение к науке — всех, и автора, и героев.

Сказала, что в романе все равно будут искать автобиографические черты и сопоставлять биографии автора и героя.

Засылают в набор, на днях будет верстка.

Из дневника М. Чудаковой

12 июля 2000, среда, 19.10, дома.

Машин день рождения.

<...> Саша со 2-го июля в России, рад и счастлив, что попал, наконец, в родную страну, находится среди соплеменников... Устал от Востока.

С 3-го числа он на даче со своей мамой. Очень доволен моими постройками — особенно библиотекой над баней.

Из дневника А. Чудакова

26 июля. Дал маме почитать роман — впервые большую часть — в прошлом году читала только 2 главы.

— Хороший у тебя язык. Сейчас пишут как в газете или будто доклад делают. А у тебя настоящий русский язык, ясный, простой, выразительный. В чеховском духе.

Прямо целую историческую эпоху охватил — как Солженицын.

29 июля, Тампере. Приехал на VI World Congress. <...>

30 июля. Вчера непрерывное общение с теми, кого не видел 3, 5, 8, 15 лет — Гасановым (живет в Германии), с Леной Краснощековой — живет в Афинах, штат Джорджия, написала книгу о Гончарове, с Андреем Степановым, который там стажировался, Гретой Злобин, Богомоловым, А. Д. Михайловым и Таней [Николаеввой], Олей Ревзиной, Мироненко. <...>

20 октября, Истра. Вышел 10-й № «Знамени» с I частью моего романа. Полистал, в журнальном виде читать не стал: текст надоел — или вообще всё. Не то было раньше. Вышедшую статью перечитывал, смотрел, что получилось. Л., напротив, читает: «Твой роман мешает мне работать». «В каждой главе, кроме общего потока жизни, есть еще какой-нибудь идеологический удар. Каждая глава отяжелена идеологической тяжестью. <...> У тебя: несмотря ни на что — жизнь

идет, есть замечательные люди, которые живут, помогают друг другу, воспитывают детей, ведут интеллектуальные беседы». <...>

21 октября.<...> Умер Юрка Лейко (20 октября, Вят — 20 марта) — второй из нашей троицы. А еще вчера я хотел подарить ему журнал с романом, где он узнал бы нашу жизнь 50-летней давности. Л. по телефону: «Пока ты писал, уже и читать давать некому»⁴⁵. <...>

26 октября. 24 октября, несмотря на болезнь (тяжелый бронхит, впервые в жизни), был на панихиде по Юрке Лейко. Сказал, что нас было трое: он был Атос. Всем понятно, что это значит. Он был человек долга, человек чести, человек спокойной и холодной храбрости — в наше время, когда этический и политический конформизм стал делом обычным, это встречается не часто.

28 ноября.<...> Сегодня приехал в Кёльн — добирался от Дюссельдорфа с приключениями, но все равно в сто раз легче, чем в Корее, — надписи понятны, обо всем можно спросить.

29 ноября. <...> слушаю радио — любимую свою немецкую эстраду. Вспомнилось:

В Щучьем испуганный Роберт Васильич, наш преподаватель немецкого, через огород прошел к Крысцату, играющему на патефоне трофейные немецкие пластинки: «А вы знаете, что вы играете?» «Мы не понимаем. Марши бодрые такие, с утра хорошо послушать.» Это были нацистские марши, в том числе «Хорст Вессель» — странно, что Крысцат, прошедший войну, этого не знал. <...>

3 декабря. С утра — большой предрождественский концерт — Бах — с изумительными солистами (тенор James Taylor). Передача популярная, дирижер все объяснял. По ассоциации вспомнил концерты 50-х годов в Большом зале и, кажется, в зале Чайковского с истерической ведущей по фамилии Виноградова.

Страна наша ухитрилась устроить себя за последние десятилетия так, что ни от чего на Западе нет беспримесной, чистой радости: увидишь чистые улицы — вспомнишь нашу грязь везде, узришь

⁴⁵ А. П. понимал и принимал этот укор: она с незапамятных пор уговаривала его писать этот роман.

ухоженные замки — представишь наши разрушенные, заброшенные дворцы с облупившейся штукатуркою, услышишь их церковный хор... И мы б могли! И мы...

5 декабря. Начал главу «Сапожник дядя Дёма Каблучков». Полностью перекроил первоначальный намеченный — скучный — план: вдохновенье, вдохновенье... Для него надо уехать на Филиппины, в Тайланд, в Кёльн...

6 декабря. Самое тяжкое — не твоя собственная смерть, а гибель культуры всей Земли. Неужели может исчезнуть всё, всё — и египетские пирамиды, и Кёльнский собор, и Гегель, и Пушкин, и Моцарт, и Толстой?.. <...>

7 декабря. Вчера читал вторую лекцию «Чехов и массовая литература 80-х годов. Возникновение нового литературного качества». Задавали вопросы, много было русских студентов, обучающихся в Slav. Inst. Присутствовали Володя Порудоминский и Олег Клинг.

Олег за сутки прочел мой роман. <...> Говорил, что это особый жанр — «идиллия», что сюжет движется чередованием «от я» и «от Антона» (то, что не понравилось Роднянской), а то, что нет острого сюжета — в конце XX века его никто и не ждет. Композиция глав заменяет сюжет.

По поводу вчерашней записи про смерть. Вдумался: если быть честным до конца, то в гибели всей культуры я все равно сожалею о своей крохотной песчинке в ее здании, которая тоже погибнет.

<...> В библиотеку мне занес «Известия» с обсуждением гимна Володя Порудоминский. <...> В связи с гимном вспомнили Михалковых — и С. В. и Н. С., который забыл весь свой монархизм и хочет, чтобы был старый гимн: видимо, справедливо надеется, что слова в третий раз поручат писать папе!

9 декабря. С Володей Порудоминским по телефону:

— Как хорошо, что вы позвонили! Я прочел ваш роман⁴⁶ и ни о чем больше говорить не могу. Это — настоящее!

И совсем меня смутил: «Я не знаю, кто еще бы сейчас мог написать такое. Конечно, этот материал, но его преобразование! Я не знаю,

⁴⁶ Везет мне на таких читателей. Второй прочел за сутки! (Прим. автора.)

как это делается. <...> То, что нет острого сюжета — мне не мешает. А какой сюжет в «Детстве» Толстого? Несбывшийся сон? Сюжет — дед и внук, их отношения снаружи и изнутри. А над последними страницами о деде я даже заплакал. Дед — человек без недостатков. Но это и пленяет. Это законченный, цельный образ.

Я: — Мариэтта говорит, что это еще не изображенный раньше тип русского человека.

— Именно. Но теперь он изображен. Очень хорошо про отца. Я знал одного очень талантливого журналиста, работавшего в «Пионерской правде». Однажды были какие-то цензурные сложности с номером — так он заново один сочинил весь номер.

— Включая письма пионеров?

— Включая письма. Ему было все равно, что писать — передовицу, письма, отклики. А есть журналисты, которых когда заставляли писать о сахарной свекле, они должны были полюбить эту сахарную свеклу — иначе не могли.

10 декабря. <...> Насколько хорошо настроение физическое и творческое, настолько отвратительно политическое: приняли старый гимн. Перезваниваемся с Л. по этому поводу — она пишет статью, хотят они там издать брошюру со статьями на эту тему и распространять ее.

24 декабря, утро. Разбудил звонок из Москвы. «Знамя» присудило мне премию «За произведение, утверждающее либеральные ценности». Л. сказала, что это — самая престижная премия журнала. Но — к понедельнику, т. е. к завтраму (как всегда у нас!) надо написать «нобелевскую речь» 2—3 стр., которая пойдет в № 3.

Только сел, а по TV документальный фильм о теноре Tauber'e, о котором я только читал, а тут — множество фрагментов 1927—1930 гг. в его исполнении — из Легара, Оффенбаха, Штрауса, Леонкавалло, Шуберта («Серенада» — очень хорошо).

31 декабря. 28-го прилетел в Москву из Дюссельдорфа. С чемоданами поехал в издательство к Кошелеву⁴⁷, где на ступеньках встретил убежавшего В. Н. Топорова, а в помещении уже давно выпивали:

⁴⁷ Издательство «Языки русской [впоследствии — «славянской»] культуры».

В. М. Живов, Вера Мильчина, Боря Успенский, Кошелев и Козлов⁴⁸, Саша Осповат, С. Бочаров.

Расспрашивали у меня про Кёльн, потом разговор свернулся на 91 и 93 год, все вспоминали, кто где был и т. п., кто как думал: советская власть навсегда или нет. Большинство думало: навсегда. Сережа Бочаров сказал, что помнит, как я говорил, что кончится, и всегда в это верил. Я внес уточнение: верил, но прикидывал: буду ли еще в силах в это время работать и вообще пользоваться дарами свободы.

<...> Это уже было при Л., которая опоздала часа на два, т. к. ездила в типографию брать книгу «За Глинку!»⁴⁹, составленную ею, Курилкиным и Тоддесом.

Книга — убойной силы, и то, что она ни на что не повлияла, что старый гимн все равно приняли, — не страшно, м. б. в перспективе времени даже важнее, как идеологический поступок, из тех, что влияют на историю.

2001

1 января. Странно было б не начать новое, третье тысячелетие с новой тетради. Старая кончилась тютельница в тютельница.

Хорошо помню, сколь далеким казалась эта дата в ночь встречи 1951 года. Но наступление второй половины XX века ощущалась острее — видимо, по детской впечатлительности. И с волнением позднее воспринималось письмо акад. Обручева «Привет вам, путешественники в третье тысячелетие» — ощущал себя таким путешественником. Мечтал поднять бокал и сказать: «С Новым годом! С новым веком! С новым тысячелетием!» И поднял.

Встречали с Л. дома — был еще только Женя Тоддес.

Впервые слушал новый-старый гимн. Женя заткнул уши. Первый текст по сравнению с этим — просто классика. Как острил Шендерович, Михалков сочинил новый, третий вариант гимна — «надеюсь,

⁴⁸ Издатели А. Д. Кошелев и М. И. Козлов.

⁴⁹ За Глинку! Против возврата к советскому гимну: Сборник материалов. М., 2000. 128 с. Это был сборник всех обращений и писем в печати и Интернете с протестами против возвращения сталинского гимна. Спешили подготовить и выпустить до Нового года и забрать часть тиража из типографии, чтобы в последние рабочие дни администрации президента передать через нее книжку инициатору такого предновогоднего подарка В. В. Путину в качестве ответного подарка — с соответствующей надписью. Что и было сделано.

последний». Сильно подпортили настроение перед вступлением в следующее тысячелетие. Последние десять лет не думалось, что такое может произойти.

2 января.

...Кто знает, что такое слава...

С утра — звонок от Иры Роднянской, поздравляла, поговорили о 3-м тысячелетии. <...>

— <...> В последнем номере нашего журнала Василевский в своем обзоре сожалеет, что не напечатал твой роман у нас⁵⁰. Я не могла подействовать, я не имею влияния. Откровенно скажу, я не думала, что надо печатать весь роман, но считала, что главы. Все кругом роман хвалят.

Я сказал, какая разница, где напечатано, но потом спохватился и сказал: «Мне, конечно, было бы приятнее в “Новом мире”».

Л. сказала, что тут надо было бы им вмазать (она хорошо помнит, что Ире не понравилось), но мне как-то не пришло в голову.

Почти сразу же — звонок от Тамары Ганиевой — она больше не заведомо литературы и языка в Российской энциклопедии, «поэтому много времени. Но твой роман не могла отложить, начав. Читала всю ночь. Волна чувств. Я совершенно потрясена. Неожиданный подарок. Я как лингвист восхищена твоим языком. Только у Даля найдешь такие выражения. Ты спокойно пишешь: “пропускная бумага”, а не “промокашка”, “глубенеть” (даже у Даля нет, но слово образовано по правильной модели!). А худая — “пройди свет”? Какое народное выражение. И все это не выглядит какими-то архаизмами, а просто старым, классическим русским литературным языком. И для меня еще в том было потрясение, что он в тебе сохранился с детства,

⁵⁰ «Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия // Знамя. 2000. № 10, 11.

Северный Казахстан, 40-е. Мощная фигура деда героя / мемуариста. “Рассказывая о собственном становлении, о глубинной связи своего — отнюдь не тривиального — мироощущения с семейным строем и обычаями, Чудаков в то же время стремится доказать: не он один такой”, — пишет Андрей Немзер (“Внук своего деда. Александр Чудаков написал книгу о том, как сохранилась Россия” // Время новостей. 2000. № 175, 27 ноября). У “Нового мира” была возможность напечатать эту книгу, не напечатали — и это, возможно, наша ошибка» (Библиографические листки. Периодика // Новый мир. 2001. № 3, с. 237. Курсив А. Василевского).

был где-то в тебе, хотя разговариваешь ты на современном литературном языке.

Замечательно про чеченцев. Объективно, многое в них объясняет (как в драке до конца стояли их дети, мальчишки, как я понимаю, лет 10—12, не больше).

Но, конечно, потрясающий дед. Да и бабка великолепна — со всеми своими ножичками и вилочками.

Все время проступает фон XIX века, а это очень важно — он почти исчез в современной литературе.

<...> Ты поздно начал, но теперь тебе надо писать и писать, не оставиваясь! О твоём романе везде только и говорят».

Я-то думаю, что говорят главным образом от неожиданности — так хорошо всем известный человек вдруг оказался не тем, за кого его держали.

22 января. Огромное несчастье: возле Галапагосских островов потерпел аварию нефтеналивной танкер, и уже 575 тонн нефти вылилось в море, нефтяное пятно движется к островам, как раз к пастбищам морских львов. А там рядом — и знаменитые черепахи, которые спокойно жили 200 лет, не подозревая, что кончат свои дни так бездарно. И никому не приходит в голову отнести трассы этих вредоносных судов хотя бы на 500 миль в сторону! Если души видят, что делается у нас, что испытывает душа Дарвина!..

27 января. 24-го был с Л. в швейцарском посольстве на презентации книг Хайди Тальявини о Чечне; книгу подарила с надписью «моим первым учителям»! Долго беседовал с С. К. Аптом — рассказывал мне про мой роман, говорил, что хозяйственные детали — самое интересное в романе. Считает, что это — несомненный новый материал, а современность надо убрать. <...>

25 января в Овальном зале библиотеки иностранной литературы было объявление номинантов премии Аполлона Григорьева: главная \$25 тыс., две других — по \$2,5 тыс. Я попал в шортлист из 7 фамилий, но в тройку не попал. Жюри — А. Василевский, Латынина и еще два критика из провинции. Латынина потом подходила и говорила, что в ее тройке я был. Все почему-то думают, что я очень расстроен, не скажешь же всем, что я рот и не раззявливал.

Потом подошла дама и сказала, что я номинирован на премию «Нацбестселлер». <...>

28 января. <...>. Камень с души: нефтяное пятно от потерпевшего аварию танкера переменившийся ветер относит в сторону от Галапагосских островов.

29 января. Какая-то китайка установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом — 2 мин. 19,5 сек. Приятно сознавать, что для тебя это был когда-то совсем не заоблачный результат (хотя бы и в женском плавании).

10 февраля. 2-го на даче отмечали мой день рождения: Женя Попов, Андрей Немзер, Г. Н. Владимов с новой молодой женой Женей, мы с Л. <...>

10 марта. Вчера приехал на дачу, где не был со 2-го февраля. Снежные заносы, каких еще ни разу не было. Надо писать доклад на Международный конгресс по русскому языку в МГУ, рецензию на Чумакова, но сутки расчищал снег, таскал дрова, топил на плите снег и проч.

26 мая. На даче с Женечкой, которая закончила учебный год.

Вчера были с Л. в немецком посольстве по поводу присуждения премии Тёпфера Юзу Алешковскому.<...>

Чупринин сказал, что выдвинул мой роман на Букера.

<...> Немецкий атташе культуры долго говорил речь о Юзе Алешковском (с переводом). Юз сказал ответную речь, где вставлял свои излюбленные словечки. В частности, сказал «водяра». Переводчик это никак не перевел, сказав просто «водка» («wodka»). Я, уже выпивший рюмок пять, прокричал ему через весь зал:

— Übersetzen Sie bitte «водяра»!

— Das ist unmöglich! — развел руками добросовестный немец.

25 июля. Снится черт знает что — будто я веду вечер памяти Агнии Барто!

15 августа. Все это время — на даче, готовлю полный (не журнальный) вариант романа. Ничего не читаю, ТВ не смотрю. Чукча не читатель, чукча писатель. Звонила Л.

— Повеселю тебя отзывами о твоём романе. Юра Карякин пришел к Юре Давыдову⁵¹, а тот читает вслух своему взрослому сыну <...>

⁵¹ В тот год он был председателем жюри премии Буккера; уже тяжело больной, он, как потом стало известно, горячо ратовал на решающем засе-

главу про Ваську Гагина, и оба укатываются со смеху. Карякин к ним присоединяется, и целый час веселятся по поводу этой главы. <...>

28 августа. Все эти две недели гоню — готовлю роман для отдельного издания.

М. б., действительно, изъять современность (не нравится Е. Т<оддесу>, Л., Апту) и главы типа «Сексуальный самум»?.. <...>

23 сентября. [За] неделю — после замечаний Л. и Жени Тоддеса выкинул окончательно и до этого уже сильно порезанную линию Лили — Юрика — Вали. Всего 4 главы, в том числе и «Кобры Мозамбика», и все записи из архива Антона. Л. говорит, что роман приобрел единство, которое в нем есть, но этими главами разжижалось. Сидим с ней на даче второй день, читает окончательный вариант, которым восхищается.

— Подымаешь со дна град Китеж и, с другой стороны, показываешь всю необозримую Россию.

14 октября. <...> Вечер. Весь день читал верстку романа. Ум за разум заходит. Кузьминский прав — после исключения московских глав, про Юрика, про кухни, «Кобр Мозамбика» (всего около 4-х листов) все стало стройнее и единее. Но — и однотемнее. Выпал образ молодого героя (даже двух) — не осуществившегося, не написавшего того, что мог бы. Немного жаль. Возникла мысль — нужно написать новую, современную повесть, где будет такой герой. <...> Неужто не окончены мои дела с прозой после романа?..

16 октября. Странно, что по ТВ не вспомнили про этот день 60 лет назад — трагический для Москвы.

Дочитываю верстку романа. С выброшенными главами это был совсем другой — не только исторический — роман.

7 декабря. Вчера был на торжествах по поводу премии Букера. Присудили Улицкой. После этого к нашему столику (Рассадин с женою, Саша Морозов с женою) стали подходить разные лица и говорить, что они считают меня более достойным, чем Улицкую, что ее

дании жюри за то, чтоб лауреатом стал Чудаков с его романом, несомненно ставшим, как это и вписано в регламенте Букера, «литературным событием года». И был крайне огорчен поворотом дела.

вещи — дамское рукоделие и проч. Латынина, Прохорова и проч., и проч., много незнакомых. <...>

2002

1 января. Новый год — у мамы. Разговаривали в основном о моем романе. <...>

Вторая половина года прошла в дописывании романа, его печатании, работе с редактором, интервью, выступлениях и прочей суете. Видимо, это интересно лет в 30.

3 января. На дне рождения Л. были Женя Тоддес, Саша Осповат и Женечка. Обсудили программу тыняновских чтений — чтобы уйти от левинтоновского маргинализма и придать им теоретический характер. Например, поставить проблему создания истории литературы: Осповат — I пол. XIX в., я — вторую, Л. — литература советского времени и проч.

Надпись на романе, подаренном в день рождения:

Тому назад уж ... лет
Твердила ты: пиши! Пиши!
И пред закатом я на свет
Все ж нечто вылил из души.
Тебе тут многое не ново:
Все та же Стеллера корова,
Быки, верблюды, кони, псы,
Озер, степей и ям красы,
Семьи за пропитанье Kampf,
Печник профессор Резенкамф...

.....

<...> 2.1.2002.

30 января. Прочитавши роман, звонили Л. Г. Зорин и Наташа Кожевникова. Наташа (много, запишу чуть-чуть):

— Первая серьезная книга последних лет. Никакого постмодернизма. Что ты сейчас свободный человек — неудивительно, но по роману видно, что ты и раньше был таковым. Много трогательных вещей: Гагин, учительница, которая каталась на венике. Юмор свой, особый. <...>

Смутила: «Видно, что автор хороший и добрый человек. Я тебя знаю 40 лет, и это подтвердилось».

Зорин: — Прочел с громадным удовольствием, хотя здесь это не то слово. Расцениваю это как подвиг: восстановлена не только ваша собственная жизнь, но жизнь гигантского пласта людей. Память у вас просто чудовищная. Все это восстановлено на почве материальной жизни, и поэтому достоверно. Показано, как выживала мыслящая Россия, брошенная в эту мясорубку. Прекрасный русский язык, прекрасная проза.

Оказалось много общих вчувствований. Я тоже пересматриваю старые фотографии и с ужасом думаю: все покойники! Даже этот 6-тилетний мальчик. Может, жив? Ему должно быть 95 лет. Не, вряд ли.

Сказал ему, как тяжело мне было писать последнюю главу, где про это.

— Еще бы! В пьесах — я написал 48 пьес — легче, но и там тяжело об этом. Работа на износ.

3 февраля. Вчера звонил, прочитав роман, К. Я. Ваншенкин; писал у телефона на листки.

— Давно не читал ничего подобного. Замечательная книга. Какой язык! А сколько замечательных мыслей! <Первый, кто сказал про мысли, а я-то считал, что это первое, что заметят.> Память у вас просто фантастическая. Целая энциклопедия вещей, людей, ситуаций эпохи. Если все это расположить в алфавитном порядке, действительно получится энциклопедия. Это имеет историческую ценность. И озера, и лес, и лошади, и верблюды. И печи, и копанье земли. Я подумал, как бы был рад Твардовский, прочитав такую книгу. Все это потрясающе описано. Я встречал на фронте таких людей, которые все могут, — сам я копать терпеть не могу. Про окапыванье у вас правильно — под огнем копали «ячейку для положения лежа». Правда, постепенно переставали, притерпевались, надоедало... Даже каски не надевали. Чаще всего погибали ребята прибалтненские — сам черт не брат, мне приказывают, а я не хочу! А «деревня» — та окапывалась — и оставалась жива. <...>

Много трогательного. Читается — не оторвешься, а ведь нет единого сюжета. Читать хочется не торопясь, что я и сделал.

Как всегда, мне стало неудобно, и я перевел разговор на его поэзию — как в Студии худ. слова у Оленина мы учили «Мальчишку», какие у него эссе <...>, про его мемуары и проч. — все это я читаю с 60-го года.

11 февраля. Звонил А. М. Турков.

— Прочел ваш роман с великим удовольствием. Очень хорошая книжка. Очаровательный дед, да еще подсвечен другими — отцом, мамой, соседями. Я читал даже с некоторой завистью — у меня не было ни прямого деда, ни отца. И очень хорошо написано. <...>

Очень важно, что вы показываете: семья выстояла, не перемололась, как пишут обычно. Ощущение целого особого мира. Вас миновала чаша сия, а у меня ведь есть госпитальные впечатления, там солдаты говорили так же откровенно, как и у вас в романе: «дальше фронта не сошлют». Потом, правда, выяснилось, что были и худшие меры воздействия. Кроме того, ведь была надежда, что что-то изменится. Ведь написал же Овечкин повесть «С фронтовым приветом». Я многое тогда не понимал, был зелен, попал на фронт после школьной скамьи, но тоже это чувствовал. И потом: как облака на небе идут в разные стороны — на разных высотах, — так и люди думают по-разному. Всё было.

4 марта. Гоголь! Второй юбилей, который я осознал в жизни — 8-классником, в 1952 г. (первый был пушкинский, в 1949-м). Полвека! Вот уже и я спокойно (спокойно?) пишу это слово. Хотел в этот день положить цветы к андреевскому памятнику, взять Женечку, но неудача — заболел мерзким гриппом. «Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве...» И — читал Гоголя.

5 марта. Г. Каменская, моя слушательница в МГУ в 1970/71 гг., по телефону о романе:

— Книга очень отличается. Журнал не дает представления. Но издаю плохо: серая бумага, опечатки.

Видно, что для автора слово важнее человека.

— Для героя!

— Ну, это вам виднее, герой или автор — я их объединяю.

— Герой-автор привык к уединению. И в этом уединении сосредоточился на себе. Самоирония есть, но ее мало. Там, где один из персонажей говорит, что Антон похож на Брута, — я бы такое про себя не написала!

<Что это один герой говорит другому герою, я уже объяснять-возражать не стал.>

Много провинциальной слесарно-портняжной лексики...

— Народной! Если вы ее не знаете...

— Мне это было скучно. <Голос столичного снобизма.>

Риторическое кольцо: с деда начинается, дедом кончается. Очень изящно. Да, опять про провинцию. Автор не выдавливает ее из себя по капле, как Чехов, а культивирует провинциальность. <Опять московский снобизм.>

Вы и семья осуждаете эвакуированных, которые не хотели работать. Но ведь бывает такой ступор, когда руки опускаются! Может, у них и был?

— У всех? Там у меня есть про сестру Цветаевой — она освоила огород, работала — и прокормилась.

— Иногда слишком много навоза и помета. В эти места надо делать интеллектуальные вставки. Главы «Вечерний звон» и «Другие песни» не понравились. Кто это все поёт?

— Если у вас, в семье полковника, это не пели, это же не значит...

— И вообще, в этих главах виден литературовед! <Надо спросить у Л., виден ли.> Если герой — историк, он должен мыслить датами. С самого начала. Что он по-другому мыслит историю — в слове — объясняется слишком поздно. Очень понравилась глава про общежитие — этот кошмар с 9 койками. Неужели жили по 9? Это же уже казарма!

— И были рады, что эту койку получили. Так были низведены.

— Нет беллетризации типа: «Митрич, закладывай лошадь!» Жалко, что не изображены московские тусовки 70-х годов — только чуть.

Самая большая заслуга — после вашего романа хочется писать мемуары. Я ведь детство провела в закрытом городке «Свердловск-45». Закрытый настолько, что двери квартир не запирали — чужие в городок не попадали. Я даже придумала начало. У вас похоже на «Гости съезжались на дачу». А я хотела бы начать так: «В городе было все». Действительно, было. Мать с соседкой обсуждали проблему, как лучше сохранять черную, а как красную икру, стоит ли покупать винограда целый ящик — не испортится ли.

14/III. Был на вручении премии Ив. Петр. Белкина в Пушкинском Музее. Первый, кого встретил, был Фазиль Искандер: — Прочел твой роман. Я просто потрясен твоими знаниями! Говоря словами Белинского, энциклопедия крестьянской жизни! Я даже не представлял, что ты это знаешь.

— Да у тебя самого: и как буйволиц доят, и как сыр делают, мамалыгу варят.

— А интересно: отзывов больше от нашего поколения или от молодежи?

— От нашего.

— Да, что-то случилось. Какой-то перелом. Но все вернется!

17 марта. Вчера на ВВЦ часа полтора надписывал свою книгу, а Виталий Леонтьев ее рекламировал:

— Те, кто ценит в литературе не сенсационность и не злобу дня, а то, что заложено в каждом настоящем русском...

— Это могло бы стать русской робинзонадой...

— Лучший роман года.

— Бережно пронес сквозь... память о русской культуре, о том, что мы потеряли безвозвратно и что смогли сохранить.

— Триумфатор выставки Non fiction...

— Осталось ли в нас что-нибудь от старой русской культуры? На этот вопрос отвечает роман Чудакова «Ложится мгла...».

— Те, кто любит настоящий русский язык...

— Роман, поучивший наибольшее количество отзывов.

— Роман-эпопея о русской жизни... <...>

23 апреля. Конференция в Пскове, посвященная 100-летию Каверина. <...> *Б. В. Аверин.* Мемуарная проза Каверина. <...> Подарил Маше Виролайнен и Аверину свой роман. Аверин тут же на заседании стал читать: «Одна рука черная <кузнеца>. Другая — вдвое тоньше, белая <деда>». — «Это нельзя придумать, это было!» Но я эту сцену придумал всю от начала до конца.

3 мая. Поправляя одно слово в концовке романа, ее перечел.

Расстроился.

<...> От некоторых стихов, романсов, прозы мне хотелось плакать. И вот уже не один читатель говорит, что плакал(а), читая последнюю главу моего романа. «И все они умерли». Неуж и мне удалось?..

18 июля. С Марленом Коралловым по телефону; записывал: говорил про роман.

— Я поразился! Я вас никак не связывал с этим пластом жизни. Ученый, талантливый, но с этим пластом...

— Ссылно-каторжным?

— Да!

— Ну, я очень сбоку...

— Но выбрали вы именно этот пласт! Значит, он в вас лег как главный! Как точка отсчета в оценке всего. И я с вами во всем солидарен. Что меня больше всего поразило — блистательная память, количество бытовых деталей, тонкостей. Из писателей одни могут накидать подробностей, другие дать обобщения. С моей точки зрения высшее достижение — соединение того и другого, и оно у вас есть.

Еще одна психологическая черта, располагающая в вашу пользу. Я недавно прочел книгу Генц о Лиле Брик (она работает с архивом Катаняна). И у меня — сразу враждебность: Лиля и ее круг упоены своей исторической значительностью, у них — кровное пренебрежение к *быдлу*, коим они считают остальных и среди которых я полжизни вращался. И вас я прочитал после этой книги. И прочел про тот народ, который они презирали.

Где я сидел? Под Карагандой, Песчанлаг, лагпункт Майкадук. Долинка, которую вы в романе упоминаете, — курортное местечко — это с/х лагерь... Меня туда перевели, и туда ко мне приехал Белинков, после 8 лет получивший четвертак, как и я.

2003

5 января. С Юликом Крелиным, которому недавно сделали операцию по поводу рака прямой кишки и почки, поговорили об Эйдельмане, литературе, о смерти.

— Я раньше смерти боялся. Как это: меня не будет, и я ничего не буду знать, что происходит.

— Я раньше тоже огорчался, но потом понял, что ничего хорошего не будет, станет только хуже.

— Это тоже интересно. А я прочел у Сенеки, что о смерти надо чаще думать, тогда она не так будет страшна. Я стал — оказалось: верно.

— Привыкаешь?

— Видимо. Не знаю. Но — верно.

Поговорили о том, как не хватает Эйдельмана. <...>

28 января. Л. уехала к своим бедным подшефным туберкулезным детям в Горно-Алтайск; пошел на вручение премий «Триумфа» один. <...> Битов <...> — Читаю с запозданием твой роман, нравится. Плут поставлен под нужным углом. <...>

10 апреля. Звонили из «Олмы-пресс». За 1-й тираж мне ничего не причитается, более того — я им еще и должен и буду покрывать этот долг из второго издания, буде оно состоится!

Срочно (за два дня) дописываю свой доклад «Вторая реплика» для Ялты. Завтра отъезд.

13 апреля, Ялта. Дом актера. <...>

Утром — море в 50 метрах под окном! Солнце. Всю ночь оно под окном же шумело.

<...> Надо сдаваться!⁵² Забыл плавки — то, что всегда клал в чемодан в первую очередь!.. Это, впрочем, не помешало славно поплавать в море. Вода чистая, пляж пустынен, солнце; на пляже пили мускатель.

Люди делятся на две категории: одни хотят жить здесь и сейчас, с максимальным телесным и душевным комфортом; другие — в памяти потомков, своих книгах, стихах, мелодиях, и ради этого готовы на любые лишения здесь и сейчас.

14 апреля. С утра почему-то вспомнился Борис Балтер. Умер больше 30 лет назад, а мог бы жить до сих пор. <...>

XXIV Чеховские чтения, Чеховский музей. <...>

16 апреля. Доклады почти все — полный бред. Не выдержу — сочиню очередную пародию. <...>

7 мая. Вчера прилетел в Кёльн. <...>

10 мая. <...> При каждой сложности (= неприятности) жизни (например, сейчас в Кёльне: содрали много за квартиру, сложно утрясал несостоявшуюся поездку в Париж и пр.) убеждаюсь, к ней (жизни) я не приспособлен, хотя, видимо, недурно много лет притворялся, и все считали, что у меня все в порядке. Не в порядке. Каждая чепуха стоит огромного нервного напряжения, последующего самоедства, что сделал все неправильно — а в этом состоянии не могу работать. А когда удастся это не разгрести (этого почти не бывает), а *отодвинуть*, забыть (и загнать этим в тупик), то работаю несколько дней прекрасно, в последнее время таким образом написал статью (недур-

⁵² Домашнее присловье: при проявлении сильной забывчивости они приговаривали, что пора, пора добровольно сдаваться в психушку.

ную, кажется) в Festschrift Вольфу Шмиду, полуторалистскую статью о «Коньке-Гобунке». Таким же образом написал роман — но это была исключительная ситуация: Корея, никто ни с чем ко мне не лез, не было быта, никаких взаимоотношений ни с кем.

<...> «Dienstag, 13 Mai 2003 11:56 <...>
<Мое стих-е, посланное по e-mail>⁵³

К <...>

Я приснился себе медведем,
И теперь мне трудно ходить.

Г. Адамович

Я все жилы тянул, надрывался
Человеком когда-нибудь стать:
Разучился лапу сосать,
Научился читать и писать.
Но, похоже, медведем остался.
Приучился носить костюм,
Шаркать лапой, убравши когти,
Перестал даже быть тугодум,
В заграницы езжу в гости.
По утрам я уже не рычу,
Косолапа противовольно;
Если гладить меня — молчу
Или тихо урчу довольно.
И почти привык к людям,
Правда, что-то их слишком много.
Но уж тут виноват я сам,
Что покинул лес и берлогу.

17 мая. <...> Покойный палеоботаник Сергей Викторович Мейен, про которого говорят, что его имя будет стоять рядом с именами Четверикова, Любищева, Вавилова, на вопрос, как отделить бесплодный шовинизм от естественного желания сохранить своеобразие, охранить культуру от безнациональных идей современности, сказал: «Индикатором должно служить отношение не к своей, а к чужой культуре: если “патриот” хоть чем-то принижает чужое, значит он ратует

⁵³ М. Чудаковой, в Москву из Германии.

не за своеобразие, не за разнообразие культур, а за свое господство — значит, “возрождение” он видит в подавлении» (Вопр. ист. науки и техн., 1987, № 3. С. 171)».

11 июня. 10-го в ресторане «Огород» (Пр. мира, 28) был большой съезд в честь присуждения Ире Прохоровой Госпремии. <...>

На торжестве Ирина пела частушки и танцевала очень изящно. Общался с Галушкиным, Ивановой, <...> А. Зориним. Последний рассказывал, как он изучал в Гарварде со студентами мой роман. Один аспирант написал интересную работу: сравнение моего романа с «Виньетками» Жолковского. У обоих авторов преодоление мрачной действительности, но у Жолковского словом (и все в конце концов сводится к тот автора по поводу изображенного), а у Чудакова — при помощи коллективных усилий.

15 октября. <...> Л. говорит, что мне в моем романе помог не опыт «глубоких филологических идей», как считает Немзер, а опыт читателя классики, причем читателя-шестиклассника. Справедливо.

Но я сказал, что не воспользовался уроками классики в одном смысле: в смелости. Убрал целую большую главу с записями Антона («Записки дилетанта»), которая «выбивалась» по типу (что-то розановское, что-то похоже на Олешу).

Л.: — Не согласна! Твоя смелость — именно в отсечении этой главы и отброшенных тобою городских глав. Они в целом неплохие, но не лучше современной городской литературы, а остальной роман гораздо ее выше. <...>

ДНЕВНИК ПОСЛЕДНЕГО ГОДА (1 января — 31 августа 2005)⁵⁴

1 января.

Вчера длинный разговор с Л. — заклинает не откладывать издание «Чехова в рус. критике». Считает, что Ицкович возьмет. Давно, давно пора! Обещал ей приступить, поехав на дачу, в середине января.

6 января. 2-го у Л. на дне рождения: Инна, Маня с Янисом и Женечкой, Н. М. Зимянина и, как всегда за последние 25 лет, Саша Осповат. <...>

Пишу статью о тотальном комментарии «ЕО» в сборник Иры Сурад.

Объявили: население земного шара перевалило за 6 млрд. Это получилось, когда в Китае оно стало 1 млрд. 300 мил. Гордятся: это могло бы наступить еще 4 года назад, если б не их программа «одна семья — один ребенок». 4 года. Не густо. Еще недавно их было меньше миллиарда. А я что говорил еще 35 лет назад?.. Хорошо помню, как учили в школе: население Земли — 2 миллиарда. О, великий Мальтус! Никто не понимает, что через 50 лет (дай Бог, чтоб не раньше!)

⁵⁴ Последняя тетрадь дневника, который А. П. вел всю жизнь, была начата 14 марта 2004 г. и закончена 31 августа 2005 г. В сентябре он начал новую толстую тетрадь. 22 сентября 2005 на презентации книги В. Аксенова «Зеница ока» в ресторане «Петрович», когда М. Ч., выступив, вернулась к их столику, он заносил в тетрадь только что ею сказанное, сделав, как обычно, комплимент по поводу ее выступления (с В. Аксеновым они в свое время познакомились вместе и писали о нем в их первой совместной статье в «Новом мире», в 1963 году). Эта запись была последней; через несколько часов начатая тетрадь пропала вместе с сумкой и всем ее содержимым — перед тем, как М. Ч. повезла мужа на «Скорой помощи» в больницу.

Предпоследняя тетрадь осталась на рабочем столе А. П. на даче. Мы публикуем ее почти целиком, копируя несколько фрагментов, — высказывания одних знакомых о других, имена тех, кто не хотел бы, возможно, предавать тиснению свои неблагоприятные оценки людей. Суждения самого А. П., как правило, сохранены полностью (за исключением некоторых сугубо домашних инвектив по адресу дочери или внучки).

Чаще всего упоминаемые в тексте имена близких — Маня, или Маша (их дочь М. А. Чудакова), Женечка (внучка — Е. Я. Астафьева), Янис (ее отец Я. У. Астафьев), Наташа (сестра А. П. — Н. П. Самойлова), Л. — М. О. Чудакова.

в мире будет 3 проблемы: потепление климата, нехватка пресной воды и перенаселенность. И все религиозные, партийные, социальные противоречия померкнут перед этим вселенским кошмаром.

8 января. Фильм Ф. Дзефирелли «Молодой Тосканини». Как всегда у Дзефирелли, музыкально и роскошно. Правда, Тосканини выступает там против отсебятины дирижеров, как поборник точного следования партитуре авторов. Фильм сделан в 88-м году, до опубликования дирижерских партитур Тосканини, из которых видно, как свободно он относился к текстам великих. Но при всем том — певцы, оркестр... Гениальный марш из «Аиды» — до слёз (слаб стал...).

9 января. С тех пор как в моей душе (лет в 12) открылась дверца в литературу и науку — ее уже сможет закрыть только смерть.

10 янв[аря]. Звонил Саша Кушнер.

— Я давно прочитал ваш роман — не знаю, роман это или нет, но это замечательное произведение. Прекрасно описаны все эти подробности, вещи, умения, дела. И какое у вас умение видеть предметы и любить их!

— Не знаю, конечно, сколь хорошо они описаны, но у меня была самонадеянная мысль, когда я дарил вам книгу, что вам это должно быть близко, что у нас общая любовь к предметному миру.

— Конечно, конечно! Ваш учитель в этом видении — Чехов, недаром вы о нем так много и хорошо писали. Но у вас — иначе. А дед — необыкновенный!

— Спасибо, Саша. Мне очень хотелось написать об этих людях, которые уже почти все ушли.

— Это нужно, нужно. Я тут недавно написал одну статью — о Мандельштаме и Пастернаке. Они были втянуты в этот круговорот.

— На самом деле мелкий, политический, хотя он и выглядит большой историей. Для них мелкий, для их масштаба. Но они не могли иначе.

— Не могли. Но лучше бы Мандельштам не писал «Мы живем, под собою не чуя страны». И не читал бы это всем. Хотя да, тогда это был бы не он. Но сколько бы еще написал!..

Лене тоже очень понравился ваш роман. Не собираетесь ли в Питер? Заходите. Посидели бы втроем, поговорили.

11 января. Кажется, статья летит к концу — в пушкинский сборник Иры Сурат. Читая с утра до глубокой ночи Пушкина, еще раз напишу: слаб стал до слез на великую русскую литературу. Пушкиным надо было заниматься раньше, когда нервы были крепче.

Любищев записывал время по минутам — на что сколько ушло. Нечто попробовать — хоть с неделю?..

/Сегодня — полтора часа на ремонт молний у сумки (после того, как узнал, что в мастерской починить или вставить одну стоит 120 р.)⁵⁵.

...Да, школа ВВ⁵⁶ — великая школа. Говорят, эрудиция. Конечно, он знал больше о русском языке, чем любой другой филолог. Но не это главное. Главное у него — ощущение слова, проникновение до самых его глубин и всех приращений и потерь в контексте — этим поистине дьявольским чутьем не обладал более никто. Хотелось бы надеяться, что хоть в какой-то степени я этому у него научился...

13 янв[аря].

...Уж был денёк!

Вчера с 10⁰⁰ показывали меня на ТВ по «Культуре». От наговоренного минут на 20 в студии оставили минуты две. Все ж не зря — принес им целую сумку книг ВВ, кои они и показали, а без меня не догадались. Был Кань Чул (сочинял ему вступительное слово). Потом поликлиника (жить буду!), в 17 час. на Пушк[инской] комиссии Валя Непомнящий читал свои мемуары (см. «Записи докл[адов]» № 4) — «Вокруг Пушкина». Первый — о Свиридове: «В 90-м году И. Роднянская, одна из выдающихся критиков нашего времени, предложила мне написать рец[ензию] на книгу Свиридова. Я не музыковед, не знаю нот и в жизни не прикасался ни к одному муз. инструменту. Но благодаря советскому радио я знал всю симфоническую классику, пел весь шалашинский репертуар и проч. <Сказать Вале: мои музыкальные познания — оттуда же!>. Свиридова тогда я знал не много. Но «Роняет лес багряный свой убор...» <пропел очень точно первую фразу> — это... Романсы Глинки, Рубинштейна — это: Пушкин и Рубинштейн, Пушкин и Глинка, а Свиридов — это Пушкин и Пушкин! Такое еще только у Бородина и Кюи. <Не «Сожженное ли письмо»?..>

⁵⁵ Прямыми скобками А. П. стал было отчеркивать описание подобных дел; но дел было много, тратить время на записи, видимо, не захотелось.

⁵⁶ Инициалами «ВВ» или «ВВВ» А. П. всегда передавал имя своего учителя академика В. В. Виноградова.

Второй мемуар — речь на вручении Солженицынской премии Панарину за «Реванш истории». Ряд известных, но хороших цитат: «Все думали не об истине, а единственно о пользе» (Карамзин); «Культура — система табу» (Леви-Стросс). Еще не было времени, когда бы отменили *все* табу. Это — наше время. Панарин: Наша эпоха — предельной порчи человечества. Сейчас — не поражение России, а всего мира. И т. д., излагает Панарина со своими комментариями — о гибели культуры, всеобщем хамстве и прочее известное.

Сказать Вале: а не есть ли постоянная констатация *нами* всего этого равносильна нагнетанию средствами массовой информации сведений об убийствах, грабежах, катастрофах — т. е. создания катастрофического сознания, как говорят социологи — культуры человека пугающегося, живущего в сознании страха, боящегося этих ужасиков и одновременно желающего потрепать их еще и еще. То, что ты (мы) занимаешься при этом высокой культурой, — не оправдание. Она до масс не доходит. Не следовало бы подумать о средствах прямой борьбы с созданием в социуме этого катастрофического сознания, а не утешаться тем, что мы ушли в пещеры?..

Потом — мемуар про Крейна, к[ото]рый подсчитал, что Валя выступал у него в музее около 70 раз. «Крейн создал музей из ничего, из воздуха. Это — энергия народа, к[ото]рую Крейн собрал в кулак». «В его музее сквозь вещи проступал пушкинский текст»⁵⁷.

Последний мемуар не слышал — ушел на годовщину ВВ к Виктории. Были: Ю. Л. Воротников, В. Г. Костомаров, А. Б. Куделин, Надя — вдова Ю. В. Рождественского, Св. М. Толстая, вдова Никиты Ильича (я в разговоре: «...портрет Льва Ник[олаевича], к[ото]рый тогда висел у него в кабинете...» С. М.: «Он и сейчас висит. Он же приехал из Югославии. И мы до сих пор не знаем, кто его написал, откуда он...»). Куделин рассказывал анекдоты, Костомаров в сотый раз вспомнил про статью «Это не русский язык» 48-го года (но не помнил, кто автор) и говорил что-то о том, что у ВВ много определений стилистики, но ни одно не повторяет другое и т. п. Надо мне в следующий раз, если он будет, сказать что следует о ВВ — о том знании и чувстве языка, множенном на трудно представимую эрудицию, которых не было ни у одного ученого XX в. (даже у Шахматова и Щербы).

/[...] Заклеивал ручку у половой щетки./

⁵⁷ А перед этим Валя сказал, что у него нет трепета перед вещами: что из этой кружки пил Пушкин (прим. автора).

Сказать Вале: Демидова очень хорошо читала замечательные стихи Пастернака, Бродского и др. о Рождестве. А в конце включили голос священника из рождественской литургии и колокола. И это было лишнее! Эти две равновеликие величины — сами в себе и не нуждаются в поддержке одна другой.

6 февраля. Просматривал том Л. Пумпянского — впервые после того, когда работал над ним так тяжело с Николаевым (но комментарий вышел превосходный). Вопросы все те же... Пумпянский предлагает строить историю литературы по вершинам — даже не писателей, а произведений — «Ревизор», «МД»⁵⁸ и др. Не есть ли это все же, как я всегда считал, методологический тупик?..

7 февр., 20 часов. 3 дня провели с Женечкой на даче, в тишине, мире и согласии, беседах о литературе и жизни. Поскольку было — 22° С, сначала на 1-м этаже было +6, перед отъездом — +22° С. Снег, псы, кот.

8 февраля. Умерла Таня Бек на 55-м году жизни, от инфаркта. Выпивая с ней в Липках 23 октября, мог ли подумать я!..

Говорили о ней с Л. Сказала о причинах любви ее ко мне в последнее время:

— Она тебя особенно полюбила после твоего романа. Это и есть настоящий литератор — ценить другого литератора за то, что он сделал.

10 февраля. Hamburg, Gastehaus an der Elbchaussee 195a. Из аэропорта ехали с Татьяной Толстой, к[ото]рая, как и я, приглашена als Mitglied des Puschkin-Preis-Kuratoriums der Alfred Topfer Stitung F.V.S. на заседание — видимо, последнее по врученью Пушкинских премий, дальше у них реорганизация, будет одна премия на все виды искусства (денег жалко). По дороге разговаривал по-немецки с таксистом восточной внешности и переводил Татьяне, присовокупляя свои замечания про таксиста, а когда расплачивался, тот сказал, что понимает по-русски, т. к. афганец и год провел в Ташкенте «в школе» — ясно, какой, — мог бы, мерзавец, сказать и раньше.

⁵⁸ Общепонятные в гуманитарной среде по контексту сокращения такого рода — МД («Мертвые души»), ЕО («Евгений Онегин») мы не раскрываем.

С Таней пили кофе и ужинали, выпили две бутылки вина, обсуждали кандидатов, рассказывала про свою клиническую смерть в 18 лет — что видела. А видела воронку, куда ее втягивало вперед ногами, свет, странный звук и еще что-то из набора, описанного в книге «Жизнь после жизни». «После этого я перестала бояться смерти, т. к. поняла, что на ней все не кончается». Поговорили об ее бабушке, А. Н. Толстом.

— Я никогда не верил, что он был пьяница. Написать столько к 62-м годам! Наоборот, он был трудоголик.

— Конечно! С утра садился и до обеда никто ему не должен был мешать. А насчет вина — он больше притворялся, он был актер. Он больше любил застолье, бражничество как действие.

Рассказала, как Алик Жолковский, ухаживая за Ольгой Матич, был вызван ее тогдашним любовником-негром на мордобой. В волне-ньи, негр сказал что-то на сомали. Автор книги «Синтаксис сомали» на этом же языке ему ответил. Пораженный негр вместо драки кинулся обниматься.

Я рассказал ей про родителей Ольги, про Ледовый поход и проч.

Рассказала: Таня Бек умерла не от инфаркта, как сказали по ТВ (офиц[иальная] версия), а проглотив 40 таблеток какого-то снотворного. Причина самоубийства — травля ее Е. Рейном, Синельниковым и Чуприниным после истории с Туркмен-баши.

Звонил Вольф Шмид. Ирине сделали операцию — 12-часовую. Пока все обошлось.

12 февраля. Вчера было последнее заседание жюри Пушкинской премии, которую фонд Тёпфера закрывает, о чем нам его представитель долго и нудно рассказывал.

Потом обсуждали кандидатуры. М. Эпштейн (выдвинул Вольф, считая его основателем эссеистики), А. Гольдштейн (Андреас), М. Соколов и Парамонов (Толстая), Л. Рубинштейн (Вольф), Гандлевский (я; вторым я назвал Парамонова). Таня очень ратовала за Соколова (образованность, стиль, создание своего жанра). Вольф считает Леву Рубинштейна замечательным стилистом, чутким к слову и т. п. Я подробно защищал Гандлевского, который одинаково хорош и как прозаик и как эссеист, и как поэт, а про Соколова сказал, что особенного *литературного* блеска в нем не вижу. Все защищали свои кандидатуры, и Парамонов оказался единственной фигурой, которая устроила всех. На том и порешили.

А в 18 часов у нас с Таней был творческий вечер в Гамбургском университете. Присутствовало в большом амфитеатре человек 100—150 — «весь русский Гамбург», как сказал Вольф Шмид. Я читал главу «Гимн Советского Союза» и даже пел кусочки гимна по-немецки, чем очень развеселил зал и сорвал большой аплодисмент.

Таня читала кусочек из «Кыси».

Потом до 20²⁰ отвечали на вопросы и еще минут сорок раздавали автографы и приватно беседовали.

У Тани спрашивали про ее «Школу злословия» на ТВ, она отвечала, что передача доживает последние разы.

— Не трудно ли вам было выходить из страшного мира «Кыси»?

Таня: — Трудно было входить. Портить свой разговорный язык и т. п.

Рассказала, что задумала роман еще в 86-м году после посещения деревенского дома, к[ото]рый покупала ее сестра и где сортир представлял собой две параллельные жердочки [следует рисунок], за одну держишься, на второй сидишь, выставив задницу в хлев, где коровы (видимо, для создания общей навозной кучи). Но тут началась перестройка, было много интересного, и вернулась она к замыслу только в конце 90-х, закончив роман в 2000 г.

«— До этого я писала только рассказы, и роман училась писать в процессе его писания — а как иначе этому можно обучиться? А там уже текст диктует свои законы — к голове тигра не приставишь селедочный хвост».

Мне тоже задавали много вопросов, часто глупых или сложных: как вы относитесь к современной литературе? Высказал свою любимую мысль, что мир становится все абсурднее и хаотичнее, но писатель не должен рабски это отражать, а в душе своей держать идею сдерживающей гармонии, чтобы все не рассыпалось уж совсем на куски. Забыл привести аналогию с языком: он портится, и ничего с этим не поделаешь, но мы должны сопротивляться до последней возможности и растянуть этот процесс на возможно более долгий срок. (Герцен: «Куда ямщик и так уже мчит жандарма».)

Спрашивали, на каком материале написал я роман, жил ли в Казахстане. Кратко это рассказал. Какая-то женщина сказала, что ссыльных немцев не отпустили обратно в Поволжье, с чем я не согласился, ибо мы с Л. и Машей, путешествуя по Ахтубе на байдарке, видели их целую деревню.

Накатил бочку на современную интертекстуальность, используя пример, уже задействованный мною в заметке в «Знамени» (№ 1), прибавив туда материал из зарубленной мною в «Чеховиану» статьи Щукина из Кракова о числах в «Трех сестрах»; к слову упомянул Потебню — проблема «своих газов»⁵⁹ и т. п.

И прочее, уже не вспомнить. С Толстой составили славный тандем, заявив «не могу молчать», я два-три раза вмешивался в ее ответы, а она подхватывала мои (отразил это в инскрипте «от участника тандема»). Когда я сказал, что никто из серьезных людей не читает уже «Лит[ературную] газету», она добавила: «А. П. выразился слишком интеллигентно» и вмазала газете по первое число на уровне семантического гнезда «дерьмо».

После этого действия со Шмидом, Ириной (недавно ей сделали операцию по ее онкологии — 12 часов под общим наркозом), Марком Лубоцким, Ольгой и Татьяной ужинали во французском ресторане, где я почти все время проговорил с Лубоцким — о музыке. Он явно соскучился по такому разговору с немусыкантами. Рассказывал:

Не так уж обдирали советская власть выезжавших за границу музыкантов, как мы привыкли думать. Москонцерт оплачивал дорогу, пребывание в отелях, а это огромные деньги! («Знаю, знаю, вот я в Сиэтле...»), оплачивала переговоры с менеджерами — а это еще большие.

Записи Волковым разговоров с Шостаковичем в оригинале. *Перед* каждой главой Ш[остакович] писал: «Прочитал, согласен» — еще до чтения. Так что могло что-то попасть, что не говорил — есть там темы, к[ото]рые с Волковым он вряд ли обсуждал. Но все же не возражал. В целом он Волкову верит и считает его очень знающим и тонким музыковедом. Я продолжил тему, рассказав об его интересных выступлениях на «Свободе».

Говорил о любви Д. Ш. к Блантеру — в его кабинете в Союзе композиторов висел портрет песенника. В кабинете Хренникова — статуэтка Бетховена, Бах, Чайковский и огромный бюст самого Хренникова.

⁵⁹ См. в статье 1975 года: «Процесс понимания Потебня сравнивает с возгоранием одной свечи от другой: «Пламя свечи, от которой загораются другие свечи, не дробится; в каждой свече воспламеняются свои газы. Так при понимании мысль говорящего не передается слушающему; но последний, понимая слово, создает свою мысль, занимающую в системе, установленной языком, место, сходное с местом мысли говорящего» (Теория словесности А. А. Потебни // Чудаков А. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских классиков. М., 1992. С. 154).

Жванецкая плохо владеет композицией, ее трудно воспринимать.

Сейчас успех имеют раскрученные музыканты, преимущественно молодые, кто известен каким-нибудь скандалом, цветными волосами или смелым декольте. Просто серьезному музыканту трудно.

Сальери не убивал Моцарта — зачем ему было это делать, он был достаточно известен (был учителем Бетховена), писал очень хорошую музыку. Это Пушкин виноват!

«Да, ничего не поможет! Никакие аргументы. В русском сознании он навсегда останется убийцей музыкального гения человечества, как война 1812 г. — как ее дал Толстой, а Пугачевский бунт — Пушкин в «Кап[итанской] дочке».>

Таня рассказала про музей Берлинской стены — экспонаты рассказывают, как через нее перебирались: в выпотрошенном моторе фольксвагена (хватало на 100 м завода после пропускного пункта), в двух чемоданах на верхней полке купе [*сделанный А. П. рисунок двух чемоданов, сдвинутых вместе выбитыми торцами, с ручками и уголками...*] с выбитыми пограничными стенками и т. п.

В одном ответе на вопросы сказала о вечной печали по России до 1917 г. и смерти Пушкина. Я горячо поддержал; сказав, что к ней можно применить слова Розанова о Лермонтове — «вечно печальная дуэль». Дуня Смирнова плачет, когда о дуэли заходит речь. Не удивляюсь, я почти тоже. Рассказал им, как не мог досидеть эту сцену в показе мима Марсея Марсо: на твоих глазах убивают Пушкина!..

Вечер. Вольф и Ирина Шмиды пришли к нам на виллу семейства Тёпфер на Elbe-шоссе 195-а (ост. автобуса Liebermushkrasse) на ужин. Выпивали, вспоминали прошлое. Ирина рассказывала о детях — сын Вольфа женат на бразилианке, выучил португальский язык, ее сын тоже на какой-то иностранке и т. п. Говорили о филологии (Ирина защищала интертекстуалистов и проч.). Вольф сказал, что им все звонили и говорили, какой удачный был вечер вчера, «весь русский Гамбург шумит».

Потом с Татьяной еще с час беседовали на разные темы; говорила о том, какой мерзавец В[...], умеет устроить свои дела, *гипнотизируя* тех, от кого это зависит, и проч.

Перед этим ходил по магазинам и купил два превосходных галстука.

В 100 м от виллы — Эльба, по которой тянутся с огнями баржи бесконечной длины.

Ночь. Звонила Ира Гитович, хвалила наше с Антоном Рябовым выступление по ТВ в защиту многострадального Словаря русских

писателей. «Насчет Вашего выражения свирепости на лице, к[ото]-рое Вы обещали создать в адрес врагов, — получился ручной лев. А остальное было хорошо. Теперь надо не упускать инициативы!» Легко сказать. На этих мерзавцев не действует ничто. Но, как я сказал по ТВ: мы не позволим!..

Марк Лубоцкий:

— Щедрин — плохой композитор.

— Но зато во всем мире знают «Кармен-сюиту» — знакомые мелодии, великие балерины...

— Да-да, очень знакомые... (Смеется.)

23 февраля, Москва. Прилетели, Янис встретил, довезли Татьяну до Войковской. Зовет Мариэтту в свою передачу (договорились уже давно).

14 февраля. Первая лекция по «Е.О.» в Школе-студии МХТ. Разошелся, говорил о поэзии вообще, читал наизусть Олейникова (видно было, что слышат впервые), вспоминал Д. Н. Журавлева и говорил о других (плохих) чтецах, о важности понимания текста для актеров.

Мих. Андреич (преподает у них мастерство) сказал, что так и надо, что им это нужно, то ничего подобного они не слышали и не знают, «а отступления ваши пусть вас не смущают — это и есть самое интересное!»

— Да, я когда слушал Бонди, Виноградова, то с нетерпением ждал, когда в общем курсе они отклонятся и расскажут что-нибудь об Андрее Белом, Мейерхольде, Щербе...

Надо еще что-нибудь вспоминать и им порассказывать.

На лекции была Женечка. Может, и удастся приобщить ее к литературе... Сказала: «Знаешь, они очень удивлялись, что ты все читаешь наизусть, никуда не подглядывая, и Пушкина, и Олейникова, и других поэтов. Наша учительница всегда подглядывала в книжку, и их учителя, наверное, тоже. Я-то привыкла, что ты все знаешь, а они ведь нет!»

* * *

Идею равенства французские революционные массы поняли не как равенство перед законом, а как получение равной доли с тех, кто их умнее, талантливее, лучше работает и поэтому богаче. И это изменило ход истории: сначала это стало главной идеей русской револю-

ции, потом левого движения во всем мире, потом к этому подключились майнориты в Америке⁶⁰, в последние годы — мусульмане в их ненависти к богатым [в] Америке и Европе — кто еще захочет всеобщего равенства во всем и к чему это приведет?.. Не будет ли это вторым столкновением — как варвары с античной цивилизацией?

В России современной это уже раскололо общество на как никогда ненавидящие друг друга части. И неимущие, воспитанные советской властью, считают, что и они независимо от своего потенциала и способности работать имеют право, как и вторая часть, на путешествия на Канары и Майорку. Но это не получается, и они чувствуют себя обделенными и несчастными.

15 февраля. Обсуждается в газетах и ТВ повышение зарплат военным.

Короли средневековой Европы были умнее нас, имея профессиональную армию и создав институт наёмников. Это прежде всего позволяло делать войны локальными и не столь массово-кровавыми. Всеобщая воинская повинность столкнула уже не армии, а народы, и известно к чему это привело уже в XIX и начале XX в. Понадобились все ужасы XX века и его страшные изобретения, чтобы вернуться к идее средневековья с его многочисленной профессиональной армией, дающей возможность остальным молодым людям в самые цветущие свои годы осваивать профессии и заниматься общепольным трудом.

Вчера в передаче на ТВ (программа А. Архангельского «Тем временем») показывали меня с речью в защиту нашего бедного «Словаря русских писателей». Выступающий хотя и сказал то, что нужно, но самому себе не понравился, хотя Л. сказала, что все нормально и даже эмоционально. Какое там эмоционально — сдержанно и сухо. А злобную фразу в адрес чиновников, кою даже репетировал перед зеркалом, вырезали. «Злобы побольше», как говаривал Салтыков-Щедрин. И свободы — вальяжности побольше — скован. Почему? Внутренне свободен, не волнуюсь (еще не хватало). Не артист-с!

По ТВ «Два капитана» (1976, 1-я серия из 6). За столом поют романс «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...»

⁶⁰ Весь третий мир, к[ото]рый хочет получить доступ к благам цивилизации Европы (прим. автора).

...И вспомнилась ему бабка, которая так замечательно пела этот романс. А нет ее на свете уже 35 лет. И вспомнил он еще автора замечательной книги, по которой сделали этот сериал. И его уже нет в этом мире — целых 16 лет.

16 февраля. Вместо — вместо всего! — читаю для «Чеховианы» статьи: Собенникова, не очень корректно обращающегося с текстами предшественников⁶¹; Н. Разумовой, освоившей несколько философских терминов, в коих ее статья совершенно не нуждается («Новая драма ... взяла на себя миссию осмысления и оформления новой онтологии», «кризис затронул глубокие эпистемологические слои», «распадение системы, основанной на логоцентрической корреляции между человеком и миром» и т. д.).

17 февраля. Продолжаю смотреть по ТВ «Два капитана». По-прежнему поражаюсь каверинскому мастерству сюжета. Сказал Л., что это качество — от внутренней активности личности, и с этой точки зрения меня не удивляет мастерство интриги и в ее рассказах старых и ее новой прозе. (По ходу заметил, что у одного из величайших писателей нового времени — Чехова — не было этой черты в темпераменте, не зря же он писал: «во мне огонь горит ровно и вяло». Великий огонь, но ровно и без напора. И отсюда вся его бессюжетность в противоположность Достоевскому, который создает невероятные сюжеты и адским напором энергии своей личности завораживает читателя, заставляя верить в невероятности «Села Степанчикова», «Дядюшкина сна» и скандалов «Идиота».) Посему — жду ее новых находок в сюжетах Жени Осинкиной и Митеньки. И не надо боять-

⁶¹ А. П. пришел в редкое для него раздражение от этой статьи; особенно он был поражен и возмущен необъяснимым заявлением автора, что тот первым начинает изучать то-то и то-то у Чехова; А. П. говорил, что просто не знает, как реагировать, — «Не могу же я написать ему, что это исследуется еще в первых моих студенческих статьях!» М. Ч. посоветовала вместо этого поставить эпиграфом к письму слова из «Записок покойника», что он и сделал. Работа над статьями «Чеховианы», большинство которых в той или иной степени раздражали его своим уровнем (поскольку не все члены редколлегии готовы были держать научную планку), и тяжелая переписка с авторами бессмысленно съедала в последние годы время А. П., отнимая его от огромных, оставшихся невыполненными замыслов; об этом не раз шли семейные разговоры, кончавшиеся его словами: «Или я должен выйти из редколлегии и снять свое имя, или следить за уровнем!..».

ся сложных кусков в детской прозе. Читая «Два капитана» в 8—9 лет, я понимал всё (разумеется, во многом только верхний слой, но так и понимал).

Л.: — Но ты был особенный ребенок, не забывай.

Пожалуй; но не один же такой был. Если серьезные куски текста повлияют хоть на 1 % читающих детей — это уже достаточно.

Татьяна Толстая сказала, что мои идеи по рекламе надо сначала запатентовать, а потом идти в компанию «Тэфаль» и др.

* * *

Недавно понял, почему мне всегда нравился Дюк Эллингтон, — узнал, что в отличие от других представителей джаза и попсы он получил нормальное воспитание и образование (в том числе музыкальное), не баловался наркотиками, не был замешан в скандалах и проч. и проч. Ничего этого не было почти ни у кого из его коллег по массовому цеху, все это благотворно отразилось на его вкусе, манере, стиле — чудес не бывает.

19 февраля. В «Линии жизни» С. В. Михалков: «Литературоведы говорят, что баснописцев было много, но остались Крылов и Михалков. У Крылова прекрасные басни, но есть и слабые. Я написал 250 басен».

Интересно, какие это литературоведы такое говорят? Вот еще один случай стопроцентного, геббельсовского вранья — сразу вспомнилось, как на приеме у патриарха, где мы сидели с ним вместе за «писательским» столом, я спровоцировал Радзинского на вопрос: много ли народу бывало на знаменитых междусобойчиках у Сталина в 1940-х годах. И старый лгун, не моргнув своими выцветшими голубыми глазами, сказал: «У Сталина? Да я никогда там не бывал!» Меж тем точно известно, что после написания им гимна, он, как и Симонов, бывал почти на каждом таком «парти». Сказал, не задумываясь, твердо, глядя через стол в глаза Радзинскому. Выучка советского партаппаратчика! Опытного Радзинского трудно сбить и смутить, но и он — только рот раскрыл.

Л. написала замечательную статью «Три “советских” нобелевских лауреата». Впервые нечто внятное сказано о Шолохове — ничего похожего не было, несмотря на громадную литературу о нем. Да и о Пастернаке. Да и о потоках литературы советского времени.

Если и эта ее статья пройдет незамеченной, как некоторые другие тоже замечательные, — значит уже никого не интересует литература страшного советского времени — ее герои, борцы, ее сдавшиеся. Только бы успела она изложить давно готовую концепцию в систематическом виде!..

23 февраля. 22-го были с Бочаровым у Ю. Н. Чумакова и Лоры в г[остини]це РГГУ. По ритуалу Сережа вспоминал год и день, когда они познакомилась у меня в Беляеве. Они обсуждали книгу Маши Виरोлайнен, которую я не читал («Тяжело, сложно, но грандиозно»). Вспоминали, что новую страницу в изучении ЕО открыли Семенко, Штильман и моя публикация Тынянова в «Новых открытиях» («О композиции “Евг<ения> Онегина”»). Сережа в очередной раз вспомнил мое высказывание о том, что Ю. Н. и он, Сережа, открыли новый язык в писании об ЕО, начав писать о нем сложно. (Видимо, ему этого никто не говорил — у нас такое не принято!)

Я рассказал Сереже, что нашёл ход к патриарху (через В. В. Полонского), но письмо пусть пишет он. Я могу продиктовать ему только первую строку: «Ваше святейшество!» Все смеялись. Два года назад мы заручились поддержкой высшей светской власти, теперь — высшей духовной. Если и это не поможет, остается последняя инстанция: к Господу Богу. (Стал записывать свои остроты, как Алик Жолковский. Впрочем, он их не записывает, а помнит до единой и через 40 лет воспроизводит в своих «Виньетках».)

К завтраму надо сочинить доклад для конференции «Культура остроумия пушкинской эпохи» (в доме В. Л. Пушкина на Старой Басманной). Пока — ни строки. Тема — «Ироничен ли “Евгений Онегин”»?

24 февраля. С Олегом Чухонцевым — разговор он решительно начал с несогласия с нашим решением дать премию Парамонову: «Таких у нас десятки! Это ж устный жанр!» Я вяло возражал.

[...] Потом сразу перешел на мой роман, 2-е изд. к[ото]рого я подарил ему на юбилее «Нового мира».

— Толстые журналы хороши как указание — придешь в магазин, один «Вагриус» выставит 20 книг, запутаешься. Тебя я прочитал в «Знамени». Они молодцы. Но потом хочется остаться с книгой наедине и прочитать заново, уже *книгу*, без соседей. Второе чтение выдерживают немногие книги. Твою мне хотелось читать второй раз.

Я люблю такой жанр, как «Детские годы Багрова-внука». В этом смысле книга твоя замечательна. Ты филолог, и тебе не надо было втаскивать в роман свою умность, она и так известна. У тебя открытия другие — душевные.

Надоело читать про уродов. О нормальных людях, кроме Дмитриева, не пишет никто.

Тургенев — как проверка на вшивость. Когда я был в жури Букера...
— А кому вы дали?

— Шишкину. ...Из 39 романов примерно в семи, включая Женю Попова, лягали Тургенева. А [я] его люблю. «Дв. гнездо», конечно «Записки охотника», ну и — в другом плане — «Отцы и дети».

Я, как и ты, всю жизнь дружил со старшими. И тоже, конечно, запоминал.

Я: — Мне кто-то сказал: «А вы что, в детстве записывали, кто что вам говорил?» А я и говорю: «Конечно! Мне было 9 лет, и я открываю свою писательскую записную книжку, и записываю...»

Олег долго хохотал.

— Главное у тебя — атмосфера. И установка. Она даёт спокойную совесть и эпический тон. И то, что я ценю больше всего — воздух прошлого. Когда он ушел, на его месте осталась пустота.

25 февраля. Только что сделал доклад на конференции в доме В. Л. Пушкина «Культура остроумия пушкинской эпохи: Ироничен ли “Евгений Онегин”»? Прочитав самые для меня волнующие из всей русской литературы строки «Живу пишу не для похвал & потреплет лавры старика!» сказал: «Если уж это ирония, как считают авторы приведенных мною цитат, то тогда зачем мы собираемся здесь и тревожим великую тень?..»

Н. Л. Вершинина (Псков). «...Вдруг каламбур рожу» (каламбур в литературных стилях пушкинской эпохи). В черновиках *усиление* (термин Жолковского) дается при помощи каламбура, в окончательных вариантах он исчезает, каламбур превращается в намек на каламбур. Исправник ест *гуся с капустой*. М[ожет] б[ыть], это не так безобидно. М. де Сталь: «Она все говорила, но не могла разговариваться». «— Ни на кого не смотрит — Да на меня все время смотрел». В «Гробовщике» про погребение. Ср. анекдотич[ескую] эпитафию: «Под камнем сим погребена моя жена, Моим стараньем здесь она погребена». Ее приводит Некрасов, но задумана она была всерьез.

* * *

Поговорили с В. С. Листовым.

— Мне кажется, — сказал В.С., — я могу ответить на вопрос: кто был monsenior l'Abbé?

— Как кто? Французский эмигрант, выгнанный из Франции революцией.

— М[ожет] б[ыть], он и был эмигрантом, но до семьи Онегина он преподавал в кадетском лицее, l'abbé — жаргон кадетов. Он не обязательно должен был быть аббатом, носить такой высокий чин.

— А у вас есть доказательства, что он преподавал в этом лицее?

— Есть, есть...

— В «Кап[итанской] дочке» на стене висит *винтовка*. Но нарезного оружия в пугачевские времена не было! (В пушкинские уже было.)

Относительно того, что вы говорите об оружии в «Р[услане] и Людм[иле]», в «Песни о в[ещем] Олеге» — я спрашивал на защите дисс[ертации] по истории русского оружия. П[ушкин] не имел каких-то особых сведений об этом оружии.

Людм. Александровна Перфильева. Я смущалась, у меня был комплекс: я мало чувствовала иронию в Е. О. Спасибо Ал[ексан]дру Павловичу Чудакову, он снял с меня эту тяжесть!..

Н. И. Михайлова — о доме В. Л. Пушкина.

До «Бауманской» проводили Л. А. Перфильева (автор статей «Замок» и «Крыльцо» в «Онегинской энциклопедии») и еще какая-то дама, преподавательница Ин[ститу]та культуры в Химках, куда меня в начале перестройки приглашали в завкафедрой (стесняясь, похвалила мой роман). С Л. А. поговорили об архитектуре пушкинского времени.

Обстановка на конференции была редкостно приятная, домашняя, включая пироги к чаю.

27 февр[аля]. Два дня провели на даче с Женечкой, вчера два часа занимались символизмом. Ребенок соображает[...].

Вместо писанья мемуара в сб[орник] МГУ с утра три часа (!) костенеющими на морозе руками чинил дверь в сортир, а до этого снимал дверцу со шкафчика на 1- этаже, а до этого Снежный ком дел.

2 марта. Привыкаю болеть. Говорят, это ожидает всех. Но ведь я не просто не болел. После эпизода в 20 лет я по сути не болел *никогда*, даже гриппом раз в 7—8 лет. Это, видимо, и оказало мне медвежьё услугу, когда при ангине у меня не болело горло, я, как обычно, не чувствовал температуры и таскал кирпичи на даче! И дотаскался.

И зубы! Дантист ошеломил ценой. Маша говорит: «Если бы у меня не то что в 67 лет, а хотя бы в 50 были твои зубы, я была бы счастлива. Какие-то четыре коронки!» — Ты права, первый зуб у меня заболел в 20 лет. Но все равно противно.

Читаю в Школе-студии МХТ «Евгения Онегина». Смущая, аплодируют и благодарят в конце каждой лекции, смущая.

Надо побольше говорить им по профилю: о художественном чтении стихов, например.

9 февраля по ТВ Евг. Миронов — хороший актер — очень плохо читал Пушкина. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением» — лицом и шеей играет «мятежное наслаждение». Диапазон — от патетики до многозначительного шепота. «Я вас любил, любовь еще быть может» — с паузами, зловещим шепотом, который становится почти неслышимым. «Мне не спится, нет огня» — снова шепот — видимо, это главная его краска. Скажу им: *так* не читают стихи. Его кто-то обманул.

3 марта. Почему я перестал в последнее время [хотеть] прожить лишние 5—10 лет сверх обычной нормы? (Меньше нормы по-прежнему не хочется.) Да потому, что исчез главный стимул, который был очень силен во мне всю молодость и долго после: любопытство к тому, что будет дальше, и надежда. А теперь ясно: лучше не будет. Ничего хорошего не ждет человечество ни в ближайшем, ни в дальнейшем будущем. Не завидую тем, кто это увидит. И завидую тем, кто застал мир до I мировой войны: золотой век, с его верою, что так будет всегда. Да что там: я больше люблю недавнее, хоть и советское прошлое: ведь я мог раз в неделю беседовать с ВВ, сходить к Бахтину и Шкловскому, съездить к Л. Я. [Гинзбург] в Питер.

4 марта. Для сборника МГУ «Выпускники филологического ф-та 1960 года» как бы пишу мемуар. Прочел 2 предыдущих сборника: выпуск 1955—1958-го. Впечатление тяжелое: им нравились Самарин, Шанский, Турбин (от последнего — все в экстазе). Из выдающихся

наших профессоров упоминают только С. М. Бонди. Как будто и не читали в эти годы на факультете ВВ, П. С. Кузнецов, С. И. Ожегов, В. Ф. Асмус... Кого они слушали, в чьи семинары ходили? Глаголева-дурака? Зозули?.. Положение мое трудное — надо написать: тех, кого вы хвалите, я не слушал, а ходил в это время к другим, такой я был умный.

Стал шерстить свой дневник университетских лет: это документ. М[ожет] б[ыть], дать кусочки?

Зачитался с утра — и не пишу, а уже 4 часа! И Грэй мяучит — не пора ли перекусить?..

Ночь. Написал на 4-х страницах письмо А. С. Собенникову⁶² — прислал нам в «Чеховиану» очень наскоро написанную и неважную

⁶² Дорогой Анатолий Самуилович!

Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.

— Позвольте, — обиженно надув губы, бормотал я, — как это *никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?*

М. Булгаков. Записки покойника (Театральный роман).

В Вашей статье поставлен очень интересный вопрос. Но его решение, к сожалению, оказалось не слишком удачным.

Одной из главных претензий к статье оказался вопрос ссылок.

Не совсем ясно, зачем Вам понадобился первый абзац с беглым перечислением тем со случайными отсылками по одной работе на каждую, тогда как, как Вам хорошо известно, на каждую можно добавить десятки работ, упоминаний, параллелей (я уже не говорю об океане прижизненной критики). Безусловно, работа Скафтымова очень интересна, но подробное рассмотрение темы «Чехов и Марк Аврелий» (с использованием книги философа с пометами Чехова) дается в комментарии к 7-му тому (с. 447—449). (Впрочем, я уже привык, что на комментарии к Акад. собранию не ссылаются никто.) О связи философии Марка Аврелия с «Чайкой» писал Бицилли. Высказывалась и идея о близости философии Рагина к учению Толстого (впервые — А. Дерманом и Ю. Соболевым). В книге П. Н. Долженкова много упрощений, вы же даете ее как главный труд по позитивизму; литература о Чехове и Достоевском за последние годы все разрастается (немецкая, английская, да и отечественная) и т. д. Содержание, подход, сам тон и стиль книги Бердникова я не комментирую.

Говоря о диагнозе болезни Громова, вы ссылаетесь на неопубликованную статью В. С. Собенникова. Читатель может подумать, что это сделано впервые. Но такие диагнозы ставили авторы многочисленных работ о Чехове-враче — назову только *книги* Хижнякова, Гейзера, Шубина, Мирского, Меве. Последний в трех своих книгах (Меве Е. Б. Труд и болезнь писателя-врача, 1959; Медицина в творчестве и жизни Чехова, 1961; 2-ое изд-е 1989) диагно-

стировал буквально всех больных чеховских произведений (в том числе в специальной главе и «Палаты № 6»). Это тем более странно, что на 1-е изд. книги Меве вы ссылаетесь в своей книге 97 г.

Вообще, просматривая Ваши сноски, этот гипотетический, не очень подготовленный читатель (студент первых курсов, например) может подумать, извините, что на эту тему, за исключением 2—3 работ, до 1997—98 гг. ничего путного написано не было. И не узнал я в нынешнем ссылочном аппарате человека, который в 97 г. в своей книге, упомянув работу С. Булгакова «Чехов как мыслитель», сообщает, что с этой лекцией автор выступал также в Ялте и в Петербурге в 1904 г., а второе ее издание вышло в Москве в 1910 г., а в виде статьи она публиковалась в «Новом пути», а ее содержание излагалось в газете «Русь»...

О литературе по главной теме статьи. Начиная разговор и сообщив, что «нет специальных исследований, посвященных повествовательной структуре» повести, вы говорите о читателе, к которому «обращается повествователь», «совершается своеобразная экскурсия». Меж тем за 70 лет до Вас об этой «первой загадке» писал А. Б. Дерман, говоря, что Чехов применяет «характерное старолитературное предложение к читателю — точно к живому собеседнику, пройтись вместе с автором по месту действия» и далее (Дерман А. Творческий портрет Чехова. М., 1929. С. 260). Ссылки на него я неоднократно встречал в литературе.

Говоря об объективном и двухсубъектном повествовании, Вы ссылаетесь на очень вторичную в части, посвященной повествованию, работу С. Л. Степанова 2001 г., который вещает так, как будто на эту тему не писали ни В. Н. Волошинов, ни Бахтин, ни Виноградов, ни Б. Успенский, ни — специально в связи с Чеховым — Гурбанов, Л. Барлас, Ковтунова, Н. Кожевникова и мн. др. Видимо, он человек молодой. Поддерживать такую беззастенчивость мы не должны для поддержания нормальной научной атмосферы, которая должна исключать формальные сноски без ответственности за них. Далее идет ссылка на не менее вторичное высказывание Манолакева, где новым является только модное словосочетание «два нарративных режима».

Ссылаясь на меня (№ 12), вы почему-то выбрали маленькое упоминание о «Палате № 6» в общем ряду, выглядящее этикетным*. Меж тем в «Поэтике Чехова» есть подробный разбор (с. 75—78) типа повествования в этой повести — с подсчетами глав, насыщенных «мыслью и словом главного героя», а также других персонажей, о том, что повествование «Палаты № 6» «выбивается из типичной для второго периода повествовательной манеры», о степени субъективности повествователя и т. д. и т. п. Я с интересом принял бы любую полемику, но несколько странно умолчание. Я все же боюсь быть неверно понят — что недостаточно ссылок на меня. Этого, поверьте, — ни тени. Ссылок после ПЧ по всему миру более чем, как выражаются сейчас. Речь не обо мне (и других) — речь о Вас.

Кстати, не так прост и вопрос о тургеневских реминисценциях — в частности, пейзажных описаниях. Современный слоган «тургеневский код» тут

не спасет, простым упоминанием отделаться не удастся; проблема, поставленная еще А. С. Долининым и Г. А. Бялым, слишком сложна. О повествователе в «Цветах запоздалых», что его позиция там «не отличалась оригинальностью» (ПЧ, с. 20), уже после меня писали неоднократно. Предельная корректность в сносках, предшественниках, названиях статей и книг — это, конечно же, наш *modus vivendi*.

[В связи с этим хочу затронуть еще один сюжет — я не говорил Вам об этом ранее, но статья показала, что, видимо, стоит. Пишу это со стесненным чувством.

Название Вашей книги «Между “есть Бог” и “нет Бога”» повторяет, как Вы хорошо знаете, заглавие моей статьи. Она была прочитана в качестве доклада, который Вы слышали в Баденвайлере 23 октября 1994 года, а затем напечатана в № 9 «Нового мира» за 1996 г. (более чем за год до выхода Вашей книги) и вскоре попала в Интернет. Я бы не стал упоминать про это, но мне говорили об этом уже несколько человек, в том числе одна критикесса, не имеющая к Чехову никакого отношения. Такое повторение тем более было нелужным, что Ваша серьезная книга — совсем о другом.**]

Но вернемся к нашей статье.

Меня совершенно не удовлетворил Ваш ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи: «Возможно, писатель уходил от прямого публицистического слова, боясь, что читатели прочтут повесть как психиатрический этюд, поставят знак равенства между “Палатой № 6” и “научным” “Островом Сахалином”. Оснований для такого прочтения в тексте больше чем достаточно. Автор, не нагружая читателей медицинской терминологией, даёт полную клиническую картину заболеваний своих героев. Условно-литературный повествователь — знак для читателя, что речь идёт не о том, как люди сходят с ума, а о художественном открытии» (с. 6).

Исследователь, приступающий к рассмотрению такого сложного вопроса, почему Чехов обратился к той или иной форме повествования, не может ограничиться ответом, ориентирующимся только на *содержание* данной повести. Я вообще очень сомневаюсь, чтобы сама по себе *тема* заставила автора изменить уже сложившуюся повествовательную систему. В 1888—1892 гг., период напряженных поисков, он пробует разные манеры, типы рассказчика, повествования. Подумать только: «Степь» — «Именины» — «Скучная история» — «Бабы» — «Дуэль» — «Попрыгунья»! Исследователь, взявшийся за данную тему, должен быть готовым отойти от привычных понятий об «идее», которая в произведении определяет всё, но находиться во всеоружии представлений о всей нарративной системе Чехова этого времени и соотнести ее с «Палатой № 6». Вы же ограничиваетесь беглыми некими психологическими («боясь», «знак для писателя») предположениями.

В статье есть хорошие мысли, но они — увы — никак не связаны с решением, как Вы выражаетесь, «загадки» повествовательной структуры. А Ваши пассажи о «синтаксических конструкциях с противительным союзом “но”» и словах, «подчеркивающих неизменность бытия» (с. 3) — я даже не знаю, что об этом сказать.

статью, где ни на кого не ссылается и, имея самые смутные представления о структуре повествования, пишет именно о ней. Написал ему резкое письмо, не упомянув, правда, о других его плагиатах — не только из меня. Из меня же — сколько их было! И с чего я вдруг решил бороться с этим?..

5 марта. После своей работы на Мосфильме в качестве консультанта по фильму Каверина я не заблуждался относительно эрудиции актеров; стало ясно, что знают они очень мало. Но чтоб настолько!

По ТВ вечер встречи с А. Збруевым, хорошим, хотя и не выдающимся актером (он как раз и играл в фильме по Каверину). Рассказываю про то, как он играл вместе с Е. Леоновым в чеховском «Иванове», сообщил:

— Это серьезный образ, его Белинский (!) назвал «Русский Гамлет».

Я решил, что это шутка. Но у него все-таки где-то что-то смутно брезжило, и он стал серьезно поправляться: «А может, и не Белинский...»

В настоящем своем виде статья ниже Ваших возможностей, производит впечатленье спешки и, с моей точки зрения, может только повредить Вашему уже упрочившемуся научному имени.

Из всех авторов «Чеховианы» такое подробное письмо я посылаю только Вам.

Если Вы найдете возможность учесть мои замечания, то у Вас еще есть время — до 15 мая.

Желаю Вам всего самого доброго

Ваш А. Чудаков

*Цитируемый Вами Манолакев тоже ссылается на одну фразу из меня (примеч. 5), видимо, не ведая, что о нерезультативности чеховских финалов существует знаменитая статья А. Г. Горнфельда (я к ней в нужном месте, разумеется, отсылаю («впервые сказал Горнфельд» — ПЧ, с. 226). Незнание, гласит научная истина, не есть оправдание. Отмечу попутно, что статья эта — типичный пример нелепого использования современной терминологии («дискурс слуха» — !, с. 120) и пародийных умозаключений (тоже облеченных в современные одежды): «референтная функциональность его имени-маски (Хоботов — от “хобота” — сует свой нос повсюду)» (там же) (прим. автора).

** В тексте фрагмент, помещенный нами в квадратные скобки, автор зачеркнул карандашом; в конце письма — рукописное пояснение: «По просьбе <...> — чтобы не осложнять отношений внутри и так малочисленного чеховского сообщества — снял абзац про плагиат-заглавие из меня (с. 2)». Убрав фрагмент из отосланного адресату письма, А. П., довольно сильно задетый всей ситуацией (подробно, повторим, обсуждавшейся дома), счел нужным оставить его в тексте, вклеенном им в дневник.

5 [возможно, описка, надо — 6] марта. Звонил Стаське Рассадину по поводу его 70-летнего юбилея и выступления по ТВ в связи с этим.

— Мне твое выступление в целом понравилось — про себя говорил мало, все про своих знаменитых друзей. В последнее время я на тебя сердился.

— За что?

— За твои статьи в «Новой газете». Пишешь там бог знает о чем. Вдруг — о Киркорове, о его скандале. Какой Киркоров? Зачем? В нашей системе отсчета он не существует! Какое тебе до него дело!

— Ну, народ этим интересуется, я обязан откликнуться.

— Понимаю, тебе надо *регулярно* писать.

— Да нет, я свободен. Но я там пишу о многом...

— Не знаю, я редко читаю эту газету. Как себя ощущаешь?

— Трудно представить себя в 70 лет. Я еще из детства не вышел, а тут — уже 70!

7 марта. ...В этот день он вел светско-развратную жизнь: после лекции поехал домой к приятелю-поэту, который только что (в час дня) встал, и провел там время за коньяком до 5 часов.

Правда, последние полчаса заняло ТВ, к[ото]рое приехало снимать в программе «Дачники» Шаховой то, что скажет им Чухонцев про Голицыно, и, узнав, что тоже там бывал, стали снимать и меня. Рассказал им про бедную Анну Баркову и про Домбровского.

У Олега выходит «Избранное», но за него он не получит ни копейки. «Хорошо, что хоть издают».

Что за мерзкое время. Одному из лучших поэтов современности не платят за книгу, куда вошло все основное, что он написал.

Последнюю прозу Маканина не одобряет: «Говорят, старческий эгоизм. Я думаю, дело проще: деньги. Что берут, что требуется на Западе, что переведут».

Показывал альбом с автографами Гумилева, Вяч. Иванова, Ю. Верховского и т. д.

Я подробно высказал свое мнение о его последней книжке (высокое). В частности, сказал, что он ввел мандельштамовскую сложность стиховой ткани в стихи на есенинско-народную тематику. Клюев ему, как и мне, не нравится. Согласились в том, что Мандельштам — первый поэт XX века. Снова говорил о моем романе.

10 марта. Вчера читал доклад в секторе Непомнящего о тотальном комм[ентировании] ЕО. Пожилый идиот с обтянутым, как у скеле-

та, черепом, задавал дурацкие вопросы и порождал не менее идиотские высказывания, что я не опираюсь на теорию литературы и труды самых известных пушкинистов.

— На какие же?

— На мои. Шутка.

Знаем эти шуточки. Оказался <...>.

Непомнящий говорил, что, чтобы осуществить эту тотальную программу, жизни не хватит. А вообще надо ком[ментирова]ть по слоям: язык, герои, сюжет. Он сам так собирается делать. Я сказал, что моя задача — именно в объединении всех слоев в пределах строфы, строки, чтобы понять, как всё, включая пунктуацию, рождает смыслы.

Чухонцев сказал, что Стаське в «Новой газете» платят \$ 200 в месяц и издают книги. Значит, и тут дело в этом.

* * *

У Толстого Нехлюдов размышляет: «Какие на них белоснежные рубашки, как хорошо вычищены сапоги. И кто делает все это?» Я бы тоже через сто лет хотел задать этот вопрос — неуж они, как я, стирают по вечерам свои рубашки, а утром перед лекцией гладят их?..

Толстой боролся за то, чтобы по утрам самому выносить за собою свое судно. Я чищу дачный клозет за родственниками, гостями, рабочими, строящими сарай и чердак. Получилось, как он хотел, — и с большим превышением.

Вдова Бернеса Лилия Михайловна вспоминает [*вклеена вырезка*]: «...Кроме быта. Если надо было что-то прибить, подвинуть, он кричал: “Лиля, иди сюда, здесь нужно то-то сделать”. Он не мог без меня достать из холодильника котлеты» (НГ, 2001 № 73). Т. е. у нас уж [если] кто эксплуатирует кого, то на полную баранку. Подумаешь, Шалапин нашелся. Вспомнился сотрудник нашей чеховской группы И. Ю. Твердохлебов, хороший комментатор (но не более). Про него рассказывали, что он не знает, сколько стоит батон хлеба.

У Чехова в «Моей жизни» Полознев говорит, чтоб все без исключения должны заниматься физическим трудом. А доктор ему говорит, что если все, в том числе ученые, участвуя в борьбе за существование каждый сам за себя, «станут тратить время на битые щебня и окраску крыш, то это может угрожать прогрессу серьезной опасностью». Это я каждое лето бью щебень и крашу если не крыши, то стены дачи (что по площади не в пример больше), копаю землю, чищу болото — это я! Не знаю, имеет ли отношение моя деятельность к прогрессу, но что не делай я всего этого, на пару книг написал бы больше — это факт.

12 марта. Даты, даты... Надев (обув) ботинки, коим 35 лет, намазав лыжи, коим 5 лет, мазью, которой 30 лет, ушел с утра в лес.

Зима поздняя, снежная; лес прекрасен. Покатался не хуже, чем 30 лет назад. А что — даты? Время — его нет, не существует, пока носят ноги, так гениально задуман Творцом человек.

* * *

Выбираю завалы записей 90-х гг. Масса почти готовых публицистических статей, не напечатал из этого ничего — м[ожет] б[ыть], и правильно, толку было бы чуть.

Одна из самых ранних перестроечных записей (год 90-й?): «Отдать собственность надо кому угодно — тому, кто может ее взять, кто к ней ближе. Главное — как можно скорее. А что все равно кому — “эти руки не могут быть чистыми” (Маркс), т. е. так и так достанется жуликам или полужуликам». Похоже, что те, кто эту собственность раздавал, подслушали мои мысли — им тоже казалось — скорей, скорей! Я-то боялся, не вернулась бы советская власть, и вообще не экономист. Но они-то — экономисты! И с чего они так торопились?..

Записей много. Зря не вносил их в дневник. На клочках, неразборчиво, черново. Теперь — только выкинуть. А ведь они — свидетельство эпохи.

13 марта. К 12 дня ходил на лыжах по глубокому снегу к лесу от Борченкова — единственного обитателя кооператива, кто живет зимой тут постоянно. У Козлова по ТВ смотрел Л. в «Школе злословия». Впечатление очень сильное, убеждающая сила велика. Таня Толстая и Дуня Смирнова в конце сказали, что М. О. надо выпускать по 10 минут ежедневно, и хотя у нее нет времени, пусть найдет (с ее энергией все получится), и тогда в стране будет порядок!

Вечером, приехав с дачи, звонил Тане, от имени Л. благодарил: она передавала, что «вы с Дуней образовали такую атмосферу доброжелательства и доверительности, что поэтому так хорошо все и получилось». А что хорошо — ей звонят целый день. Первый звонок был от режиссера Андрея Смирнова, отца Дуни, к[ото]рый с женой плакал, смотря эту передачу. «Мне было легко быть естественной и искренней в такой атмосфере».

Что значит сила личности — как это на всех действует и как все соскучились по этому!

14 марта. В ИМЛИ все подходили и хвалили выступление Л.: Аэли-та, Ир[ина] Спартаковна и др. Олег Лекманов сказал: «Какая все-таки

сильная личность М. О.! Толстая и Смирнова очень легко расправлялись со всеми в своей “Школе злословия”. А тут ничего не могли сделать — только лапки кверху!» С Олей Шалыгиной в «Макдоналдсе» беседовали о ее докторской диссертации и вообще жизни, вспоминали эпизод в Ялте, когда она попала в больницу с внутренним кровоизлиянием.

Вечером по ТВ в передаче Архангельского — Лева Аннинский, Валя Непомнящий (был представлен как «религиозный философ»), И. Волгин, Ю. Афанасьев, Наташа Иванова, Ст. Куняев, А. Дмитриев. Тема: что дала перестройка и т. п. — к 20-летию взятия власти М. Горбачевым. Лева говорил, что когда пишет, ни о какой свободе не думает, — получается, что она ему как бы и не нужна; Валя — тоже: цензуру можно было обойти, да и найти боковые ходы, что улучшало твою статью и т. п.⁶³ А цензуру денег, мол, не обойдешь! — и значительно потряс головою. В общем, несли бог знает что. Нормальны были только Н. Иванова и А. Дмитриев; первая говорила о том, что перестройка началась с печатанья «Чевенгура» и «Котлована» Платонова и проч., Андрей говорил, что благодаря перестройке осуществилось его поколение. Для всех остальных свобода оказалась не главным. Как тут не хватало Л.! Уж она им бы вмазала.

17 марта. 16-го с Женечкой ходили в т[eat]р Ермоловой на спектакль-чтение Г. И. Энтина и Голышева «Ужель та самая Татьяна?...». Шел с опаской, т. к. все актеры читают стихи плохо или очень плохо. К счастью, ошибся: провалов вкуса не было, а местами просто хорошо. Боюсь, однако, что слишком субъективен: видимо, нервы поизносились — лучшие стихи ЕО не могу воспринимать без слез. Как буду читать весь роман в Школе-студии МХТ?..

Потом говорил с Энтиным 1,5 часа по телефону, по его просьбе особо остановился на недостатках: спорно дуэтное чтение, несоблюдение enjambement'a («И, задыхаясь, на скамью // Упала»), отсутствие паузы в «Минуты две они молчали...», «небрежен» не значит спущая рукава, — легко, поэтичен и не надо делать жесты неб[режност]и.

Благодарил: «Мне еще никто не сделал столько таких серьезных замечаний».

Л. (мне): — Еще бы!

⁶³ Л. потом сказала «Если б у Вали был имэйл, я бы послала ему цитату из Булгакова: “Говорить, что [писателю] не нужна свобода [печати], это как если б рыба говорила, что ей не нужна вода!”»

Рассказал ему про мой курс тотального комментирования ЕО. Он рассказал про свою коллекцию картин Жегина, Мая Митурича и др.

Л. написала блестящую статью в МН в связи с Катынью, читала мне по телефону, исправили несколько мест. И никого из записных публицистов Катынть не колышет, не задевает, на выступления не подвигает!.. Одна на всю страну! Правда, женщина, которой, как кавалеру де Бюсси, не знакомо чувство страха.

18 марта. Приехал вчера. <...>

С утра дела обычные: снег, сделал полку для Грэй и т. п.

<...> В программе на «Свободе» выступал Гавриил Попов — «Тайны победы» (или «войны» — что-то в этом роде). Опираясь на какие-то свои «Материалы» (видимо, опубликованные, надо посмотреть), кое-что рассказал про эти тайны. Большинство я знал — и давно (читайте, господа, мой роман!), но кое-что — нет или слышал краем уха.

Г. Попов читал приказ по ведомству Берии: Микояну (авиаконструктору) на основе моторов фирмы «Юнкерс» и «Мессершмит» создать авиадвигатели, удовлетворяющие таким-то и таким-то качествам и т. д. Радиолокация <то, на чем приобрел огромную славу академик Берг> тоже была создана на основе захваченных немецких разработок. У нас молчат, сколько у нас работало немецких ракетчиков из конструкторских бюро Вернера фон Брауна (одна такая группа жила на острове Градомля на оз. Селигер, Г. Попова с другими туристами не пустили на этот остров). Ракетный кулак мы создали с помощью Гитлера. Правда, мы были здесь не одиноки — американцы делали то же самое. Но они, в отличие от нас, этого не скрывают.

Сталин снижал цены за счет огромного потока репараций из Германии. Когда поток прекратился, снижать перестали. Весь мир получал компенсации из Германии для индивидуальных людей, и только мы — на государство, в коем они и растворялись, а узники немецких концлагерей и прочие не получили ни копейки.

Никогда не было такого числа предателей, как в эту войну. Но в создании русской армии Гитлер не был заинтересован <не давал воевать РОА>, говоря: мы поддержали Пилсудского, а он создал армию, направленную против нас.

Власов — герой обороны Москвы. Что, он не мог перейти на сторону немцев сразу? Но он понимал, что это надо делать позже, когда Красная армия показала свою силу. Он думал о небольшевист-

ском будущем России. Штауффенберг и другие заговорщики, видимо, после Гитлера создали бы такое правительство.

Еще Кутузов (см. Толстого) считал, что русскую армию надо остановить на границах России. Но Александру I нужна была Европа! Как и Сталину. «Воины, бросавшие знамена у Мавзолея, бросали их не к ногам народа, а к ногам Сталина!» Ветеранам надо было давно объяснить, что они принесли не только Победу.

Русские военные, вернувшись из Европы в 1815 г., стали создавать тайные общества. Советская армия <обладавшая невиданной в истории человечества мощью> покорно вернулась под сталинское ярмо. И совет[скую] власть свергли мирные люди, выйдя против танков в 91-м году.

Ерофеев: — Как Вы относитесь к Жукову?

— Он — типичный представитель сталинской военной номенклатуры, хотя очень талантливый полководец. Людей не жалел <и солдаты это знали, как и попробовал [я] описать в своем романе>. А когда Сталин разрешал генералам вывозить награбленное, повез себе немецкого добра. Когда на его даче был обыск <после известного скандала>, там нашли сотни шкурок норки, 4 тыс. м. шелка, шерсти, картины и т. д. И ни одной книги! Т. е. он вел себя как обычный представитель советской номенклатуры. Можно ли представить Суворова, Кутузова, везущих себе барахло из Европы?

Генерал Серов вывозил немецкие «трофеи» самолетами. <Есть у Солженицына; вспомнилась история, как Конев или Рокоссовский велели снять для себя несколько картин «с бабами» в каком-то из музеев Германии. Историю рассказал значительно позже директор этого музея.>

По «Свободе» опять говорили о «Московских новостях» — уже другой комментатор. И снова о расколе в редакции. И опять ни слова о статье Л.! А я-то, дурак, думал, что она произведет впечатление разорвавшейся бомбы! Я оскорблен. Сказал это Л. Она (смеется): «— Для тебя это в новинку, а мы с Женей давно это знаем. Им это не нужно!» Неуж действительно никому не нужно то, о чем она написала? И в 60-летней юбилей великой победы входим с враньем 43-го года?..

19 марта. Повторяли вчерашнюю беседу с Гавриилом Поповым; прослушал пропущенное вчера начало. «Материалы» он печатал в «Московском комсомольце», но под давлением властей это было

прекращено; будет продолжение в «Новой газете» — если не прикроют и там.

Поставки по ленд-лизу составляли \$8 на одного солдата — большая сумма! Микоян сказал, без ленд-лиза войну проиграли бы. Корабли все были не наши — мы за войну не построили ни одного. Амер[иканские] танки даже участвовали в параде 7 нояб[ря] 1941 г. — потом из «Хроники» Сталин это вырезал. На Курской дуге немцы прорвали фронт; против 100 наших погибших танков немецких погибло 10; броня «Тигров» оказалась для наших пушек неуязвимой. Взятие Кенигсберга и Берлина было нужно только Сталину — немцы бы и так сдались. В первые недели войны сдавали целые города (Минск). Но когда народ понял, что немцы не будут распускать колхозы (наиб[олее] эффективный способ эксплуатации), стали биться за каждую березку. Началась народная война.

В ближайшее время грядет жилищно-коммунальная реформа; монетизация уже проведена и после падения рубля вместе с реформой ЖЭК'ов это приведет к окончательному обнищанию народа. Одновременно проводится реформа образования и академической фундаментальной науки.

Неужели это сознательная и планомерная быдловизация общества, подобная той, которая проводилась большевиками после революции? Не хочется в это верить. Получается, что взамен мы получили только одно — свободу слова. Не мало ли?

20 марта, дача. Снял показания счетчиков — с 26 февраля по 20 марта за все вместе с отоплением (850 квтч) = 1 р. 28 х 850 = 1028 руб. 25 % моей з/платы в ИМЛИ.

21 марта. Г. С. Кнабе по телефону говорил про мой роман — очень интересно (для меня). Записывал, но, боюсь, не все успел.

Начал с благодарностей; я от смущенья:

— Рад, что вам понравилось.

— Понравилось — не то слово! Это поразительная книга.

Есть два вида духовной деятельности: художественная и интеллектуально-логическая. Пушкин пишет об «Анналах» Тацита и почти в это же время — «Бориса Годунова» <...>. У вас — редкое сочетание, которого я больше нигде в современности не вижу. У вас все же художественное произведение. Но оно пронизано документальностью. Или иначе: фабула-сюжет пронизаны историко-философским

ощущением нашего времени. Это ощущение подымает фабульный материал на большúю высоту.

У нас привыкли или к лаудативному <видимо, от *laudamus*> жанру или к отрицающему. «Голубая чашка» Гайдара замечательный рассказ, но он написан для того, чтобы кое-что утвердить и поднять. А у Ямпольского в «Московской улице» — обратная задача: показать, во что превратили Арбат. Но важна объективная картина, адекватный образ прожитого времени, и вы его даете. Философский образ времени прошит фабульными нитками, что сделано каким-то невиданным образом — я, во всяком случае, ничего подобного в современной литературе не встречал. Книга ваша не безразлична к материалу, оценка везде есть. Но автор не исходит из установки, а это разлито в материале. Пронизанность всего всем — и это очень важно.

Это — целый пласт русской жизни, данный в современном исполнении. Правда, я не знаю, надолго ли хватит тех поколений, в чей опыт входит этот материал.

Я рассказал, что говорят молодые о моем романе.

— Это очень хорошо, что им многое интересно. Один писатель — не буду называть его имени, мы оба с ним знакомы, — описал, как он конопатил лодку. И это действительно интересно!

Я кратко пересказал разговор с Фазилем и Тоней и с Аптом.

Каким-то образом разговор перескочил на Германа Гессе.

— У него в романе «Игра стеклянных бус» <у нас перевели как «Игра в бисер»> философский пласт сочетается с фабульным. Об этом очень хорошо Томас Манн писал Гессе в октябре 51 г. Томас Манн говорил о себе: «Я слишком буржуа». Он жил в доме своего деда. Много у вас знакомых, которые бы жили в доме своих дедов?

— Да почитай почти что нет.

— А Манн жил. И если потом не в доме деда, то всегда в *своем* доме!

— А Набоков напротив: всегда в отелях.

— Вот именно! Уже разница эпох.

* * *

После лекции в Школе-студии МХАТ зашел к Смелянскому; у него К. Райкин.

Толя стал говорить, в каком восторге студенты от моих лекций, и приглашать Райкина вслушаться, т. к. в следующем году он будет начальником 1-го курса и надо, чтобы его студенты тоже слушали меня.

— Они мне рассказали, о чем вы им читаете. Это то, что нужно! И про театр пушкинского времени, и про то, как надо читать стихи и вслушиваться в текст.

Я не удержался, как обычно, и разразился небольшой лекцией из комментария к ЕО. Райкин тоже сказал, что это то, что нужно.

— Я им рассказываю и про некоторые режиссерские решения.

См[елянски]й:

— Они, конечно, актеры...

— Кто знает! Конст[антин] Аркадьич тоже не сразу стал режиссером!

— Нет, я актер, актер...

Поговорили о необразованности актеров. Я сказал, что в свое время, поговорив с Гриценко, был потрясен.

Райкин: — Ну, Гриценко — это даже среди актеров случай почти патологический. Но в целом, конечно... Но зато они впитывают, схватывают из разговоров умных людей.

Смелянский: — Потому им и важны лекции таких людей как А. П.!

* * *

С дачи вчера в 9³⁰ вечера добирался до шоссе (такси по нашей дороге проехать не смогло) по колено в сугробах, за спиной тяжелый рюкзак, в руке — сумка с книгами, в другой с Грэм, к[ото]рый от волнения обкакался и я в темноте все это разгребал. Л.: — Архетип!

22/III. Перечитал статью Л. «О Победе, славе и чести» — уже в газете (МН, № 11, 8—24 марта). Еще больше обиделся на время наше мерзкое и вяло-болотное: не заметить такую статью!

23 марта. С Л., Маней, Женечкой вчера были во МХАТ'е на «Лес» в пост[ановке] Серебрякова⁶⁴. Текст изменен (вместо Милонова и Бодаева — дамы, нет Карпа) и [о]современено: в современных костюмах, говорят по телефону, поют «Беловежскую пушу». Но что-то есть. Может быть, я не прав, что так стою за незыблемость текста (в шир[оком] смысле) классики? Публика, во всяком случае, была в восторге, особенно когда Алексей Буланов в финале, причесанный под Путина и с его интонацией. Л. сказала, что возвращается эзопов язык, а это — плохой знак! Есть кстати в духе Некрошюса: Счаст-

⁶⁴ К. Серебренникова.

ливцев вынимает из урны окурки и прикуривает. Это уже не актеры, а эски, да еще последнего разряда, по Солженицыну. (Гурмыжская — Тинякова, Несчастливцев — Назаров, очень похожий внешне на Меркурьева, Счастливцев — Авангард Леонтьев — вся троица хороша).

По ТВ смотрел в программе Ерофеева передачу «Первый роман», куда он меня так усиленно зазывал и отказываясь от которой я имел три длиннейших разговора с его редакторшей Леной. Разговоры дались очень тяжело. Я мотивировал тем, что не хочу быть в одной компании с Сорокиным, они уговаривали, Витя передавал через Лену, что я буду совершенно автономен и проч., а они все не хотели от меня отстать. Л. тоже не советовала участвовать.

На самом деле Витя сказал правду — все были автономны. Сорокин рассказывал, как писал свою «Очередь» — какие у его антенны и как он воспринимает действительность. О. Новикова и еще кто-то — тоже. Сам Витя сказал, что «Русская красавица», которая переведена на 34 языка, грех жаловаться, родилась из строчек «Девки спорили на даче...». Не решился (и это после своего романа «Век п...» — неуж так переменялся?..) прочесть продолжение:

... У кого п... лохмаче,
Оказалась лохмаче
У хозяйки этой дачи.

«А потом ушла и дача, и девки...»

Видимо, отказался я правильно — с трудом представляю себе, как бы я рассказывал о «моем творчестве» и т. п.

Недавно Слаповский в какой-то передаче в связи с Фетом сказал про себя: «Поэту, когда он пишет “Шопот, робкое дыханье”, все равно, какого он слушает соловья: парагвайского или аргентинского, в момент вдохновения это неважно — по себе знаю!» Милый Алексей Слаповский! Неужели Вы не понимаете, что разница меж Вами и Фетом больше, чем меж слоном и котом, что великий поэт — существо совсем другой породы!.. И я все бы Вам простил, извинись Вы хотя бы косвенно: я, мол, конечно, не сравниваю, но ... и т. д. Но это Вам и в голову не приходит.

24 марта. В Школе-студии тоже сложности с оплатой — не хотят давать ту сумму, что обещал Смелянский.

Ради науки я всегда был на все готов и денег в ней не искал. Но, положа руку на сердце, не думал, что в 67 лет буду жить от з/платы до з/платы, не иметь *ни копейки* сбережений и думать, на что купить лекарства!..

27 марта. Вчера было собрание дачного кооператива. Собираются зимой отключать свет от дач, т. к. много задолженности по электричеству. «Это что ж, — сказал я, — приехавшие зимой должны сидеть при керосиновой лампе?» Страшная советская мерзость. Все это довело меня почти что до сердечного приступа. Слаб стал, слаб! Раньше в этих случаях надевал кроссовки — и 12 км вдоль шоссе! Сейчас уж не могу, что плохо, в этом государстве хорошее здоровье надо иметь до конца. А я-то хорош! Полвека сознательной жизни в этом государстве меня, как выяснилось, не закалили. Слабак.

28 марта. С неожиданно фантастическим успехом прочел лекцию, где анализировал строфы XXX—XXXIV ЕО про ножки. Что значит будущие актеры — такого живого восприятия еще не встречал.

8 апреля. «Боже, как грустна наша Россия!» По «Свободе» (в связи со смертью Папы) — звонки слушателей. И чего только нет! Антисемитизм, антикатолицизм (что поляки стремятся проникнуть в Россию), ксенофобия всех видов, невежество, эгоизм («А что Папа сделал для нас» — как будто мало того, что он сделал для мира!..). И это на фоне смерти одного из величайших людей XX века.

11 апреля. Вчера был у Сережи Бочарова — подписывал очередное письмо (на этот раз в администрацию Швыдкого) про Словарь русских писателей наш многострадальный. Вряд ли поможет, но трепыхаться надо.

Как всегда, распив пару бутылок сухого, поговорили-повспоминали: А. А. Белкина, Натана и др. С. рассказал про одно из мероприятий по борьбе с космополитизмом: в 49 г. в 66-й аудитории (как помнится она по лекциям Бонди!) Самарин устроил заседание кафедры зарубежной л[итерату]ры, где сам был главным громильщиком космополитов (Гальпериной и др.).

Из поколения Сережи этим активно тогда занимался Лебедев, автор книги о Чаадаеве («к[ото]рую читала вся Москва» — Сережа; как же, как же...). И однажды на лавочке возле Герцена он попро-

сил: не может ли Сережа дать ему какие-нибудь материалы (сейчас бы сказали: «компромат») на Лидию Моисеевну Поляк, к[ото]рую тоже собирались «чистить». Сережа же сказал, что может сказать о ней только хорошее, что его, Сережи, жена Ира — ученица Поляк — и тоже... и т. п. Лебедев был очень разочарован.

С. — И вот через несколько лет обсуждают его кандидатуру — на предмет приема в партию. И я выступаю и рассказываю эту историю. Получилось вроде доноса, меня это до сих пор мучит.

— По-моему, не стоит убиваться. Такие вещи надо обнародовать.

— Но он ведь потом каялся и т. д.

— Я слышал такие истории, как кто-то каялся за свои выступления на партбюро и проч. Но как-то... все равно...

* * *

Я рассказал ему историю, как пытался пробиться на прием к Горбачеву, когда он стал членом Политбюро, т. к. почему-то поверил, что он не таков, как все остальные, и что-то может сделать для страны, как не удалось (анкета и т. п.).

— И в общем ты оказался прав!

— Пожалуй. Он все же повернул колесо истории...

9-го ездил на дачу и уехал сразу обратно: не могу видеть рожу соседа, заниматься проблемой счетчика и проч. — уже не хватает здоровья. Дорого достается мне дача.

15 апреля. В Школе-студии МХТ был на докладе Роберта Джексона о «Вишн[евом] саде».

В последние дни ложился в 4 или 5 ночи, вставал в 8—9; зато написал статью «Вторая реплика» в сб[орник] в Vadenweiler и мемуары в сб[орник] МГУ. Завтра — в Ялту; сегодня тоже предстоит весёлая ночь: к докладу еще не приступал.

У Л. выходят в газетах статьи и письма против возвращения Сталина; выступает и по радио. Но, кажется, никому, кроме подписавших, до этого нет дела! В разговоре с Колей Котрелевым упомянул про это, а он: «А я уже полгода не читаю никаких газет!..» Хорошо устроились! Одна женщина на всю страну, на всё про всё!..

17 апреля, Ялта. На конференцию ехали в двух купе: Катаевы с Катей и Скибина, Шалыгина, Горячева. В другом вагоне: Степанов, Собенников, Капустин, Настя. Всю ночь будили пограничники.

Опять у моря!

Катаев: — Ты чем-то, судя по лицу, озабочен.

— Возрождением сталинизма. И, по правде сказать, очень удивлен тем, что почти никто этим не озабочен!

Дал им почитать статью Л. в «Моск[овских] ведомостях». <...> несла какую-то чушь про Петра I, что он тоже уничтожил много народу.

Не удержался и сказал неск[олько] фраз со словами «людоед» и мерзавец и о том, *что ни одно* достижение страны не связано с его деятельностью (это надо внушать и внушать с фактами в руках).

Катаев: — Я сейчас занят только падением высшего образования.

19 апреля. Сделал доклад «Чехов и киноязык XX века», где в числе прочего раздолбал итальянский неореализм.

20 апреля. Ялтинские таксисты — спрашивал у всех — все за памятник Большой Тройке в Ялте. Один сказал: «Когда поставим, туристы будут ездить, смотреть. Деньги!»

Выступал по поводу доклада Чадаевой: доклад напоминает мне диагнозы из книг на темы «Чехов и медицина».

Разговаривал с Теплинским.

— Из того, что мы здесь докладываем, обсуждаем, только 3% учителей это читает. И из школьников — тоже процента 3.

Была в разговоре и ложка дегтя: оказывается, он предлагает включить в школьную программу поэму «Саша» (милая, компактная) вместо «Кому на Руси жить хорошо».

23 апреля. Фильм М. Тереховой «Чайка». Фильма более низкого уровня, кажется, я еще не видел. Играют дочь, сын — бездарны, пошлы.

Катаев снова зовет на полную ставку на свою кафедру, что предполагает, кроме нагрузки, участие в нуднейших заседаниях кафедр, двух ученых советов и проч. и проч. Решительно отказался.

24 апр[еля]. Обрато ехали целой толпою. Пили крымские вина, и Катаев, как обычно, по кругу предлагал тосты за всех присутствующих, что начинает уже и надоедать.

25 апр[еля]. Женечка огорчает: читала на моей лекции какую-то постороннюю литературу. <...>

26 апреля. Почему теология ближе к актуальной жизни человечества? Тем, что наука оперирует слишком большими цифрами — 25—30—50 млн. лет, и даже существование человека после находок Лики исчисляется уже миллионом. А в Библии — 6 тыс[яч] лет. А что было и будет через миллион — неведомо никому.

28 апреля. По ТВ — ветераны, ветераны. Один сказал: «А что такое одиночество? Это когда ты окружен людьми, но ты один, никому не нужен. И то, что дорого тебе, — уже не дорого никому». Простой солдат! Он вряд ли знает строки «Кому из нас под старость день Лицея торжествовать придется одному? Несчастный друг! Средь новых поколений и чужой...».

По «Свободе» Оксана Генриховна Дмитриева, незав[исимый] депутат. Спросили: — Какая программа?

— Свободные выборы и свобода СМИ.

Через 15 лет — те же задачи! В целом же разумно: стабилиз[ационный] фонд не копить, а раздать: увеличить покуп[ательную] способность, что стимулирует развитие экономики; в инфляцию от этого не верит. Досрочно долги Межд[ународному] банку не возвращать, а вложить в экономику (д[ействитель]но: зачем торопиться? Кто подгоняет?), и другие такие же простые меры, к[ото]рые могут оздоровить экономику.

30 апреля с Женечкой и Янисом приехали на дачу. Плохое самочувствие и муть в голове привели к тому, что забыл ключ и с полдороги возвращались, попав на дачу только в 5 часов.

13 мая. Умерла В. М. Мальцева. На гражд[анской] панихиде в Боткинской б[ольни]це сказал, что она подвижница, отдавшая жизнь ВВ, изданию его трудов и т. д. Что не договорил, сказал на поминках в Калашном, в квартире, куда ходил сорок лет, а сегодня — не в последний ли раз?.. Пришли: В. Г. Костомаров, Ю. Л. Воротников, М. В. Ляпон, Люда Мисайлиди (Косячкова), акад[емик] О. Т. Богомолов (Наташа Михайлова была только в ритуальном зале.) Ал[ексан]др Павл[ович] — декан нового ф[акультета] искусств в МГУ (его питомцев мы слушали в Мелихово в июле 2004 г.) — синтетическое изучение искусств.

Люда готовит переписку, точнее, письма ВВ к Н[адежде] М[атвеев]не, которые я двадцать лет назад переписывал от руки в архиве АН СССР и хотел издать. Она и Богомолов напомнили мне, что

Викт[ория] Мих[айловна] хотела, чтобы я писал предисловие. Заметив на лице моем колебанье, Люда: «А. П.! Вы должны! Ну кому ж еще!» Сколько раз я слышал это от Надежды Михайловны, академикова Алексева и Лихачева. Да, должен. Кто ж, как не я.

В середине пришла Любочка Казарновская с Робертом. Рассказывала об уроках Н[адежды] М[атвеевны], об Ирине Архиповой, к[ото]рая на своем 80-летнем юбилее «спела три романса в начале и три в конце — исключительный случай!» Рассказывала о своем отце-генерале, к[ото]рый был офицером-порученцем у Рокоссовского, общался с Жуковым и Коневым.

14 мая. С 8 мая — на даче. Несмотря на плохое самочувствие, работа на участке с 10 до 10. Убран зимний мусор, выложена кирпичом набережная вдоль болота, участок вылизан. Трава, вода, березы, звезды.

Вдруг вспомнил, что Л. называла меня «котик-братик». А тут еще бродит Грэй. Сочинил стих, к[ото]рый при случае можно отправить Л. имэйлом:

Ах, как много на свете кошек!
Много также разных котов.
Но ты помни: твой котик-братик
За тебя умереть готов.

<Не отправил>⁶⁵.

15 мая. Звонил Коржавину.

Эмма: — Мариэтта хорошо пишет. Про Сталина — это очень надо! Сталин убил Россию. Она должна возродиться, но это будет нескоро.

Про мой роман: — Это замечательно — значительно. И очень серьезно. Ты показал, что Россия всегда была жива, несмотря ни на что!

— Ты же сказал, что Сталин ее убил.

— И все же! Ведь до конца можно убить только отдельного человека, а народ — нет!

27 мая. Вчера в Домжуре вручали Пушкинскую премию Борису Парамонову. Вольф Шмид рассказал историю премии и охарактеризовал лауреата. Поэтесса Павлова сказала речь и прочла стихи.

⁶⁵ В тот год А. П. так ни разу и не включил компьютер (писал рукой — все было срочное, считал — рукой быстрее) и почту; прочел М. Ч. по телефону.

Я тоже сказал речь, что Парамонов философ *sui generis*, но философ русского пошиба, т. е. не имеющий завершённой системы в немецком понимании, о том, как трудно философствовать по всякому поводу, о широте его диапазона: П[ушкин], Чехов, Шкловский, Стивен Спилберг, Лени Рифеншталь, Чапек и проч.

Подарил ему свой роман. На фуршете общался слевой Рубинштейном, немного с А. Латыниной, с Курчаткиным, с Вольфом и Ириной [Шмид], с какими-то поклонницами романа.

30 мая. С утра принимал зачет в Школе-студии МХАТ — 24 чел[овека] (по ЕО). Был поражен знанием моих лекций и общим энтузиазмом будущих актеров.

Потом переехал в ИМЛИ на юбилей Ю. Б. Борева. Несколько ораторов упомянули про «Сталиниаду». А. Д. [Михайлов?] спросил Борева как-то: «А вы не боялись тогда собирать эти анекдоты?» — «Боялся. Но собирал».

Потом с Л. — в МГУ на юбилей О. Г. Гецово́й, где я говорил о ней как педагоге, а Л. о ее роли в нашей семейной жизни⁶⁶. Выступал Ю. Апресян и многие диалектологи.

3 июня. Безвыездно на даче. Осуществил давнюю мечту: разложил по коробкам все свои болты, гайки, шурупы, шайбы, трубы и проч., снабдив эти коробки пристойными надписями. Удовлетворенье едва ли не большее, чем после окончания приличной статьи.

Радио («Свобода») весь день о безобразии с Ходорковским. Стыдно перед миром. Но этим П. роет себе могилу.

Женечка сдает ЕГЭ — как-то странно: дают тексты, советуется с Машей (а она со мной) по пейджеру. Видимо, всем всё давно в образвании всё равно, только мы с Л. этого не знали.

22 июня. Л. блестяще выступала по радио «Россия» про начало Отеч[ественной] войны. Сказала всё, что нужно про Сталина, вспомнила историю своей семьи. Особенность ее таланта — в убедительной простоте, она не гнушается объяснять все самым простым людям,

⁶⁶ Студенческий роман, приведший к браку, развивался в процессе совместных занятий исторической грамматикой русского языка перед зимней сессией на 3-м курсе филфака; О. Г. Гецова вела семинар и принимала экзамены.

головы которых до сих пор (и, видимо, навсегда) замутнены советской пропагандой, — то, что почти не делает никто, презирая этот слой, который ничему не научился и ничего не понял. И я этот слой если не презираю, то не люблю. Она — нет.

Больше трех недель вожу песок, кладу кирпич, наступаю на болото — с 10 утра до 10 вечера. За исключением отъезда на дисс[ертацию] Степанова ничего больше не делал. Как рачительный помещик, вечером с удовольствием обхожу свое имение, отмечая, что сделано и что еще надо сделать.

Дважды по 2,5 дня жила Женечка, с которой занимались литературой в видах ее поступления в Литинститут.

26 июня. А странно: жизнь, изображенная в моем романе, тяжелая, грязная, находящаяся в постоянной борьбе с этой грязью, — она оказывается более тонкой, духовной и эстетичной по сравнению с примитивностью и антиэстетизмом «интеллигентной» столичной жизни 1940—50-х годов.

30 июня. Л. вчера поехала к Маше в 1 час ночи, чтобы уговорить Женечку приехать ко мне на дачу готовиться к поступлению в Литинститут. Каждый ее приезд буквально вымаливаем. Говорю ей о ее печальном будущем, если не поступит, что без образования она перейдет в другой социальный класс и т. п. — не слушает, не понимает, не верит, не хочет. Ощущение бессилия.

6 июля. Сидел в темноте на веранде, смотрел на березы. Как когда-то с мамой. Это было счастье. Не то чтоб я этого не понимал. Но почему-то думал — оно будет длиться долго.

7 июля. И чего это я недоволен необходимостью постирушек? Складывал высушенное белье, пахнущее солнцем и березами, какого никогда не бывает ни после какой стиральной машины и прачечной. Как в детстве.

5-го был в ин[ститу]те, ушел в отпуск, в план 2006 г. вставил свою многострадальную библиографию «Чехов в прижизн[енной] критике».

Пришла японка Сильвия Какубари. Сказал ей, что в МГУ уже не работаю, но потратил на нее час.

На днях звонил Толя Смелянский. Предложил в Школе-студии МХАТ читать не семестр, как в этом году, а два. ЕО — на I курсе, как во

II семестре — историческую поэтику рус[ской] л[итерату]ры. Семинары, аспиранты — всё за такие гроши, что и сказать кому-нибудь стыдно.

10 июля. Возбуждают уголовное дело против бывш[его] премьера Касьянова: задешево приобрел дачу Сулова — 11 га, ту самую, за забором которой году в 59—60-м мы видели оленей, где свой пляж на Москва-реке и т. п. Касьянов, конечно, жулик (минус 2%), как и все они. Но все равно противно, что до поры до времени никто ничего не возбуждал, а когда объявил, что, возможно, будет баллотироваться в президенты, — сразу на тебе.

11 июля. Именно это говорят про историю с Касьяновым по «Свободе» и даже по «Радио России».

12 июля. Звонила Л. из Евпатории по поводу дня рожд[ения] Мани; я звонил по этому же поводу Женечке и самой имениннице, которая сейчас в Н.-Новгороде.

Закапывал полузадушенную Грэм мышшь; она из последних сил, защищаясь, вцепилась своими крохотными зубками в мой шлепанец и затихла. Жесток мир — и ихний, природный, тоже. Расстроился; нервы уже не те.

13 июля. По «Deutsche Welle» интервью с Володей Порудоминским — хорошее. Я — мерзавец, что не звоню ему. Сказал, что Бунин про «Темные аллеи» кому-то сказал: «Это не то, что со мной было, а то, о чем я мечтал». К стыду своему, не помню, откуда Володя это взял. Но я всегда знал, что это сочинено, особенно про то, как легко отдаются рассказчику все женщины. В начале XX века это было не так просто. Об этом хорошо написал Чехов в письме к Суворину, к[ото]рое не входило в его советские собр[ания] соч[инений] («на столах, под столами, чуть ли не на лезвии ножа»). Это, разумеется, не имеет никакого отношения к литературному качеству великих рассказов этого сборника. Но говорит только о том, что свежесть эротического чувства Бунин сохранил до преклонных лет.

16 июля. 15 июля 1954 г., когда я приехал, вся Москва была уклеена газетами с портретами Чехова. Это был знак. Скоро я прошел собеседование и был принят на филфак МГУ.

17 июля. Англичане после теракта спохватились: слишком большую свободу дали мусульманским организациям, которые могли в мечетях и вообще проповедовать все, что угодно.

Когда я в 88 году три месяца с лишним провел в Гамбурге и увидел, сколько там турок и проч., то говорил: Европе не надо повторять ошибок Америки, ввозившей негров, что она расхлебывает до сих пор. Немцы со мной не соглашались. Но Европа к этому ограничению придет — жаль только, что такой ценою.

В ИМЛИ 7 июля встретил Алика Мацевича. В числе прочего сообщил ему, кто умер из однокурсников. *Никого* не помнит. Как и Жанка Борисова, к[ото]рая ни разу не была на вечерах встречи филологического факультета.

Из «Дневника дачной жизни»

17 июля.

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,

Плату приявший свою, чуждый работе другой?..

Пушкин

Болотная Набережная закончена — т. е. доведена до первой каменной стенки; прогулялся в шлепанцах (не в сапогах!) от угла бани до этой самой стенки. Держит, не пружинит. Твердь. Сколько ушло в болото *десятков* кубометров биомассы (сорняки, скошенная трава, ил, листья), мусора, битого шифера и кирпича, камней, сечки, бутылок, банок, затвердевшего цемента, глины, гравия и песку — подсчитать невозможно. Конечно, недурно бы еще все поднять на 30 см — тогда не было бы разлива=потопа на газон и Плац весной и в сезон дождей. Но это — две машины песка. Мечты, мечты...

В последние дни: 1) подвязывал виноград; 2) надставил шланг — тяжелое дело: зачистка гофрированного пластика (изнутри, рулончиком шкурки), шкурение вставляемой части, клей, проволока, клейкая лента сверху; 3) отмочил керосином и спец. жидкостью, отскрёб и найденную в придорожных земляных отвалах гигантскую мощную отвертку для шурупов с прямым шлицем (давно прицеливался в магазине, да дорогá: 120 р.); посадил черенки вьющегося виногра-

да у второй каменной стенки; 5) продолжал выкладывать камешки на Кирпичной Набережной; 6) привез три тачки больших камней с обочины перед Алёхновым — и др. и разные мелочи. Но до многого руки не дошли. Главное — опять запустил газоны! Никак не выкраивалось время (надо больше 3-х часов).

«Саше случалось знать и печали»: сломалась вилка у руля велосипеда. И то: 17 лет приличной эксплуатации, содержанье в неотапливаемых помещениях. Первый эксперт (в магазине), конечно, сказал: «Надо покупать новый!» Попробую попросить Мишу заварить⁶⁷.

Грэй теперь не «дармодед»⁶⁸: поймал огромного красавца крота, за что был глажен, чесом и угощен дефицитным кроликом из пакета. Надеюсь, что этот крот был атаманом шайки и она теперь уйдет: второй такой эпопеи, как два года назад, я уже не перенесу.

Урчала топь. Темнела глыбь.

Утробно выла где-то выпь.

Где было топко и урчанно —

Теперь прямой проспект песчаный.

18 июля. Разговор с нанимаемым работником.

— Говорили: газон. А у вас их тут — до... И за березами, и вдоль трубы. Тут дело такое...

— Хорошо, хорошо, я добавлю.

— Да и трава перестоялась. Ее косой косить уже надо!

— Ладно, ладно.

Работа начата.

— Хозяин, нож у нее тупой, выворачивает с корнем.

— Наточи! Точило есть.

Точит; заодно — топоры, ножи. Газонокосилка вся развинчена, собирается долго и с трудом. Дело особое.

— А куда траву девать?

— Под деревья... Мульчирование. Вдоль болота.

— Сразу бы и говорили.

— Хорошо, хорошо...

⁶⁷ Пеший поход в Алёхново в эту жару (одна попытка) — самостоятельное предприятие на полдня. И — прощай, водохранилище! (Прим. автора.)

⁶⁸ Обычно я спрашивала: «Ну, как там дармодед?», коря кота, что не ловит кротов (которые пятнали норами газон, глубоко удручая хозяина), и предлагая на ночь оставлять его на улице — «чтоб делом занимался». А хозяину было жалко выставлять его из дома.

Обычная ситуация: начни одно — дела растут, как снежный ком. Кто хозяин? Понятно, я. А работник? Ить работник — это тоже я!..⁶⁹
<...>.

* * *

Быть может, и придет ко мне удача.
Боюсь, что поздно. Или никогда.

* * *

...И полосатый толстый шмель...

Твардовский

Докашиваю газон. Клевер вырос до цветов — сплошной белый ковер. Шмели слетелись со всего окружающего пространства: такую плотность элитного клевера где они еще найдут! <...>

С огромными сложностями купленная толстая леска для триммера рвется так же, как и тонкая. Никто ничего не знает. Разве что звонить на фабрику.

Приехали Л. с Женечкой. По дороге по пути купили: 1) нагреватель; 2) велосипед. Велосипед — мне, взамен сломавшегося. И сказал-то об этом один раз, мельком.

Л.: «Что, мой муж не достоин нового велосипеда?»

Уже опробовал. Есть элемент игрушечности: маленькие колеса, прямой руль. Но ход превосходный, едет сам. В сущности, у меня *первый* современный велосипед. Только суршит по шоссе: шур-сур-мур... Ухудшения качества жизни на даче, о чем я тихо сокрушался, т. о., не произошло: будет горячий душ, будет водохранилище.

Л. привез ее знакомый грузин Алико, владелец секции в универсаме, очень милый человек⁷⁰.

19 июля. К вопросу о. Только утром сел за стол — явились армяне. На велосипеде — в хозмаг (экономия времени — наличие транспорта!). Купили пластиковые шланги, переходники и т. д. и т. п. на 437 р. А потом началось! Поиски вентиля, раскопка газона и проч. —

⁶⁹ Но в «диалоге» отражены типические обстоятельства (прим. автора).

⁷⁰ Знакомство состоялось в том, что М. Ч. подняла, стоя у обочины, руку — первый же остановившийся оказался, как в большинстве случаев, симпатичным человеком; всякий раз, когда она приезжала на дачу с новым водителем, Саша, задушевно с ним беседуя, не мог осознать, что знакомство произошло час назад.

без меня тоже было не обойтись никак. И так до 4 часов. Но зато в 4³⁰ я, потный и грязный, уже принимал горячий душ и стал чистый и веселый. Правда, надо еще менять треснувший тройник; Мадо обещал завтра съездить купить; выдал ему 200 р. Странно, что для получения горячей воды не надо, как древние славяне, топить баню.

Женечка вчера вечером очень успешно занималась с Л. За завтраком прочел ей свои стихи из этого ДДЖ.

— А откуда они у тебя берутся? — спросила будущая студентка Литинститута. На этот вопрос ответить я не смог. Оказывается, она читала экземпляр моих стихов № 2, подаренный некогда Мане, но молчала.

Появилась первая кротовая нора. Одна надежда на Грзя, которого я с охотничьим заданьем выпустил в 3 часа ночи — кротовое время. Утром увидел результат (по просьбе трудящихся исключая подробности)⁷¹.

20 июля. <...>

21 июля. Первый полный день занятий.

22 июля. Алико привез Л. с Женечкой; жарили шашлык и ели его, сервировав стол на газоне. С Женечкой Л. упорно занималась часов 5, а я разговаривал насчет этюда в Литинститут.

Алико свозил меня на водохранилище. В кой раз подумал, почему бываю там так редко.

26 июля. С утра — выдалбливание стамеской пространства возле замка — не помещались пальцы. <...>

Вскрыл компостную яму возле рябины — для засыпки лысин при подсеве газонов. Перегной высокого класса — хоть ешь (это куда сбрасывается пищевой мусор). Такой не продают — тот, что в 6-тыс[ячной] машине⁷², — много хуже.

Пересаженные по второй каменной стенке черенки винограда растут, растут! Уже понадобились им веревки для усиков (сделать в ближ[айшие] дни).

⁷¹ Очень радуясь спасению газона, я просила, однако, А. П. не живописать — со всем его умением — подробностей кровавой борьбы с кротами.

⁷² Ценою в 6 тысяч рублей.

Ездил с Алико на в[о]д[о]хр[анилище], по дороге купил удобрение и удобрил весь Малый газон, заодно засеяв в нем пролысины. <...>

[Далее запись рукою Жени Астафьевой.]

Сегодня годовщина смерти Бабы-Жени. Поздним вечером, сидя напротив берёз, на которые так любила смотреть наша горячо любимая Баба-Женя, мы помянули ее, выпив по рюмке вина. Я принесла свой складень и зажгла перед ним свечку⁷³. Потом мы почитали ее остроумные и, как всегда, интересные записи про Грея, про все дела на участке и про приезжих, написанные ее замечательным каллиграфическим почерком, которым в наше время никто не пишет. Де-Са вспомнил, как Баба-Женя говорила, глядя на берёзы: «Как замечательно и точно сказал Есенин: “И берёзы стоят, как большие свечки”» <...>⁷⁴.

Последняя запись мамы в этом дневнике — 2 августа 2002 г. (с. 167) — очень прощальная. Летом 2003 г. ей было уже не до дачи.

Дневник последнего года (продолжение)

22 июля. Вчера смотрел на луну, которая так близко к Земле и хорошо видна будет только еще раз через 20 лет. Говорят: трудно представить, что по ней ходил человек. Вовсе нет; пока я жив, представимо все. Гораздо труднее представить, что в следующее противостоянье меня, скорей всего, уже не будет. Она будет светить так же над моими березами, но — без меня.

31 июля. М. б., действительно издать у Кошелева большой том:

НВ ПЧ, МЧ (Н. Ф. Иванова сказала, что ПЧ в Новгороде Великом нет вообще, а МЧ — только у Вяч[еслава] Анат[ольевича], к[ото]рому я в свое время подарил, студенты страдают), + «ПМ литературы» + всю пушкинистику мою (статьи)⁷⁵ <расширить статью в сб<орник> Митурича, из чеховед[ени]я — новые статьи + атрибуции, всю книжку «Слово — вещь — мир», м. б., даже статью об учебнике, ответы

⁷³ Сама идея целиком принадлежала Женечке (прим. автора).

⁷⁴ Далее вновь рукою А. П.

⁷⁵ Это не исключает отд[ельное] изд[ание] «Лекции по поэтике П[ушки]на» (прим. автора).

в Тын[яновском] сб[орни]ке и т. п. А то когда еще соберусь сделать 2-е изд[ани]е МЧ!..⁷⁶

5 августа. Женечка поступила в Литинститут, пока не на переводческое отделение, а публицистики и очерка. Говорит, что это тоже интересно. Вчера писала «Из дневника дачной жизни» (на основе нашего Д[невника] Д[ачной] Ж[изни], используя свои записи) с 10³⁰ до 9 вечера, а потом еще занималась совр[еменной] л[итерату]рой с приехавшей Л. Я ее недооценивал. Вполне толковая, с творческими задатками <...>.

15 августа. Бурмистрово, близ Новосибирска, где будет что-то вроде Летней школы. Летели с Романом Лейбовым и Осповатом. В числе прочего говорили о терроризме. Американцы боятся: начини зажимать и ограничивать любую группу (мусульман, например) — покатится, как снежный ком.

Живем в пионерлагере, построенном в чудном березовом лесу 30 лет назад. Прекрасные дома из до сих пор еще свежего бруса. Бродят детки. Вернулся в детство. Тем более что питание — как 60 лет назад: пшенная каша, котлеты, и тот же запах в столовой. Что это так неистребимо пахнет?..

Ю. Н. Чумаков. Осн[овные] идеи А. П. Чудакова о тотальном комментари[и] мне знакомы.

Я тоже хотел сказать о своем представлении о ком[мента]рии.

У Новалиса есть текст, что человек должен общаться со свящ[енни]-ком; прямо с Богом — нельзя. В л[итерату]ре тоже нужен посредник. Но и с Богом тоже можно общаться без посредников. Посредник — очень важная позиция ком[ментато]ра. М. Л. Гаспаров считает, что ком[ментато]р — вроде переводчика на более понятный язык.

Мы творим множество обманов для удовольствия людей — все хотят быть обманутыми.

Комментатор — проводник по тексту. Он сопровождает текст.

Комментарии с эпохами должны меняться.

Ком[ментари]й Лотмана отодвинул комментарий Бродского, бывший до того каноническим.

Не все ком[ментари]и входят в нашу жизнь. Ком[ментари]й Чижевского широкому читателю неизвестен.

⁷⁶ ПЧ — «Поэтика Чехова», МЧ — «Мир Чехова: Возникновение и утверждение», ПМ — «Предметный мир литературы» (тема многих работ А. П.).

Лотман спросил у меня: «Вы читали комм[ентарий] Набокова?» — «Нет, я не знаю английского». — «Я тоже не знаю, но мне было нужно, и я прочитал».

О[негинская] Э[нциклопедия] не может вып[олни]ть функцию ком[ментари]я. А. П. сказал, что к[омментари]й надо писать коллективом спец[иалис]тов. Но для энц[иклопедии] — пожалуйста, а для тот[ального] ком[ментари]я — нет. <...>

Ваши работы прекрасно укладываются в этот комментарий. На две строфы понадобилось вам 32 стр[аницы]. А всех строф более 300!

С. И. Бернштейн о «Тени сизые смешались» написал 25 стр[аниц].

С моей т[очки] з[рения], тот[альный] комм[ентари]й по вашей мерке занял бы те же 2 тома, что и Онег[инская] энц[иклопедия]!

Нужен отбор! Это единств[енная] возможность все это издать. Что же касается идеи сосред[оточени]я на поэтологическом ком[мента]-рии — вы стараетесь рассматривать помещение слова в строке, семантику и т. п.

Всё, что вы об этом говорили, приемлемо. Можно оспорить отд[ельные] утверждения.

Идиллия Гнедича. Ваши сообр[ажения] о поэтике Гнедича *интереснее*, чем Лотмана про благодарность Гнедичу. Я ощущаю, как П[ушкин] сжал в 4 строки Гнедича. Я не знаю, зачем он менял текст. I вар[иан]т лучше! Если б я комментировал, я бы Г[недич]а поднял.

Сб[ольшой] симпатией я отнесся к утвержд[ению] о лимб[ургском] сыре, что у нас нет оснований присоединиться к Похлебкину. «Бобр[овый] в[оротни]к», «донской жеребец» — вы можете попробовать подложить под это все термин сукцессивность. Сук[цессивно]-сть придает слову [*далее текст забелен автором, но новый сверху не написан*]...

«Бобр[овый] воротник» — м[ожет] б[ыть] его требовал только, исключительно стих. Есть и др[угие] места: «На красных лапках гусь тяжелый»...

Если ваш ком[ментари]й, воз[ника]ет поэтич[еское], стиховое прочтение. Мы с вами разошлись: вы — как предш[ественни]к реализма. Курганов считает, что у П[ушкина] не было романтизма. Вам интересно писать про поэтику. Вы заметили одному ком[ментатору] про сани. Этим ком[ментаторо]м был я. Онегин замерз.

Мелкая поэтич[еская] деталь: Вы пишете: гулял, сел в санки — поехал обедать. М[ожет] б[ыть], все же *заехал домой!* Мое поэтич[ес-

кое] ош[ущени]е говорит, что не мог он прямо с прогулки ехать в ресторан. (Кто-то: м[ожет] б[ыть], вообще это обобщ[енная] рисовка? Как же он в боливаре ходит зимой?) Пробел, за время которого он мог успеть съездить переодеться.

«Приятель, а не друг» — у вас. Но «друзья» тоже могут иметь отрицательные] коннотации. Не очень обя[затель]но эту разницу выяснять!

Мне трудно представить ком[ментари]й, где *все* было бы прописано; более того, я не знаю, зачем он нужен. Но понять *возм[ожнос]ть* этого — необходимо.

То, что А. П. делал и делает, это тот фонд пушк[инской] поэтики, к[оторы]й нужен. Не могу же я, читая 30 лет «Онегина»...

Осват: Я не согласен с вами, А. П., когда вы легко отделались от соц[иального] момента! Но это надо делать!

Я: У меня внутр[еннее] отталкиванье от Бродского и даже от Лотмана — поэтому мало социологич[еского].

О[сват]. I главу обсосали все. А дальше — нет!

Я: Жизни не хватает!

О[сват]. Конец романа более непонятен! Отдельный ком[ментари]й к гл[аве] 8-й был бы не бессм[ыслен]н!

Я: Начать с 8 главы?

О[сват]: Если угодно.

А. А. Долинин. Сегодня всеми были спутаны 3 вида отношения к тексту: 1) ком[ментари]й, 2) интерпретация, 3) описание.

1) ком[ментари]й делает зазор между текстом и знач[ени]ем; других задач нет.

«Бобр[овый] вор[отни]к» — это *интерпретация!*

NN. М[ожет] б[ыть], разные сезоны? Сл[ишком] велика разница между Боливаром и бобр[овым] вор[отни]ком.

16 августа. Осват, Лейбов: «14-е декабря 1825 г.»

Тютчев зафиксировал нек[ото]рое общее мнение-отношение — в целом отрицательное: [Николай] I не мог, де, до конца своего царствования избавиться от кошмара 14 декабря и думал: что бы было, если б он не свернул всех в бараний рог.

<...> Переключка с пушкинской одой «Вольность». Пушк[инская] формула: «молчит закон, народ молчит». У Тютчева есть перепис[анный] рукою Тютчева кусок «Вольности». Тютчев крайне редко переписывал чужие стихи — он и свои-то не любил записывать!

В «Вольности» дихотомия: законная власть и попирающие закон («Но вечный выше вас закон»). Отклик на «К Чадаеву»: «Напишут наши имена» — «Поносит ваши имена».

Замена архитектурной метафоры («обломки» — Бастилии) природной <я: и это природное может развратить> институцией. Постоянная оглядка на П[ушкин]а, которая приобретает здесь важное значение.

Мой вопрос о значении «развратило» в I стихе: «Вас развратило Самовластье».

Ю. Н. Чумаков. Значимость пробела между восьмистишиями: перевод с одного регистра в другой. «Самовластье» относится к исполнителям мятежа: оно с ними что-то сделало, а потом их же и поразило. Противоречие.

«Самовластье» — это деспотизм (фр.).

Чумаков: мог бы состояться этот ком[мента]рий 25 лет назад? Ведь давила на всех героическая апология декабристов.

Осват. Не так уж требовалась тогда апология д[екабри]стов. Но сейчас это звучит актуальнее. Отзыв Бонч-Бр[уевича] о Тютчеве — только в 6-м издании!

«Нет, карлик мой...» (1850?)

Переключка с эпизодом из «Р[услана] и Людм[илы]», где карла пытается соблазнить Людмилу — у Тютчева эту роль выполняет Святая Русь. Цитир[овани]е Т[ютчев]ым П[ушкин]а: 1) «св[ободная] стихия, сказал бы наш поэт родной» — полемически 2) слабые сигналы — вставляются, и с ними начинается работа.

«Цицерон» («Оратор римский говорил...») (1829 или 30?⁷⁷).

По Тютчеву в истории важны тектонические сдвиги, все остальное скучно и не важно. Ни одно событие до Т[ютчев] не наделял столь высоким статусом.

Тема — конец вел[икой] язык[еской] эпохи — обычна. Осложнение — кровавой звездой.

У Т[ютчева] речь о закате не респ[ублики], как у Цицерона, а о закате Римской цивилизации, культуры.

Только тогда начинается настоящий пир, когда минуты роковые.

Живущий не пьет из чаши бессмертия; он жив, но общается.

<Мой вопрос>: Зачем I часть? И без нее со слов «Счастлив» (или «Блажен») всё ясно.

⁷⁷ *Осн[оват]*: «Я передатировал, но теперь думаю, что ошибся. Оч[ень] важно, написано до или после Июльской революции» (прим. автора).

Осват. А. П. точно сформулировал — мне тоже приходило в голову: у другого поэта это было бы развитием темы. Но у Тютчева часты самостоятельные] куски. Но этот — *особенно* самостоятелен!

Долинин: I часть нужна, ибо ближайшее — совет богов на Олимпе по поводу Троянской войны.

Лейбов, Осп[ова]т: Нужно давать набор мотивов, повторяющихся слов.

Белоусов. На полях, как в Библии.

Лейбов. На семинаре Лотмана Зинаида С. сказала, что глаза «влажной ночи» относятся к первой жене Тютчева. «Но она была блондинка!» — «В минуту страсти зрачки у женщин расширяются».

Мое выступление (след. стр.): «Я спросил за обедом у Юрия Николаевича, не кажется ли ему, что мы на своем симпозиуме сильно расширили права и обязанности комментатора? Ю. Н. ответил, отхлебнув компота: “Кажется”».

Зачем я сообщаю эту деталь? Приведу еще пример. ВВ, рассказывая мне об одном периоде в жизни Жирмунского, обмолвился: «Тогда он много писал. В это время он жил с машинисткой N». Мне инф[орма]ция про маш[инист]ку показалась лишней. Но я ошибся. Н. И. Толстой, к[ото]рый, в отличие от меня, с ВВ не только беседовал, но и выпивал, объяснил, что ВВ говорил что-то про бесплатную перепечатку, которую теперь имел В. М.

Приведу еще один пример: библиографический (рассказал про К. Д. Муратову). Слухи о Чехове. Мы не знаем, что понадобится буд[уще]му иссл[едовател]ю. Биб[лиогра]ф д[олжен] работать на вечность. Упаковщик Масанов... «Скифы» Брюсова. Интерпретация б[иблиогра]фа и к[омментато]ра предполагает отбор! От ком[ментато]ра же требуется сугубый объективизм. Э. Ил[ларионов]на Худошина права. Д[олжен] б[ыть] библиографический] свод. Но — и только. Не надо отбивать хлеб у авторов статей.

Необходимо поставить вопрос, сообщить все, что знаем и чего не знаем. «А решают, — как сказал классик, — пусть присяжные заседатели». Как и библиограф, к[омментато]р должен спрятать в карман свои амбиции. Предоставить интерпретатору поле — если угодно, поле боя — и бежать, «бросив щит, творя обеты и молитвы». Параллель с прозектором хороша. Вопросы объема ком[ментари]я оставляем в стороне. <Я... про это не сказал> Предлагаю отсчет теории ком[ментари]я начать с сегодняшнего дня.

Ю. Н. Чумаков. Ком[ментари]й д[олжен] быть бесстрастным.

Ком[ментато]р и текстолог глубоко погружается в текст и не должен скрывать проблем, к[ото]рые открываются перед ним.

Вечером беседы с Сашей Белоусовым о Сталине, Жукове, войне. «Рокоссовский — лучший полководец отеч[ественной] войны». С Чумаковым о его посадке, о засед[ании] в Саратове в янв[аре] 1944 г., где о Тынянове говорили Эйх[енбау]м, Гуковский, Бялый. Как Гук[овски]й пригласил, и Ю. Н. [Чумаков] и еще неск[оль]ко приходи-ли к нему в г[остини]цу, и он говорил с ними о л[итерату]ре.

17 августа А. А. Долинин. Авторы американской статьи о чужом слове. Как ни странно, именно наличие чужого слова обнаруживает авторскую интенцию. А вообще знание ее только мешает. Авторы звонили Ти Эс Элиоту: цитировал ли он Джона Донна? Три возм[ожнос]ти: да, нет, я об этом не думал. Набоков — Профферу: ваша идея о цитате из Брюсова — полный идиотизм. О другом — это возможно, но мне это не приходило в голову.

Идея интертекстуальности презумпцию автора напрочь отрицает: автор мертв (Барт). Неважно, знал ли автор этот текст, это позиция. Автор — скульптор. Но на практике Умберто Эко, например, забыва-вая теорию, все время говорит: «Я хотел сказать», «я думаю». Ни один критик или ис[следовате]ль не игнорирует письмо автора об автор-ской интенции.

Суш[еству]ют разные виды текста. В нек[ото]рых авт[орская] интенция проявляется больше. Кафка не требует никаких ком[мен-тар]иев: нет аппарата, простой язык <...>.

Читатель должен выбрать стратегию. Набоков — писатель, прово-цирующий на комментирование, а Кафка — на интерпретацию.

Что надо ком[ментирова]ть в «Даре»? Заглавие — надо? Можно вспомнить «М[оцарта] и Сальери»... «Дар напрасный...» Почему Пушкин?.. Ответы Филарета: «Не напрасно, не случ[айно]...» Это проясняет провидческий смысл романа. Присутствие автора в самом тексте — его мы замечаем везде у Набокова — разного типа, под разн[ыми] масками. Использование на[родного?] слова. «Даром и чирей не вскочит». Гл. П. «Сбоку не под ...». Упражнение из учебника для гимназий.

Я в комм[ентарий] включаю только то, что могу документиро-вать; я ввожу большие ограничения. Читатель может сам посмотре-ть Библию и проч. — и получить удовольствие — от сотворчества? Научного?

Мой вопрос. Вы сказали об удовольствии от ко[ммент]и[ровани]я. Вопрос о 1) метаязыке, 2) эзотеричности, 3) сотворчестве, 4) простоте — сложности ср.-см.

Долинин: зависит от объекта.

Почему «Кап[итанская] дочка»? Потому что она строится на даре. КД — и прямо (2 гл.) и косвенно прис[утствует] в «Даре».

Печерская: А вообще меня инт[ересует] тип ком[ментари]я. Что гов[ори]л А. Дол[инин] — это лукавство. Но это его ком[ментари]й сочетается с интерпретацией. Каждый текст требует *своего* ком[ментари]я. IV гл[ава] «Дара» — вся на источниках. Это известно. А. П. <я> говорил про «ср.», «см.». Д[ействитель]но, какой норм[альный] человек будет смотреть туда.

Я: — В Стеклова?

Печерская — Хорошо бы! В Чернышевского!

Важен вопрос о выборе: что указ[ывать], а что — нет.

Комментарий д[олжен] б[ыть] функциональным. Д[олжна] быть публикация фрагментов, на основе к[ото]рых текст. Но зачем? <...> Выход в поэтику — легкое изм[енени]е док[умента] — и он уже иной! Искажение фактологии: Бел[инский], Добр[олюбо]в, Черн[ышевски]й — у него одна компания. Пересказ эпизода про Николаевский вокзал — а было это на разных вокзалах. Та же история с могилами. Эти сдвиги не просм[атрива]ются через простое указ[ание] на источники. <Т. е. вводим идею трансф[орма]ции, причем это главное!> Как смещаются детали. «Три слезы». У Набокова цитата не точна, у него «3—4 слезы», т. е. почти всплакнул. Легкое смещение, другой смысл.

Считать комментарием или нет: Черн[ышевский]-Прометей, Христос.

Стеглов закрепляет это. «Однажды на его дворе появился орел — клевать его печень, но не признал его Прометеем». Черн[ышевский] об орле, поселившемся на его дворе. Стеглов впадает в риторику: «Самодерж[авны]й коршун исклевал печень сков[анного] Прометейя». Ильф и Петров («орлуша ... стерва...»).

Набоков: «Никогда не научился ни плавать...». Цитируется письмо Черн[ышевско]го жене: «В детстве я не мог выучиться ни одному из искусств: ни вырезыванию фигурок...».

Долинин: «Доп[олнение] к теме «Черн[ышевски]й — Христос». Стих[отворение] Наб[окова] «Мать».

Выяснилась примитивн[ая] вещь: сотни источников — только те, к[ото]рые упом[ина]ет Стеклов! Не перетрудился Набоков.

Основат.

Создаем миф.

[*Печерская?*]. Для биограф[афии] Ч[ернышевско]го достаточно было бы Стеклова. Но хочу защ[ити]ть Набокова. Он кроме Стеклова прочел *огромную* л[итерату]-ру, не гов[оря] о соч[инениях] самого Черн[ышевско]го.

Исп[ользовани]е фотографии Ольги Сократовны из Л[итературного] Н[аследства] у Набокова.

Еще более связано с поэтикой: распростр[аненный] прием Н[абокова] — пересказ близко к тексту. Вообще это, по Бахтину, способ интерпретации. Как он строится у Н[абокова]? «Заметили, что смотрит он в пустую тетрадь» (а будто читает). Пов[ествовательную] свою интонацию <в IV главе> [Набоков] не изобретает, а *берет* у *Короленко* из его известного очерка.

Пользуясь письмами Ч[ернышевско]го, [Набоков] делает его своим соавтором.

Дневник Ч[ернышевского] периода жениховства. Из Л[итературного] Н[аследства] 1936 г. ясно, что «Что делать» написано раньше.

У Долинина ком[ментарий] этой главы — аскетичен, большая часть «см.», «ср.». Но с др[угой] стор[оны] — фрагменты док[ументо]в. Т. е. разнородность. Типа ком[ментария] к текстам такого склада нет; и я сделала — но объем. Совмещение ком[ментария] с интерпретацией.

Долинин. Можно сделать сводку источников и параллельных мест — это составит большую книгу. Путеш[естве] — монтаж фрагментов из 15—16 книг: Пржев[альский], Грум-Гр[жимайло], Козлов[ский]. Циммер — 94 % — чужое слово. Читателю надо знать *принцип*. Он таков: он заполняет дырки в док[умента]х, а не как Тынянов: «Где док[умент] к[ончается], я начинаю...»

В V главе Кончеев рецензирует IV главу. [Набоков]: «4 главы написаны от невидимого автора... Д[олжны] быть переданы <при переводе> стилистич[еские] расхождения. О. Ронен: источник ернич[еского] типа — книга Блока (Г.?) 1927 г. Жизнь Ч[ернышевско]го — перчатка, брошенная Тынянову.

У меня есть статья об истории IV главы в сб[орник]е в честь Ляпунова.

Вместо второго заседания ходил в сопровождении некоей Елены, учительницы, на Обское море, славно поплавал.

18 августа.

Шатин Ю. В. «Онегин» и Набоков: от комментария к роману.

Изложение Набоковым монолога Онегина из I строфы. Оно могло стать таким после «Смерти Ивана Ильича».

Вторжение «я» в комм[ентарий] Набокова: «Летний сад. Там через 100 лет гулял и я. Благодаря пародии Набоков в своем комментарии может... Переходит на личности — 20 раз упоминает Бродского, как Батюшков и др. Эпитеты по отн[ошению] к Бродскому — «идиотски-глупый» комм[ентарий] и т. п. Скрытая наррация в комм[ентарии], превр[ащающая] его в роман-комментарий [так!]. Комм[ентарий] Н[абоко]ва аллюзивно-агрессивный: амер[иканская] и советская действительность 40-х—50-х гг. Опис[ание] Набоковым поедания икры опережается книгой «О здоровой и вкусной пище». Демонстративное непониманье советского кода (о «брюках»). Нарушение всех конвенций разрушает жанр комм[ентари]я. Многие считали комм[ентарий] Н[абоко]ва насмешкой над ком[ментато]рами.

Комм[ентари]й к блинам — кусок худ[ожественной] прозы.

Ответ на мой вопрос: доля авт[орских] вмеш[ательств] — ок[оло] 20 %.

Долинин. Эта доля не так велика! Нужно учитывать прагматику. Я был против перевода: [Набоков] писал комм[ентарий] к ЕО для амер[иканских] студентов. (А Чижевский сводит счеты с Якобсоном в своем комментарии). Убийств[енная] рец[ензи]я экономиста Андрея Гершензона на комм[ентарий] Н[абоко]ва — много справедливейших замечаний. Н[абоко]в, написав «Ответ моим критикам», [Гершензон]у не ответил, но во 2-м изд[ании] учел все его замеч[ание]. Русскими 2-мя переводами пользоваться нельзя хотя бы потому, что оба перевода сделаны не со 2-го изд[ания], а с 1-го! А во 2-е Набоковым внесены изменения. Они не удосужились это посмотреть. У Н[абоко]ва — свободный ком[ментари]й переводчика.

Шатин: Я согл[асен] с Лейбовым, что пушк[инская] наррация повлияла на комментарий] Н[абоко]ва

Нат. А. Ермакова. П[ушкин] — Вяземский. В ЕО, даже в названии романа. М[ожет] б[ыть], можно говорить о сюжете Вяз[емско]го внутри ЕО. (II гл[ава] ЕО). «Коляска» инт[ерес]на с т[очки] з[рения] стиховой орг[аниза]ции, подобна ЕО. Но ему мешает форма стиха,

нестроф[ический] текст. Идет постоянный взаимообмен. <А интересны ли нам пассажи Вяз[емско]го по пов[оду] ЕО?>

Чумаков. Я хотел за эти 4 дня исполнить намер[ени]е: придвинуть новосиб[ирскую] филологию к пер[еднему] краю науки.

Осват. Пробл[ема] тот[ального] ком[ментари]я, о к[ото]ром говорил А. П., не отменяется, ни одно изд[ани]е его не отменяет. Мы должны себя постоянно спрашивать, где ком[ментари]й, а где интерпретация.

Жанр д[олжен] быть пересм[отре]н! Мы в плену старого ком[ментари]я. Жанр к[омментари]я — свободный, в т[ом] числе и комп[озицион]но <т. е. вынесение статей из нарратива?>. Норм[альный] процесс: я написал ком[ментари]й, ты — ком[ментари]й на мой ком[ментари]й, а на этот — еще один... и т. д.

Лейбов. Я хочу попол[емизирова]ть св[оими] соседями по палате. Ком[ментари]й пишется непонятно для кого, точнее [ясно] для кого. Для себя! Такой, какой бы хотели видеть в идеале.

Читаю — сочиненные к заключению Школы свои юмористич[еские] «Два голоса».

Чумаков. Как приятно, когда маститый филолог соед[иня]ет этот дар с даром пис[ате]ля и даже юмориста.

19 августа. Новосибирск — М[оск]ва, самолет. Приехали на автобусе из Балуш вчера. В 15час[ов] обед у Чумакова: Саша Долинин, Саша Белоусов, Т. Печерская, Наташа — зав. кафедрой пед. ун[иверсите]та. О литературе, о науке. Чумакову очень понравилась моя хар[актеристи]ка творчества В. Н. Топорова последних лет: «Не смог преодолеть искушения дескриптивизма» — я имел в виду его «Энея» и др[угие] книги, к[оторы]е объемом и сырым м[атериал]ом «превышают возможности любого читателя».

Долинин спросил, не у Набокова ли из «Дара» я взял прием перехода 1-го л[ица] в 3-е.

— Я не помнил, что это есть в «Даре». Просто почувствовал, что некоторые пассажи должны исходить от «я».

— Я так и предполагал. Это очень интересно.

20 августа, дача. Вчера в электричке из Домодедова с Осватом — об его и моих планах. Он — о своих сомнениях, как заканчивать книгу о «Кап[итанской] дочке» (как аллюзия на ист[орическое] событие). Я — тоже о 2-м изд[ании] МЧ. Он расспрашивал о библио-

графии. Рассказал о своем визите к акад. Н. Н. Покровскому, к[ото]рый чувствует до сих пор, что его не оставили в покое органы.

Ходит раз в неделю на Каширку в онкологический центр к М. Л. Гаспарову. Миша читает, интересуется, хотя дела, конечно, неважные.

21 августа. По «Свободе» в своей программе Шендерович дважды упомянул Л.: «Как написала Чудакова: “Команды [«Ложись!»] еще не было, а все легли»⁷⁸, «...те, кто подписывает противоположные письма, — та же Чудакова». Что же он не приглашает ее в свою передачу? Впрочем, может быть, она не согласилась бы⁷⁹.

Передача была — беседа с Ю. Ф. Карякиным. В числе прочего Карякин сказал: «Какой я литературовед? Я писал о Достоевском, ничего в нем не понимая. Не были еще сняты атеистические очки». Не каждый про себя это скажет.

Рассказал, как Яковлев показал ему «Краткую биографию» Сталина с его пометами и вставками. Одна из них — вставка под типографским значком: «Как принято говорить в народе, Сталин — это Ленин сегодня».

Из Америки звонил Л. [мне. — М. Ч.] Коржавин. Люба прочитала ему «Дела и ужасы Жени Осинкиной» — целиком. Эмка сказал: «Очень значительная вещь. Имеет и будет иметь в дальнейшем колоссальное педагогическое и политическое значение».

Л. рассказала ему про отриц[ательные] рецензии. [NN] сказала про этих двух девок-авторш: «Я их хорошо знаю. Их позиция: коммунистическое или антикоммунистическое сод[ержани]е — это неважно. Не нужно ни того, ни другого, а нужны только хармсовские штучки».

Я: «Это близко к тому, что я думал, прочтя два-три для детей сочинения: это так постмодернизм отразился в детской лит[ерату]ре».

Л. — Замечательно, как всегда. Можешь не уточнять. <...>

Эмка заключил договор с Захаровым, где не указал ни объем, ни срок. Это Лёша ему подсудобил. Ясно, что договор надо расторгать.

⁷⁸ Л. сказала это в своей беседе с Шендеровичем с полгода назад в этой же его передаче «Все свободны» (есть распечатка) (прим. автора).

⁷⁹ В момент записывания А. П. не помнил о ее участии в одной из передач, поскольку это был очень редкий случай, когда он не слушал ее по радио: в это время ехал в метро, чтобы, встретясь с ней сразу после прямого эфира на «Свободе», пойти в гости к С. Гандлевскому — рядом со зданием радиостанции.

Но как? Я в этом ни черта не понимаю и сам с «Олмой» влопался, не получив ни копейки еще, хотя 2-е изд[ани]е вышло еще в декабре.

А из детской литературы хороши только сказки Улицкой, к[ото]рые я читал в «Известиях» от 19 авг[уста], — про кита, воробья и столетник — что-то андерсеновское.

Саша Белоусов сказал, что Миша Билинкус очень болен.

22 августа. Фет, которого перечитывал три недели назад, после Тютчева (читал последн[ие] 3 дня) выглядит мелким, хотя чисто художественно, лексически, образно часто его и превосходит. Хотя... «Не то, что мните вы, природа...», «Вот бреду я вдоль большой дороги...» Последнее по лирической пронзительности — среди трех лучших в русской поэзии.

Л. сказала, что у Ю. Карякина томá дневников. Много ль нас, таких?..

Жарко; август — как июль. Поехал на велосипеде на водохранилище. Всего 20 мин[ут], а сколько раз за лето я там был? Живу неправильно. Березы, конечно, на которые, как мама, гляжу долго-долго, частично компенсируют... Не хватает, чтоб они преломлялись в пруду. Но тогда я бы не писал ничего уж совсем.

Говорил с Наташей про Юру⁸⁰. Дела неважные, опухоль растет, через неделю начнут лучетерапию.

* * *

Дилер килеру (брокеру) глаза не выключет.

* * *

Мой вывод (для моего комм[ентария] к ЕО) после летней школы: не бояться статейного м[атериала]; если вопрос велик — только обозначить его, но *обозначить*; поставить вопрос, проблему (сказать прямо: если не решена); не бояться полемики и похвал Гроту и др. под.

26 авг[уста]. По «Свободе» сказали, что Томас Манн был горд, недоступен, считал себя Гёте XX века. 50 лет со дня смерти (12 авг[уста] 1955 г.). По радио «России» не отмечали. Интересно — а по ТВ? Умаялись отмечать юбилей Бог знает кого!

⁸⁰ Муж сестры А. П. Ю. Самойлов, весь год тяжело болевший раком и скончавшийся 1 января 2006 года, через 3 месяца после А. П. Чудакова.

«Кто не против зла резко и до конца, тот в какой-то степени за него» (Т. Манн).

28 августа. Как влиятельно все же массовое искусство. По «Радио России» какая-то передача про Джо Дассена. С удивлением обнаруживаю, что прекрасно помню, как и весь мир, кто жил в 70-е годы, «О, Шан Зелизе» и «Бабы лето».

Шендерович на «Свободе» снова сослался на Л.: «Чудакова сказала, что мы в 90-м году не освободились от прошлого, как Германия в 46-м».

Л. сегодня выступает по «Эху Москвы», но я — увы — этого не услышу по своему плохонькому дохлому приемничку. Кому сказать, что не могу купить новый за 800—900 р., — не поверят.

Звонил А. Д. Кошелев — хочет включить мой мемуар о ВВ в сборник, готовящийся Борей Успенским: «Вы так замечательно пишете». Пообещал ему к 20 сент[ября] сдать. Надо бы дополнить — но когда?..

Фет отдал поэзии всю жизнь. Что было бы, если бы это же сделал Тютчев, а не писал от случая к случаю?..

В статью «Как нам писать историю литературы?» вставить рассуждение о профессионалах (Фет) и дилетантах (Тютчев).

31 августа. Полная робинзонада: вчера, в грозу отключился свет, затем телефон, потом села батарея на мобильнике. Вчера писал при керосиновой лампе. Чтобы позавтракать, топил сейчас печь в бане и боком заталкивал в ее узкое зевло сковородку. В комнате 15°С. Посмотрим, как при такой изоляции пойдет наука.

Вечер. Дали свет, заряжаю мобильный, включился стационарный. Наука при полной изоляции шла хорошо.

Л. с Маней были на презентации книги стихов Комы Иванова в литовском посольстве. Мне сообщили *post factum*. Повидать всех вдруг захотелось — видимо, робинзонство хорошо до определенного предела, чего ранее я не думал.

ДИАЛОГИ С БАХТИНЫМ

Это — часть записей разговоров с Бахтиным, с которым мы с А. П. познакомились в 1970-м году.

К мемуару о Бахтине А. П. обращался в последние годы не раз, но отвлекали срочные работы, и закончить не удалось.

В конце 90-х он решил было назвать свой мемуар «Недиалоги с Бахтиным», но в 2001 уже озаглавил «Диалоги с Бахтиным» и начал его так:

От этого заглавия невозможно было удержаться. На самом деле того полноценного диалога, который так глубоко изучил М. М. Бахтин, мне с автором не только не приходилось вести, но даже и наблюдать. По моему ощущению М. М. вообще был не диалогист. Или говорил он, или — увы — я. Казалось, он вообще предпочитает слушать, и если собеседник был активен, то за вечер М. М. мог произнести всего несколько фраз. Такое я наблюдал однажды, совпав в визите с Пинским.

10 ноября 2002 года, снова взявшись за мемуар, А. П. написал в левом углу листа:

«Именно диалоги, а не “Недиалоги”!» Поставил восклицательный знак и дату (М. О. Чудакова).

1971

29 августа. Перед отъездом Л. в Ригу⁸¹ были с ней у Бахтина в Гривне. Говорили с ним об обериутах, сказал, что близок со всеми не был, только с одним.

Я рассказал ему свою концепцию «случайностного видения» у Чехова. Целиком принял и согласился.

⁸¹ Мы с Машей уехали в Ригу 3 августа.

Говорил, что в монологах типа «небо в алмазах» автор относится к слову героя иронически (моя мысль в связи с постановкой «Трех сестер» Эфросом), а у нас принимают всерьез, целиком. Хотя автор здесь и есть — «он везде есть — не может не быть!»

21 декабря. <...> Сережа Бочаров сказал, что Бахтин в числе немногих книг, к[ото]рые захватил в больницу, взял и мою.

Рассказывал, что книгу Волошинова Б. диктовал В[олошино]-ву где-то в Финляндии; книгу Медведева Е[лена] Ал[ександров]на писала под его диктовку. Первая вышла в таком виде, в каком он ее продиктовал. Во вторую Медведев сделал вставки, как выр[азился] Бахтин, — «к сожалению, крайне неудачные». «Мне это не составило труда». «Догов[орили]сь, что они подтянутся».

Монографию д[ействитель]но он искурил в войну — о немецком романе 18 в.

Философские романы в 20-х гг. были, но многие погибли, а иные — «Я пишу всегда карандашом, все стерлось, пробовал прочесть — невозможно». «Худ[ожественная] л[итература]» заключила с ним договор на 30 л[истов] — но нечего включать.

1972

12 янв[аря], среда.

Утром был у Бахтина (он сейчас в Переделкинском Доме творчества, в к. № 7).

Постучал, всунул голову — спиной ко мне кто-то массивный, и уже выходит Ляля Мелихова.

— Здравствуй, Саша. Там Машинский, сейчас они кончают.

Я подождал <...>. Вышел Машинский, <...> стал рассказывать, как пытается выбить из Бахтина для «В[опросов] л[итературы]» статью о Гоголе, к[ото]рая готова, но Бахтин считает, что нет, что это набросок и проч.

Я стал говорить, что надо печатать, как есть, а то он замотает, тем более, что в теперешнем состоянии когда он еще приступит к работе, и что если даже напечатать необработанную стенографическую запись беседы Бахтина, то это и то будет интересно.

У Машинского до этого на лице было написано выражение полного почтения к Бахтину, но при последних моих словах тем не менее на

меня посмотрел с некоторым удивлением и любопытством. Но ничего не сказал.

М. М. сидел на постели, закутанный в одеяло.

— Очень, очень рад. Спасибо вам за книгу. Но должен извиниться — еще не читал. Тут происходили такие события — было не до чтения. Книгу Гинзбург тоже еще не читал (думаю, интересно, как все, что она пишет, я всё очень люблю). И Пинского.

И показал рукой на стол, где лежат 4 книги: Гинзбург, моя, Пинского о Шекспире и Новый Завет.

— Но я слышал уже много отзывов о Вашей книге — и очень положительных. Как только смогу — тут же начну читать. Я ведь помню суть Вашей концепции по прошлому нашему разговору, летом. Это очень интересно.

Пинского книга хорошая. (Это сигнал⁸²). Я ее пролистал. Я знал ее первый вариант. Это было совсем не то — было традиционно: комедии, трагедии. Теперь о комедиях совсем мало. «К[ороль] Лир» — в центре.

Потом я стал излагать свои идеи насчет прямого слова.

— Это очень важная проблема. Я думаю, самая важная в литературоведении.

Я сказал, что эта проблема в том виде, в к[ото]ром ее поставил Эйхенбаум, будучи для своего времени очень прогрессивной — я заразился от него этим пониманием в юности и это очень много мне дало, — уже не может сейчас нас удовлетворить.

Бахтин согласился.

Потом заговорили о Тургеневе.

— Да, верно, у него нет этого сложного отношения к слову. А ведь он современник Достоевского. Однажды только у него проявилось отношение к слову, близкое к Достоевскому, — в «Петушкове». Неожиданно мелькнуло и исчезло.

Я: — Это уже было скорее подражание или эпигонство.

— Да. И он сразу понял, что это не его путь, — и бросил.

Самый примитивный из всех русских классиков — кого мы зовем этим именем. Вот уж у кого не было ни грана пророчества!

Я: — И мистическое в последний период подавал робко, с оглядкой, чтобы не подумали, что он это целиком всерьез.

⁸² Т. е. — *сигнальный* экземпляр, до тиража.

— Да-да, робко. Меня всегда удивляла «Собака» — все таинственное в том, что эта собака чесалась!

Я: — Почти пародия.

— Да, какая-то уже пародийность. У него нет того отношения к слову, что было у Дост[оевско]го, Толстого, Чехова.

Я рассказал о своих лекциях в МГУ. Сказал, что студенты этими проблемами очень интересуются и понимают.

Спросил, как проходило у него в Саранске.

— Понимали очень плохо. Это же провинциальный вуз. За 20 лет мне не встретилось ни одного способного студента. Между столичными и саранскими студентами — пропасть. Я знаю очень много студентов разных курсов. Интер[есные] люди. А там мои ученики вышли даже в доктора — но по причинам, к науке отн[ошени]я не имеющим. О русской литературе? Нет, никогда там не читал. Упаси бог! Там же все время была слезка, тут же бы уволили. А в зарубежной они, т. е. кто следили, меньше понимали, поэтому было легче. Как я им читал? Старался — близко к учебнику, по к[ото]рому им приходилось сдавать.

На мое горячее восклицание, что не читал же он близко к учебнику Самарина:

— Нет, был же другой учебник. Жирмунского и др. Хороший учебник. Я, конечно, старался избегать вульгаризации. В курсе теории л[итерату]ры читал кое-что из того, что является моим. Но в очень упрощенном виде. Этот курс в основном приходилось читать на 1-м курсе.

— Меня долго не трогали, арестовали перед войной — вместе с Б. М. Энгельгардтом, Комаровичем, Тарле, Платоновым — в одну ночь. В Ленинграде осталась семья — тогда была еще жива мать, сестры. Все они погибли в блокаду. А я таким путем от блокады был избавлен. В 1935—40 гг. я жил в Кустанае. Там я работал экономистом. Это было спокойнее. Там я мог работать, не кривя душой, и ко мне не было никаких претензий. А в Саранск попал уже потом.

Я спросил, знает ли он, что есть уже чистые листы 3-го издания его Достоевского.

— Да-да. Я боюсь, что не разойдется. Сейчас это уже устарело. Столько вышло книг о Достоевском. Я сейчас не могу читать, но просмотрел «Неизданного Достоевского». Это замечательная книга.

Наивность и полная убежденность, что его «Достоевский» «устарел», так меня ошеломили, что я не сразу нашел аргументы, чтобы

доказать, что «нет, не устарел», — настолько эта мысль была дикой и неожиданной.

...Вот так же он, наверное, считал, что не обязательно издавать книгу о Рабле, что ничего страшного не будет, если он пустит на сигарки единственный экземпляр монографии о немецком просветительском романе, что можно бросить пылиться свои философские работы 20-х годов.

18 января. Вчера ненадолго заходил к Бахтину. Чувствует себя хуже, лежит. В связи с предисловием к «Пр[облемам] п[оэтики] Достоевского» зашла речь о Виноградове. Очень высоко его ценит. Предисловие это в свое время написал сам, без чьих бы то ни было рекомендаций. Так что намеки Бори Успенского в свое время, что это написано под давлением, чистейшая ложь.

— Я встречал Виноградова в конце 20-х в салоне одной поэтессы. Забыл ее фамилию. Память стала никуда. Туда ходили оба Радлова — тогда еще неизвестные, Б. М. Энгельгардт. Поэтесса была плохая, но создала салон. Да! Щепкина-Куперник! Плохая поэтесса и плохая мемуаристка. Но Виноградов ходил туда редко.

— Степанова⁸³ я давно не видел, лет 30. Я его не узнал. Другой человек! Раньше это был очень энергичный, быстрый <что Н[иколай] Л[еонидович] был быстрый — невозможно представить!>, близкий к футуристам немного с их манерами, слегка развязный...

— Договор с «Худ[ожественной] л[итерату]рой» на днях я подписал. Без аванса. Деньги мне не нужны. Я не люблю связываться. Сколько есть? Меньше половины. Договор на 30 листов.

Когда прощались, вдруг сказал:

— А про прямое слово мы еще с Вами поговорим, когда я немного лучше себя буду чувствовать.

7 марта

Сегодня вечером был у Бахтина. Почти с первых же слов он сказал:

— Читал Вашу книгу. Прекрасная книга. Одна из лучших книг — да что там — лучшая книга по литературоведению за несколько последних лет. Я непременно выскажу Вам свое мнение подробнее,

⁸³ Имелся в виду Н. Л. Степанов, к которому (жившему в Переделкино) А. П. заходил накануне и, видимо, упомянул о нем в разговоре с Бахтиным.

но для этого мне нужно еще раз все пересмотреть. Но уже сейчас могу сказать — замечательная, прекрасная книга. Да-да.

20 марта, понедельник, Переделкино

Около 7 вечера зашел в Дом творчества — навестить Бахтина. Вдруг в холле громовой голос: — Здравствуйте!

Из кресла встает Шкловский. Это — первая встреча после моего к ним приезда, когда я отказался от предисловия. С<ерафима> Г<уставовна> холодна, В. Б. же и совсем как раньше. Оказалось, что он только что от Бахтина.

— Мы не были знакомы. Хотя он сказал, что видел меня у Горького в 25-м году (?), когда я говорил Горькому разные неприятные вещи.

Диалог. Я сказал Бахтину: нельзя разорвать писателя на две части, нельзя его разграфить пополам, как листок бумаги. ...Я немного лепил. Понес Репину свои работы. Он сказал: ничего не выйдет.

— Почему?

— Вы начали, как Микельанджело. Значит, кончите, как дурак.

<Я: т. е. нужно начать, чтобы было куда двигаться?>

— Да. Куда двигаться.

<Я: но Вы хорошо начали>.

— Но я много раз начинал снова.

Показал на свое ухо.

— В субъекте, который перед Вами, сохранилась обезьяна. <Так произведение носит черты процесса своего создания, своей эволюции — передаю свои слова, которые я потом сказал, а он подтвердил, что именно это имел в виду.>

Зашел к Бахтину — читает мою книгу.

— Я сейчас ее перечитываю подробно и дня через 3—4 подробно Вам о ней скажу. Книга очень цельная. О равноценности существенного и несущественного — это действительно есть у Чехова, но лучше всего это было у Гомера. Но это для нас все равно. Но мы не знаем, как было для него, для них.

Я стал говорить, что очень возможно, но я не ставил исторических задач.

— Я понимаю, что задача у Вас была другая.

Шкловский знает Вашу книгу и хвалил ее. Что он Вам о ней говорил?

Но я смог передать только какие-то обрывки.

— Я считаю его основателем всего европейского формализма и структурализма. Главная мысль была его <На мои слова, что нельзя

требовать от него *разработки*>. Очень много, всегда много свежих мыслей. А уж когда нужно было исследовать дальше, это делали остальные. Впрочем, он и здесь много сделал.

27 марта, Переделкино.

Был у Бахтина; около двух часов говорил он мне о моей книге — в прошлый раз было договорено, что я за этим приду. Записывал за ним тут же в блокнот (в папке отзывов о книге).

Из не относящегося к книге:

— Брюсов назвал свой сборник «Chefs d'oeuvre». Все возмущались. Он же говорил: если поэт не считает свои вещи шедеврами, он не должен их выпускать. Другие лгут, я откровенен. Марина Цветаева правильно о нем сказала: преодоленная бездарность. Громадными усилиями преодолел. И выходило часто совсем неплохо. Очень похоже на поэзию, хотя совсем не был поэтом.

<Я: Кем ему надо было быть?>

— Историком. Он историк и по склонностям, и по образованию. И лучшее у него — исторические романы. Я их всегда перечитываю. Он именно здесь — в прозе — приблизился к Пушкину.

7 авг[уста]. <...>

Был у Бахтина (вчера <...>). Теперь он в отдельном коттедже. Сидит, закутанный в плед, под деревьями. Выглядит лучше, чем зимой. Дай бог!

На мои рассуждения о том, что бывают же пророчества и прочие предвидения хода истории:

— Только в частных. В формах. В главном — нет. Это нельзя предугадать. Предугадывается только необходимое, но оно-то не главное. Главное творится на путях свободы.

На мои рассуждения о возникновении нового качества в литературе:

— Да. Литература берет его и в идеологии, и в жизни.

Я: — М. М., но так сказать — это ничего не сказать. Конечно, и оттуда, и оттуда. Но есть, видимо, иерархия.

— Да. Прежде всего из жизни. Она видит в жизни то, что никакая идеология и наука не увидит. Да и не нужно л[итерату]ре то, что видит идеология. Л[итерату]ра видит свое.

Я: — Т. е. торжествует тривиальный взгляд, что примат действительности и т. п.

— Если хотите, да.

Я: — О Гоголе, о безусловно новом качестве, к[ото]рое он внес в л[итерату]ру и т. п.

— Безусловно новое. Истоки? Это сложный вопрос.

(Закурил, молчит.)

Я: — Но все-таки?

— Прежде всего изменение отношения к высокому по сравнению с 18 веком. Затем — иное отношение в его время к смеховой культуре — более серьезное.

На вопрос, как движется его книга о Гоголе.

— Я ее оставил. Если мне удастся ее завершить, то печатать при жизни ее не буду. В сб[орни]ке статей будет одна крошечная статейка о Гоголе.

О своей статье, к[ото]рая упомянута в примеч[ании] Кожинова («В[опросы] л[итературы]» № 7).

— Да, это одна из первых. Она была написана — был такой журнал «Современник»...

Я (почему-то почти радостно): — И не успели? Он закрылся?

— Закрылся.

Я: — А кто заказывал?

— Человек малопочтенный теперь. Автор «Мы».

Я: — А откуда Замятин знал о вас? Ведь вы тогда, кажется, еще ничего не напечатали?

— Ничего. Но был известен. По выступлениям. В официальных местах и не в официальных. Был известен. Не знаю, по собственной инициативе Замятин действовал или ему подсказали.

— Вы хотите сделать все слишком ясным. Все закончить. А ничего не кончается. Хотите поставить точки над *i*. И вообще точку. А фраза часто кончается многоточием.

Я: Все устали от многоточий, расплывчатости, неопр[еделеннос]ти.

М. М. (с неожиданной горячностью, быстрее, чем обычно):

— Философии, науке неважно, кто устал. Она развивается не по этому закону. Устал кто-то, не устал — ей это неважно.

8^о авг[уста]. Вторн[ик]. 7-го утром снова переносили на кресле Бахтина на улицу (привлек к этому Борева, должен был прийти Валя Асмус, но не пришел). <...> Потом, когда ушел Боров, поговорили немного о Гоголе. Я спросил, повлияли ли, по мнению М. М., лирические отступления Гоголя на русскую прозу?

— Очень мало. Разве что на гимназистов, которые старались писать что-нибудь похожее на «Чуден Днепр при тихой погоде».

<...> Бахтина вечером снова относили с Боровым. Пробыл т[аким] о[бразом] в Переделкине сутки и вечером на велосипеде уехал в Ромашково. Сегодня целый день провел в ГБЛ <...>.

9 авг[уста]. Замучившись размышлениями последних дней, я спросил Бахтина (7-го, в Переделкине) — с некоторым даже отчаянием:

— Но ведь новое качество, совсем новое, не бывшее нигде до него, великий художник *создает*?

М. М. посмотрел на меня с видом понимания и даже жалости («бедные вы — и вам мучиться до смерти над теми же вопросами!»).

— Безусловно. Конечно, создает.

И хотя у меня на эту тему уже много написано, а еще больше думано — стало легче.

16 августа, 22 часа. Только что приехал на велосипеде из Переделкина (рука не пишет), обратно ехал в темноте.

Был у Бахтина. Много он говорил о л/ведении и критике (записывал за ним).

— Мы должны описывать литературу на другом языке или, как сейчас говорят, дать другой код. *Но этот код должен быть богаче, чем первый!* Иначе нечего и браться.

— А критика — как она существует — не нужна. Разве что для читателей, которые понимают произведение *еще* меньше, чем критики. Впрочем, так всегда и было — одни пишут, другие критикуют — и тем и тем хорошо платят. Критика — это паразитизм на литературе.

— Анализировать произведение должен гениальный ум, которому есть что сказать по этому поводу свое.

Я: — А если не по поводу и не в сторону, а непосредственно о произведении — например, при изучении строгими методами?

— Писатель пишет не для того, чтобы его анализировали строгими методами.

<Вообще сегодня он — может, потому, что чувствует себя лучше, весь день на воздухе, в кресле — был язвителен и афористичен.>

— Мы должны постигать феномен в целом — феномен произведения, что такое оно вообще.

Я: — Его структурные черты? Построение? А не заниматься наивным анализом «содержания». Потому Вы и не разбираете произведение непосредственно!

— Именно не наивным анализом, не анализом героев. Все равно о них лучше Достоевского не скажешь. Да и как писать о них? Как о живых людях? Это будет натяжка.

<Да, забыл. Разговор начался со статьи Кожинова, которую я теперь прочел до конца и сказал М<ихаилу> М<ихайлови>чу, что Кожинов сузил значение формалистов — и очень.

— Да. Сузил. Их значение было — конечно — шире. Но хорошо, что он поставил вопрос лит<ературной> моды. И отошел от традиционного тона в критике формалистов.

По ходу дела я упомянул о «Формальном методе».

— Разве важно, кто автор?

Я: — Вы проведете средневековое представление об авторстве.

— Во всяком случае оно имеет не такое значение, как сейчас этому придается. (Громко) Неважно, кто — первый! Кто — второй!

Я стал говорить о том, что Медведев сделал какие-то вставки.

— Это тоже неважно. Особенно сейчас, когда никто не может выпустить книгу в том ее виде, в котором хочет.>

Потом я стал излагать свои идеи насчет *новой логики*. Очень заинтересовался.

— Это очень, очень важно. Только шире — не логика, а новое видение мира.

Я: Это очень неопределенно.

— Новое осмысление мира. Тотальный смысл мира. Я обращаюсь к писателю: покажи мне, чего я не знал.

Не помню как разговор перескочил на смерть.

— Один немецкий психолог (из школы биолога Дриша) написал работу: «О жизни и смерти, которых нет». Этих границ нет, их создали люди. И не в них дело. Смысл бытия, и именно тогда создаются его ценности — не тогда, когда мы об этих границах думаем, а когда они спутаны страхом перед концом или увлекательностью самой жизни — когда их нет. Тогда возникает ситуация медитации (что Сократ говорил перед смертью).

Снова о новой логике.

— «Влас»? Там это перерождение наивно. Такого мужчину не собьешь «ведьмой-егозой».

Я: — Может быть, ему нечто открылось, но Некрасов передает это в нарочито стилизованных формах?

— Лучше бы этого куска не было.

<«Рассказ Бахтина» — *вписано позже карандашом.*>

«Где-то на Урале или в Сибири одного рабочего стукнуло болванкой по голове и он находился в состоянии клинической смерти. Когда выздоровел, приходит в партком — а он был старый партиец — и кладет на стол свой партбилет.

— Что с вами? Что вы? — всполошился секретарь.

— Там посоветовали.

Стал уходить. Секретарь догнал и запер дверь.

— Слушай, мы тут одни. Как там вообще?

— Не позволили про это говорить».

* * *

— В чеховской «Скучной истории» есть некоторая сделанность. Не чувствуется, что он профессор медицины. Его единственная специальность — колебания. А его самого нет.

— «Доктор Живаго» — я его читал тогда же (еще был жив автор) — во время приезда моего в Москву. Мы всегда останавливались у моего приятеля Залесского, умер три года назад, — петролога, член-корра (в конце даже получил орден Ленина за что-то — я на эту тему с ним не говорил).

Я, читая «Детство Люверс», «Повесть», ожидал от него гораздо больше — и в смысле философии и с точки зрения мастерства. Но роман, безусловно, входит в литературу Толстого, Достоевского, Чехова, хотя здесь он и уступает своим компаньонам. Но никакой другой роман из советских в этот ряд не входит.

<Приписано позже карандашом: Я — о Евлахове, не помню что, но думаю, что-то о его 3-х огромных томах.>

— Евлахов? Академическая среда его не признавала. Считала, эклектик. А он был очень знающий человек. Я недавно говорил с его внучкой.

— Да, Гоголь очень сложен. Я недавно пытался <проникнуть в его мир>⁸⁴. Но — отложил. Нажил бы кучу врагов. С Рабле мне повезло — им у нас не занимается никто. Достоевским — тоже никто из большого начальства. А Гоголем — все! Храпченко меня бы просто съел.

⁸⁴ Не этими словами, но смысл таков (прим. в дневнике).



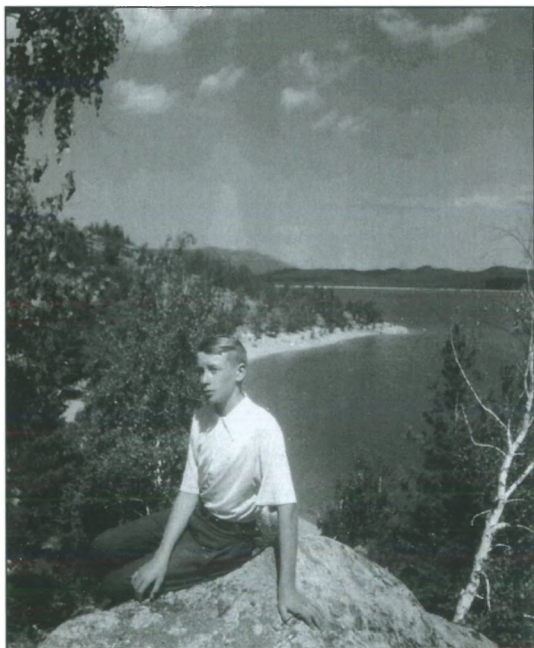
С мамой Евгенией Леонидовной Савицкой



С сестрой Наташей



1952 г. 8а класс Шучинской средней школы.
А. Чудаков — во втором ряду, третий слева



Лето 1953 г.



«На бревнах» — с одноклассниками после окончания школы (22 июня 1954 г.). А. Чудаков— крайний справа во втором ряду



Щучинск, лето 1954 г. А. Чудаков со своей первой любовью — одноклассницей Клавой Свешниковой



Москва, осень 1954 г.
А. Чудаков — студент 1-го курса
филфака МГУ



Москва, 1954 г.
В кухне университетского
общежития на Стромьнке



1956 г. Осенний университетский туристский слет.
А. Чудаков — на переднем плане. В последнем ряду крайний слева —
А. Жолковский, третий справа в очках — А. Старков,
далее — В. Львов, В. Кузнецов, И. Черкасов



1957 г. Весенний университетский туристский слет. А. Чудаков,
Н. Горбаневская, С. Неделяева, В. Львов, А. Жолковский, И. Тарахтунова
(в первом браке — Жолковская, во втором,
с известным правозащитником А. Гинзбургом — Арина Гинзбург),
М. Хан-Магомедова (полгода спустя — Чудакова)



Апрель 1957 г. После турслета



Август 1958 г.



Август 1958 г.



Август 1963 г.
С дочерью Машей



Декабрь 1963 г.



Январь 1964 г.



Май 1964 г. Поездка во Владимир — Суздаль
с проф. П. А. Зайончковским (в центре)
и ленинградскими историками



1967 г. В семейном байдарочном
походе по Ахтубе



Февраль 1968 г. Зимнее плавание в Серебряном бору



Февраль 1968 г. С дочерью в Серебряном бору



Июль 1968 г. В походе по р. Медведице



В походе по р. Медведице.
В пирамиде — Маша Чудакова, Танечка Паперная,
Вадик Паперный. В партере — А. Чудаков



Май 1971 г.
В походе по р. Протва



Река Протва.
А. Чудаков и В. Паперный



Река Протва. На привале. З. С. Паперный, А. Чудаков, М. Чудакова



Осень 1971 г. Северная Карелия



Лето 1972 г. В Щучинске с дочерью Машей,
племянницей Таней и псом Буяном



Август 1973 г. На Рижском взморье



1974 г. В Чеховском музее с В. Кавериним и Н. Эйдельманом



2 января 1975 г. Дома с Е. Тоддесом и Вяч. Вс. Ивановым



Январь 1975 г. Дома с Е. Тоддесом в работе над томом Ю. Тынянова



С Юрием Поповым



1 октября 1975 г. Дубулты. С Е. Тоддесом и Р. Тименчиком



13 декабря 1975 г. Опять работаем над томом Тынянова...



17 апреля 1976 г. Ленинский субботник в секторе русской классической литературы в ИМЛИ. Э. А. Полоцкая, З. С. Паперный, А. Чудаков



28 ноября 1977 г. С Н. И. Толстым на банкете А. Н. Робинсона



Март 1978 г. Лыжный поход чеховского семинара
на филфаке МГУ в Мелихово



19 мая 1980 г. Мелихово



Июль 1980 г. С С. М. Бонди
в Доме творчества в Малеевке



1 ноября 1983 г. Свадьба дочери



Май 1984 г. Первые Тыняновские чтения в Резекне.
А. Чудаков с Е. Душечкиной и Л. Я. Гинзбург



Июнь 1984 г. Вторые Тыняновские чтения в Резекне. 1-й ряд — В. Сажин и Г. Левинтон; 2-й — А. Чудаков и А. Осповат; 3-й — М. Л. Гаспаров, Н. Брагинская, С. Черноброва, Т. Никольская, М. Чудакова, Л. Степанова, Р. Тименчик, А. Белоусов, А. Парнис; 4-й — С. Шведов, М. Ямпольский, Ю. Цивьян; 5-й В. Руднев, Л. Щемелева, Б. Дубин, Л. Гудков, Ю. А. Молок



Вторые Тыняновские чтения. Е. Душечкина, М. Чудакова, Ю. М. Лотман, А. Чудаков, Маша Чудакова, З. Г. Минц



Вторые Тыняновские чтения. А. Чудаков и М. Чудакова
с Ю. А. Молоком и Вяч. Вс. Ивановым



Вторые Тыняновские чтения. А. Чудаков с Ю. В. Давыдовым



2 января 1986 г. Дома



Июль 1994 г., Резекне. Седьмые Тыняновские чтения.
Крайний слева — Михаил Мейлах, Г. Левинтон, А. Осповат



На даче — за работой



С. Г. Бочаров и А. П. Чудаков.
Великий Новгород, Варлаамо-
Хутынский монастырь



В Михайловском у памятника зайцу. А. П. Чудаков
с внучкой Женей, С. Г. Бочаров с дочкой Аней

Все это на старости лет мне просто ни к чему. Напишу — останется, потом напечатают...

Я: — Большинство наших разговоров с Вами сводится к тому, что я говорю о законах внутри модели, которые нужно установить, — и теперь это первоочередная задача, а Вы — о связи модели с миром. Я ее не отрицаю, но первейшая задача сейчас — законы внутри нее.

— Получается снова, как у формалистов: как сделан автомобиль. Но так не узнаешь, как сделан «Дон-Кихот». Этот автомобиль (литературное произведение) не оторван от окружения.

— Писатель создает не модель, а что-то неповторимое, образ мира. «Уникальная модель» — это квадратный круг. Его занимают только вход и выход по вашей терминологии. Связь тысячами нитей с внешним миром...

— Зачем этот термин — «модель»? Он сюда не подходит.

— 90 % того, что пишется сейчас в л/ведении — не нужно.

3 ноября. Был у Бахтина на Красноармейской (30-го были у него с Л., но недолго — обещал подарить 3-е издание «Проблем поэтики Достоевского»⁸⁵). Укрывшись за чернильным прибором, записывал.

— На поэзию в 19 веке влияла не вся проза, а проза романного типа. Гоголь — не влиял; прозаизация началась не с него, он настолько своеобразен, что нет ни в прозе, ни в поэзии никого, кто мог бы воспринять его. Влияние прозы было вплоть до символистов, которые возвратились к традициям романтизма — во многом. *Романтизма* — потому что реалистические направления обнаружили известную узость — и прежде всего в отсутствии лиризма — настоящего лиризма.

Спрашивал про мой курс ЯХЛ в МГУ.

— Там есть хорошие, умные ребята: Дерюгина, Сидоров.

Я сказал, что в прошлый раз читал Некрасова. Поговорили о Некрасове.

— «Русские женщины» — просто очень плохое произведение, которое любой хороший школьник, если он действительно хороший, может раскритиковать.

— Фальшивые ноты есть у любого поэта — никто не может уберечься от фальши — ни поэт, ни музыкант. Но у Некрасова их особен-

⁸⁵ И подарил — в один из визитов вручил заранее надписанные каждому из нас экземпляры. — М. Ч.

но много. «А в чем ваше счастье? — В хлебушке» (КНЖХ). <Вписано позже карандашом: Высоко ставил «Рыцарь на час» — «сильный Некрасов».> Как и в самой его личности. Он и сам сознавал это, что он неискренний поэт.

Я стал говорить о нецельности Некрасова и о том, что цельная модель мира — явление крайне редкое, а в русской литературе 19 в. таких писателей можно перечесть по пальцам.

— Да. И только к ним можно подходить в какой-то мере как к цельным явлениям. В какой-то мере. В полной — ни к кому.

Я: — Если бы Вы писали историю литературы, как бы Вы ее построили?

— Я бы не писал. Сейчас нет никакой базы, не выяснены основные категории теории литературы. Нужна большая подготовительная работа.

<Все-таки я добился, что он ответил на мой вопрос: историю литературы он строил бы как историю жанров.>

— Вся литературу мы загнали в искусственные жанры, нами (или писателями того времени) придуманные⁸⁶. Литературные направления — тоже все искусственно. Дефиниции Тынянова по началу века? Тоже неудачны. Он исходил из понятия «новое — старое», а чем выше искусство, тем эта грань больше стерта. Применительно к моде, как написал Кожин, это верно.

Я высказался в том смысле, что анализ моды у Кожина меня не удовлетворяет.

— Конечно, понятие моды на самом деле сложнее, много сложнее. Но в целом эти категории там применить можно. Можно.

— Пишут: поэма. А что такое поэма? В разные годы она разная! Если нет памяти жанра, то мы не знаем, как подойти к произведению, что в нем искать.

У Чехова много от «Повестей Белкина», без них его не было бы.

Повесть — это что-то меняющееся, но это не абстракция. Жанр существует в творческом сознании писателя; каждая эпоха его трансформирует — именно так живет жанр, как и все живое: куколка — в бабочку, бабочка — в червяка.

— Все категории условны. Их порождает наш ум, но им нельзя присваивать онтологическое значение. Нужно всматриваться в сам

⁸⁶ Твердые жанры есть только в античности. Отчасти в средние века (прим. автора).

предмет, в саму литературу, а не навязывать ей что-то извне. У нас навязали соц. реализм — а что это?.. (Помните — в «Фаусте» — разговор Мефистофеля со студентом?)

— Я всегда старался — и (с особым ударением) *сейчас* стараюсь — исходить из самого предмета. Конечно, и я находился во власти привычек, предрассудков, но искал всегда в самом предмете.

— Семиотика нова, она позволяет осветить то, на что закрывали глаза — смотрели, но не видели. Но она верна до тех пор, пока то, что исследуется с ее помощью, не выдают за целое <полное знание о предмете>, а осознают, что это — одна из возможных точек зрения.

<Приписано позже карандашом: А сам был очень субъективен и исходил только из своих категорий.>

1973

29 августа. 28-го был у Бахтина. Выглядит лучше, чем весной — лицо как будто помолодело. У него сидел кто-то (Пинский?), рассуждавший о том, что добро в известных случаях (все те же примеры, которые приводили Толстому — я ему это, вмешавшись, сказал) должно применять насилие. Бахтин возражал, говоря, что это уже будет не добро. Разговор шел на разных уровнях — гость все время тянул в прагматику (что делать, если на ваших глазах насилуют женщину), а Бахтин говорил о принципиальном решении этого вопроса.

1974

17 янв.

<...> Потом поехал к Бахтину. Сначала поговорили о его сборнике, который идет в Гослитиздате, потом я спросил его о своей статье к съезду славистов.

— Моделей может быть сколько угодно. И вообще понятия физики нельзя применять к филологии. Здесь совсем другое. Сейчас этим злоупотребляют. Не модели, а диалогические отношения, голоса...

Потом я стал говорить о том, что его книга о Достоевском не завершена — но я всегда думал, что по венаучным причинам.

— Не только. И по методологическим. Мой метод не годится для анализа автора-творца.

Я стал говорить о том, что у меня была глава «Личность Чехова», но я ее выкинул, что биографические данные, письма, мемуары приведут к Антону Павловичу, а не автору-творцу.

— Конечно. Но автора-творца мы никогда не постигнем, но эти данные...

— Дадут возможность приблизиться к нему насколько возможно?

— Да, да. Приблизиться.

— А на каком языке это нужно описывать? Какие категории?

— Здесь не должно быть никаких ограничений, это очень свободный жанр.

— Наверно, категории должны быть философско-теологические?⁸⁷

— Да, скорее философско-теологические.

— И вообще иррациональное постижение?

— Что значит иррациональное? Мы часто злоупотребляем такими терминами. ...

.....

<На мои замечания о закрытости Чехова> — Чехов боялся заглянуть в себя — считал, что не найдет того, что *должно* там быть.

Я: — Это от его позитивизма, шестидесятничества и т. п. (подробно).

— Да, да. Это было у него примитивно. Его письма к брату, где он дает ему рецепты, — это очень примитивно.

— Гигиенические советы.

— Да, именно гигиенические.

19 янв. У Бахтина на столе лежала книга Асмуса «Кант». Я спросил, хороша ли.

— Да. Серьезная книга. Асмус — настоящий философ, последний из оставшихся.

— А Лосев?

— Да, конечно, по своим возможностям. Но в последнее время он занялся не тем. Зачем ему это нужно? И сам запутался и всех запутал.

— А Аверинцев?

— Ну, он не занимается философией преимущественно, но когда занимается, это очень интересно. Я читал все, что он пишет. Это явление замечательное, я такого <среди новых> и не встречал.

⁸⁷ Позже я: — Личность — это что-то совсем над и вне художественной системы (прим. автора).

М. М. БАХТИН О «ПОЭТИКЕ ЧЕХОВА»

А. П. хранил свою рукописную запись на многих листках с заголовком:

27 марта 1972 г.

Переделкино.

М. М. Бахтин о «Поэтике Чехова»⁸⁸

В последний год стал готовить ее к печати в составе воспоминаний о Бахтине для книги своих мемуаров, которую предложило ему напечатать «Новое издательство» — Е. Пермяков и А. Курилкин.

Самый дорогой из моих манускриптов. Самая подробная и точная запись — без пропусков — двухчасового монолога Бахтина о П<оэтике> Ч<ехова>, к<ото>рый я тогда, извинившись и сказав, что это сл<ишком> для меня важно, открыто записывал.

Оценил высоко; комплименты общие приводить не буду — приведу содержательные... придется кое<-что приводить>, ибо нельзя разр<ывать> мысль.

* * *

...Почему именно эти уровни? Я вовсе не считаю, что они плохи. Но почему, например, нет уровня человека или уровня характера?

(Отчасти под его влиянием в след<ующей> книге — «Мир Чехова» — я ввел уровень внутреннего мира...)

Вы считаете их замкнутыми, само собою разумеющимися.

⁸⁸ Поздние приписки карандашом даем курсивом; в угловых (авторских) скобках — реплики А. П., пояснения, а также припомнившиеся автору записи в процессе тогдашней ее расшифровки добавления; в таких же скобках — варианты не буквально ему запомнившегося. Подчеркивания А. Ч. сохраняем. Все последующие подстрочные примечания — наши. — М. Ч.

* * *

У вас полный изоморфизм. Только одно отношение на всех уровнях. Этим вносится в анализируемую структуру бóльшая определенность, гармоничность, чем она на самом деле ей присуща.

* * *

Вы доказываете системность; но это же ваша регулятивная идея (в кантовском смысле), из нее вы исходите. Доказывать не надо.

* * *

Стремление к ясности не должно быть очень сильным — будет некоторый механицизм.

В реальном творчестве и в отдельном произведении, и в каждом выделемом отрезке текста мы найдем и иные отношения, не только те, что у вас.

* * *

Между уровнями никогда нет строгого изоморфизма. Противоборство отдельных уровней пронизывает произведение, противоречия и создают его жизнь.

У Достоевского на одном уровне — полифонич<еский> роман, а на других — монофонический роман.

Уж на что Достоевский не сатирик — а появляются сатирич<еские> места.

<Я: Но у вас все уровни изоморфны!>

— Основной принцип — полифонизм. Но на одних уровнях он проявляется в полной степени, а на других — в неполной. В самой меньшей степени — в композиции. Полностью полифонизм в комп<озиции> проявился только в «Братьях Карамазовых». А в других — мало чем отличается от неполифонических. «Преступление и наказание» — какой тут полифонизм?

Но я не стал бы в Вашей книге ничего менять, сделав лишь об этом оговорку.

В основе книги — метафизическая и онтологическая идея, что все равноважно, что случайно...

Вы считаете эту картину убедительной.

* * *

Важное и неважное смешивается. Но само это разделение сохраняется у него и даже подчеркивается. У Гомера все хороши — и Троя,

и греки. Гомер не делает различий ни между чем. Все хорошо в этом лучшем из миров.

У Чехова — все различается, иначе не будет того эффекта — если не делать различия между главным и неглавным. Эта иерархия существует, и он требует, чтобы мы эту иерархию понимали. Он не показывает ее конкретно — он и так знает: читатель понимает, что у него существенное и несущественное.

Если некто, незнакомый с обывательским мировоззрением, с этой культурой, прочтет Чехова — он не поймет многое. («Тарарабумбия...») и прочие песенки — подумает, что это что-то важное...)

Я: Т. е. Чехов различение, иерархию важного и неважного предпологает известным, не объясняет, что важно, существенно, а что нет, у него это уже как данность, он не размышляет мучительно, как Толстой: а не самое ли важное в жизни тачать сапоги, заниматься физическим трудом и т. п.? Для него это ясно, он хочет показать только, что в жизни это смешано.

<Да, именно так.>⁸⁹

— Вы раскрыли и показали, что у Чехова все смешано. Отлично различая их и нас заставляя различать, он показывает, что жизнь отбора не делает. Понимая разницу <иерархию>, он оставляет все как есть.

* * *

Вы хорошо показали, что он нарочито смешивает, уравнивает. Но почему? Не потому, что он нашел что-то высшее, какую-то высшую точку зрения, как Гомер, с точки зрения которого высокого и низкого нет. Совсем не так. У Чехова мы остро ощущаем неуместность деталей типа «А жарища в этой Африке...». А у Гомера — одинаковая уместность всего. Белинский где-то приводит пример, что в поединке кто-то из героев поскользнулся на куче помета. Гомер не замечает неуместности, он действительно не видит разницы. Для него есть нечто высшее, есть воля богов; такова его точка зрения.

У Чехова этого, конечно, нет.

* * *

Надо было подняться выше обывательских представлений. Но его высший уровень <сфера идей> очень близок к обывательским представлениям.

⁸⁹ Рядом пометка А. П. — «Стиль!» Он не вполне был удовлетворен воспроизведением по памяти реплики Бахтина.

Нет другого великого писателя в русской литературе, который так бы стоял на одном уровне со своим читателем.

«Кажется, я не соглашался...» («Выстрел»).

Я не соглашался, кажется, спорил.

* * *

Нет выхода из чеховского мира в настоящую жизнь. Может быть, это и правда. А врать он не хотел.

Огромное большинство его героев — да все! — пошловаты. Он показывает: жизнь такова, что не дает возможности быть непошлым.

* * *

Роковые недоразумения, когда высказывания героев приписывают Чехову, — то, что украшает парки, клубы. «В человеке все должно быть прекрасно...» — это ведь пошло. Лирика, когда звучит голос поэта, мало отличается от того, что говорят сами герои.

* * *

Важная проблема: как в результате получается нечто очень значительное, хотя нет ни одного настоящего, непошлого слова.

* * *

Когда кто-то что-то знает у Чехова, он говорит пошлости <и тривиальности. Т. е. в позитивной программе очень тривиален: культура, гигиена... >.

* * *

Идея случайности: Все входит на равных правах. Это трюизм: в мире господствует случай. Это трюизм! А у него получается эффект!

Какую цель в высоком художественном смысле это преследует? У него эффект. И смешивая, он вовсе не хочет, чтобы мы спутали главное и неглавное. Вот Гомер — да. У Гомера случайность и необходимость сливаются. У Чехова они четко подчеркиваются <т. е. разница подчеркивается>.

* * *

Загадка: с какой стороны мы ни захотели бы выделить идею — пошловато.

* * *

Это какая-то более глубокая реализация модной теории абсурда — дзэнбуддизм. (Дзэнбуддизм — это учение о сплошной нелепости —

«В огороде бузина, а в Киеве дядька». Это и есть, по дзэнбуддизму, подлинное понимание мира.)

Это лучший художник дзэнбуддизма.

Что Чехов начал. Он первый не побоялся подойти к абсурду, не скрывая, а раскрывая его.

* * *

Книга очень хорошая⁹⁰, чрезвычайно последовательная и очень строгая логически.

Но она раскрывает <показывает> единство и осмысленность у Ч<ехова>, а у него не так все едино и осмыслено. <Шкл<овский> то же.>⁹¹

Нужно бы сделать некоторые оговорки. <Я, мол, понимаю, но> соблюдаю правила игры, если хочу играть дальше, а то получится драка, как это часто бывает в игре.

Но в конце все же вернулся к своей регулятивной идее.

Но какой-то догматизм необходим для изложения.

<О Брюсове — см. Дн<евник>⁹²

Показать истоки — это было бы очень полезно. Наверное, в рус<ской> л<итерату>ре было что-то ему близкое — Гоголь в плане безбоязненного смешения высокого и низкого.

<Я: Это у Гоголя он воспринял тоже через юм<ористические> ж<урна>лы — они многое у Гоголя взяли на воор<ужени>е.>

Это я попр<обовал> сделать в «Мире Чехова». Мне вообще везло — прогр<аммы> начерчивали В. В.<Виноградов>, Шкл<овский> и Бахтин.

* * *

В плане личности великий Чехов близок к своему обычному читателю. Он обычный интеллигент. Сколько боролись с собой Толстой, Гоголь — о Гоголе я уж не говорю — жизнь Г<оголя> это мистерия!

⁹⁰ Последние два слова поставлены карандашом в скобки, рядом приписка карандашом «Опускаю». И далее так же карандашом: «К идее: мысль или есть, или ее нет: Вдруг потребовал оговорок». Из дальнейшего изложения слов Бахтина видно, к чему относится этот предполагаемый для мемуара комментарий.

⁹¹ То есть — примерно то же говорил автору о «Поэтике Чехова» Шкловский.

⁹² См. с. 172 наст. издания

Чехов похож на Флобера. Прямого влияния, конечно, не было.

Леон Додэ (внук знаменитого) то ругал Флобера, то хвалил. Кончил тем, что объявил: «шедевр из папье-маше». *Но все же шедевр.* Чехов — это тоже шедевр из папье-маше.

Чехов — очень большая загадка. Но ваша книга помогает в решении этой загадки.

* * *

Странно, что не отмечают пророчества Чехова. Бродяга в «Вишневом саде», к<ото>рый декламирует «Брат мой, страдающий брат...», «Выдь на Волгу, чей стон...».

Ему не червонец надо подарить, а тысячу — он предугадал всю сущность нашего л<итературо>ведения и критики, со времен Белинского. Только это оно видит в л<итерату>ре и извращает писателей, в Пушкине отыскивая тоже это. <Прогресс<истские> идеи>

* * *

— Почему у вас нет «Черного монаха»? В указателе даже не упоминается.

<Я: — Я его еще не понял.>

— Он стоит вне творчества Чехова. Там совсем другой тон. Там другой психологич<еский> характер. Обывателя нет! Фантастика вдруг.

<Я: — <тогда я думал так> И утверждение идеи, чего почти не бывает у Чехова. Пока страстно следовал идее величия, был человеком, а перестал — стал обывателем.

<— Да. И в этом трагизм.>

<Про идею свечи с двух концов>

* * *

— Вы правильно считаете <пишете>, что «Степь» — ничего общего с предыдущим творчеством. Если бы пошел от «Степи» — был бы другой Чехов. Но он вернулся на прежний путь. Не остался на линии «Степи», а от Чехонте <в дальнейшее творчество> ввел обывателя.

«Степь» и «Детство» Толстого — какая разница!

От «Степи» скатился, но постоянно поднимался на прежние высоты.

«Степь» — это не из жеваной бумаги сделано.

Идея природы и человека была в л<итерату>ре (Рёскин) — и более глубоко рассматривалась природа в человеке. А он переносит в газет-

но-журнальный план — вроде охраны Байкала. А на этом уровне нет выхода. Нужно подняться на другой уровень мысли. Метафизическая природа атомной бомбы — есть сферы, куда человеку нельзя было вмешиваться.

* * *

Письмо брату Николаю об этике — это пошлость.

* * *

Не помню, к чему:

Анекдот: Кондуктор: — Курить нельзя — вот объявление.

— А я плевать хотел!

— Плевать тоже нельзя: вот объявление.

Кондуктор мыслит только в рамках этих объявлений и выйти за них не может.

* * *

— Что Чехов хотел всем этим <отсутствием иерархии> сказать? За этим есть, стоит что-то более глубокое.

Но это — за пределами структурного анализа. Это уже — философия л<итерату>ры. Такой анализ есть у Хайдеггера, у Ницше, <к<ото>рый хорошо знал только литературу>, у Вяч. Иванова в трех его книгах.

Философский мони́зм сейчас дискредитировал себя.

<Я: Но Бердяев о творческом хар<акте>ре догматичности>
<подробнее>

— Бердяев от этого отошел. Он кончил прямо противоположным — утверждением свободы творчества. И начало, исходное всего — небытие, ничто. Догматизм допустим, если он не переходит границ.

* * *

< Я: про адогм<атиз>м Чехова.

Б. уточнил:>

— У Чехова — недогматический адогматизм (а может быть догматический — тогда это нигилизм: ничего нельзя утв<ержда>ть и проч.), не нигилистический.

Чехов выступает как гуманист — высшей ценностью он считает человека.

Он близок к тому пониманию, которое сформ<улирова>л Бодлер: «Человек — это больное животное». Эта забота о животном — един-

ственно гуманное, и нет другого отн<ошени>я. По Чехову в человека поверить невозможно: нет намека, <что из этой самой материи может быть соткан богочеловек>. Он не верил в такого человека, он требовал только, чтобы с человеком можно было рядом жить, чтобы он не плевал на пол. Тех требований, к<ото>рые ставили Дост<оевский> и Толстой, — и тени нет!

* * *

Сложность Чехова осложняется кажущейся общепонятностью.

* * *

<Я — о том, что нек<ото>рые чеховеды протестуют [т. е. против принципа *случайности*].>

— Эта т<очка> з<рения>, что если повесил ружье, оно должно выстрелить, — устарела давно, давно. (Морщась.) Вы совершенно правильно пишете, что ружья не стреляют. Захочу — и повешу!

У Чехова деталь не только для целого — это Вы совершенно правильно говорите... Хорошо.

Другое дело — словесные двусмысл<еннос>ти: чеховеды считают, что вы пишете, будто это вообще бессм<ыслен>но, но с т<очки> з<рения> Чехова-то это ведь целесообразно.

* * *

Вынужден привести и это — вдохновляет то, что он говорил об этом не только мне.

Со смущением и неохотой вынужден переписать сюда все комплименты — это важно для защиты моей теории, с к<ото>рой и сейчас много слож<ностей> и проч.

— Вы проанализировали худ<ожественную> систему с начала и до конца — впервые. Это Ваша регуляторная идея.

Вы написали замечат<ельную> книгу. Это лучшая книга о Чехове и вообще одна из лучших книг по филологии в последнее время.

В конце последней страницы — по-видимому, след наших обсуждений сказанного Бахтиным. Записана, видимо, моя (помеченная обычным значком, которым он помечал сказанное мною) понравившаяся ему формулировка — несомненно, его собственной мысли: «*Рассказы Чехова — это романы о людях, о которых не стоит писать романы*». И далее — его слова: *Это считали до него; считают и после него. Но он все-таки писал о них романы. Что же из этого вышло?*

Ответ на этот вопрос А. Ч. стремился дать в своих многочисленных работах о Чехове (М. Ч.).

Попутное примечание к разговорам А. П. с М. М. Бахтиным и к его записи монолога М. М. о «Поэтике Чехова». Многим из нас, младших учеников, посчастливилось беседовать с Михаилом Михайловичем и оставить кое-какие записи этих бесед, но столь подробную и сосредоточенно-цельную запись оставил один Александр Павлович. Сам он сказал о ней как о «самом дорогом из моих манускриптов».

Что же самое ценное в ней? Самое ценное — независимость собеседников, столь различно, при обоюдной острой заинтересованности, судящих о предмете разговора. Оба вышли из разных времен и из во многом диаметрально различных научных школ. В том, что названо «диалогами с Бахтиным», это сразу сказывается в формулировке различия, с какой А. П. обращается здесь к М. М.: ему, А. П., важнее всего «законы внутри модели, которые нужно установить», тогда как М. М. важнее «связи модели с миром», как и в ответной достаточно резкой бахтинской реплике на чудаковскую программу изучения своего предмета «строгими методами»: «Писатель пишет не для того, чтобы его анализировали строгими методами».

А. П. принес Бахтину свою «Поэтику Чехова» на научно-философскую экспертизу и получил в монологе учителя щедрое одобрение и принятие главной мысли и любимого метода. Но А. П. предложил своему высокому собеседнику судить о не самом близком тому художнике. Состоялась встреча разнонаправленных интересов, из которой высекалась искра вместе с сочувственным пониманием острого разногласия. Метод автора был принят, но с существенной оговоркой. Был принят «изоморфизм» как «регулятивная идея», позволившая автору впервые увидеть так целостно чеховский мир (кантовские «регулятивные идеи» в разговорах М. М. всегда ценил высоко), но вместе с предостережением от «некоторого механицизма», когда единый принцип проводится неуклонно сквозь художественный мир на всех его уровнях. Оговорка была здесь же продемонстрирована на собственном примере: сам Бахтин неожиданно включил здесь ее в свой знаменитый принцип полифонии: «“Преступление и наказание” — какой тут полифонизм?» Ему было свойственно вообще ценить оговорку как необходимый корректив, спасающий широту суждения, и он владел культурой оговорки. И еще неожиданность, на которую здесь навела учителя терминологическая новация автора, — знаменитая чудаковско-чеховская «случайность»: рядом с Чеховым внезапное имя Гомера. Бахтин Гомера знал наизусть (см. его об этом признании в т. 3 бахтинского Собрания сочинений, с. 647) и любил по-гречески декламировать — здесь же он пускается в размышление о том, как по-иному происходит нарушение иерархии, неразличение главного и неглавного, важного и неважного у Гомера и у Чехова — но происходит у того и другого. Неожиданная связка имен Гомера и Чехова обогащает все обоюдное обсуждение. Но при этом мы вдруг встречаем здесь по ходу высказанное

о Чехове несколько обидное, вероятно, суждение, что «нет другого великого писателя в русской литературе, который так бы стоял на одном уровне со своим читателем». А. П. не принимает этого заключения и собирается спорить с ним. В ответ ему задаются вопросы о том, что не совсем укладывается в его систему: почему нет «Черного монаха»? «Он стоит вне творчества Чехова». Но тут же Бахтин говорит о «пророчествах Чехова»: странно, что так их не замечают, между тем как бродяга в «Вишневом саде» с его некрасовскими декламациями — ему не червонец надо дать, а всю тысячу, ибо он напророчил все будущее нашей критики с ее безумными прогрессистскими упрощениями также и Пушкина под Некрасова. В общем, итог обширного обсуждения: «Чехов — очень большая загадка. Но ваша книга помогает в решении этой загадки», и при этом «сложность Чехова осложнена кажущейся общепонятностью». И вновь возврат к тому же, вокруг чего столько вертится в разговоре, — «отсутствию иерархии» и к методологическому спору, с ним связанному: «За этим стоит что-то более глубокое. Но это — за пределами структурного анализа. Это уже — философия литературы». И — великолепный бахтинский выход к чеховскому абсурду: «Это лучший художник дзэн-буддизма». Приобретение Александра Павловича от содержательнейшего чеховско-гомеровско-чудаковско-бахтинского разговора: «Мне вообще везло — программы начерчивали» учителя столь разные — В. В. Виноградов, Шкловский и Бахтин» (С. Б.).

УЧИЛИСЬ, УЧИМСЯ

Нашему поколению сильно повезло. Прошло несколько лет, и более поздним однокашникам уже не посчастливилось слушать ни В. Ф. Асмуса, ни С. М. Бонди, В. В. Виноградова, И. Н. Голенищева-Кутузова, Н. К. Гудзия, П. С. Кузнецова, С. И. Ожегова, А. А. Реформатского, А. А. Сабурова, которые были живой связью с поколением Шахматова, Фортунатова, Щербы, Перетца и несли свет той науки и культуры.

Замечательным достижением тогдашней университетской системы (позже варварски уничтоженной и в полной мере так и не возобновлённой) был институт совместительства, благодаря которому на факультете вели спецкурсы и спецсеминары практически все выдающиеся учёные, работавшие в исследовательских учреждениях Академии наук. Списки этих курсов на чёрной доске возле деканата занимали несколько машинописных страниц.

А если еще учесть, что мы бегали на лекции Н. И. Конрада, В. Н. Лазарева, М. Ф. Овсянникова в соседние здания за старым зданием университета, ходили на лекции В. В. Иванова в Библиотеку иностранной литературы, на доклады А. Н. Колмогорова и выступления начавшего приезжать Р. О. Якобсона, то станет ясно, какие открывались возможности образовываться и уметь.

Был объявлен даже спецкурс по библиографии. Читал его какой-то бородач, про которого говорили, что он родился в 70-х годах прошлого века (скорее всего это был известный библиограф Б. С. Боднарский). Его не смущало, что в конце I семестра из его слушателей остался я один; он продолжал с жаром рассказывать о великих библиографах — Н. М. Лисовском, А. Г. Фомине, И. Ф. Масанове, который 28 лет прослужил на книжном складе торговой фирмы «Гесцель и К^о» рассыльным, потом упаковщиком, конторщиком, кассиром. Думал ли я, что через 15 лет «Чеховиана» и «Словарь псевдонимов» Масано-

ва станут моими настольными книгами, а его идеи о невыборочной исчерпывающей библиографии воплотятся в мою работу по прижизненной критике о Чехове, которой я отдам, как он своему «Словарю», сорок лет жизни?..

Я ходил на все семинары, где хотя бы чуть пахло стилистикой и поэтикой, — Е. М. Галкиной-Федорук, С. А. Копорского, Н. С. Поспелова; на 3-м курсе в каждом писал по курсовой. Евдокия Михайловна взяла написанную в ее семинаре работу в «Русский язык в школе» (это была моя первая научная публикация), нещадно ее сократив («это виноградоведение будет непонятно для учителя»). Я тогда еще не знал, что за свой текст надо бороться.

На 4-м курсе я занимался стихотворным синтаксисом Пушкина у Н. С. Поспелова. Это был человек замечательный. Происходил он из семьи потомственных священников; его отец общался с Иоанном Кронштадтским и о. Силюяном. В квартире Н. С. был шкаф; если его открыть, там обнаруживался киот с лампадою. В 1900-е годы он посещал Религиозно-философские собрания; постепенно стал рассказывать мне о выступлениях Мережковского, Розанова, Бердяева; переписал для меня из «Вестника Московской патриархии» некролог, посвященный моему двоюродному деду о. Павлу, протоиерею Горьковского (Нижегородского) кафедрального собора.

Вместе с Мариэттой Хан-Магомедовой (затем Чудаковой) слушал спецкурс А. А. Сабурова о «Войне и мире» — полный анализ великого романа от философии до языка и стиля — потом все это вошло в единственную в своем роде книгу «“Война и мир”. Проблематика и поэтика» (1958).

Вспоминая наших учителей, боюсь, что я сильно разойдусь во мнении с большинством участников двух вышедших книг о выпускниках филологического факультета 1950—1955 и 1953—1958 годов, упоминавших совсем другие имена.

Почти все пишут о В. Н. Турбине, и все — с восторгом. Восторг этот уже в студенческие годы был мне непонятен. И именно потому, что в соседних аудиториях читали ученые, которых я упомянул в первых строках этого мемуара, — там делалась настоящая наука, и это было очевидно даже третьюкурснику.

Виноградов в одной из лекций очень ядовито высказался о нем. В смягченном виде этот пассаж вошел в его книгу «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика» (М., 1963. С. 102—104): «По неясным причинам, очевидно, под влиянием неожиданного знакомства

со старой книгой П. Медведева “Формальный метод в литературоведении” <...> раздается звучная, но логически, филологически и исторически не вполне осмысленная риторическая декламация. <...> Вообще все определения терминов и характеристики лингвистических, стилистических и эстетических понятий в статье В. Турбина темны, субъективны и расплывчаты». Сказано очень точно: семинаристы В. Н., отражая прихотливые изгибы пристрастий и метаний своего руководителя, занимались то какими-то темами по плохо усвоенной теории Потебни, то сравнением Лермонтова с Алексеем Сурковым, то семантикой имен, то проблемой гастрономии в русской литературе и другими столь же необязательными и маргинальными темами. Не знаю ни одного из его учеников, кто работал бы в архивах. В. Н., несомненно, был очень полезен первокурсникам, отучая их от школьной схоластики, и хорошим педагогом в том смысле, что прививал любовь к литературе, горенье ею, сам быв в этом ярким и наглядным примером.

Но нетривиальной эрудиции, строгой методологии надо было набираться у вышеназванных, к которым надо добавить еще Н. И. Либана, навсегда закладывавшего основы строгого мышления и историко-литературной точности.

Полярный по сравнению с турбинским подход к литературе ярко продемонстрировал Г. Н. Пospelов. С 1930-х годов он почти не изменился. В классической книге Виноградова «Гоголь и натуральная школа» Г. Н., требуя социологического анализа, находил «литературно-лингвистическое» «поверхностное описание гоголевских текстов», в котором генетические наслоения «свободно плавают в опустошенном сознании Гоголя» (Красная новь. 1925. № 5. С. 277). В своих лекциях 50-х гг., как следует из моих записей, о работах всей формальной школы и прикосновенных к ней он говорил то же самое. И даже в 1967 г. он критиковал Г. Лукача, который считал, что «писатели могут не стремиться к овладению наиболее прогрессивными общественными взглядами. Мимо таких невозможных выводов, конечно, никак не могли пройти те литературоведы и критики, для которых прогрессивность взглядов советских писателей была главным условием творческих успехов и самого развития советской литературы» (цит. по: Тимофеев Л. И., Пospelов Г. Н. Устные мемуары. Изд. МГУ, 2003. С. 209).

Методология Г. Н. была основана на жесткой системе терминов; его первые лекции по курсу теории литературы были целиком посвящены терминологии; своих учеников он безжалостно заставлял

делать второй, третий, четвертый варианты дипломов и диссертаций, если усматривал там какие-либо вольности. Об этом он сам ясно и откровенно сказал в беседе с В. Д. Дувакиным в 1980 г.: «Я никогда никаких терминологических отступлений никому не позволяю. <...> Не прощаю» (*Тимофеев Л. И., Поспелов Г. Н.* Указ. соч. С. 83).

Видимо, я слишком рано испорчен работами Тынянова, Эйхенбаума, Шкловского — вся эта игра в термины казалась мне страшной схоластикой; подготовка к экзамену по теории литературы превратилась в мученье.

Вульгарный социологизм разлива 30-х годов пышным цветом доцветал в лекциях Р. М. Самарина. В упомянутых сборниках он квалифицируется как «блестящий лектор и уважаемый профессор», о нем вспоминают «с благодарностью», он «любил студентов и хорошо их помнил». На одной из лекций мы послали ему записку: «Как объяснить то, что Сервантес и Лопе де Вега, жившие в страшную эпоху истории Испании, создали такие великие произведения, подобных которым не было больше в испанской литературе в самые прогрессивные эпохи?» Р. М. сказал: «Написавшие записку о Сервантесе подойдите ко мне в перерыв». Зная о памяти профессора и некоторых деталях его биографии (только что вернулся из заключения проф. Ф. П. Шиллер, посаженный, как говорили, по доносу Р. М.), мы, конечно, не подошли. (Замечательной памятью на лица, имена и отчества обладал также Я. Е. Эльсберг.)

Но дело было даже не во всем этом, а в том, что Самарин был просто плохой ученый. Лекторские способности не всегда совпадают с содержанием излагаемого. Неважным лектором был великий лингвист Ф. Ф. Фортунатов; лекции П. С. Кузнецова часто переходили в малопонятный комментарий к его записям на доске праязыковых форм. Мне запомнилась только одна лекция Р. М. — об Эжене Потье. Автору «Интернационала» она была посвящена целиком. «А что можно было говорить о нем полтора часа? — спросил у нас живший тогда в общежитии главного здания Жан Торез, сын генерального секретаря французской компартии, бонвиван и плейбой. — И сколько же тогда ваш лектор говорил о Малларме?» — «Нисколько». Кто-то из студентов, пришедших навестить больного Р. М., увидел у него на ночном столике томик Рильке. Хочется сказать: тем печальнее.

Балласта среди профессорско-преподавательского состава было немало. На мой взгляд, это прежде всего С. И. Василёнок, Н. А. Глаголев, А. С. Дмитриев, А. И. Метченко, К. В. Цуринов, П. Ф. Юшин, более

20 лет возглавлявший факультетскую парторганизацию. И балласт этот был далеко не безвреден — и не только в научном отношении. Говорили, что по доносу С. И. Василёнка посадили Костю Богатырева.

На факультете были популярны В. Д. Дувакин с курсом по Маяковскому, но больше по русской дореволюционной поэзии XX в.; блестящий знаток всего В. В. Иванов, который на занятиях в нашей группе по общему языкознанию мог к случаю процитировать строчку из Пастернака. В связи с Пастернаком он был позже с факультета уволен, говорили: за то, что водил студентов к опальному поэту. Популярен был и А. Д. Синявский. Я на его лекциях не бывал, но когда через много лет прочел его «Прогулки с Пушкиным», нашел там много мыслей, хорошо знакомых мне по лекциям С. М. Бонди, книгам Б. В. Томашевского и А. Л. Слонимского, — учителя у нас были общие.

Из самых сильных впечатлений первых лет — обсуждение романа В. Дудинцева «Не хлебом единым» в Коммунистической аудитории, на котором будущий известный германист Гриня Ратгауз сказал: «Советская литература была литературой большой лжи, а теперь она становится литературой большой правды». И закончил выступление словами Гейне: «Бей в барабан и не бойся!»

На первых курсах я больше всего слушал Сергея Михайловича Бонди — общие курсы, спецкурсы по стиху, «Евгению Онегину», теории литературы и лирике Пушкина.

Бонди исходил из презумпции, что студент не знает ничего. Например, не помнит, кроме хрестоматийных, никаких стихотворений Пушкина — и не верил, что кто-то следует его совету «перечитать Пушкина». И в лекциях рассказывал всё, ничего не опуская. Можно было даже слегка обидеться (говорю о своих ощущениях). Но потом я понял достоинства подобного метода: это была система, выстроенная полностью, без всяких пропусков, отсылок и подразумеваний; в ней были эксплицированы все ячейки, все звенья и уровни; так подробно осветив нечто, лектор может идти дальше, будучи уверен, что предыдущее слушатели знают не все по-разному, с пробелами и провалами, а — после его лекций — примерно равно.

С. М. читал одинаково перед любой аудиторией: свою лекцию о «Медном всаднике» на втором курсе он без изменений повторил на XIV Всесоюзной Пушкинской конференции в Ленинграде. Студентам же он разъяснял всё — и кто такой был Катенин, и о чем писал Брюсов, и какие пьесы давал МХАТ.

На это профессор имел все основания. Уровень знаний студентов середины 50-х годов был очень невысок.

На одном из занятий по фонетике русского языка студент из нашей группы написал на доске слово «*почерк*» с буквой «д» — «*подчерк*». На занятиях по латыни К. П. Полонская, чтобы мы лучше запомнили слово «*urbanus*», сказала: «Ну, вы знаете: *урбанизм, урбанистическое искусство*». Никто не знал ни такого искусства, ни самого этого слова.

Имена Гумилева, Мандельштама были неизвестны, имя Ахматовой было известно только по ждановскому докладу.

Лекции Бонди не пестрели множеством имен и теорий. Эрудиции надо было набираться у других профессоров.

Список рекомендуемой литературы я обычно записывал на обратной стороне тетрадной обложки. Перебирая записанное за Бонди, я нашел одну такую тетрадку. На обороте обложки написано крупно: «Список литературы». А ниже — одна строка: «Перечитать Пушкина». Но он делал то, чего не делал никто: воспитывал поэтический вкус. Главное в подходе Бонди к литературе было то, что он обозначал как «эстетическое восприятие литературы». На эту тему он читал целые курсы; один из них я слушал в 1956 году. Так как С. М., по обыкновению, ничего на эту тему не опубликовал, привожу здесь некоторые его высказывания.

— Трудно представить музыкального критика без любви к музыке. Так же должно обстоять дело и в филологии: если вы без волнения читаете «Роняет лес багряный свой убор», «Брожу ли я...» или «Встает заря во мгле холодной» — вам не стоит заниматься литературой. Красоту прозы, например «Архиерея» Чехова, тоже можно чувствовать даже без особого внимания к содержанию — каким-то инстинктом, когда мороз подирает по коже и волосы встают на голове дыбом.

Но этого мало. Нужно иметь развитой художественный вкус. Уметь отличить хорошее от плохого.

К сожалению, это не считается за важное, пишут в основном о каких-то социологических вещах. Надеждин был интересный критик, он был ниспровергателем, вроде Белинского. У него были блестящие статьи! Но, в отличие от Белинского, у него совершенно не было художественного вкуса. Плохой вкус был у Чернышевского. Да и в эстетике он был слаб. (Сейчас трудно представить смелость и редкость подобных высказываний. Помню, как с восторгом передавали из уст в уста высказывание А. Ф. Лосева: «Туповатый Чернышевский...») Родоначальником традиции исключения из литературы художе-

ственной стороны был Тихонравов. Позже — Пыпин, Стороженко, Скабичевский, Овсяннико-Куликовский — все они имели дело только с идеями. Венгеров был такой же. Это был замечательный человек, прекрасный педагог, очень знающий ученый, он много написал, создал замечательные биографические словари — но он ничего не понимал в поэзии.

Насчет вкуса, эстетического чувства Бонди вообще был очень строг.

— Томашевский был большой, очень серьезный ученый. Много знал! Но у него не было эстетического чувства. Совершенно другое дело — Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум. Они прекрасно чувствовали литературу. — И добавлял с неподражаемой ужимкой: — К сожалению, они были формалисты.

Высоко отзывался Бонди о художественном вкусе Г. О. Винокура.

Трудно переоценить значение позиции Бонди в годы господства эстетической доктрины революционных демократов и марксистско-ленинской социологической схоластики, обрушивавшейся на неподготовленные головы студентов (например, на лекциях Г. Н. Поспелова). Главная сила Бонди была в отрицании всех этих догматов, которыми до предела были напичканы мы, тогдашние студенты. Его критика была проста, даже простодушна. Тем сильнее действовало это искреннее, с позиций здравого смысла, недоумение.

— Один теоретик пишет, что художественность состоит в воспроизведении реальных форм действительности. Но тогда за пределами художественности остается архитектура: что она воспроизводит? А какие реальные формы действительности передают fuga, квартет? Не воспроизводится же форма луны в «Лунной сонате»! А мифология — что она воспроизводит? Какие реальные формы? Что воспроизводил Мефистофель? Долой его! «Ум человеческий ловок и гибок», но зачем же ловчить в рассуждениях об искусстве?..

Говорят: агитация — главная задача искусства. Так думали и Чернышевский, и Маяковский. В некоторые эпохи — да. Но далеко не всегда! Ведь можно агитировать за чёрт знает что!

Говорят: художественность — это правдивость. Но тогда куда девать сказки? Они же выдумка!

Чернышевский: «Прекрасное есть жизнь. Нормальному человеку нравится только то, что связано с жизнью, а что со смертью — ему противно». Это определение стоит не большего, чем все предыдущие. Куда в таком случае девать «Реквием» Моцарта? Прекрасное нельзя

определить по самому объекту. Определение художественного может быть только субъективным.

Очень хорошо помню реакцию одного аспиранта философского факультета (сейчас он уже профессор), случайно попавшего на лекцию Бонди в качестве возлюбленного нашей однокурсницы. «Ну и лекции у вас на факультете, — возмущался он. — Это субъективный идеализм какой-то! Ничего себе! И такое проповедуется в сотенной аудитории!» Такое действительно проповедовалось — а в соседних аудиториях читали лекции по марксистской эстетике Недошивин, Скатёрщиков — все почему-то с фамилиями из области кройки и шитья; я обратил однажды на это вниманье С. М. — он долго смеялся, он любил такие вещи. Он был веселый человек.

— Категории прекрасного нет. Как отвлечённое понятие — это фикция, выдуманная кем-то неизвестно для чего.

Доброму и честному С. М. всегда было искренне непонятно, для чего выдуманно множество вещей в социологии, массовой агитационной литературе, научных статьях, учебниках. Ему всё время казалось, что тут какое-то гигантское недоразумение, стоит его *разъяснить* — и всё исправится.

Ощущалось ли в лекциях Бонди давление времени? Безусловно (его не избегли даже такие независимо мыслящие ученые, как Б. М. Эйхенбаум, А. П. Скафтымов, В. В. Виноградов); оно чувствовалось в преувеличении революционности Пушкина, рассуждениях об историческом материализме, в таких терминах, как «реакционный романтизм», «классовое сознание», «ошибки» (любимое слово эпохи). Но — странное дело! — в устах Бонди всё это не носило такого казенно-догматического характера, как, например, в лекциях Р. М. Самарина или даже А. Н. Соколова. Отчасти это получалось потому, что все эти ярлыки стояли для него на десятом месте, основное же было — анализ текста и конкретный историко-литературный подход (может, поэтому официальная литературная наука всегда относилась к нему настороженно). Но главное, видимо, заключалось в том, что и эти давно девальвированные категории у него были обеспечены золотым запасом его личности, чуждой всякой конъюнктурности, воспринимались как его искренняя вера, — и это так и было.

Он обладал удивительной, завораживающей уверенностью в том, что множественность толкования произведения — от лукавого, что

в нем есть какая-то одна истина, до которой надо только докопаться, если внимательно и непредубеждённо это произведение прочитать.

Первые слова его доклада о «Медном всаднике» на XIV Пушкинской конференции были:

— Удивительное дело! Разные ученые находят в одном произведении разное содержание!

Изложив точки зрения Мережковского, Брюсова, одного современного польского ученого, Бонди в горести восклицал:

— Можно прийти в отчаяние! Что же это за наука? Чем объяснить такую пестроту толкований? Виноват не Пушкин, а методы его изучения. Вместо внимательного чтения — а при лаконизме Пушкина это особенно нужно! — вместо того, чтобы верить автору, чтобы проверить, что вашей концепции ничто не противоречит — ни черновики, ни высказывания на эту тему в других произведениях, ни образы, ни ход сюжета, ни композиция, — вместо этого дают какие-то (с сарказмом) «свои понимания» — «мой Пушкин!», субъективные толкования!

Я уже тогда увлекался Потембной и за обедом в столовой ЛГУ, опираясь на него и Горнфельда, стал защищать правомерность и даже закономерность множественности толкований.

— Это другое! — живо возражал Бонди, забыв о тарелке. — Это многозначность, палитра образа! Но не смысл произведения. Смысл один!

В лекциях Бонди упоминал Ф. Сологуба, А. Чеботаревскую, Д. Мережковского, В. Гнедова, Н. Бурлюка, А. Белого, Н. Гумилева. Как важно было нам тогда услышать эти имена. Мережковского вычеркивали из моих комментариев даже в 1977 году.

Лекция Бонди! Ее ждали с нетерпением, неделя казалась долгой. Это было ощущение праздника, которое не притуплялось, хотя встречи длились целый год, а у самых верных слушателей и особенно слушательниц (они назывались «бондитки») — и не один. Трудно сказать, что ожидалось — встреча с Пушкиным или с С. М. Бонди. Он как бы предстательствовал за великого поэта в другом веке — впечатление совершенно особое, на лекциях никого из профессоров не повторявшееся, даже на лекциях С. И. Радцига, читаемых почти гекзаметром. И еще было чувство свободы, несвязанности учебно-программными и идеологическими рамками. Последнее не осознавалось прямо, но подспудно все время ощущалось. Он был замечательным мастером лекционного жанра, знающим все его секреты.

В подсчеты стоп, стиховедческие схемы вдруг вторгнулся какой-нибудь веселый пример — такие примеры запоминались на всю жизнь. Иллюстрируя небезразличность стихотворного размера содержанию, Бонди проделывал такой эксперимент: слегка изменял начальные строки «Евгения Онегина» и показывал, что получился плясовой размер.

Дядя самых честных правил,
Он не в шутку занемог,
Уважать себя заставил,
Лучше выдумать не мог.

Говоря о том, что собственно размер еще не делает речь стиховой и что в прозе часто встречаются куски вполне выдержанных размеров, он приводил подмеченные еще Томашевским два стиха 4-стопного хорея в «Пиковой даме»:

Германн немец: он расчетлив,
Вот и всё! — заметил Томский.

Однажды С. М. пришел на лекцию очень печальный, долго стоял, наклонившись над столом (во 2-й аудитории), перебирая какие-то бумажки. Мы затихли.

— На днях умер Борис Викторович Томашевский. Наш лучший пушкинист... Ах, вы не знаете, что это такое, когда умирает такой большой ученый. Который знал французскую литературу так, как никто ее не знал. Любой вопрос из нее ему можно было задать — вот у Пушкина... а как Вы думаете — во французской литературе?.. Теперь не у кого спросить. Ах, вы этого еще не понимаете...

Мы действительно поняли это только потом.

О Томашевском рассказывал много — главным образом об их спорах. Но почти вся полемика отразилась в статьях Бонди, и здесь я это не повторяю. Несколько раз рассказывал о подвиге, совершенном Томашевским (всякий раз так и говорил: «Настоящий подвиг!»), когда он за год подготовил для академического издания «Евгения Онегина» («несколько тысяч вариантов!») и сдал том в срок. «В договоре было: в 1936 году. Так он сдал 29 декабря.

А следующий год был — тридцать седьмой!»

На моей памяти это — единственный случай, когда кто-либо из профессоров публично упомянул эту дату.

Как многие простодушные люди, он считал, что вообще очень хитер и даже ловок. С большим удовольствием он излагал книгу Ленина «Государство и революция» в связи с «Медным всадником» и доказывал, что Пушкин вполне по-ленински понимал функцию государства, которая всегда находится в непримиримом противоречии со свободой отдельного человека, и это противоречие исчезнет только на высшей фазе развития человечества. При цитировании Ленина на лице его являлось знакомое хитрое и даже победоносное выражение: он был чрезвычайно доволен, что не хуже других и даже к месту ссылается на Ленина и что таким образом все в порядке.

Примерно так же поступал С. И. Радциг, читавший в университете с 1908 года. Вот начало (в моей записи) самой его первой лекции по курсу античной литературы 2 сентября 1954 года: «Значение античной литературы в нашей культуре очень велико. Многие знаменитые русские писатели и поэты — Ломоносов, Державин, Жуковский, Пушкин, Брюсов обращались к античной литературе. Напомню только знаменитый пушкинский «Памятник», однотипный с горацевым «Я воздвиг памятник». А миф о Прометее! Ведь Прометей — первый мученик за человечество. Когда окончилась Гражданская война, в одном из городов был сооружен памятник: Прометей, разрывающий цепи и несущий огонь людям. Естественно, что фашисты, придя в этот город, сразу разрушили этот памятник. Маркс говорил, что мифы продолжают доставлять нам наслаждение и сохраняют значение нормы и недосягаемого образца. Ленин говорил, что без знания культуры, созданной всем развитием человечества и без ее переработки нельзя построить пролетарскую культуру. Сталин в одной из своих речей сослался на миф об Антее. Миф продолжает жить в наших умах — уже в качестве аллегории». Далее было ещё несколько фраз о чертах родового и рабовладельческого строя.

Переведа дух и легко вздохнув, Сергей Иванович вышел из-за кафедры, седой, румяный, как рождественский дед, и продолжал уже другим тоном: «Рассуждения о том, что поэзия Гомера — вымысел, есть полная чепуха! Шлиман поверил автору «Илиады», стал копать — и раскопал Трой! И, в частности, нашел там золотой кубок с голубками, про которых упоминает Гомер!» И без перехода начал читать, отмеряя жестом ритм гекзаметра: «Гнев воспой, о богиня, гнев Ахиллеса, Пелеева сына...»; глаза его увлажнились, голос прервался. Полтора человека замерли, почувствовав веяние того, чего им никогда еще не приходилось ощущать. Излишне говорить, что, погрузившись

в изложение увлекательных эпизодов из жизни героев и богов великой поэмы, С. И. начисто забыл и о Марксе, и о рабовладельческом строе, равно как и остатках родового.

Имя Виктора Владимировича Виноградова я слышал еще в школе. Но когда на 1-м курсе, взяв для курсовой тему по лингвистике и почитав недели три в общем читальном зале Ленинки разные книги современных языковедов, я наткнулся на «Русский язык», то сразу понял: это *другое*. (Теперь, когда я написал листов двадцать статей о нем и комментариев к четырем томам его сочинений, мнение это только укрепилось.) И я стал ходить на его лекции, как и на лекции Бонди, о чем бы В. В. ни читал — о стилистике, словообразовании, теории лексикографии, истории синтаксических учений. Не знаю, как я в шестнадцать лет догадался, что важно не то, о чем читают, важно — *кто*.

В отличие от Бонди, В. В. не делал никакого снисхождения к малой подготовленности слушателей. Это была произносимая письменная научная речь. Кроме того, молчаливо предполагалось, что его слушатели прочли полдюжины его монографий по 400—500 страниц каждая и на этих темах можно не останавливаться.

Личное мое знакомство с В. В. началось с зачета, точнее — с экзамена. Слушая три года его спецкурсы, на четвертый я решил в качестве обязательного зачета по какому-либо спецкурсу сдавать этот. О чем и сказал Евгении Карловне, многолетнему бессменному секретарю кафедры.

— Не знаю, — неуверенно сказала она, — Виктору Владимировичу уже давно никто не сдавал никаких зачетов.

Велись длинные переговоры; выяснилось, что на факультете в связи с окончанием семестра В. В. бывает редко и для сдачи зачета надо идти в Отделение литературы и языка Академии наук, коего тогда Виноградов был академиком-секретарем.

В предбаннике его кабинета все стулья были заняты; я узнал Р. А. Будагова, Р. И. Аванесова и Н. К. Гудзия. В. В. появился и, поздоровавшись со всеми за руку, сказал: «Это вы тот упорный студент?» И жестом пригласил проходить — может, потому, что все сидели, а я по студенческому инстинкту стоял у самой двери. Помню удивленное лицо Р. А. Будагова.

— Вы так добивались этого экзамена, — продолжал он, садясь за огромный стол.

— Экзамена? — снова мгновенно востепенел во мне бывалый студент. — Зачета!

— Я думаю, — со своей скользкой улыбкой сказал В. В., — справедливо будет устроить именно экзамен.

— Но как же?... Деканат...

— Ничего, они не будут возражать.

Они действительно не возражали, но хорошо помню, как недоуменно разглядывала секретарь курса Мария Трофимовна ту страничку зачетки, куда обычно вписывались только зачеты: «Яз. худ. лит-ры. Отлично. 25. V. Викт. Виноградов». Я тоже долго разглядывал этот автограф.

Экзамен длился сорок минут — видимо, ему было интересно, что думают о поэтике современные студенты. Помню одну реплику:

— Я вижу, современные студенты увлекаются формализмом.

Я промолчал, потому что надо было сказать: нет, не увлекаются. Из увлекающихся я знал только одного: своего сокурсника Алика Жолковского. Через десять лет я с удивлением обнаружил, что этот экзамен остался не только в моей памяти: В. В. вспомнил, что тогда я говорил «слишком горячо и многословно».

Второй касающийся меня автограф Виноградова сохранился на заявлении. Будучи распределен в только что организованный Университет дружбы народов (тогда еще не им. П. Лумумбы), я уже начал преподавать русскую фонетику неграм Танганьики и Занзибара (Танзании еще не было).

Как-то дома вечером я сочинил упражнение, связанное с фонемой «б» («а» мы уже прошли), стараясь использовать реалии, близкие, как мне казалось, моим студентам.

— Это банан?

— Да, это банан.

— Это твой банан? А где мой банан? Нет, это не мой банан. У меня батат.

— Дай мне твой батат. Я бегу на батут. И т. п.

Звонок в дверь (телефона не было); с кафедры прислали девицу со срочным письмом: «Акад. В. В. Виноградов просит Вас прибыть к 12 часам в кабинет русского языка для переговоров о зачислении в штат. Г. Артемьева».

На другой день я уже сидел перед дверью, ведущей из круглого зала кафедры в крохотный кабинетик Виноградова.

Сохранилась моя наглая записка, которую я передал Виноградову через ту же Г. Артемьеву и которую она мне потом, тонко улыбаясь, вернула: «Виктор Владимирович! Я пришел. А. Чудаков.» Начало было ничего себе.

Позвали в кабинетик. Там, кроме хозяина, уже сидели проф. А. И. Ефимов и доц. Н. М. Шанский. А. И. сказал что-то о моей дипломной работе, по коей был оппонентом, и, поглядев в анкету, добавил:

— У А. П. есть печатные работы — статьи и рецензии. В том числе в журнале «Русский язык в школе» и «Новом мире».

— Сколько? — впервые нарушил молчанье В. В.

— Семь! — торопливо сказал я.

В. В. улыбнулся; значенье этой улыбки я понял позже: через год-два после окончания институтов (он окончил сразу два) Виноградов был автором листов двадцати пяти текстов — в том числе монографии по истории русского раскола, большой работы о языке Жития Саввы Освященного, обширного исследования в области фонетики севернорусского наречия.

Второй вопрос В. В. был как раз о возрасте. Мне было двадцать два. Он снова улыбнулся и сказал:

— В этом возрасте я был уже профессором.

Ефимов и Шанский одновременно, глядя друг на друга, понимающе развели руками.

Смысл этой реплики я с годами понимал все меньше — особенно когда узнал, что Виноградов был выбран профессором Археологического института в Петрограде не в двадцать два года, а в двадцать пять лет, почти в двадцать шесть. Не мог же он такое — да при его памяти — забыть! Но для чего он тогда это сказал? Поставить на место? Вчерашнего студента? Вельможно уязвить? Зачем?..

Этот вопрос меня долго мучил; тогда я постоянно думал о В. В. — по утрам, по пути в библиотеку и почему-то в бассейне, где я, будучи в сборной МГУ, плавал ежевечерне по полтора часа.

Записан у меня и третий вопрос В. В. — к сожалению, в форме косвенной речи. Сказав, какое это исключение, что меня без степени берут преподавателем кафедры, он спросил, намерен ли я отдать науке всю жизнь и является ли она главным интересом в моей жизни. Я сказал, что намерен и является.

Несмотря на резолюцию Виноградова: «Прошу зачислить», на кафедру я не попал — не отпустили из УДН как распределенного туда молодого специалиста.

Осенью того же года я поступил в аспирантуру.

К концу аспирантского срока я представил, как это чаще всего и бывает, не окончательный текст диссертации, а первый вариант. В. В. на заключительной переаттестации отозвался о нем одобрительно. Но когда после заседания мне передали заполненный им аттестационный лист, там наряду с другим («Есть литературно-критические способности и чутье языка», «слаба внутренняя дисциплинированность») я увидел такую изящную формулировку: диссертацию такой-то представил «в отдельных набросках и этюдах» (Архив МГУ). Не написать чего-нибудь в этом роде он, видимо, просто не мог.

Размышлений о таких качаниях виноградовского маятника мне хватало на многие месяцы. Кажется, для меня этот человек был слишком сложен.

В МГУ, а может и вообще, я был последним аспирантом Виноградова.

Консультации у В. В. выглядели примерно так.

Я: — В одном журнале 1820-х годов говорится, что синонимы...

В. В.: — Вы, наверное, имеете в виду статью Остолопова 1828 года.

Но Остолопов...

Или:

Я: — Соотношение элементов старославянских...

В. В.: — ...церковнославянских.

(Он плевать хотел, что термин «церковнославянский» был изгнан.)

Я: — ...церковнославянских и разговорных элементов в допушкинскую эпоху... у Карамзина...

В. В.: — На эту тему есть статья Булича (или: Соболевского, Богородицкого) в «Журнале Министерства народного просвещения», 1898 год, том VII, книга 3 — по-моему, в конце. Писал об этом и профессор (В. В. всегда титуловал: профессор, академик) Будде в своем «Очерке истории современного литературного русского языка». Есть про это и у проф. Трубецкого в известной статье.

Статья Булича действительно оказывалась в самом конце названной книжки журнала, и у Будде было именно об этом. Правда, статью Трубецкого приходилось с трудом отыскивать самому (раз «известная», спрашивать было неудобно), она оказывалась в спецхране (тогда я еще не знал, что книга с этой статьей: Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания. Париж, 1927 — была одной из главных тем допросов Виноградова на Лубянке в 1934 году). Устный консультационный монолог В. В. мало отличался от лекционного, когда перед ним

лежал текст — разве что точными библиографическими ссылками в первом.

В одном из своих выступлений он сказал, что, готовясь к магистерскому экзамену, прочел все журналы и литературные газеты первых десятилетий XIX века. Я потом переспросил: все ли? В. В. ответил, характерно подняв брови: «Разумеется, все». И при его слушании и чтении его сочинений с некоторых пор меня стала преследовать мысль, что В. В. прочел не только журналы, но и все книги. Я даже поделился ею со своим приятелем, ныне известным, а тогда начинающим критиком. Он меня обсмеял, и я несколько засомневался. Но теперь я думаю, что устами студента говорила истина.

Он читал всё: газеты, альманахи, журналы, прозу, стихи, историю, публицистику, своды законов, сборники судебных речей и духовных сочинений, военные уставы, ботаники, путешествия, книги по химии, судостроению, коннозаводству, «землемерию межевому», поваренные и хозяйственные, словари сельскохозяйственные и псовой охоты, лечебники, руководства по картежной игре, сонники, письмовники. Похоже, что он действительно знал все русские книги по крайней мере с середины XVIII века до 60—70-х годов XIX-го.

Знакомство с методом работы В. В. огорошило меня в очередной раз: у него не было библиографической картотеки! Это было странно, невероятно. И именно для В. В., с обвешанностью всякой его статьи гирляндами сносок. Первое, что я услышал на семинаре в университете: надо завести коробку из-под рафинада и ставить туда карточки. Что и делали все стоящие ученые. Кроме Виноградова. Он, разумеется, давал ссылки к своим выпискам, но библиографию в целом всю держал в голове.

В работах отзывы критиков, грамматиков, литераторов приводятся так обильно, что едва ли не заменяют первоисточник, — во всяком случае, так, видимо, думают многие, цитируя эти отзывы вместе с опечатками по книгам В. В. Постоянно обнаруживая такое, сначала я это очень осуждал, но когда сам начал писать о Пушкине, стал снисходительнее: из критики первой половины XIX века трудно процитировать что-нибудь, уже не приведенное если не в «Языке Пушкина», то в «Стиле Пушкина» или в «Очерках по истории русского литературного языка». Сам Виноградов из вторых рук не брал ничего.

В современной науке живет несколько снисходительное отношение к мысли прошлых веков. У Виноградова было обратное. Труды А. Востокова, Н. Греча, Г. Павского, «отчасти Ф. Буслаева», К. Аксако-

ва, не говоря о Потепне и Шахматове, он ставил гораздо выше современных «по количеству конкретных фактов, по степени охвата живого литературно-языкового материала, по стилистической тонкости и глубине его освещения». Их мысли он не перелагал на нынешний язык. Он полагал должным давать современнику писателя или языкового явления свободную трибуну, с которой звучит голос эпохи, не искаженный перекодировкой. Он любил сказать: как выразился бы К. Аксаков; Потепня назвал бы это... Много у него и скрытых цитат (кошмар комментатора). «В молодости, — сказал однажды В. В., — я просто не мог писать сам, пока не прочитывал всё, что на эту тему было написано до меня». Мне кажется, эта особенность сохранилась у него навсегда. С. М. Бонди говорил мне: он не раз убеждался, что Виноградов по любому вопросу пушкинистики читал — и помнил! — всю литературу.

Полноты учета сделанного предшественниками он требовал и от учеников.

Но апологии эрудиции у В. В. не было. Про О. С. Ахманову он сказал как-то: «Читает больше, чем может переварить».

Особенно болезненно В. В. воспринимал внеисторический подход к любому явлению грамматики или стилистики; самые резкие его инвективы — по этому поводу; элементы «антиисторизма», «модернизации прошлого» он находил едва ли не у всех и везде. «Ни в одном из наших словарей нет историзма»; «стилистику необходимо поставить на историческую основу», «изучение сюжета нужно опустить на историческую почву» — подобное можно было услышать в его лекции на любую тему, на историческую почву надо было поставить всё, и он очень боялся, что мы этого не сделаем.

Разговор с В. В. (у меня) никогда не переходил на бытовые темы. Такое случилось всего едва ли не два раза.

Однажды, когда он укладывал в роскошную папку очередную мою главу, я внезапно спросил:

— В. В., а где вы берете такие замечательные папки?

Вспоминая весь стиль наших отношений, не могу понять, что мною двигало. Разве что одна из сильнейших человеческих страстей — страсть к письменным принадлежностям. Но на эту чушь В. В. откликнулся так взволнованно, как более ни на что и никогда:

— Нигде! Нигде нельзя достать! Только то, что на международных конгрессах дают! Но и там — любят всучить что-нибудь парадное, без клапанов, с золотым тиснением. Вроде юбилейных адресов.

Однако бытовые детали и истории прошлого все же вторгались в его консультационный монолог; мысль В. В. несло потоком его феноменальной памяти, которая фиксировала всё и без видимой иерархии. К сообщению о замечательно изданной «Хронике Гр. Амартола» добавлялось, что ее комментатор болел сифилисом; в середине изложения взглядов В. М. Жирмунского рассказывалось о двух его женах, которые жили в одной квартире; упоминалось о любовных историях В. Б. Шкловского и проч.

На этих консультациях я сначала пробовал устно излагать В. В. всякие свои теории, о чем у меня будет первая или вторая глава. Но В. В. этого не поважал.

— Всё это устная филология. Вы напишите.

И я писал (до сих пор со стыдом вспоминаю, что первую главу принес в непечатавшем виде и даже не всю перебеленную), и получал развернутые отзывы и ядовитые маргиналии на полях, и постепенно понимал, насколько это плодотворнее «устной филологии».

Рассказывал о своих учителях. Много говорил о Шахматове, его взглядах на роль индивидуального почина в развитии языка — это меня тогда очень занимало в связи с идеями Фосслера — Шпитцера (говорили и о них). Рассказывал, как Шахматов писал ему рекомендацию для получения пайка.

Рассказал, потемнев лицом, как умер Шахматов: надорвался, перетаскивая в двадцатом году при переезде на пятый этаж свою огромную библиотеку.

Из коллег по Государственному институту истории искусств рассказывал о Б. М. Энгельгардте, Б. В. Томашевском, Ю. Н. Тынянове, В. М. Жирмунском, Б. И. Казанском, Г. А. Гуковском.

Выписываю несколько высказываний В. В. из моих записей его лекций.

«Сейчас стало модным открывать новые тексты, приписывая их Салтыкову-Щедрину, Белинскому, Герцену, хотя произведения эти им принадлежать никак не могут. Считать их написанными этими писателями можно лишь тогда, когда это дозарезу нужно автору. Спрос, жажда на новые произведения великих писателей рождает недобросовестное предложение» (2 апреля 1958 г.).

«Есть два метода придумывания за Пушкина. Метод первый — объективно-неосмысленный. Этим занимался Илья Александрович Шляпкин. Щёголев метко назвал его реконструкции ненаписанными стихами Пушкина. Метод второй — что текстолог при изучении

черновики наталкивается на те же ассоциации, что и поэт. Так считает Сергей Михайлович Бонди. Но они остаются все же ассоциациями Бонди. Он таки присочинил кое-что к Пушкину» (из спецкурса 1957/58 годов. «Язык художественной литературы»).

Во всякой культуре существуют мифы, имеющие косвенное отношение к реальности и лишь частично с нею пересекающиеся. В новой русской культуре это прежде всего мифы Пушкина и Гоголя; взаимоотношение столь мифогенных фигур породило, натурально, новый миф. Пафос нескольких лекций В. В. был — разрушение этого мифа. «Есть литературные легенды, которые, включаясь в историю литературы, становятся на пути правильной картины закономерностей развития литературных стилей. Такой является легенда о тесном литературном общении Пушкина с Гоголем и о щедрых жертвах Пушкина в области сюжетов.

Всё, что можно найти по вопросу о литературных и личных отношениях между Пушкиным и Гоголем в трудах наших литературоведов от Кулиша, Шенрока до Искоза-Долинина и проф. В. В. Гиппиуса, носит легендарно-беллетристический характер. В утверждении и романтическом оформлении этой легенды, автором которой являлся сам Гоголь, решающее значение принадлежит, несомненно, С. Т. Аксакову, хотя отчасти тут замешан и Жуковский. Главную роль здесь играл мотив переданного “священного знамени”. Вся эта история очень возвышенна, но чрезвычайно сомнительна».

Легенда в лекциях разбиралась подробно, с привлечением всех доступных свидетельств, и подробно же дискредитировалась.

Вспомнить можно многое. Даем ли мы, нынешние профессора, хотя бы малую часть того, что давали нам? И являемся ли хоть в самой малой степени примером того горенья, которым пылали они?

(Время, оставшееся с нами. Вып. 3. Филологический факультет в 1955—1960 гг.: Воспоминания выпускников. М., 2006.)

ИЗ «ЗАМЕТОК ДИЛЕТАНТА»

Три источника и три составные части, как сказал бы вождь советской идеологии и всего советского строя: страх, потворство низменным инстинктам и безграничная ложь в государственном масштабе. При существенности первого и третьего, главное, конечно, второе. Все большевистские лозунги потому имели успех, что открыто апеллировали к самому темному, подавляемому, мутному: грабь награбленное, я — пролетарий (и поэтому лучше прочих), всеобщее равенство — пусть бездельники и идиоты получают столько же, сколько таланты.

В медицине и гигиене необходимо новое понятие — категория *абсолютного здоровья*. У человека может быть язва, артрит, приступы астмы, но всю жизнь он может выдерживать перегрузки, которые и не снились «практически здоровому». У не обладающего высоким уровнем АЗ как будто ничего не болит, но он всегда вял, и в шестьдесят — дряхлый старец; имеющий высокий уровень АЗ до конца бодр. Он может заболеть гриппом. Но он этого не почувствует и узнает о своих 39⁰ совершенно случайно, когда внимательная жена, которой чем-то не понравились его глаза, сунула ему градусник, а на утро он уже здоров, была кратковременная немощь *сильного человека*. А если он рано умер — ну что ж, у него просто оказалось хрупкое железное здоровье. АЗ — это нервы, верблюжья выносливость, неисчерпаемый ресурс энергии, темперамент, сила. Это состояние души.

После «железное здоровье» было вписано: «Как у Юлия Цезаря, сочетавшего «необыкновенную неутомимость с телесной немощью», как у Переплеткина, бывшего двадцатифутовым молотом за полдня до смерти». И позже еще добавлено карандашом: «как у Высоцкого, писавшего свои песни на другой день после русской пьяной ночи».

* Об этом тексте, не включенном автором в печатный текст романа, см. записи в дневнике от 6 мая 1998 г., 14 декабря 1999, 27 мая 2000, 23 сентября, 14—16 октября 2001, 15 октября 2003.

Бахтин полагает за аксиому, что мысль формируется лишь в диалоге с Другим. Но все живое развивается по своей внутренней программе, не нуждаясь для созреваия в нем главного во взаимодействии с внешним (номогенез). У Бахтина ощутимы явные дарвинистские флюиды. (Подавляющее влияние Дарвина на всё мышление XIX века еще не оценено вполне.) Недаром все так готовно заговорили о диалоге.

Мысль прежде должна вызреть в многочисленном уединении, только тогда диалог с не-я будет полноценен. Торопятся начать, а диалогизировать еще не о чем!

Всякое удивительное и необыкновенное имеет смысл и интерес только тогда, когда сопоставимо с реально представимым, моим, человеческим. Фотография пули, выстреленной в колоду карт и пробивающей карту, видимо, большое техническое достижение. Но оно ничего не дает уму-сердцу человека.

Начиная с Аристотеля и «Духа законов» Монтескье разделение законодательной и исполнительной власти — азбука государственного устройства, претендующего на демократичность и её обеспечивающая. Не потому ли Ленин в своих Советах сознательно или бессознательно слил эти функции в одном органе — т. е. изначально уничтожил самое суть демократического государственного устройства?

О Сталине. Интерес к личности, даже быту диктатора, сосредоточившему в своих руках небывалую в истории власть над судьбою, жизнью и смертью миллионов, понятен, он останется надолго; облик человека, присвоившего себе прерогативы Господа Бога, магически притягивает к себе гораздо больше, чем *интерес* к Наполеону, хотя личностные масштабы несоизмеримы. Но нынешняя любовь к Сталину, его портреты на ветровых стеклах автомобилей — уже советское извращение этого понятного чувства, подобное извращениям многих других чувств у советских.

Раньше хозяйством занимались кухарки, советский же интеллигент для этого женится — или сразу на кухарке, или делает таковую из женщины с высшим образованием. Но 90% гуманитариев занимается советской псевдодеятельностью, и такую-то бессмысленную деятельность обслуживает, окружает удобствами другой человек, кладет на это жизнь. За это я презираю советскую интеллигенцию.

Рекордное время в беге на 100 м с 10,1 сек. в 1936 г. (Джесси Оуэнс) за сорок лет улучшилось на 0,2 сек., т. е. всего на 2 %, результат по прыжкам в длину и в высоту — на 3 %. Абсолютно иная картина в «снарядной» легкой атлетике. Рекорд в метании копья возрос на 20 %, прыгуны с шестом перенесли планку под 6 м, т. е. улучшили свои результаты на 30 %. Вряд ли неснарядники более вялы. Дело, конечно, в технической оснащенности. У спринтеров изменилось мало что — только дорожка вместо гаревой стала тартановой. А у шестовиков появился фибerglassовый шест, который буквально катапультирует спортсмена (и есть проекты гидравлического шеста), у копьеметателей — планирующее копьё, по аэродинамическим качествам отличающееся от своего довоенного прототипа не меньше, чем современный самолет от биплана. Но тогда надо сконструировать уже прямо летающее копьё, придав ему подъемные плоскости. Это будет только логично. Правда, это уже будет окончательно соревнование не спортсменов, а конструкторов. Но судя по всему, это мало кого взволнует.

По сути, мы не можем реально сравнить результаты шестовиков и копьеметателей тридцатилетней давности с теперешними. Единственный способ — международная конвенция о вечной консервации определенного вида этих снарядов. Тогда можно будет увидеть, как растут (растут ли) человеческие, а не технические возможности.

Да, мой друг Антон неисправим: он все еще грезит об общественном договоре в самых разных отраслях.

К зрелому возрасту кардинально должны различаться меж собою люди, один из которых всю жизнь ежедневно с утра до вечера общается с преступниками или изучает судебные дела, а другой — штудирует, переводит, читает, изучает Гете, Пушкина, Гегеля, Толстого.

В биографических очерках о великих людях принято восхищаться тем, что они продолжали свою деятельность в трудных условиях. В тяжелые двадцатые годы ученый при свете коптилки в нетопленной комнате пишет о поэтике Гоголя — удивительно! В блокаду Шостакович работает над симфонией — поди ж ты! Тогда же и в том же городе другой ученый, служа в архиве, продолжает работать над историей Российской Академии — уже предел недоуменья. Как-то не замечается, что такое удивление — позиция обывателя, не представляющего себе, что такое неостановимая работа мысли. Все наоборот: странно было б, если бы такие люди в это время вдруг прекратили думать и писать.

Слишком большая безграничная свобода не только невозможна (такого общества не было и не будет), но и не нужна человечеству — как ребенку, который все разобьет и сломает и навредит прежде всего себе.

Антиферромагнетики не имеют собственно магнетизма, а приобретают его только под воздействие поля, в которое помещены. Так же многоразличными смыслами намагничиваются самые обычные слова, оказавшиеся не только в стихе, но и в поле высокохудожественного прозаического текста — такого, как в великих рассказах русской литературы: «Дама с собачкой», «Легкое дыхание».

Историю надо превратить из высоколобой — в популярную прикладную науку — политические деятели всех уровней должны представлять хотя бы отдаленно, результатом чего в прошлом является всякий феномен настоящего.

Необходимость охраны окружающей среды ясна. Но странно, что никогда не ставился вопрос: какую среду сохранять? Какого времени? Возвращать к той, что была 10 тысяч лет назад (засаживать лесом степи юга России, осушать болота Западно-Сибирской низменности), или к той, что была в прошлом веке? А почему не в позапрошлом?

Тургенев — вечный пример негениального классика, слишком нормального, у которого всё как следует, который и существовал как будто для того, чтобы его сравнивали с Толстым, Достоевским, Чеховым.

Нужна ли обществу истина? Так, близка к истине мысль, что всё циклично, что всякая цивилизация, расцвев, увянет. Но насколько плодотворнее для мироощущения конкретного социума, его сиюминутной, каждодневной жизни теория постепенного прогресса, скорее всего совершенно неверная.

Была также затертая обложка, озаглавленная: «К философии истории». В ней ничего не было, кроме одного листочка, на котором сверху было написано: «История человечества, в отличие от природной, не результат каких-либо законов — но явлений, событий, случайно оказавшихся в данном сочетании и последовавших одно за другим,

и породивших ту картину, которая имеет видимость осмысленного движения и гордо именуется: Всемирная история». А внизу стояло: «Все сожжено 30 апреля. А. С.»

Потрясающая чрезмерность Гоголя. Какие мощные эффекты. Отец видит удалыца и красавца сына во главе вражеской конницы: «Впереди других понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки». И Тарас убивает такого сына. Тот покорно, как ребенок, принимает смерть от отцовской руки. «Он был и мертвый прекрасен». «Это ты убил его?» — спрашивает подъехавший брат. «Пристально поглядел мертвому в очи Остап». А вскоре уже самого брата пытаются на городской площади, и ни крику, ни стону не услышали от него «даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы». И в этой толпе стоял Тарас. Но когда подвели его к последним смертным мукам, «упал он силою и воскликнул в душевной немощи:

— Батько! где ты? Слышишь ли ты?

— Слышу! — раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул».

Нет никакого сомнения: вздрагивает всякий читатель, впервые (да и не впервые) прочитавший эту сцену. Трудно выделиться на фоне произведений современников Гоголя в романтически-ужасном жанре, в которых с живых сдирают кожу; Гоголю это удалось.

Что же случилось с этой чрезмерностью в знаменитом гоголевском так называемом реализме? А ничего. В «Мертвых душах» зеркало показывает «вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку», хозяин в окне лавки выглядывает так, что «издали можно было подумать, что на окне стояло два самовара», индюк величиной с теленка и, напротив, лимон — «ростом не более ореха», есть и непознанное кушанье, «которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе», и повозка, похожая «на скелет, еще не совсем освободившийся от кожи».

Середина 70-х. Всё тихо. Газету просматриваешь за завтраком за пять минут — событий в стране нет. Не слышно шелеста страниц истории, и кажется, что книга много лет раскрыта на одном и том же развороте. Что всё в спячке. Но это впечатление обманчиво. Мы живы, мы умнеем. Мы пишем — кто в стол, кто в журналы, но без

забора из цитат, без продажи, так что нас не стыдно будет прочесть через двадцать лет.

Даешь пределы ты растению,
Чтоб не покрыл гигантский лес
Земли губительною тенью,
Злак не восстал бы до небес!

Баратынский

Человечество — великая само (если угодно — кем-то) регулируемая система. И она не допустит своей гибели. Когда популяция крыс начинает превышать цифру, способную нормально прокормиться, животные начинают умирать от воспаления коры надпочечников, возникающего по невыясненным причинам. Если сейчас умирают от инфаркта в 45, будут умирать в 30. Система может действовать и контрабандно — через разум, используя его как инструмент: позволит открыть возможность планирования пола ребенка, и наступит самая кошмарная эра — мир мужчин. Бойтесь этой могучей силы системы и помогите ей эволюционными средствами, иначе она поможет себе революционными.

По почерку было видно, что это написано тогда же, что и остальные записи, т. е. до эпохи СПИДа.

— Я согласна, что «затеси», «камешки» — это безвкусно, но если говорить не о названии, то почему известный поэт не может опубликовать свои даже отрывочные мысли, которые ему пришли при чтении дореволюционных газет? Только потому, что он не Розанов? Антон, вы, я знаю, всю жизнь читаете дореволюционные газеты. Скажите!

— Я начал читать одну такую его публикацию и бросил. Да потому, что он врет! Пишет, что случайно увидев в газете прошлого века объявление, прочел его как «Рифмы женские и мужские» и только потом понял, что на самом деле было напечатано: «Муфты женские и мужские». Объявления такого он не мог видеть. Не знаю, были ли мужские муфты, но ручаюсь, что про другие было бы написано: «Муфты дамские»!

А. Чудаков

ВЕСЕЛЫЙ ВОЛК

**ВСЯКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
НАДПИСИ, АПОЛОГИ, МАДРИГАЛЫ
ПАРОДИИ, ЭПИГРАММЫ, МЕЛОЧИ**

Москва 1987

Сборник отпечатан в количестве 4-х нумерованных экземпляров:
№ 1 — М. О. Чудаковой, № 2 — М. А. Чудаковой, № 3 — автора,
№ 4 — ничей.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ГИЛЬОТЕН

Орудие — прочих не хуже
Из тех, что создал человек.
В кровавой распластанной луже
Кончался осьмнадцатый век.

Эвклида зазубривал школьник,
Всемирной науки азы.
Сиял в вышине треугольник,
И мазали салом пазы.

Его равномерная сила
Правдивей, чем взмах палача.
Скользил он, скользил он, скользил он,
Равенству и братству уча.

Мы слышали: доктор-механик
На тот же возлег эшафот
И видел, и видел, как в раме
Беззвучно и ровно идет

Тот нож. То начало скольженья —
Согласно законам движенья.

Словарь в неживой позолоте
Развеял легенду тех дней,
Отметил: изобретатель
Скончался в постели своей.

Редактор, седея в работе,
Детали нам все уточнил.
Но умер на плахе тот доктор!
И нож треугольно скользил.

Курортное вялое счастье —
Газоны, источник, вода,
Осеннее тянут ненастье
В тягучих слезах провода.

Скамейка, объятие, улыбка,
В глазах то ли бред, то ли грусть.
Все временно, сыро и зыбко,
Известно давно наизусть.

1962

СЕМЯ

На полдень солнце
Наводит тень.
Цветет крапива,
Растет сирень.

Из почвы вышел
И сосен скрип,
Питает почва
Поганый гриб.

Никто не знает,
Где то зерно,
Что в Книгу Судеб
Занесено.

1969

ОН МЕЖ НАМИ ЖИЛ

Знаком исписанный карниз
Над дверью мастерской:
«Борис, Борис — погонщик крыс!» —
Ребяческой рукой.

Пришел забрать я табурет
В столярку дверь толкнул.
— «Борис пришел?» — «Бориса нет».
— «А где же?» — «Утонул».

Спокойно на меня глядит
Хозяин уж другой,
Не делает печальный вид,
Не никнет головой.

...Он каждый день сюда ходил
Почти двенадцать лет.
Пилил, строгал, строгал, пилил.
Висит его жилет.

— «Вы были?.. Похороны?.. Да?..»
— «Никто и не ходил.
Да и пойти туда — когда?
Заборчик я чинил.

Тут Никсон будет проезжать,
И мы, как штык, должны...
А кто пойдет? Помёрла мать,
И не было жены».

Устроен сложно этот свет:
Чтобы являться в ЖЭК,
Чинить забор, сбивать багет
Родился человек.

И лишь исписанный карниз
Ребяческой рукой:
— «Борис, Борис — погонщик крыс!» —
Над дверью мастерской.

ШЕСТЕРКА

«Я пас!» Корректен и достоин.
Чуть вял, не суетлив, не трус.
Хоть с картой средне — он спокоен:
Есть на руках трефовый туз.

И не высматривает зорко,
И не глядит судьбе в глаза.
Но вышла в козыри шестерка
И бьет трефового туза.

Май 1972

ИЗ НЕНАПИСАННОГО И ОТДАННОГО

* * *

Сквозила странным светом
Узорчатая тень,
Забытая поэтом
Мордовская сирень.

* * *

И снизу узкая река
Блеснула, как клинок.
Поутру русские войска
Прошли за Белосток.

* * *

Среди грядок
Устроил порядок
И дорожки
Посыпал песком.

* * *

Из незаписанных стихов о Беломоро-Балтийском канале.

...
 И лопата насажена криво,
 Тачку с глиной ведем по гробам.
 Лучше б Лосев молчал про пиво,
 Что давали в Египте рабам.

...
 Все повяжут молочные реки,
 Не во сне потекут, наяву.
 И на Волге, свободной навеки,
 Флаги в гости все будут в Москву.

70-е гг.

**СТОЛОВАЯ ДОМА ТВОРЧЕСТВА
 В ДУБУЛТАХ**

Здесь стена открыта
 в лес,
 Над столами
 свод небес.
 В том слияньи
 достиженье
 Архитектонаслажденье,
 Приобщенье и
 родство,
 Возрожденье,
 естество.
 Лес — стекло. В новейшем
 роде.
 Предоставлено
 природе
 Слиться с теми, что
 жуют,

Ощущая здесь
 уют,
В жующей той
 особи*
Разглядеть свое
 подобье.
Тихо смотрится
 Природа
В залу, полную
 народа,
И зеленая
 слеза
Набегаёт
 на глаза.

1975

* Как джентльмен, автор решительно протестует против варианта «особе».

Этот мир окутан душным словом,
Небо, море — все уже слова.
Кто-то шел вселенским злобным ловом
И опутал сетью луч и дерева.

И иссохнут сосны, в прах развеет дюны,
И отступит море из забытых глаз.
И истают лица, заживятся думы,
Но проклятье слова не сотрется в нас.

5.11.75

РИЖСКОЕ ВЗМОРЬЕ

О, если хвалим ты,
Не плачь и не верь —
Не стоят кимвалы
Соленых потерь.

О, если хулим ты,
Не плачь, не рыдай
И горькие камни
В волну не бросай.

Спокойно взгляни
На соленую гладь.
Спасибо, природа,
Что можно нырять.

На сумрачном дне
Тишина, тишина
И звуки Земли
Не доходят до дна.

И черный азот
Твои легкие рвет,
И спазмой соленой
Сжимается рот,

И в венах Гольфстримов
Кровавая соль
Твердеет — вселенских
Смычков канифоль.

ЧЕРВИ

Дождь ушел. Струи его косые
Затопили дышащую слизь.
Радужные черви дождевые
По дорожкам сквера расползлись.

Персть его безжизненно-нелепа —
Вялая покинутость чехла.
Где земли частицы слиплись слепо,
Там его дорога пролегла.

Кольцевые мышцы совершенны.
Безупречен, как Линнея лист,
Дух структуры господинно-пленный
Безустанен, гладок, мускулист.

Будем там, где чёрно стынет время.
Глухота сдавила, ночь мертвя.
Но вверху, в последнем тяжком небе
Я услышу мерный ход червя.

1978

День заскреб железом по асфальту,
По броне, зажавшей грудь Земли,
Где-то есть на свете остров Мальта,
Где-то есть седые ковыли.

Ветер голубой песок перевевает
И шуршит волною по косе,
И стригун копыто поднимает,
Бабки омочив в ночной росе.

Что же мы? Прививка на плохом подвое?
Неудачная творца строка?
А что если — это черновое?
Черновик т о г о черновика?

Может, и не надо удивляться,
Что сама себя съедает жизнь.
Тем колесам не всегда вращаться.
Пущен в ход ужасный механизм.

12.09.78

ЧЕЛОВЕК

В. В. Иванову

Когда заполнилось пространство —
Земля, вода и небеса,
И стали злое постоянство
Прошло зубцами сквозь леса,

Он оглянулся.

Он вспомнил: ветер на равнине.
Высоко небо — Божий кров.
И что ж еще тебе, о, сыне?
Осел, бурдюк, вязанка дров.

О, это нищее пространство!
Оно помнилось наготой.
И мира тяжкое убранство
Ты взнес над мира пустотой.

Ты сбросил рубище и шкуру,
Бетоном сжал земную твердь.
И это ты назвал: культура.
А прочиталось это: смерть.

Я вижу: небо и просторы.
И пуст опять земной покров.
Свободны мысли, дальни взоры.
Осел, бурдюк, вязанка дров.

30.09.78

БЕГЛЕЦЫ

Видно важные были причины,
Опустившие чашу весов.
И отдали родные картины,
Речь российских полей и лесов.

Да, у всякого были причины
Все оставив, бежать, бежать.
Только как же: в песках Палестины
Ведь придется и умирать?

1979

Ты сказала: елки плачут,
Затвердели слезы в свечки,
Эти свечки что-то значат,
Что-то плачут эти свечки.

И тогда в лесу еловом,
Молодом, весенне-прелом
Показалось это новым,
Показалось это смелым.

Затопили в дачах печки.
Снег свистит в лесу сосновом.
Затвердели свечки в ветки.
Грустно, было, и не ново.

1980

Я уйду — он останется там,
Над водою тяжелый туман.

Потому что осталась река,
Потому что черны облака.

Я приму в свою душу туман,
Я приму в свое сердце обман,
Потому что туман от воды,
Потому что обман от беды.

1981

КОММЕНТАТОР

Лежат тома тяжелой грудой.
Здесь билась жизнь, здесь сжата мысль.
Когда? Зачем? Куда? Откуда?
Пойми. Додумай. И расчисль.

Он думал, думал в дни былые,
Все было в нем и зрело в нем.
И шли часы, часы России,
Стуча нерусским языком.

Казалось, меркнет, гибнет слово,
Не этим занята страна —
При чем тут архаизм Шишкова
И новый слог Карамзина?

И унесли огонь в пещеры,
Замуровали в стены книг.
Ни возрождения, ни веры —
И погребли надежно в них.

Пришло иное поколение,
Раскрыло желтые листы,
Его младое нетерпенье
Увяло от непростоты.

...Ты не утонешь в этих грудах,
Просеешь с тщанием тома,
Отыщешь блески в серых рудах,
Все нити сердца и ума.

Ты океан бурлящей мысли
В систему твердую сведешь
И жизнь отдашь — но все расчислишь
И пункты твердые найдешь.

Полезно, ясно и умело,
Ни сожалений и ни тризн.
И что за дело, что за дело,
Что жизнь меняется на жизнь?

12.08.83

Малеевка

ВЕСЕЛЫЙ ВОЛК

Веселый волк, веселый волк,
Ты звучно клацаешь зубами.
И черный лес уже умолк,
Прожжен зелеными глазами.
Тебе не грустно. И легко
Тебя стальные носят ноги...
Когда тумана молоко
Распространится вдоль дороги,
Ты побежишь. Беги, беги!
Гул сердца лишь туман услышит.
Еще живут твои враги.
Но кровь стучит и ребра дышат.

26. VI.83

Паланга

В ПЕРЕДЕЛКИНЕ

1.
Патриарх получил именье.
Был пожалован — как встарь.
То каприз или дней знаменье?
Вспомнил Бога вдруг Секретарь?

Получил Алексей. Не Тихон.
Стар, послушен, неслышен, как тень.
В день июльский он въехал тихо
Под сосновую свежую сень.

2.

Переулки и ели. Лето.
Неживой электрический свет.
И слетаются тени поэтов
Из лесов и далеких лет.

Переулки, заборы, дачи,
И слова на шоссе звучат.
Так гремит лишь с вершины удачи —
Внуки времени так говорят.

И от пушечных этих звуков,
Лишь заслышав в тиши голоса
Переласканных временем внуков,
Возвращаются тени в леса.

3.

Кто будет здесь бродить в двухтысячном году?
Не вем. Кто знает про это может.
Но мысль одна все время, как в бреду,
И эта мысль сознание гложет, гложет.

Уж решено — кому век новый присудить.
Мы все под Богом ходим, люди.
Не знаю я, кто будет тут бродить,
Но слишком точно — кто бродить не будет.

Н. Бутаково, 23.03.84

Я постепенно к жизни приучаюсь,
Всею я понемногу научаюсь.
Плыву не нервно в человеческой массе,
Все реже сдачу забываю в кассе

И избегаю стресса — по Селье,
И уже дважды шил я в ателье.
Я постепенно к жизни приобщаюсь.
Я потихоньку к смерти приближаюсь.

18.03.84

ЖЕЛАНЬЕ

Если б лампу Аладдина
Подарила мне судьбина,
Иль властитель мирозданья
Выполнял мои желанья,

Что б тогда я попросил?
Богатырских вечных сил?
Чтобы мог я, как Поэт,
Сочинить 8-й сонет?
Нет.
Не желал бы я греметь.
Я хотел бы петь уметь.

Ну, не то чтобы как Ланца —
Где уж нам до итальянцев, —
Но приятно и с теплом,
Под гитару, под окном.

Чтоб я мог отдаться мигу,
Слившись с затуханьем дня,
И чтоб ты, оставив книгу,
Тихо слушала меня.

27.05, 19.06.84

СТАРИК

В. Б. Шкловскому

Течет река. Растет трава.
Над ней летит
Обрыв.
На нем одна
Сквозит сосна,
А дальше —
перерыв.

С боков — лишь ветра синева,
Все рядом с ней — подрост.
Совсем одна, давно одна,
Живой в былое мост.

Туда, что было и ушло,
Растаяло, как дым.
...За чаем, в кухне, где тепло,
Со стариком сидим.

Но пахнет белый керосин,
Эпохи дух иной.
На кухне с ним прощался сын
Почти перед войной.

В его глазах стоит вода
И вековой покой.
Те, девяностые года,
До них подать рукой.

Там — у бушменов вновь война,
И Ливингстон пропал,
И эфиопский негус сам
В изгнание попал.

(Поправка: первого нашли,
До Конго он дошел.
Второй, пока депеши шли,
Вернулся на престол.)

Постройка храма. Наконец
И осетров везут.
И продается жеребец,
И дрожки, и хомут.

Быт тек российским сладким сном.
Ох, мелкая печать,
И различается с трудом,
И надо ль различать?

Как долговечен человек —
Как тот газетный лист.
Встречал двадцатый новый век
Веселый гимназист.

К нему принес я пыль газет
И их страниц печаль,
Что ничего того уж нет
И никому не жаль.

Не жалко было и тогда,
И скучно стало им.
...В восьмидесятые года
Со стариком сидим.

— «Бросали бомбы?» — «Да, бросал.
А может — лишь хотел.
Не все ль равно, с чего пошло,
С желаний или дел?..»

Статья, иль бомба, или стих,
А результат — один.
Все, все работало на них.
Все шло в котел один.

Все в нем кипели — все как есть...»
«Все?» — «Да. Казалось нам,
Культуру надо делать здесь,
Идти к большевикам.

И повязали всех одним
Теперь — уже навек...»
Со стариком вдвоем сидим,
И истекает век.

В его глазах стоит печаль
И стынет века взвесь.
И тех ему немного жаль,
Кто остается здесь.

20.01.84

Какие белые снега,
Какие мощные сугробы,
Как опушило берега!
И в сердце нет тоски и злобы.

И в этой чистой тишине
Россия заново родилась —
Иль это только в снежном сне
На миг почудилось, помстилось?..

19.02.85

Н. Бутаково

ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ

Замшели камни, и у льва
Крошатся лапы. Еще свиреп
Оскал зубов, но уж не так,
Не с тою мощию змию
К граниту он когтисто прижимает.
И трещина времен прошла
Чрез шею, грудь и сердце властелина.
И мудрый Эскулап
Все так же держит чашу,
В которую змия точит целебный яд.

Но уж и он устал, и посох его треснул,
И время
Вернее каменистых троп
Подошвы у сандалий изъязвило,
И Гигейя
Забыла руку на сосуде
Движеньем утомленным женским.

Но ты — но ты все та же.
Все так же голос твой смеется в телефоне,
И вижу: стройно ты стоишь
В кабинке душевной,
Движеньем легким и знакомым
Подносишь трубку
И говоришь
Со мною.

14.08.85. *Ессентуки*

Лежать во тьме, забыться,
Не думать и не спать,
И серые страницы
В сознании не листать.

О, проволоки строчек
В колючей высоте,
Удары черных точек
Как гвозди на кресте.

1986

Левобережная — Н. Бутаково

ОТШЕЛЬНИК

Топ. Топ. Топ. Топ.
Я несу тяжелый гроб.
Домовину я несу.
Я долбил ее в лесу.
Ее сделал я, как смог.
Приготовливая впрок.
Принести чтоб и посмотреть,
Как глядит простая смерть,
И ложиться каждый вечер,
Долбь чтоб чувствовали плечи.
Остальное — в руке Бога.
Ох, добраться б до порога,
Не издохнуть по пути.
Ох ты, Господи, прости.

26.06.86

НАДПИСИ

Сопроводительная надпись при вручении подарка

МАНЕ В ДЕНЬ ЕЕ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТИЯ

Когда вам восемнадцать лет
И все на вас глядят,
А вешалки все нет и нет
И мнется ваш наряд,

Наряд, что вами ж ночью шит
Под швейных скрип колес,
Наряд, что так на вас сидит,
Как на принцессе грез,

То с ситуацией такой
Мириться не с руки.
Возьмите вешалку рукой,
Снимите башмаки.

То есть не то хотел сказать,
Но рифмы липка сеть.
Вам лучше знать,
Что надо снять
И где чему висеть.

12.08.79

ПАСПОРТ К ЮВЕЛИРНОМУ ИЗДЕЛИЮ*(Цепочка из белого металла)*

И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.

Пушкин

Ах, вы цепи, мои цепи,
Вы железны сторожа...

Народная песня

...цепь великая

Распалась-расскочилась...

Некрасов

Ох, цепка-цепочка,
Белый металл.
Родилась дочка
В третий квартал.

Родилась в июле,
На Павла-Петра.
Ах, гуленьки-гули
Et cetera.

...В Италии мастер
Умел мастерить
Но лишь не цепочкину
Тонкую нить.

Вот годик проходит,
И Маня пошла.
Другой, и четвертый —
И книжку взяла.

Про цепь вокруг дуба
Смогла прочитать...

...В Италии мастер

Учился ковать.

— А кой тебе годик?

— Шестой миновал.

...А мастер-латынец
Ковал и ковал,
И было все толсто
Сперва у него —

Непросто, ребята,
Иметь мастерство.

А Маня меж тем
Все росла и росла,
Где толсто, где тонко,
Уже поняла,

Какие-то цепи
Мерещились ей,
Подземные крепи
И груды камней,

И сам перуанский
Глубокий рудник
В серебряном блеске
Пред нею возник.

Добыли индейцы
Аргентум-руды.
О, бывшие инки,
Где ваши следы?

А мастер знакомый
Копил мастерство,
Не так уже толсто
Все шло у него.

А Маша уж учит
Язык Беранже,
А Машина мама
В Италии уже.

И море сияет,
И скалы висят,
На всех итальянцах
Цепочки горят,

И сам Челентано
Стоит на скале:
— Парле итальяно?
— Конечно, парле.

Но маме не нужен
Залив и артист,
И мама сбегает
Стремительно вниз,

И видит в витринах
Груды цепей,
Но цепи такие
Не нравятся ей,
Поскольку те цепи
Не так уж тонки
Для Машиной шеи,
Для ейной руки.

Печальная мама
Вертает назад,
Ни Рим, ни Неаполь
Ее не манят⁹³.

Знакомец наш мастер
Меж тем не дремал
И цепи свои совершен-
ствовал.

И цепки тончали
У всех на глазах

⁹³ Вариант: На Рим и Неаполь
Не бросивши взгляд (прим. автора).

И в нить превращались,
В невидимый прах.

А Маша же наша
Росла и цвела,
Язык итальянский
Уже превзошла,

«Парле итальяно»,
Шептала порой...
А мастер все цепи
Ковал в мастерской.

И как-то в порыве
Такое сковал,
Что кто ни глядел —
Ничего не видал:

На солнце пылинки
Казались крупней.
И миллиардер
Засмеялся: «О'кей!

Я эту цепочку
У вас заберу,
Красавице-дочке
Ее подарю.

Красавице-дочке
Наскучил брильянт,
А также и прочий
Ее диамант.

Боа соболиный
Противен плечу.
Такую цепочку,
Рыдает, хочу.

Не нужен, рыдает,
Аграф и кольцо —
Цепочку одну
Подавайте мне.
Прискучила дочке
Жемчужная брошь —
Цепочку, цепочку
Ей вынь да положь!

Хочу ее вынуть,
Хочу положить.
Валюты не жаль мне,
Чтоб ей угодить».

Кузнец-пролетарий
Сказал ему: «Но!
С цепочкою этой
Давно решено:

Цепочка поедет
В страну СССР
И там же украсит
Один экстерьер.

Там девушка Маша,
Учась в МГУ,
В цепочке резвиться
Пойдет на лугу».

И мастер пинцетом
Цепочку берет,
И тонким ланцетом
Под марку сует.

Цепочка под маркой
Совсем не видна,
Таможня спокойна,
Спокойна она.

Так вот до чего
Он довел мастерство.
Учитесь, ребята,
Всегда у него!

11 июля 1982 г.

НАДПИСИ НА КНИГЕ «МИР ЧЕХОВА»

В. Б. К.

Этот мира необычаен.
Ты считаешь — не случаен,
Я считаю — даже очень,
Тысчекрасочен и сочен,
И движенье этих соков
Не узреет наше око.
Скучен, сух детерминизм,
Как учебный реализм.
Но одно здесь не случайно,
Не спонтанно, не нечаяно,
А весьма закономерно,
Предсказуемо и верно,
Что мой первый адресат —
Ты, соратник и собрат.

* * *

Н. А. Подорольскому
Январь 1960 — февраль 1987

Как все было снежно–недавно...
С десятков газетных витрин
Бессмертно, печально и славно
Смотрел в нас писатель один.
Вступал во второе столетье
Нетленного он бытия.
Тот год вам сулил многолетье —
Вы были моложе, чем я.

Еще не написаны книги,
Все было еще впереди.
Те снежно-январские миги
Дрожат и не гаснут в груди.

* * *

З. С. П.

О, дорогой З. С., поверьте
От самой юности до смерти
Он серых одеял
Не обличал.
Отдав Потапенке подобные трюизмы
Не видел в быте страшные трагизмы,
Не ратовал за тайну переписки,
Любил и осетрину, и сосиски,
Любил и из крыжовника варенье,
И не любил он слова «обличенье».
И Вас любя, мне «где-то» так печально
Здесь быть от Вас — диаметрально.

* * *

Э. А. П.

Как только вышла в свет ПЧ,
Сочли: не в том она ключе.
Хоть я не стал моложе,
С ключом, боюсь, все то же.

* * *

Г. И. Г.

15 лет тому назад
Твой друг в «Науке» был издат.
Потом, хотя и не старался,
Он до Ann Arbor'a поднялся.

В таких высотах, ясно, брате,
Все эти книги были gratis.
Ликуй, мой друг-заимодавец:
За эту книгу был аванец!
И вскоре — сразу успокою —
Возможно, будет остальное.

* * *

В. Е. и В. Е.

Коли писать лет шестьдесят,
Всю жизнь отдав свою,
То удостоишься в конце
У Вити интервью.
То славы всякой апогей,
Литературный факт.
Примите, други, томик сей
Любви и дружбы акт.

* * *

И. Б. Р.

Да примите, Ира,
Чеховского мира
Этот слепок бледный,
Этот абрис бедный.
Я не прибедняюсь
И во всю стараюсь —
Я придумал сферы,
Я предпринял меры,
Изучил всю прессу,
Двинск и Дерпт, Одессу,
Вятку, Оренбург,
Екатеринбург,
Оршу, Белосток
И Владивосток,
Ашхабад, Тифлис,

Почти что Танаис,
И тогда я понял:
Не возьмешь в ладони
Мир, что так устроен,
Яблоко простое, —
Будет слепок бедный,
Будет абрис бледный.

10.02.87

На статье «Предметный мир литературы»

Предметный мир
Не миф, но быть,
Посуда, магазин и пыль,
И запоздавшее белье,
И тараканное зверье.
Не спи,
 солдат,
Терпи,
 солдат,
Нигде нас

не вознаградят.

Одинокому бойцу с ПМ Е.Т.

1986

АПОЛОГИ

ТАКОВЫХ НЕ ОКАЗАЛОСЬ

МАДРИГАЛЫ

НАШЕЛСЯ ОДИН, НО ПЛОХОЙ

ПАРОДИИ ЭПИГРАММЫ, МЕЛОЧИ

РОССИЯ, НИЩАЯ РОССИЯ

(Страницы современной лирики. А. Прасолов, Н. Рубцов, Вл. Соколов, А. Жигулин, Г. Горбовский, Ст. Куняев, А. Передреев, В. Казанцев, О. Чухонцев, Э. Балашов, Ю. Кузнецов. — Сост.: В. Кожин. — М., 1980.)

I

Чухонцы тоже белобрысы,
Но им невнятен русский стих.

Вл. Соловьев

Их бабушки были бурятки
И в нетях их были отцы.
Играли в чухонские прятки
Нарымские эти юнцы.

К зырянам не явится Тютчев,
Зыряне к нам сами придут
И желтою кровью лесною
Сквозь снег до корней протекут.

Живала словесность в ночлежках,
Гремел по журналам босяк.
И ныне считают прилежно:
Бродяга, бетонщик, батрак.

И пухлый поэт краснолицый,
Воспевший рабочий клозет,
Брезгливо протянет страницы:
— У вас биографии нет.

Опишем деревню и лунность,
В альбоме увиденный скит.
Стряхнем с ног советскую юность.
Удастся ль? Поэзия мстит.

II

Здесь густо солят, густо перчат.

Е. Винокуров

О чем шумим, народные витии?
О чем хотим поведать мы России?
Изобразим, картошку как сажали...
Копали, тяпали — еще строка.
Внимательно мы в детстве прочитали
Советского поэта Маршака.

Педтехникум — их геттингены.
Лицей — вологодский детдом.
Их коми-пермяцкие гены
Нас судят шаманским судом.

Те Библию в 30 открыли,
Прочли про воззренья славян,
А в 40 узнали, что были
И скиф, и хазарский каган.

И череп, и крест, и молитву —
Все в общую кучу одну.
И Куликовскую битву —
По С. Бородину...

Отчизна. Засеки, предгорья.
Татары, колхозы, шоссе.
Российская наша история
Лежишь ты не в БСЭ.

С кнутом босиком по росе я
Побегав, все стал постигать.

Доколе, доколе, Расея,
Тебе все с нуля начинать?

III

Русский русскому не скажет:
«Здравствуй, русский, здравствуй, брат».

Из журнала 1930-х годов

«Я снова русской осенью дышу»,
«Благословенна русская телега»,
Я русский огонек в душе ношу,
Добрался я до русского ночлега.

А если явилось имя Придача
Иль-Боже-Углянец нежданно возник —
Какая находка, какая удача!
Название, как сивка, вывозит весь стих.

Все уже было. Слово кутали
В тряпье родное, сволоча с небес.
И называли, чтоб не путали,
Большие книги: «Русский лес».

Все это было, было, было.
Нам говорили: все про вас.
И в заверенье получили
На штоф нашлепку: «Русский квас».

Отец, позаботься о сыне,
Лишь гул — ни начал, ни концов,
Россия, ужель на вершине
Воронежский прасол Кольцов?

«Околица родная, что случилось?»
Окраина и вязкий чернозем.
Что с русским словом ныне получилось?
Околицею медленно бредем.

Вяче. Всево. Иванов
**Очерки по истории самозарождения семиотики
в Атлантиде и СССР**

Введение

В настоящей книге освещаются лишь некоторые научные направления, слияние, объединение, союз и симбиоз которых привел к созданию современной науки о знаковых системах.

Первостепенное значение здесь имеют работы Бахтина, изданные за 41 год до Бенвениста, Филиппа Почтарева, написанные за 104 года до Шлегеля-младшего, Австралия Фермопилова, на 427 лет предварившие труды Леви-Стросса, Авраамия Палицына, 666 лет назад высказавшего мысли, предвосхитившие идеи Греймаса, а также труды друга Эйзенштейна Выготского, сочувственницы Марра О. Фрейденберг и безымянного спутника прогулок одного из основателей гештальтпсихологии Кёллера, который за 9 месяцев до выхода в свет указанных работ совершенно самостоятельно пришел к аналогичным выводам.

Глава I. В предсмертных и посмертных своих работах Эйзенштейн с присущей ему провиденциальной и пророческой прозорливостью предвидел *все* основные идеи *всех* современных наук.

Мысль Эйзенштейна об убийстве внутри наглухо закрытого помещения, сходная со схемой мифа о Минотавре, имеет решающее значение для современных методов лечения клаустрофобии. В терминах гельминтологии это могло бы быть представлено как движение аскариды в относительно замкнутом пространстве кишечника; анальный финал нормален для личинки и трагично аномален для взрослой особи аскариды. (Аналогично у других трематодов. — См.: Скрябин, 1958.) Ср. также у особи из *insecta*, открытой проф. С. Аверинцевым — *Averinicimus*. Любопытно сопоставить с этим труды его сына С. С. Аверинцева по поэтике византийской литературы. Ср. у Эйзенштейна (*Grundprobl. und Prolegomena*, «*Zeitschrift für allgemeine Ästhetik, Physik, Psychologie* и *s.w.*») биологическую аналогию художественного произведения с организмом животных, у которых скелет может выноситься наружу. Это удивительно близко к отнесению от тела языка у хамелеона (*Chamaeleontidae*) — иногда на очень значительное расстояние. Ср. также отделение от тела шинели в рассказе Чехова «Хамелеон», изоморфные вынесению же вперед укушенного собакой пальца второго героя (функция отторжения по Леви-Стросу).

В анализе ритуальных действий древних инков в неоконченных карандашных набросках к предварительному замыслу задуманного конспекта плана фильма «Vivat Amasonia» Эйзенштейн предугадал ритуал показа летчика самолета Миг-2 советскому дипломатическому корпусу в Японии на расстоянии (знаковый характер такого показа детерминирован традиционными сценическими представлениями японцев — ср. театр «Кабуки»; ср. также проход тени отца Гамлета и проход упомянутой выше личинки *askaridas vulgaris* через anus субъекта и объекта аскаридоза. Ср. у Маяковского: «Как прошли Азорские острова»).

Глава II. Для выяснения ритуальных и мифологических истоков категорий верх — низ⁹⁴, сырое — вареное существенна оппозиция белый верх — черный низ в советской пионерской форме (см. пионерские исследования в этой области Ти Эс Элиота), а также отсутствие оппозиции сырое — вареное в продукции советских столовых 70-х годов, восходящее к смешению категорий «кипяченое — сырое» в начале 30-х гг. (ср. сцену долива сырой воды в самовар в романе «Мастер и Маргарита»); впрочем наличие этой оппозиции предвосхитил Маяковский в известных строках: «Певец кипяченой и ярый враг воды сырой», близких к этому времени хронологически. Формулировка же Маяковского о добыче грамма поэзии опережала современную рудно-обоганительную теорию, пришедшую к этим идеям лишь в 70-е гг. XX в. — имеется в виду прежде всего предложение Канады покупать уже использованные рудные отвалы Норильских рудников. С этим сопоставимы приемы восточной порошковой металлургии и золотодобычи древних инков (Завенягин, 1932; Бардин, 1952; Кноров, 1958; Топоров, 1972).

Роль оппозиции верх — низ приобретает особый смысл в связи с проблемой верблюдоводства в странах арабского Халифата. Любопытна с этой точки зрения деятельность выдающегося средневекового арабского биолога и ветеринара Ибн Абенд-Хунд-Мунда, за 1000 лет до нас (или, как сказал бы Диллан Томас, Сахару тому назад) предсказавшего современный верблюдоводческий взрыв в Австралии.

Глава III. Соотношение ритма и метра можно сопоставить с выводимым геометризмом паутины крестовика обыкновенного (*Araneus*

⁹⁴ Интересно совпадение с выражением «ходить на низ», широко употреблявшееся в терапевтической школе Захарьина, как широко известно, противостоящей в своих основных диагностических принципах школе Боткина (прим. автора).

diadematus) и реально сотканной паутины; близость к этим идеям обнаруживают высказывания В.Набокова в его ранних биологических работах; ср. также известные труды прочих мирмекологов, герпетологов, таксидермистов и т. п. Ср. также комментарии Набокова к «Евгению Онегину». Вообще, описание этого романа в терминах гляциологии и одонтологии, к сожалению, не знакомых филологам, могло бы вскрыть важнейшие стороны поэтики Пушкина.

Чрезвычайно важен семиотический анализ обрезания, инцеста, инициации и инсинуации. Семиотическое исследование всех важнейших систем моделирования позволяет нам сделать выводы социологические, психоаналитические, топологические, мирмекологические, аналогические, сексологические, спелеологические; такое исследование отвечает, предваряет и предвосхищает.

1976

АПОСТОЛ НАТАН (Вариант: НАМЬЛЕДЙЭ) (серия ЖЗЛ)

Аннотация на задней крышке переплета: Как и герой предлагаемой книги, ее автор является противником беллетризованных биографий и опирается на одни только документы.

Апрель 1930 года. Напряженная международная обстановка. Американские империалисты, английские колониалисты и поднимающие головы немецкие милитаристы (сокращая раздел о Клаузевице, Мольтке и Гинденбурге).

Но в стране кипит культурная жизнь (цитаты из хроники «Культурная жизнь СССР»).

Итак, 1930 год. Прошел всего один год с того дня, как вышел сборник статей Бориса Львовича Модзалевского, и еще пять лет было до выхода «Пушкинологических этюдов» Николая Осиповича Лернера, шел всего 15-й год с того момента, как Сергея Михайловича Бонди начали уговаривать писать книгу о Пушкине; Александр Зиновьевич Крейн успешно заканчивал начальную школу и до открытия музея Пушкина в Москве было еще более четверти века! Всего 5 лет в обращении находилась книга Петра Ивановича Бартенева «Рассказы о Пушкине», которую затем так полюбит пионер Тоник, того самого Бартенева, который на открытии памятника Пушкину в Москве всего за 50 лет до того поднял тост за семью поэта — любопытно, что высочайшим приказом генерал-майор Александр Александрович Пушкин получил этот чин в том же 1880 году (потом он станет генералом от кавалерии, а его внуки и правнуки будут, напротив, в пехоте и даже авиации), А. А. Пушкин, на открытие памятника приехавший из г. Козлова Тамбовской губернии, где дислоцировался 13-й Нарвский гусарский полк, сформированный еще при Петре I и в 1709 г. штурмовавший Выборг, Кексгольм, Егерсдорф и Гельсингфорс — тот самый Гельсингфорс, в котором через 143 года состоятся первые послевоенные Олимпийские игры, возобновленные в 1896 г., после 2000-летнего перерыва Пьером де Кубертенем, и которые мы ждем сейчас в Москве — бывают странные сближенья!

1930 год! За 119 лет и два месяца до того, на рассвете июльского дня из Москвы выехала карета, в которой вместе с дядей сидел кудрявый отрок — выехала карета, чтобы заночевать в пути, затем проехать еще сутки, опять заночевать и на третий день к вечеру успеть в столичный город Санкт-Петербург. Через сорок лет, по железной дороге, уже ездили быстрее, пройдет еще 90 лет, и Н. Я. Эйдельман будет долетать за несколько часов до Иркутска, того самого Иркутска, от которого всего в 18 верстах почти полтора века назад жил Лунин, и от коего не так уж далеко до Антарктиды, которой не было еще на лицейской карте, где и Сахалин еще не остров, той карте, которую любил рассматривать Дельвиг, тот самый Сахалин, на который через 79 лет поедет другой Антон, не Дельвиг, — он родится, когда Дельвига уже почти три десятилетия не будет в живых. И тот, другой Антон, напишет, что, проехав всю Сибирь на лошадях, он целый месяц видел солнце с восхода до заката, а друг того, другого Антона, по прозвищу Мясожоров, еще раньше напишет:

Блеснул на западе румяный царь природы...

А этот, другой Антон, посетит остров Сахалин и порт Корсаков (Корса́ков), а под № 13 в Лицее жил Корсаков, музыкант — родственник композитора... Интересно, что основателем русской психиатрии был тоже Корсаков — бывают странные сближенья!

Итак, 1930 год... Но время мое истекло, и о дальнейших годах юбиляра я резервирую за собою право сказать на следующем его юбилее, в 1990 году⁹⁵, до которого не так уж и далеко!

*(Прочитано в Музее Пушкина на 50-летию
Н. Эйдельмана в апреле 1980 г.)*

⁹⁵ Рядом с этой датой рукою автора карандашом позже приписано: «Увы». (Н. Эйдельман скончался 29 ноября 1989 года).

Е. Тоддес

О записях Тынянова в связи с конспектами черновиков его замыслов незавершенных произведений.
(Доклад на I Тыняновских чтениях.)

Тынянов не завершал свои знаменитые произведения, как обычно считается, а оставлял их незаконченными по причинам как внешним, так и внутренним; о тех и других я говорить не буду, хотя так и принято считать.

Вопреки тому, как принято думать, у него были знаменитые списки ненаписанных знаменитых произведений, которые я прочту, если найду соответствующий листок, а если не найду, воспроизведу по памяти.

В этом знаменитом списке значится знаменитый рассказ о рыжем Мотеле, хотя об этом и не принято думать. У рыжего Мотеле была бабушка, которая водила Тынянова — он здесь выступает от лица «я» — в синагогу. Тут возникал интерес Тынянова к Востоку — Восток есть Восток, — как, впрочем, и к Западу — Запад есть Запад. Он был русским на Западе, точнее, не совсем русским и, точнее, не совсем на Западе, и даже совсем не на Западе. Отсюда его знаменитый интерес к Персии, вопреки тому, о чем принято не думать, а также пропасть между наукой и литературой, которую он всячески стремился перешагнуть, для чего написал знаменитую статью «Как мы пишем», хотя об этом и не принято писать.

ЖИЛИ-БЫЛИ...

Жил на свете поэт Мандельштам.
Был любитель большой анаграмм.
А позднее лингвист Иванов
Произвел им научный подков.

* * *

Жил Иона — сама простота,
Он попал как-то в чрево кита.
Но на «Славе» был кит рассечен
И Иона на свет извлечен.

* * *

Жил на свете Егор-богатырь.
Он случайно наткнулся на штырь.
Бедолага весь кровью истек,
Но Егору никто не помог.

* * *

Жил на свете казак Емельян.
Он с утра и до ночи был пьян.
А однажды, когда отрезвел,
То себя уж на плахе узрел.

* * *

Жил да был покоритель Ермак.
Выпить тоже он был не дурак.
Но презренный тать-ворог Кучум
Хладной ванной наставил на ум.

* * *

Жил на свете наладчик Игнат.
И не сват он мне был и не брат,
Но любил я его всей душой
За его произрайльский настрой.

* * *

Жил на свете философ Коген,
Изучал философию дзен.
Пастернака туда приплетя,
Л. С. Флейшман рыдал, как дитя.

* * *

Жил в Калуге глухой Константин.
Не любил он полей и равнин.
Удивлялся калужский раввин,
Что лишь звезды любил Константин.

* * *

Были, нет ли Перун и Велес,
Было то тыщу лет — темный лес.
Но пришли Иванов — Топоров
И сорвали мистицкий покров.

* * *

Жил в Саратове Хряпов-мясник,
Был то с нежной душою старик.
И на бойне он вынести не мог
Вместо обуха электроток.

* * *

Жил на свете Федот-золотарь.
Его хобби был рижский янтарь.
И в пахучей спецовке своей
Он бродил у балтийских зыбей.

* * *

Жил философ Жантиев Отар.
Он Юркевича как-то читал.
Удивлялся философ тому,
Что Н. Бельтов понятней ему.

Из двестиший

Я видел пьяного туркмена.
Но лучше пьянство, чем измена.

* * *

Знавал я глупого декана,
Но водку пил он — из стакана.

* * *

Есть молодые генералы,
Но канты брюк их также алы.

* * *

Бывают скульпторы болваны,
Притом, однако ж, бонвиваны.

* * *

На свете много есть чего.
И я не знаю, что с того.

1979

Из «Полосатой поэмы»

Только версты полосаты
Попадаются одне.

Пушкин

Ну и цаца, ну и цаца
Полосатее матраца.

Современный фольклор

Только не сжата полоска одна.

Некрасов

Вступление в поэму

Полоску одну лишь
Некрасов воспел,
Но все остальные,
Увы, не успел.

И мы на себя
Эту смелость берем
Восполнить пробелы
Хоть слабым пером.

Глава первая

Прекрасны полоски
На взморьевском дне.
Красивы полоски
На зебрской спине.

Забавны еще
Полосатый матрас
И роба в полоску —
Когда не на вас,

Заметен в тельняшке
На мачте матрос.

Метисы в полоску
Приятны до слез.
А кит-полосатик
В гренладских морях
Внушает сомненье,
Почтенье и страх.

Прекрасен средь джунглей
Крадущийся тигр.
Алеют полосы
Рискованных игр —

О эти следочки
Тех памятных травм...
Пронзает до дна
Полосатый шлагбавм.

Красив и старинный
В полоску сундук,
Внезапных пропорций
Лесной бурундук.

Упрут и хрустящ
Полосатый арбуз,
И матовый хрящ
По структуре, на вкус.

А кот камышовый,
Хотя и усат,
Но тоже отчасти,
Слегка полосат.

Газетные полосы
В мире пестрят,
И пестрые волосы
Дыбом стоят.

Узрев на асфальте
Полос переход,

Мы мчимся. Куда?..
Уж никто не поймет.

Не помнит никто
Средь градской суеты
Зари полосатой
Тона и черты,

Не знает прохлады
Сверкающих рос,
В зеленых лугах
Полосатый прокос,

Где шмель полосатый,
Как поезд, гудит,
И толстым мохнатым
Брюшком шевелит. <...>

1983, июнь, Паланга

Я бегу. Болит спина.
Если только бы она!
Дальше что? Вертлюг. Еще?
Выше — левое плечо.
В центре — шеи позвонки,
Вбок — суставы у руки.
Ниже — если по порядку —
Отдает жестоко в пятку,
И бегу я через лес,
Как под Троей Ахиллес.
Я бегу. Скрипит вертлюг.
Все исчислить — недосуг.

Лето 1985

Примечания Мариэтты Чудаковой

В. Б. К. — Владимир Борисович Катаев — литературовед, чеховед. После годичного академического отпуска, взятого по болезни на 4-м курсе, Чудаков кончал университет со следующим курсом — вместе с В. Катаевым (отсюда и «собрат»); товарищеские отношения складывались поверх того, что их разделяло — мировоззренчески (К. был, например, членом КПСС, о чем Ч. не мог помыслить и в страшном сне) и научно.

З. С. П. — Зиновий Самойлович Паперный.

Э. А. П. — Эмма Артемьевна Полоцкая; «ПЧ» в надписи — «Поэтика Чехова».

Сочетание неприкрытой полемичности и в то же время дружелюбности трех надписей коллегам было обусловлена особенностями личности Ч. — очень доброжелательного и очень терпимого (конечно, и добрыми личными свойствами его коллег); попробуем кратко их прокомментировать.

Ч. был глубоко удручен, когда Э. Полоцкая, всегда тепло относившаяся к младшему коллеге, опубликовала в «Вопросах литературы» хвалебную рецензию на Г. Бердникова, громившего непосредственно из своего цекистского кабинета (он был зам. заведующего Отделом культуры ЦК КПСС) «Поэтику Чехова» и ставшего вскоре директором ИМЛИ (где служили и Полоцкая, и Чудаков). Отсюда — редкая для Ч. тональность надписи, вполне адекватно отразившая негибкую твердость в отстаивании своих научных убеждений, резко контрастировавшую с неизменной неллицемерной мягкостью в общении.

Со всеми тремя чеховедами, которым Ч. подписывал свою книгу, у него были искренне-дружеские отношения, с Паперным — особенно теплые (З. С. несколько раз ходил с нами в байдарочные походы, что для понимающих людей говорит само за себя). Но все они не приняли его первую книгу — новаторскую «Поэтику Чехова» (1971) с открытым в ней принципом *случайности*, опровергающим ходячее представление о детерминированности каждой чеховской детали (см. надпись В. Б. К.), все трое в той или иной степени продолжали традиционное чеховедение. И после того, как Чудакову спустя много лет после статьи Бердникова (см. в «Биографии») удалось вновь вернуться в советскую печать со своими чеховедческими штудиями, он полемизировал с ними в своей второй книге о Чехове. Приведем полемику с З. С. П. в книге, которую автор ему дарил (не скрывая «диаметральной» противоположности их историко-литературных оценок):

«...В “Учителе словесности” «каждый эпизод, сценка строятся на контрастном столкновении душевного мира героя, влюбленного Никитина, и — грубой, пошлой действительности. <...> Все время — что бы ни сделал, ни подумал, ни почувствовал герой — ему отвечает громкое, троекратное, как “ура”, хамство окружающей жизни. <...> Венчание Никитина и Манюси перебивается суровым голосом протоиерея “Не ходите по церкви и не шумите”»⁹⁶.

Но, прочитав текст рассказа, мы увидим, что никакого контраста все эти детали не выражают, и об этом прямо сказано: «Никитину, с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад, и вечерний чай, и даже слово “хамство”, которое любил часто произносить старик». Слова же протоиерея — часть той атмосферы в церкви, которая Никитина «трогала до слез, наполняла торжеством»⁹⁷.

Н. А. Подорольский (1899—1988) — журналист, литератор, в 1921 году работавший корректором в одесской газете «Моряк»; в 1926 году на три года сослан в Вятскую губернию, 25 июня 1941 арестован, отсидел за «антисоветскую агитацию» 10 лет; со второй половины 50-х гг. углубился в изучение творчества Чехова и его брата Николая (сын П. — А. Н. Подорольский — лучший знаток творчества Н. П. Чехова, собиратель материалов о нем) — и стал коллегой Ч., охотно делившимся с ним своими маленькими открытиями.

По словам Ч., Подорольский скрывал свой почтенный возраст (в нашей стране для этого всегда есть причины); отсюда, возможно, слова в надписи в феврале 1987 года, когда Чудакову исполнилось 49 лет, про январь 1960-го года, когда отмечалось 100-летие Чехова, а Подорольскому шел 62-й год: «...Вы были моложе, чем я» (т. е. — чем я сегодня). Не исключено и иное толкование, льстившее адресату, всегда молодова и бодро выглядевшему.

Г. И. Г. — Геннадий Ильич Гаев, переводчик с немецкого, школьный приятель М. О. Чудаковой, ставший близким приятелем и безотказным кредитором А. Чудакова (надобность в кредитах, увы, не исчезла до его последних дней).

⁹⁶ Паперный З. С. Записные книжки Чехова. М., 1976. С. 114—115.

⁹⁷ Чудаков А. П. Мир Чехова: возникновение и утверждение. М., 1986. С. 209.

В надписи — ссылка на «нелегальное» и безгонорарное (как и в отечестве) издание «Поэтики Чехова» в США (в переводе на английский), о котором автора только уведомили.

В. Е. и В. Е. — писателю Виктору Ерофееву и его тогдашней жене.

И. Б. Р. — Ирина Бенционовна Роднянская, замечательный литературный критик, исследователь русской литературы и философии; дружеские отношения с ней завязались в конце 60-х годов.

Надпись на статье «Предметный мир литературы» **Одинокому бойцу с ПМ** [предметным миром] **Е. Т.** — коллега, соавтор и близкий друг А. и М. Чудаковых Евгений Абрамович Тоддес; Чудаков сочувствовал его ежедневной холостяцкой «борьбе с бытом».

Когда я пишу

He говорю: наука
И абыр солен работ.
Все зо утасная сучка
Тоска повторение задат.

А прощо слышите: похороны
Сгорел он ушел и конань
И был человек он дожил
Мой отец делено марду. 3/III-25.

ИНСКРИПТЫ

А. Л. Осповату

На книге «Мир Чехова: возникновение и утверждение» (М., Советский писатель, 1986):

Коль сразу исключить «vivat»,
Классическое «осповат»
И диссидентское «права»,
То, лишь надеясь на везенье,
В процессе стихосотворенья,
К фамилии Вашей подыскать
Возможно рифму на *-оват*.
Но таковой не отыскав,
Задавленный, как батискаф,
Всей толщей звуков и корней,
Преподаю все ж труд Вам сей.

Дорогому Саше Осповату с лучшими
пожеланиями в сдаванке и прочей жизни.

А. Чудаков 6.2.87.

На книге «А. П. Чудаков. Антон Павлович Чехов: Книга для учащихся» (М., Просвещение, 1987):

Мужайтесь, боритесь, о храбрые друзья,
Займу еще раз ваши я недосуги.
И коль про поэтов писать нам судьба —
Не сильно глухие пусть будут гроба.

Дорогому Саше Осповату

от автора

А. Чудаков

3. 7. 87.

На книге «Чехов в Таганроге» (М., Правда, 1987):

Тот, кто между копыт его стоял,
Тому, кто про копыта написал.
Дорогому Саше Осповату:

Найдете здесь мальвазию, висант.
Про горькую — увы! Нужон талант.
Чем долее во днях я продвигаюсь,
Тем более той мыслью проникаюсь.
Коль наберетесь Вы терпенья,
В напитках наше расхождение
С годами сгладится на нет.
Биографический привет.

А. Чудаков

2.4.87.

На книге «Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских классиков» (М., Современный писатель, 1992):

Что слово? А что вещь? И мир?
Все тянет рифмовать с «сортир».
Но убегу сего соблазна
Из опасения-боязни,
Что том поедет в Анджелес —
Страну морских соленых слез*.

Дорогому Саше Осповату от шкипера-пирата
[здесь идет стрелка к фотографии на контр-тителе]

*Естественно, романтических.

На книге «Ложится мгла на старые ступени» (М., Олма-пресс, 2001):

В далёко-душном Анжелесе
Прочтете Вы о русском лесе,
Про псов, верблюдов, лошадей.
Отчасти, впрочем, про людей.
О них сложнее, чем о лесе —
Боюсь, что и

в Лос-Анжелесе.

Дорогому Саше Осповату
от сочинителя.

2.1. 2002

в Москве

А. С. Немзеру

На книге «Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских классиков» (М.: Современный писатель, 1992):

Дорогому Андрею Немзеру —

Бель летр — в Лету, знать, за ней

Исчезла критика — туда же.

Один Андрей, один Андрей

Покритикует и расскажет.

А. Чудаков. апр. 93

На книге «Ложится мгла на старые ступени» (М., Олма-пресс, 2001):

Дорогому Андрею Немзеру

— автору самых точных слов

об этом сочинении —

с пожеланием счастья

А. Чудаков

1/XII — 2001

С. Г. Бочарову

На книге «Мир Чехова: возникновение и утверждение» (М., Советский писатель, 1986):

Сергею Георгиевичу Бочарову с любовью.

Ах, Сережа, ах, Сережа,

Почему мы непохожи?

Я б хотел быть так же ровен

И в походке так легок,

Не озабоченно-спокоен,

Как под пеплом уголек.

А. Чудаков

5.2.87.

На книге «Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого: Очерки поэтики русских классиков» (М., Современный писатель, 1992):

Дорогому Сергею Бочарову —

Ах, Сережа, ах, Сережа,
Может, все же мы похожи?
Сборник — ты, и сборник — я:
Общность явно явная.
Нет, моя попроще пьеса:
Нету в ей про Сервантеса.

...

По капле капля каплют годы
В филологические воды.
Посильно каплем в сей бассейн —
И наплевать, что есть Хусейн.

15/V — 93 г.

А.Чудаков

Беляево

Записка, переданная на чеховской конференции в Генуе в ноябре 2004:

Это эпитафия:

1) Welte Seele

2) Я пролетарская пушка, стреляю туда и сюда (Д. Бедный?)

Дорогой Сережа,

твой доклад прекрасен. Чеховед, нечеховед — какая реникса.

Внутренне философ или нет — важно только это.

Кто имеет в голове
Не одну мысль и не две,
Ну а целый их клубок —
Только тот все это смог,
Никогда о нем не пиша,
Объяснить: мировая душа
Это то, о чем Шеллинг писал

И о чем Мережковский мечтал.
 Чехов мыслил туда и сюда,
 Но мы точно не знаем — куда...
 Это странный мистицкий плакон,
 А что в нем — это знал только он...

А. Ч., в Генуе 12.11.04

Е. А. Тоддесу

На книге «Ложится мгла на старые ступени» (М., Олма-пресс, 2001):

«Писать! Писать!» И я писал,
 У океана, диких скал,
 Под пальмой, в стойле черепах
 В молочно-липких облаках.
 Зрели Манила и Тайланд,
 Как я писал про Vaterland,
 Про псов, верблюдов и псарей
 Спеша закончить поскорей.
 Коль Вы б устали повторять:
 «Писать-писать-писать-писать», —
 Меня бы «Олме» не видать!

Жене Тоддесу для внутреннего употребления в 7 утра
 А. Чудаков. 12.12.2001.

[Активное поощрение (при первых же авторских читках начальных глав) к писанию в избранном автором ключе было для А. Ч. значимым и стимулирующим.]

Упоминание о 7-ми утра — ироническое: Е. А. ложился на рассвете и поздно вставал. — Примечание М. Ч.]

Душа Среда, ^{это мироздание} Welte Seele...
 Говорил прекрасен. Любовь, нежность
 бед-каная ренессанс. Внутренне душа
 содр или нег-ванито только дура.

Кто ищет в шлове
 не одну масть и не две,
 Ну а человек их клубок —
 Только тот все это знает,
 Никогда о ~~любви~~ ^{неме} не ниша,
 Объявлять: Мирная душа
 Это то, о чем Шелли писал
 и о чем Мережковский писал.
 Любовь ласкает гудя и слова
 Но мы плохо знаем — куда...
 Это странная месячная пляска,
 А это в ней — это знает только она...

А. Ч., в Тельче 12.11.04.

СЕМЕЙНЫЕ ОДЫ⁹⁸

Дорогой маме в день рождения

Два Айболита

(паспорт к художественному изделию «Шкатулка резная»)

Наша мама мастерица,
Это знает целый свет.
И уменью нет границы,
Мастерству предела нет.

Если ваши все носки
Разодрались на клочки,
Если вашим же штанам
Не прикрыть и стыд, и срам,

А рубашки все от носки
Расползлись на полоски,
Если наступил момент,
Простыня уже из лент,

А сквозь наволочки ухо
Кажет серый цвет подуха,
А про ваш пиджак давно
Надо вам сказать... — (очень хороший пиджак!)

Ну, а ваши же трусы
Не прибавят вам красы, —
Всё исправит, зачинит
Наш одёжный Айболит!

И зашьёт она штаны —
Будут той же ширины,
И заштопает носки,
К пиджаку найдёт куски,

⁹⁸ Публ. Н. П. Самойловой.

Станут мерзкие трусы
Потрясающей красоты,
А тельняшка, словно зебра,
Вам прикроет мощны ребра,

А пиджак — ноблесс облич! —
Хоть сейчас езжай в Париж!

Всё прекрасно. Но одно
Всё ещё не решено:

Для изящной этой штопки
Нужны разные коробки,
А для всяких лоскутов
Не хватает ей мешков.

Хороша цветная нить,
Но и ту где же хранить?
А иголка, хоть мала —
Тоже требует угла.

В острый вещный тот момент
Пригодится сей презент.
Можно выкинуть коробки,
Где хранилось всё для штопки,

Можно выбросить мешки,
Где хранились лоскутки,
Заодно уж на помойку
Все пакеты с разной кройкой,
И корзины, саквояжи,
Чемоданы можно даже —

Всё вместится в ein Moment
В поместительный презент!

Всё на свете застрочит
Мама, вещный Айболит!

Маме

Родилась девчонка
В обычной семье
На хлебной и тёплой
Укра-инé.

Семейка обычна
На русский манер:
Складовские, Длуские
Мервиль де Сенклер.

Но время течёт,
Как воды реки,
Уже на Украине
Большевики.
Исчезло и сало,
А вскоре и хлеб.
И життя дитячья
Уж в руце судеб.

И Ольга Петровна
Картошку варит,
И лепит котлеты,
На рынок тащит.

И дети все живы,
И учатся все,
И младшая — Женя
В девичьей красе.

— Хочу я в химички!
Подайте мне бром!
Сбегу тёмной ночью —
Учтите добром!

Хочу я азоту!
Хочу водород,

А уж H₂O
Через жизнь всю пройдёт.

(страница утеряна)

...Но дело второе
На подвиг зовёт.
И вот уж в пелёнках
Громко орёт:

— Подайте мне серы!
Хочу водород! —
И химия в жилах
Ребёнка течёт.

А тут уже внуки
И правнуки есть...
Хорошее дело,
Высокая честь.

Кто землю оставил,
Пошёл воевать,
Чтоб внуком и правнуком
Всё заполнять?

И вот они все здесь
За этим столом.
Под мамы — прабабы
Нежным крылом!

28.04.1996

Ода⁹⁹

17.X. — 92

Эх, Наталья, эх, Наталья...

х х х

Натали, Натали...

Соврем. бард. песня

х х х

Прославилась Наташа!

И вся тут песня наша.

А. Пушкин

Зачем мы собрались
 И съехались здесь?
 А то, что узнали
 Мы радостну весть —

Одна из достойных
 В се дни родилась,
 Меж всеми меж нами
 Устроивши связь.

Мы разные люди
 И разню живём,
 Паяем и режем,
 И пишем и шьём.

Мы вырежем гланды
 И в анус нальём.
 Мы все здесь всё можем,
 Кто ест за столом.

Покрасим, спаяем,
 Засудим, зашьём,

⁹⁹ Ода на 50-летие сестры — Н. П. Самойловой. Среди собравшихся за столом — химики (в том числе Е. Л. Савицкая и Н. Самойлова — специалист по красителям), юристы, хирург-отоляринголог, одновременно — мастерицы и умельцы на все руки (прим. М. Ч.).

Потом оправдаем —
И снова нальём.

Ведь мы здесь собрались
Не резать, не шить,
Мы здесь съединились,
Чтоб снова налить

И выпить за ту,
Что вот-вот родилась,
Меж нами сегодня
Устроивши связь.

И кто ж есть Наташа?
Сложнейший вопрос.
Сестра? Слишком просто.
А дочь? Не всерьёз.

Быть может, grand mother?
Вообще ерунда!
И их не бывает
В такие года.

Тут, правда, болтается
Где-то внучёк...
Но впрочем, но впрочем,
Про это молчок.

Быть может, тот мальчик
Случайно попал.
По улице шёл
И забрёл в этот зал.

Какие тут стены!
А потолки?
Везде результаты
Умелой руки.

Быть может, причина —
Разрядник-маляр?
Иль может, скорее
Разрядник-столяр?

Здесь гвозди забиты
Всё той же рукой
И шторы подшиты
Вещают покой...

А краски на кафеле?
Радуга ванн!
Быть может, причина —
Японский дизайн?

Но эта хозяйка
Ужасно горда,
Японца не пустит
Наташа сюда.

Ему не отдаст
Шихан, Итуруп
«И прочие скалы
Лишь через мой труп!

Недаром мой Юра
На острове том
Кету раз распластывал
Острым ножом,

Привёз с Итурупа
Большой капитал,
Какого японец
Во сне не видал!

Японец не нужен!
Краситель тот — мой!
Его я сварила
Вот этой рукой!

Всё в ванной покрашу,
Одену весь мир,
Не дам Итуруп,
Не отдам Кунашир!»

Японец рыдает,
Японец побит.
С позором на остров
Хонсю он бежит.

Уж он не мечтает
Про Шикотан —
Столь мощный отпор
Косоглазому дан.

И Ельцин рыдает
И благодарит,
И орден России
Наталье сулит.

«Зачем я, дурак,
Свой визит отменял?
Мне взять бы Наталью —
Замяли б скандал!»

Но за деяние
Одно только из,
И жаль, не взялась она
За коммунизм.

С энергией этой
И силой такой
Построила бы бесклассовое общество
Левой ногой.

Завидовал б Маркс
На кладбище Хайгет...
Но наша Наташа
Сказала тут: «Нет!»

Бесклассовый мир
Я совсем не хочу.
Марксизм — ленинизм
Мне не по плечу!

В советское время
Все краски мои
Теряли значительно
Свойства свои.

И индиго стало
Как синька в тазу.
И чукча не купит
Такую бузу!

Я рынок приветствую,
Ваучер дай!
Его я покрашу —
Ура и банзай!

Весь мир я закрасшу
В розовый цвет,
Не будет на свете
Моральных тенет.

Все лица — румяны
И алы платки,
Все в розовом цвете
Сияют комки.

И клюковка рдеет,
И рдеет салат,
На девушках наших
Парадный наряд.

И дочка Татьяна
В красных цветах,
И внучек Мишатка...
Но что это? Ах!

Какой там Мишатка?
И нам не с руки,
У дамы столь юной
Чтоб были внучки!

Какие там годы?
Какой юбилей?
Налейте молодке
Бокал поплоней!

Мы здесь собралися.
Пора, брат, пора
Нам тут за Натусю
Всем крикнуть ура!

(Кричать мы не будем,
Конечно, «банзай»,
Японец — краситель
Ты наш не замай.)

Наташа, ты наша
Маляр и швея,
И фельдшер, и слесарь —
Всё помнит семья!

Какие там годы,
Какой юбилей?
Налейте Наташе
Вина поскорей!

**Сказка — ода о чудесном рождении и дальнейшем
произрастании Наталии Самойловой, урожд. Чудаковой,
произнесённая её счастливым от такого родства
единокровным, единоутробным
и прочая и прочая братцем**

Раз сказала наша мама¹⁰⁰:
«Надоело, скажу прямо,
Родила себе сыночка,
Ну, а нету малой дочки,
Чтоб была она нежна,
И румяна, и умна,
Чтобы помнила всегда,
H₂O — это вода.
Сын — поэзии любитель.
А изучит кто краситель?
Кто покрасит нам футболки?
Не филолог-балаболка!
Кто нам стёкла напылит?
Ведь филолог лишь пылит
Пылью всяких разных книг!
Пыль, конечно, та почтенна,
Но излишня совершенно.
То ль очки — хамелеон!
Пригодится всюду он.
В том числе — попозже — внучке,
Когда та изящны ручки
И изящный тонкий стан
Окунёт в тот океан
И в то море, где Киприда
Всем явила чудны виды.
Но куда Венере той —
Её до внученьки родной!»
И однажды в тёмну ночь
Бог даёт мамаше дочь.
Белолица, черноброва,

¹⁰⁰ Е. Л. Савицкая, урожд. Савицкая же, из рода потомственных дворян
Налочь — Лонгин — Длусских.

Нраву кроткого такого,
Высока, стройна, бела
Поднялась и расцвела.
И жених сыскался ей
Королевич Елисей.
Одолевши все препоны,
Изучил он все законы...
Собирает он газеты,
Их на шкаф кладёт при этом,
Чтоб потом их изучить
И ещё умнее быть.
Где преступность чуть видна,
Наш юрист тут, как со сна,
Встрепенётся, повернётся
И в то место обернётся.
И кричит: «Кири-ку-ку!
Ваши деньги сберегу!
Как свои я все сберёг.
У меня их — вот мешок!»
Мафиози присмирели,
Мафиозничать не смели —
Таковой им дан отпор.

.....

Ну, а с некоторых пор
Наша милая сестрица —
Ещё больше белолица,
Ещё кротче нравом стала,
Как на фабрику попала.
«Не нужны науки стяги —
Мне милы лишь работыги.
Все милы, интеллигентны,
Толерантны, конвергентны.
Семьянины все подряд,
Любят все своих ребят.
Ещё больше любят мать —
Слово это повторять».
Ценят в фирме нашу Нату:
Повышают ей зарплату,
Умоляют отдохнуть

Там, у моря где-нибудь.
Не клюют уж денег куры,
Выбирает Ната туры:
— Не подходят мне Канары —
Там неважные товары.
Не подходит Барбадос —
До меня он не дорос.
А Анталия? Годится?
— Не могу туда стремиться —
Проба золота не та,
И вообще там суета.
Не люблю я также пиццу —
Не хочу и в Рим. — А в Ниццу?
— В Ницце русских слишком много.
Не лежит туда дорога.
Новых русских сильна спесь.
Отдыхать я буду здесь.
Я люблю полоть, копать
И веранду подметать.
Делать всё перфектно, быстро...
И всё это есть на Истре!
Там и грязь есть, и сорняк,
И морковь, и буряк,
Там Алпатовой кусты
Необычной красоты.
Их подруга подарила,
Чтоб варенье я варила.
Не варю я там варенье,
Разве это наслажденье?
Наслаждение в другом:
Обиходить целый дом,
Корчевать в болоте пни,
Проводя вот так все дни.
В виде отдыха — поливка
Или креслица обивка.
Гвозди шляпками сияют,
Развалиться призывают.
Маша — эксперт мебели —
Удивляется — ей-ей!

«И в Италии самой —
Нет работы там такой!»
Восхищались итальянцы —
«Как в музее Марьо Ланца!»

Эпилог

Меж берёз висит гамак.
Он висит не просто так.
Возвратившись с Гавайев,
Там Наташа сон вкушает,
Проводя так целы дни.
— Да, сестрица, отдохни!
Разогни свою ты спину —
Пусть работают машины!
Косоглазые японцы
Пусть красители варят,
Ты же нежься лишь на солнце
Среди милых правнучат,
Потому хоть как-нибудь
Раньше — вряд ли отдохнуть.

8.11.97

**Поэма — ода на день защиты Наталии Самойловой
в 4-х главах без вступления и эпилога,
но с многочисленными эпиграфами**

Эпиграф общий.

О ты, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает

Михайло Ломоносов

Глава 1. Синтетическая

Эпиграф к гл. 1.

«Несмотря на то, что многие лаборатории мира
занимались этим вопросом...»

*(Проф. Горелик, из выступления на учёном
совете НИОПИКа 13 июня 1974)*

Фотохромный материал
Неким свойством обладал,
Сам он этого не знал,
В вечной дрёме пребывал.

Фишер, также как Планше,
Собрались было уже,
Но решили: «Всё же рано,
Долог путь к спирирану.

Поглядим-ка мы ужо.
Торопиться не гожо.
Замещай, галоидируй,
Ациллируй иль бромируй —

Толку чуть. Перегруппировка
Результат даёт так робко». —
Что же делать? Ждать прилежно,
Что найдут в России снежной.

Глава 2-я. Кинетическая

Эпиграф к гл.2.

А там, во глубине России,
Там вековая тишина.

Некрасов

Тишина обманчива
Народная мудрость

В тихом омуте...
Ещё народная мудрость

А в России не дремали,
Всё тотально изучали.
И возглавил дело сам
Марк Абрамыч Гальберштам.

Материал был недоступен,
Как Монблан был неприступен.
Героиня шла на вы,
Не жалея головы.

Все презрев пути кривые,
Дала синтезы прямые.

От могучего тарана
Цитадель спиропирана
Зашаталась, треснув: крак!
И взметнула белый флаг.

Глава 3-я. Спектральная

О ты, Наталия, ты защитилась
И диссертацию на свет произвела.
И на учёный на совет ты вдруг явилась
И в восхищенье привела.

Чудесная,
Прелестная
И всем неизвестная,

Талантливая,
Интеллектуальная,
Вся такая спектральная,
Как-то вся фотохромная.

Твои чудны таблицы
Просветлили все лица.
И ушла ты чудесная,
Всем отныне известная.

Глава 4-я. Этиловая

... бланманже.
Цимлянское несут уже.

Освободясь от пробки влажной...

Жомини да Жомини, А об водке ни полслова...

Забудь Арренуса, Планше,
Шампанское несут уже.
И в нём химический процесс
Сулит всем нам большой прогресс.
В него всмотрися ты, сестра.
Пытливо, вдумчиво. Ура!

13.6.74., ресторан «Центральный»

II
ПАМЯТЬ

Андрей Немзер

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЧУДАКОВА

Александр Чудаков прожил шестьдесят семь лет. Поверить в смерть этого человека — красивого, сильного, едва ли не каждым словом и деянием своим воплощавшего внутреннюю свободу и неколебимое здоровье — попросту невозможно. Наверное, и тем, кто с толком читал филологические труды и прозу Чудакова. И уж точно тем, кому выпало счастье личного с ним общения. Он не был ни академиком, ни лауреатом, ни «культовой фигурой», но уже по появлении монографии «Поэтика Чехова» (1971; автору тридцать с небольшим) филологический мир — от лидеров науки до тогдашних студентов — ясно понял: не только в изучении Чехова, но в самом составе русского литературоведения произошли значимые и радостные перемены. Книгу эту будут читать очень долго, обнаруживая в ней все новые (иногда весьма сжато проговоренные) смыслы. Так же будет и со следующей монографией Чудакова — «Мир Чехова. Возникновение и утверждение» (1986), где системно-синхронический анализ творчества Чехова был продолжен анализом историко-генетическим. Так же будет и с его статьями о других русских классиках (от Пушкина до Толстого), составивших первый раздел книги «Слово — вещь — мир» (1992), который можно назвать скрытым конспектом исторической поэтики русской литературы XIX века. И со статьями второго раздела, где речь идет о теоретических работах великих предшественников автора — А. А. Потебни, В. Б. Шкловского, учителя Чудакова в самом прямом смысле слова академика В. В. Виноградова: под его редакцией вышла «Поэтика Чехова», его памяти посвящен «Мир Чехова». Александр Павлович написал воспоминания о Виноградове, Шкловском, С. М. Бонди, Л. Я. Гинзбург — в основу их легли многолетние записи. Их благодарный и вдумчивый собеседник делал после встреч, которыми одаривала его щедрая судьба. Он с замечательной ясностью фиксировал человеческую неповторимость больших

и сложных людей с трагическими судьбами, но одновременно его живые рассказы по-новому освещали пути русской филологической мысли, да и русской культуры вообще. Точно так же в комментариях Чудакова к трудам великих филологов всегда присутствовало не педагогическое, но внятное слово о человеческой составляющей научных концепций и стоящих за ними личностей. Равно как и большая мысль о судьбе русской науки, культуры, самой России, с муками, но сохранившей себя под бесчеловечным квазигосударственным гнетом большевизма.

Появившийся в начале века роман «Ложится мгла на старые ступени» вырос из прежних работ Чудакова совершенно естественно. Здесь было то же внимание к природному и вещному (предметному) миру, что отчетливо звучало в книгах о Чехове, статьях о Гоголе, Достоевском, Толстом. Здесь было то же пристальное и доброжелательное вглядывание в человеческие лица, что прежде вело и к фронтальному обследованию «малой литературы», и к портретированию великих собеседников. Здесь была сосредоточенность на детстве как важнейшем этапе формирования личности — тема, не раз возникавшая в трудах Чудакова и обусловившая построение его книги «Антон Павлович Чехов» (1987). Здесь были обретшие словесную плоть любимые идеи Александра Павловича: об эволюции в природном мире (если бы Чудаков не выбрал филологию, он, наверное, стал бы замечательным биологом) и эволюции литературной, о бесследно исчезающих животных и возможности сохранения-возрождения пропущенных (или загубленных) своим временем духовных свершений, о бесценности земного мира во всей его полноте и в каждой его составляющей, об особом значении того поколения, жизнь которого была перерезана революцией и исковеркана подсоветским существованием. Роман Чудакова — бесспорно одна из самых свободных, благородных и насущно необходимых русских книг, созданных после освобождения от коммунизма, — утверждает непреходящую значимость простых и так трудно дающихся ценностей: семьи и родового предания, труда и культуры, милосердия и ответственности, свободы и веры, надежды на будущее — на детей и внуков.

В последней главе романа, той, что посвящена кончине главного героя «семейной хроники» — Деда (и его нерасторжимой связи с внуком-рассказчиком), Чудаков говорит о том, как менялось его отношение к смерти, как страшно преследовала его мысль о конечности земного бытия — молодых гениев, которые еще столько могли

совершить, стариков, сохранивших собой истинную Россию, тех, от кого не осталось ничего... Скорбя по ушедшим, мы не в меньшей мере скорбим о себе, о своем сиротстве.

Александр Павлович прожил счастливую и красивую жизнь. Он мог бы сделать еще очень много, но и для того, что им было сделано, недостаточно обычных слов. Его жизнь и личность больше, чем весомый вклад в науку или литературу. Русский интеллигент, ученый с мировым именем, больше всего любивший работать на земле, он был неотделим от России, ее истории, ее судьбы — и без Александра Павловича Чудакова труднее будет жить не только тем, кто его знал и любил.

(Время новостей, 5.10.2005)

Сергей Бочаров

ПОГИБ АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ

Гибель Саши Чудакова потрясла читающую — не одну Москву и не одну Россию: звонят из Петербурга, Новосибирска, Гамбурга. Потеряли не только большого филолога и недавно явившегося нам писателя — это было явление современной русской жизни.

Александр Павлович считал своим святым долгом провожать академических стариков и этот долг выполнял; помню, как он говорил у гроба 92-летнего С. М. Бонди. Он себя чувствовал сам человеком академическим и хотел держать традицию не только отцов — филологических дедов. Он на них не только равнялся в собственной филологии — он разговаривал с ними годами и разговоры эти за ними записывал. Есть книга, которую мало кто видел — она отпечатана в Сеуле, когда А. П. там несколько лет преподавал, в количестве 10 экземпляров — «Слушаю. Учусь. Спрашиваю. Три мемуара». Разговоры с Бонди, В. В. Виноградовым и Виктором Шкловским, которые шли на протяжении многих лет и записывались в тот же день. Разговоры, населенные людьми и событиями за полвека — с 20-х до 70-х годов. Своей пытливостью А. П. эпохи связывал и оставил нам материалы к культурной истории нашего отошедшего века. Последнее дело, которое он не успел совершить-завершить, как хотел, — мемуарная книга

таких разговоров со столь интересными персонажами, к которым он так легко и естественно шел и вступал в контакт, — сверх имен уже названных с М. М. Бахтиным и Лидией Гинзбург. Не успел, как хотел, но сеульская книжка есть, и она должна быть переиздана в количестве большем 10 экземпляров.

Не успел — странно это сказать, когда две недели назад говорили с ним весело об онегинском «бобровом воротнике». А. П. написал о нем исследование по случаю нового замысла — тотального, как он его называл, комментария к «Евгению Онегину» (курс лекций на эту тему он несколько лет читает в разных местах). Все мы (почти) «предполагаем жить» и легкомысленно не собираемся умирать — А. П. как будто был таким в особенной степени. Какая-то бодрая, можно даже рискнуть сказать — оптимистическая нота его отличала, с постоянной настроенностью на новое дело — и гибель его в сознание не умещается. Именно гибель — не просто смерть. Столько было в нем жизни, с каким же шумом она из него ушла?

Анекдот из не столь уже недавнего прошлого: в самом начале перестройки мы были с ним в Амстердаме, и вот в студенческом клубе тамошний студент, узнав, что с ним рядом сам Чудаков, автор той самой «Поэтики Чехова», так обалдел, что никак не мог иначе это выразить — он сказал: — Позвольте Вам предложить сигарету с марихуаной. Саша сказал тогда, что в первый раз понял, что такое слава. «Поэтика Чехова» 1971 года, которая объяснила нам Чехова таким словом, как «случайность» — не случайная случайность, а случайность как возведенное в философскую степень качество бытия — термин, образованный автором книги, вероятно, по образцу немецкого философского словообразования.

Но, может быть, сказанное о бодром оптимизме — это внешнее впечатление? «И все они умерли» — заключительная глава романа-идиллии Александра Чудакова, названного блоковской строкой. Герой романа, личный герой, в последней главе погружен в мысль о смерти, и первоначальное название романа было — «Смерть деда». Не только, наверное, для меня роман стал открытием в человеке. Мемуариста Чудакова я знал, писателя не подозревал. А филолога, с его излюбленной темой предметного мира в литературе (с тем самым бобровым воротником) я стал узнавать, читая роман. Сколько в нем предметного мира — не литературного, а вынесенного из детства, биографического! Бесчисленные подробности быта ссыльного (или полусыльного) населения в городке на границе России и Казахстана, где провел

свое военное и послевоенное детство автор, — как косили, копали и варили мыло. Как можно было сохранить такую бездну подробностей в памяти? Такая память не бытовая и уже не только личная — писательская, художественная. С любовью к тому самому предметному миру, к человеческой материальной плоти мира.

А вообще роман — исторический. Не только картина эпохи в обилии подробностей, но свидетельство. Свидетельство о том, как русская жизнь сохранялась внутри советской в той полусырьной среде, о которой я не знаю другого такого литературного свидетельства. Об этом не познанном литературой опыте.

«Смерть деда». Дед — первое и последнее слово романа. «Дед был очень силен». В первой главе в современном армреслинге он кладет руку кузнеца. Я видел, как Саша работает ломом — лед колет. Видел, как он строит дом своими руками. Дом (дача) вышел трехэтажный, вытянутый по вертикали, готический, как собор. Одна знакомая, увидев его, сказала: — Автопортрет.

Высокий, тяжелый, большой человек — этот образ входил и в работу филолога. Мощь физическая, наверное, передавшаяся от деда. Оттого и явление. Александр Чудаков мог стать профессиональным пловцом — знаменитый послевоенный пловец и тренер Леонид Мешков склонял его на эту карьеру. Не пошел — пошел в филологи.

Три года назад мы были в Михайловском и много плавали в приятно чистой Сороти. Он, конечно, отрывался и великодушно дожидался. Выйдя же из воды, облачался в белый костюм и галстук и делал доклад. Таков был стиль-человек.

«Немота перед кончиною подобает христианину». Эта некрасовская строка стоит последним словом романа-идиллии, озаглавленного строкой из Блока.

(Новая газета, 6.10.2005)

Александр Осоват, Роман Тименчик

СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ

«Когда человек умирает, изменяются его портреты», но это не о Саше Чудакове. Облик его остается неколебимым и в траурной окантовке.

Всегда казалось, а теперь еще сильнее ощущение (Саша Чудаков держался архаической нормы): в том, как он жил и писал, неуклонно исполнялся утвержденный им некогда генеральный план; его работа, за столом и на земле, шла по разным направлениям, но все они должны были сойтись в далекой, одному ему видимой точке. *Воля к целому* — курсив Чудакова из последней его книги о Чехове.

Первой же была «Поэтика Чехова», одна из главных книг для начинающих тогда филологов. Написанная языком, столь же терминологически ответственным, сколь и свободным в выборе своих ресурсов из сфер, не имевших ничего общего с шаблонным «литведением», она повлияла на умы своим подходом, поступью изложения, концептуальным замахом. Она научала ценить самостояние как таковое.

«Сам» — было, наверное, одним из ключевых слов для этой фигуры. Он уважал и поддерживал работу, за которой стоял добытый собственными руками материал, угадывал человеко-часы, стоящие за литературоведческой гипотезой. Просиживая дни в пустынных химкинских залах, он выслеживал старую чеховиану, и одновременно в погонных метрах ветхой периодики отыскивались тайны ушедшей «среды», той, которая «заедала» людей прошлого и которую они перебарывали.

«Среда» — видимо, еще одно ключевое слово: среда вещей (каждую из которых он знал в лицо и на ощупь), среда слов (в каждом из которых он вымеривал угол его соотношения с вещью) и среда словесников (которую он проглядывал поверх отношений личной приязни). Самостоящий, он считал своей обязанностью формировать филологическое сообщество, тратя усилия на привлечение аутсайдеров официальной науки к исследовательским и издательским проектам, на соединение одиночек в научный процесс.

Золотой здравый смысл был его даром. Устойчивый и надежный во всем, что он делал, Саша возвышался сродни столпу. На таких столпах натянут прочный тент сегодняшней филологии, — и как не сказать, что для резвившихся под этим тентом он всегда оставался одним из главных читателей; на его понимание мы рассчитывали, на его похвалу надеялись.

Портрет Александра Павловича не изменился, и фигура Саши противится самой интонации некрологического нарратива, да, впрочем, и любой готовой, заемной литературной интонации. В окружавшем его мире почти все люди ходят на персонажей какой-нибудь прозы, а ему пришлось самому написать роман, в котором он мог

стать персонажем. «Побежденный лишь Роком», он сам окликнул его тютчевскими цитатами в инскрипте на биографии Чехова:

*Мужайтесь, боритесь, о храбрые друзья,
Займу еще раз ваши я недосуги.*

*И коль про поэтов писать нам судьба —
Не сильно глухие пусть будут гроба.*

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Александр Долинин

ПАМЯТИ А. П. ЧУДАКОВА

Последние три года, при всех наших нечастых встречах, Александр Павлович Чудаков неизменно подзуживал меня. «Бросьте, хотя бы на время, филологию, пишите эссе или прозу, я на вас надеюсь», — говорил он. Его совет я никогда не принимал всерьез и только отшучивался, но сейчас, когда земное существование Александра Павловича вдруг оборвалось, он приобрел особый, пугающий меня оттенок. Вспоминая этого крупного — во всех смыслах слова — человека и его книги, я, получается, выполняю его волю, хотя не был его близким другом и ни разу не побывал у него в доме.

Я слышал Сашины доклады, рассказы, воспоминания, шутки, тосты и даже песни; я видел его на кафедре, на прогулке, за накрытым столом и даже в воде, плывущим мощным баттерфляем. Общение с ним всегда доставляло огромное удовольствие. Он был необычайно (и оскорбительно для нас, обыкновенных хлюпиков) силен и здоров; он возвышался над низкорослой интеллигентской толпой и своим ростом, и своими редчайшими познаниями; в его огромном и, на первый взгляд, грузном теле временами просыпалась поразительная грация, как у тренированных борцов-тяжеловесов; его добрая, чуть смущенная улыбка очаровывала. Но мне жаль, что я никогда не видел (и теперь уже никогда не увижу) его в настоящей мужской работе, где он, наверное, был особенно красив, и могу только воображать, как он склоняется над рукописью, или листает желтые страницы старых провинциальных газет в библиотеке, или копает яму, не снимая рубашки, или собирает детскую кроватку, или одним ударом разбивает чурбаки, или строгает и прилаживает трехдюймовые доски — прилаживает не кое-как, а обязательно заподлицо.

Заподлицо — это яркое плотницкое наречие с двумя словно бы взаимоисключающими приставками — было, кажется, для Саши важным, едва ли не ключевым словом. Во всяком случае, оно встречается не только в его замечательном автобиографическом романе, где он наконец дал волю своей богатейшей словесной памяти, но и в научных книгах, которые написаны намеренно строгим и скупым — «академическим» — языком. Обсуждая в «Поэтике Чехова» уравнивание больших и малых событий у любимого им писателя, он говорит, что чеховское событие «выглядит незаметным на общем повествовательном фоне; оно подогнано заподлицо с окружающими эпизодами». И ту же самую метафору он использует в «Мире Чехова», когда описывает включение «чуждых» слов в авторскую речь: они, проницательно замечает Александр Павлович, «не выпячиваются над ровной повествовательной поверхностью, но подгоняются заподлицо с ней». То, что так нравилось ему у Чехова, похоже, было сродни его собственным творческим и жизненным установкам, его нравственному стержню.

Во-первых, подогнать заподлицо, то есть утопить доску или брус вгладь, вровень, в уровень с поверхностью,— значит сделать работу на совесть, а не на глазок, точно, крепко и красиво. Именно так, ладно и основательно, построены его статьи и книги: материал любовно отобран и рассортирован, инструментарий отточен, мысль движется неторопливо и обстоятельно, не оставляя зазоров. Во всем чувствуется глазомер рассудительного мастера, знающего толк в гармоничном сочленении вещей и слов, эти вещи называющих, одухотворяющих и преображающих.

Во-вторых, подогнать заподлицо — значит заделать какой-то провал или дыру, восстановить покореженную поверхность. Александра Павловича прежде всего беспокоили провалы и прорехи социально-исторические, вызванные разрушительными ударами ублюдочного политического режима по всему, что было ему дорого. Сохранение преемственности и сохранение культурной памяти он, как кажется, полагал своим первостепенным долгом. Свидетельство этому — его образцовые комментарии к трудам Тынянова, его записи разговоров со Шкловским и Бонди, его устные рассказы о повадках и причудах «старших». Каждый учитель может лишь мечтать о том, чтобы его ученики сделали для его наследия то, что Александр Павлович сделал для В. Виноградова, — ученого и человека отнюдь не безгрешного.

Непрерывающаяся традиция, только не научная, а фамильная; прочная цепь, связывающая человека с дедами и прадедами, с детьми и внуками; заповедные уроки труда и культуры, внутренней свободы и сострадания, чести и стойкости, терпения и терпимости, которые он с благодарностью получает и с надеждой передает, — главная тема его романа воспитания. Поэтому в нем — большая редкость в наши дни — совсем нет нарциссизма: автор любит не собой, а той великой цепью бытия, в которой он лишь малое звено.

Странный подзаголовок автобиографической книги — «роман-идиллия» — ввел в заблуждение многих критиков, усмотревших идиллическое начало в основном предмете изображения — в том провинциальном «семейном оазисе», который создали дед и бабушка героя, попovich и дворянка, случайно уцелевшие выходцы из старого мира, среди советской мерзости запустения. Однако, если присмотреться, никакого огороженного рая в «романе-идиллии» нет и в помине: зло, жестокость, абсурд, смерть в разных обличьях — женщина с перерезанным горлом, мужик, пропоротый грязными вилами, брошенные старики, умирающие дети, семейные распри, аресты и расстрелы — входят в состав изображенного мира на равных правах с добром и красотой. Александр Павлович наверняка знал, что в переводе с древнегреческого «идиллия» значит просто «маленький образ», и, называя так роман, хотел подчеркнуть в первую очередь огромное значение малого, случайного, частного (как пылинка на ноже карманном или небо в чашечке цветка), которое он по-чеховски «выравнивает» с крупномасштабными трагическими событиями исторического времени и с вечною красою равнодушной природы. Идиллическим тогда оказывается не сам мир, а авторский взгляд на него — взгляд спокойный, мужественный, благорасположенный. Александр Павлович умел увидеть жизнь «во всем ее охвате», в «природно-вещном» единстве, во взаимосцеплении большого и мелкого, прекрасного и омерзительного, смешного и печального, и принять ее полностью, такой как она есть и была всегда.

Стоически принять жизнь — значит преодолеть страх смерти, принять и ее как часть природного круговорота. В ключевых главах романа достойно умирают долгожители — сначала старый конь Мальчик, из чьей щетины делают щетки, которым до сих пор нет равных, а потом старый дед, самый важный человек в биографии героя, идеальный наставник, научивший его смотреть на жизнь с грустной всепонимающей улыбкой. Рискну предположить, что сам Саша

тоже готовился к подобной смерти и не страшился ее. Судьба почему-то распорядилась иначе и отняла у него жизнь до срока, внезапно и жестоко, когда у него оставалось еще много сил и творческой энергии. Думаю, что он не испугался и такой гибели.

Смерть Саши — страшный удар для его семьи и близких друзей. Это удар и для тех, кто, как я, любовался им с изрядной дистанции, обусловленной разницей биографий, возрастов, вкусов. Ведь с его уходом в мире стало меньше доброты, порядочности и ума, и этот новый провал, боюсь, никому заподлицо не заделать.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Юрий Манн

СКОРБЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ

Уже первый научный опыт Александра Чудакова обратил на себя пристальное внимание. Если не ошибаюсь, это была дипломная работа, выполненная на филфаке МГУ под руководством академика В. В. Виноградова.

За рукопись первой книги «Поэтика Чехова» Чудаков был награжден премией московского комсомола; к слову сказать, ею же был отмечен автор и другой рукописи («Мастерство Юрия Олеси») — Мариэтта Чудакова. Позднее Александр Павлович рассказывал, как они с Мариэттой «пересеклись» на ковровой дорожке: один лауреат уже спускался с дипломом, другой — поднимался на подиум...

Я познакомился с Сашей в 1965 году, когда его приняли в чеховскую группу Отдела русской классики ИМЛИ (я был тогда младшим научным сотрудником того же отдела). Потом на отделе обсуждались его работы. Потом они вышли упомянутой книгой — «Поэтика Чехова». Эта книга поразила читателей — систематизмом, дотошностью, строгостью мышления, выученного и, хочется сказать, вышколенного в формальной школе.

В те времена формализм уже не клеймили как идеологически чуждое явление, но в чести он тоже не был: мол, к чему эта «схластика», мелочное копанье в тексте; нужны смелость и свободное парение... А тут на десятки, сотни страниц — кропотливое описание

повествовательной манеры, синтаксических конструкций, соотношения автора и его персонажей.

В ту пору в русском отделе ИМЛИ было немало ярких людей: Ульрих Рихардович Фохт, Кирилл Васильевич Пигарев, Дмитрий Дмитриевич Благой, молодые сотрудники и аспиранты. Но и на этом фоне Саша Чудаков выделялся: в критериях научности он был бескомпромиссным. Рядом с ним чувствовалось как-то спокойнее. Когда он принимал участие в заседаниях, я почти физически ощущал повышение научного уровня обсуждений.

Помнится, такое же чувство приятного удивления я испытал позднее, когда вышла книга «Ложится мгла на старые ступени» и талант Чудакова открылся с новой стороны. Что меня поразило? Не секрет, что часто художественное творчество литературоведов — это некое инобытие их профессиональных навыков и интересов. А тут все необычайно органично, подлинно, в полном смысле — «первично».

Иногда можно было услышать адресованные Александру Павловичу упреки: мол, уклоняется от некоторых работ, особенно тех, которые имеют статус «коллективных трудов», общественно индифферентен и прочее.

Ответить на это можно совершенно определенно: эгоизм ученого — это его достоинство; самоограничение необходимо, если хочешь держаться подальше от опасной зоны всеотзывчивости и всеядности. Ничего нет непригляднее, чем готовность писать или говорить на любую тему и в любое время. Александра Павловича отличали искусство сосредоточения, каторжный труд, умение добывать и перелопачивать горы материала.

Что же касается «общественной индифферентности», то я вспоминаю, с какой страстностью и терпением защищал Чудаков словарь «Русские писатели. 1800—1917», когда над этим замечательным изданием нависла угроза приостановки (он был членом редколлегии словаря).

Чудаков был здоровым, крепким человеком. В Переделкино на лыжне за ним было не угнаться. Просто идти с ним рядом — для малорослого испытание: там, где он делал один шаг, приходилось делать несколько. Говорят, он никогда не болел. Трудно даже представить себе, как много еще мог сделать этот человек.

...Никакие слова утешения не помогают. Можно лишь сказать, перефразируя Жуковского: не говорите с тоскою: его нет, но с благодарностью: он *был*.

Был и *остаётся*: Александр Чудаков вписал себя в ряд тех больших отечественных филологов — Виноградова, Тынянова, Потебни, которыми он так плодотворно занимался.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Лев Соболев

ОСТАЮТСЯ КНИГИ

Еще не вспоминая — помня

М. Ч.

Сейчас уже трудно представить себе, *чем* была книга «Поэтика Чехова», вышедшая в 1971 году. Люди старшего поколения отлично помнят то унылое, безнадежное, порой отталкивающее впечатление, которое неизбежно возникало у читателей работ о Чехове, — статьи Н. Берковского или А. Скафтымова погоды не делали. И вот молодой человек, ученик В. В. Виноградова, пишет во «Введении» к своей книге, что «взгляд на литературное произведение как на некую систему, или структуру, стал в современном литературоведении общепризнанным» (с. 3). Это был вызов — общепризнанным был как раз род общеидеологической жвачки, где банальности перемежались с обличениями мещанства и несправедливого общественного строя и все сдабривалось сожалениями о том, что Чехов не дожил даже до первой русской революции, которую, таким образом, не успел поприветствовать.

Это было возвращением к Ю. Тынянову и Б. Эйхенбауму — советское литературоведение существовало так, будто и не было этих исследователей, основоположников науки филологии. И А. П. Чудаков вместе с М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддесом выпустили знаменитый том Тынянова «ПИЛК» («Поэтика. История литературы. Кино»), где комментарии составляют вторую, не менее ценную и важную книгу. Это было не просто. Рассказывают, что, когда редакторша требовала от Александра Павловича каких-то уступок, он сказал ей: «Вы со мной ничего не сделаете — я каждый день пробегаю десять километров». Этот большой, сильный и добродушный, как все сильные люди, человек умел быть железным, если дело шло о его убеждениях. А что

до фона — Сергей Чупринин хорошо сказал в передаче об Александре Павловиче (она снималась три года назад для канала «Культура» в рамках цикла «Экология литературы»), что для Чудакова просто не существовало Ермиловых, Бердниковых и проч.

В книге 1971 года проявились некоторые важнейшие для А. П. темы: это, прежде всего, структура авторского повествования и предметный мир. И подлинным открытием, перевернувшим наши представления о Чехове, была глава «Сфера идей». То, что Чехов безразличен к высказываемой идее персонажа, но не безразличен к тому, в чем состоит подлинный смысл (идея) существования героя, было настолько необычно, что даже сейчас, когда это суждение уже вошло (часто без ссылки на А. П.) в несколько книг о Чехове, оно далеко не всем понятно и не всеми принято. Но А. П. всегда и во всем предельно доказателен — причем добросовестно доказателен; внимательный читатель оценил такое, например, замечание из «Введения»: «Все выводы настоящей работы основывались исключительно на анализе самой чеховской художественной системы. Теоретические высказывания Чехова <...> привлекались в минимальной степени» (с. 8).

Потом была книга 1986 года «Мир Чехова». На вопрос, почему он выбрал Чехова, А. П. ответил: «Чехов один из тех немногих писателей, которого интересовали все стороны жизни. В отличие, скажем, от Достоевского, который может в беседе Ивана и Алеши на тридцати страницах ни разу не упомянуть о предмете, где сидели, кто встал, кто что-то поел и т. д., у Чехова это совершенно невозможно. То есть он включает своего человека в предметный мир в каждый момент его жизни. И скажет, какие у него галоши и кто в это время проходил... И надо сказать, что вот этой чеховской философии предметного мира, мне кажется, вообще принадлежит будущее. Как и вообще философии предметного мира» (из передачи 2002 года). И о том же в книге 1986 года: «Нам кажется, что литературоведение стало несколько высокомерным. Если б некто до знакомства с самими сочинениями Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого стал читать литературу о них, он бы решил, что они писали исключительно о мировых проблемах, “лишних людях” и конфликтах и что мир в его вечности и конкретной вседневной бытовой наполненности не занимал авторов “Евгения Онегина”, “Тамани”, “Записок охотника”, “Бедных людей”, “Анны Карениной”. И менее всего такая приподнятая позиция пригодна в изучении Чехова» (с. 5). Предметному миру А. П. посвятит свою книгу 1992 года — «Слово — вещь — мир. От Пушкина

до Толстого». А в книге 1986 года важнейшим станет изучение творчества Чехова на фоне так называемой «массовой литературы»; ведь Чехов был не только читателем малой прессы, «но ее работником, ее неутомимым вкладчиком» (с. 9). И вот «для целей настоящей работы были обследованы все основные юмористические и иллюстрированные журналы 70—80-х годов», провинциальные газеты, фронтально просмотрена критика о Чехове 1883—1904 годов. Жаль, что собрание прижизненных критических откликов на произведения Чехова, которое собирался издать А. П., так и не вышло, как не вышел и библиографический указатель «Чехов в прижизненной критике». Быть может, работа А. П. будет кем-то доведена до конца и издана — лучшей памяти ученому придумать нельзя.

Сам он ценил память об ушедших и умел ее хранить. Я говорю не только о его очерках, посвященных С. Бонди, В. Виноградову, В. Шкловскому; здесь же следует сказать и о его комментариях к сборнику Тынянова «Пушкин и его современники», к упомянутому уже тыняновскому сборнику 1977 года, к собранию сочинений Виноградова и, конечно, к тридцатитомному собранию Чехова. Ему принадлежит идея переиздания филологического наследия — работ выдающихся филологов прошлого; пожалуй, память — главный мотив его замечательного романа. И даже его сожаление о том, что изменилось отношение к вещи, предмету — теперь вещь не наследуют и не хранят, а меняют, — связано, наверное, с убеждением, что и в дедовской этажерке или ложке тоже живет память.

Есть еще одна сфера, где деятельность А. П. была особенно ценна, — педагогическая. Не знаю, насколько смогли оценить его лекции студенты Сеульского или Мичиганского университетов, но старшеклассники из 67-й московской школы, где он читал лекции о Пушкине, Некрасове и Чехове, его слушали внимательно. Потом, учась в Московском университете, с гордостью говорили, что Чудаков (приглашенный кафедрой русского языка) читал им лекции еще в школе. Как сказал сам А. П. в передаче 2002 года, «школьникам нужно давать самые великие образцы. <...> Нужно показать детям, что вообще бывает великого в литературе. Даже если они из этого поймут очень немногое. Вот это ощущение величия поэзии данного поэта, вот это первое, что им должно, что им нужно внушить. А постепенно они увидят, что есть, что бывает и как это. Они потом постепенно поймут. Главное, чтоб они начали читать». Здесь, наверное, сказался опыт самого А. П., который признавался: «...классе в шестом, может быть,

в седьмом я узнал, что существует такая профессия: всю жизнь читать замечательные произведения литературы, и у меня уже не было никаких колебаний. Я просто уже знал, что я пойду на филологический факультет университета». Так начинают жить литературой — и эта жизнь не кончается. Остаются книги.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Татьяна Смолярова

РАССТОЯНИЕ

На расстоянии многие вещи кажутся более настоящими и страшными, чем они есть на самом деле. Другие — совершенно невероятными. Но во вторник утром никто — ни тот, кто, как я, в растерянности открывал и закрывал Интернет, надеясь больше не увидеть на экране скупой и опустошающей фразы, ни тот, кто узнал о случившемся на месте — в Москве — от друзей, по телефону, по радио, — никто не мог поверить. Такого не бывает, потому что не может быть никогда. Американская коллега, специалист по Чехову, отшатнувшись, сказала: «He does not seem like someone who would die».

Мое знакомство с Александром Павловичем Чудаковым, наверное, следует назвать поверхностным. То есть с любым другим человеком, общение с которым измерялось бы столь же незначительным количеством «человеко-часов», оно таким бы и было. Не таким был Александр Павлович. В моей жизни А. П. Чудаковых было три: первый — смешная фамилия на обложке умной и удивительно ясной книги о Чехове, которую мы читали в девятом классе у Л. И. Соболева; третий — автор романа «Ложится мгла на старые ступени», над которым на моих глазах плакали несентиментальные старики, уже не надеявшиеся взять в руки верную и светлую книгу о своем страшном времени. А посередине был второй — большой, улыбающийся, в очках. Похожий на свою смешную фамилию. Создавалось ощущение, что Александр Павлович катастрофически никуда не помещается, не влезает, не вписывается — ни в маленькое купе поезда, ни в маленький номер гостиницы, ни в малогабаритную квартиру, ни в другие, вполне просторные помещения. Единственное, наверное, место на земле, скроенное им «по себе», была их с Мариэттой Омаровной любимая дача, на которой мне — как

и многим другим — посчастливилось побывать. И в последнюю неделю я все время вспоминаю именно ее.

Мы приехали туда небольшой компанией зимой, 30 декабря. Я была сильно простужена и всю дорогу себя ругала, что поехала, не найдя в себе сил отказаться от *такого* приглашения. Обычно я болею долго, тяжело и занудно. Александр Павлович посмотрел на меня озадаченно, с удивлением и некоторым сожалением; но не успела я оглянуться, как оказалась сидящей где-то на печи, в рваном, но очень теплом ватнике, шерстяных носках и ботинках самого А. П. — совершенно немыслимого размера: он объяснил, что это особенно полезно. Еще была малина, протертая с сахаром, пара каких-то настоек, крепкий чай и что-то, чего я не помню. За столом, кажется, велась филологическая беседа. Потом я уснула. Проспала недолго, но проснулась совершенно здоровой. Из носа не текло, горло не болело, в груди перестало хрипеть, голова была как новая. Это был единственный в моей жизни случай чудесного исцеления. Потом, встречаясь с А.П., я говорила ему, что не могу забыть, как он меня вылечил. Он повторял: «Приезжайте еще — еще полечим».

Я пишу сейчас эти слова и опять не верю в то, что случилось. Ведь это так далеко и так нелепо. Может, неправда? *He does not seem like someone who would die.* Александр Павлович здесь. Наши расстояния ему теперь не помеха. Светлая память.

Нью-Йорк, 8—9 октября 2005 г.
(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Владимир Паперный

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО

— **К**нам в «Новый мир», — рассказывала моя мама, Калерия Николаевна Озерова, — ходил молодой аспирант, Саша Чудаков, писал короткие рецензии. Один раз спрашивает: «Можно я приведу талантливую авторку?» Конечно можно. Приводит какую-то девочку, по виду школьницу, на восьмом месяце беременности. Оказывается, это его жена Мариэтта.

Мама была очарована Чудаковыми и их совместными статьями. Я хорошо помню одну из них — «Современная повесть и юмор»,

явно написанную под влиянием Тынянова. В статье Чудаковы описали литературную тенденцию, они назвали ее «иронически-пародийной манерой», суть которой сводится к замене мудрости юмором. «Пародийное слово, так широко проникшее в литературу,— писали Чудаковы, — лишь по традиции выступает сейчас в качестве сигнала чего-то нового. За ним давно уже стоят каноны, своя инертность мысли и стиля». Сейчас вижу, что замеченная ими в 60-е годы тенденция развивалась, мутировала и в конце концов трансформировалась в «стеб», элементы которого можно заметить, скажем, у Сорокина и позднего Пелевина, не говоря уже о более слабых авторах типа Липскерова.

Мама мечтала, чтобы я познакомился с Чудаковыми, что должно было отвлечь меня от вредного влияния богемы из кафе «Артистическое». Я, как и полагается тинэйджеру, ко всему, что исходило от родителей, относился с предубеждением. К тому же мама избрала совершенно ложную стратегию, она напирала на байдарочные походы, а на мой тогдашний вкус это было полным моветоном.

Не помню, как, но ей все-таки удалось уговорить меня пойти с Чудаковыми в байдарочный поход. Потом я описывал маме свою удивленную реакцию от первой встречи: «Я думал, это какие-то замшелые туристы-байдарочники, а это оказались интеллигентные люди». Мама была счастлива.

Поход на байдарках по Медведице (до впадения ее в Волгу недалеко от Кашина и Калязина) оказался событием, повлиявшим на меня не меньше чем сидение в «Артистическом». Мне было девятнадцать лет. Саша и Мариэтта казались мне взрослыми, чуть ли не пожилыми людьми. Сейчас я рассматриваю наши походные фотографии и вижу поразительно юную двадцатипятилетнюю пару. Я был под их сильным влиянием. Влияние Мариэтты было очевидным и неизбежным. Мало кто мог устоять под исходившим от нее напором ума, таланта и политического темперамента. Шашино влияние было менее очевидным. К Саше было принято относиться с добродушной иронией, и этот стиль ввела сама Мариэтта. Она создала для своих устных рассказов комический персонаж по имени «Чудаков». Это был такой добрый рассеянный фольклорный богатырь. Что-то среднее между Ильей Муромцем и Самсоном. Он был задумчив и доверчив и из-за этого постоянно попадал в смешные ситуации.

— Стоит как-то раз Чудаков под ледяным душем в бане, — рассказывает Мариэтта. — Все вокруг жалуются, что холодные брыз-

ги долетают до них. Холодно? Саша переключает душ на кипяток. Окружающие в ужасе разбегаются. Саша, выросший в Сибири и привыкший переносить любую температуру, не понимает куда они делись.

Мариэтта рассказывает мастерски, с деталями, с интонацией очевидца. В мужской бане она присутствовать не могла — значит источником был Саша. Получается, что в этой игре участвовал он сам.

— Встречаем мы на днях одну знакомую, — сообщает Мариэтта в другой раз. — Она держится за щеку, говорит, что ей только что вырвали зуб. «Откуда?» — с интересом спрашивает Чудаков. Тут эта интеллигентная воспитанная пожилая дама не выдерживает и отвечает совершенной непристойностью.

У созданного Мариэттой персонажа есть важное качество — стопроцентная надежность. Что бы ни случилось, добрый богатырь Чудаков придет на помощь. Такой эпизод: мы в другом байдарочном походе, байдарок две. С Чудаковыми плывет еще один чеховед — мой отец. Мариэтта — рулевой. Из-за того, что в байдарке — трое, места для вещей мало, их запихивают в нос, к рулю, стиснув ей ноги, и за спину. Никто из нас не догадывается, что вылезти из байдарки Мариэтта теперь может только с посторонней помощью.

Все трое поют хором русские народные песни. Когда доходят до слов «лучше быть мне в реке утопимому, чем на свете жить нелюбимому», Мариэтта кричит:

— Я суеверная, этих слов мы петь не будем.

— Чтобы доказать, что суеверия бессмысленны, — говорит мой отец, — мы споем эту строчку три раза.

Из уважения к доктору наук Чудаковы поют вместе с ним. На третьем повторе их байдарка попадает в узкий канал для лесосплава, переворачивается и Мариэтту заклинивает под водой в перевернутом состоянии. Мы с сестрой Таней с ужасом смотрим из второй байдарки на расходящиеся по воде круги. Через минуту из воды появляется отец с авторучкой в одной руке и записной книжкой в другой — настоящий филолог. Потом всплывает Саша и вежливо спрашивает отца, не знает ли он, где Мариэтта. Отец растерянно оглядывается, потом с выражением ужаса показывает пальцем вниз. Саша кивает и исчезает в пучине. Еще через минуту он выплывает со спасенной Мариэттой.

— Что ты чувствовала, когда оказалась висящей вниз головой под водой? — спрашиваю я.

— Я была абсолютно спокойна, — объясняет Мариэтта. — Я совершенно точно знала, что Чудаков меня вытащит. А даже если не успеет вытащить вовремя и я захлебнусь, то и это не страшно, потому что Чудаков знает, как откачивать утопленников.

Вот это доверие. Ясно, что ироническая интонация была всего лишь литературным приемом.

Созданный Мариэттой персонаж очень близок к оригиналу, разница только в том, что Саша был глубже и сложнее. Это стало особенно ясно, когда появился его автобиографический роман «Ложится мгла на старые ступени». Героя зовут Антон. Он историк, но при этом он все время мысленно описывает происходящее «книжным языком», как бы репетируя будущий роман. Можно сказать, что в Антоне слились чеховед Чудаков и сам Чехов.

В романе есть стилистическая особенность: повествование в третьем лице («Антон подумал») иногда сменяется первым («я подумал»). Переходы эти кажутся случайными, что напоминает мне о концепции случайных деталей в книге Чудакова «Поэтика Чехова».

Думаю, это «мерцание» точки повествования связано с типом творческого содружества семьи Чудаковых. Они никогда не были просто супружеской парой, а скорее единой творческо-политической организацией, с совпадением литературных оценок, политических взглядов, отношения к труду, к профессионализму, с единой системой ценностей. Даже когда они писали порознь, их участие в творческом процессе друг друга не прекращалось. Мне кажется, что Саша одновременно видел себя изнутри («я») и глазами Мариэтты («Антон») — отсюда такая сложная структура повествования.

Литературное творчество Чудакова началось с анализа и отрицания иронически-пародийной манеры и закончилось утверждением серьезного взгляда на мир. Счеты с советской властью он сводит не «стебом», не соцартом, а внимательным вглядыванием, вслушиванием и вдумыванием в людей и события детства. Подзаголовок «роман-идиллия» вполне можно было бы заменить на прустовский «в поисках утраченного времени».

Умирающий дед из романа подводит итог своей жизни: «Они отобрали сад, дом, отца, братьев. Бога они отнять не смогли, ибо царство Божие внутри нас. Но они отняли Россию. И в мои последние дни нет у меня к ним христианского чувства».

Это слова деда, не автора. Но для автора они предельно важны. Не случайно это один из последних абзацев книги. В каком-то смысле

жизнь Чудакова была посвящена восстановлению этой разрушенной и исчезнувшей России — это можно видеть и в сфере исследовательских интересов, и в его страстном библиофильстве, и в строительстве собственного дома — за всем этим стоит желание собрать, сохранить, восстановить, продолжить.

Я храню несколько Сашиных подарков. Они нематериальны, в основном это тексты (ода бумажной скульптуре, свиток выступления на презентации) и умения (как разжигать костер под дождем, как ставить палатку на ветру). Самый нематериальный из Сашиных подарков — это забытое искусство умножения на пальцах, которому Сашу обучил в Сибири дед. Это то, чего всем не хватает в наш компьютерный век, — способности обходиться без подпорок, без техники, способности полагаться на себя и выживать в непереносимых условиях.

То, чем Саша владел в сильной степени.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Ирина Сурат

СЛОВО И МИР АЛЕКСАНДРА ЧУДАКОВА

Известие о гибели Александра Павловича Чудакова грянуло как гром среди ясного неба — ничто не предвещало смерти этого большого, бодрого человека, полного замыслов и сил. Поверить в случившееся невозможно — настолько был он всегда живой, деятельный, заинтересованный жизнью, настолько многое в ней любил и так много еще хотел сделать. Совершенно противоестественная, дикая смерть, поставившая всех, кто знал его, перед лицом остро переживаемых вечных вопросов, — он ведь явно не дожил своей жизни, не испил чаши до конца, его могучий жизненный ресурс был, кажется, далеко не исчерпан.

О научных заслугах Александра Павловича Чудакова будут говорить много и скажут, наверное, лучше меня. Они, эти заслуги, еще в полной мере не осмыслены. Ясно одно — ушел настоящий большой филолог, и с его уходом уже окончательно прервалась связь между нашим поколением и великой русской филологией первой половины XX века, коей он был прямой наследник. Обо всем этом

еще будут писать, будут выходить статьи и книги в его честь, и это хорошо, но разве в этом дело? Славой он и при жизни не был обделен, да только вот ничего не нажил — ни должностей, ни премий, ни простой возможности спокойно заниматься своим делом, не заботясь о ежедневном хлебе насущном. Мы знаем его замечательные книги («Поэтика Чехова», 1971; «Мир Чехова», 1986; «Антон Павлович Чехов», 1987; «Слово—вещь—мир. От Пушкина до Толстого», 1992), его статьи о Пушкине, Гоголе, его работы по истории русской филологической науки, но как горько думать, что не доведена до конца титаническая работа над полной чеховской библиографией, не написан умопомрачительный «тотальный комментарий» к «Евгению Онегину», не подготовленной осталась книга мемуаров о великих филологах, над которой ему так хотелось работать в последнее время, но не было издательского заказа на нее, такого заказа, который позволил бы бросить все и засесть дописывать книгу — об этом он мечтал. И никто никогда не сможет реализовать эти замыслы. Жить — это делать то, что другой за тебя не сделает. Александр Павлович жил и делал свое дело — и вот так резко и страшно оборвалась эта жизнь, так внезапно для всех!

Но главную книгу свою он успел написать — свой роман «Ложится мгла на старые ступени», наделавший столько шуму, почти получивший, но не получивший Букера, замечательная русская книга, которую не без оснований сравнивали с «Былым и думами» Герцена, а я бы сравнила еще и с пушкинским «Онегиным» в том смысле, что автор раскрылся в этой книге со всей возможной полнотой. С ее страниц предстала нам не только подлинная, сохраненная Россия, но и сам ее автор предстал в неожиданном для многих образе — таким, каким его не очень знали в «узких научных кругах». Потом, когда книга снискала безусловный успех и признание, он, как будто оправдываясь, говорил, что просто вынужден был ее написать — настолько распирали его приобретенные за жизнь познания. А познания эти были и вправду необозримы и порой ошеломительны — и в естественных науках, и в гуманитарных, и в теории, и в практике. «Я хотел как-то освободиться от всего этого, — говорил, как бы стесняясь, Чудаков, — и вот нашел такой выход: роман». И еще он говорил, что в Корею, куда он поехал на заработки, исследовательской работой невозможно было заниматься — ни библиотеки, ни картотеки, ни архива — и вот в один прекрасный день он положил перед собой белый лист бумаги и начал писать роман, и вскоре почувствовал, какое это прекрасное

и упоительное занятие — просто писать из головы не научный текст. В академических кругах такие «шаги вбок» не в почете, зато как запойно читали эту книгу о жизни в далеком Чебачинске широкие круги незашоренной интеллигенции, и «гуманитарной» и «технической»! Читали — потому что книга эта прежде всего талантлива, потому что автор ее был сполна наделен талантом познания, талантом слова и главное — талантом жить.

Как было им не любоваться, когда, положив очки в ботинок на берегу, он покрывал роскошным баттерфляем сотню метров водного пространства, или, напротив, уходил под воду, чтобы через несколько минут всплыть на другом берегу! Еще пару лет назад он с сожалением говорил, что раньше легко проплывал под водой сто метров, а теперь вот только 70—80. Плавание было его особой любовью, а может, и призванием — в юности ему прочили блестящую спортивную карьеру, он по этому пути не пошел, зато с каким удовольствием осуществлял заплывы в пушкинской Сороти — один, помню, заплыв был в честь взятия Бастилии, другой — имени А. П. Чехова. А выйдя на берег, надевал он, строгий академический ученый, белую рубашку, галстук, пиджак, принесенные с собою в аккуратном сложенном виде, менял кроссовки на ботинки и шел делать доклад на конференции по «Евгению Онегину». А вечером, сменив белую рубашку на тельняшку, сиживал на кухне, рассказывая бесконечные истории из своей и чужой жизни и терпеливо ожидая настоящей, правильно приготовленной разварной гречневой каши, которой был большой любитель. А для детей он сочинял на ходу, с невозмутимым лицом, и одна из таких историй, рассказанная моей дочери в пору ее раннего детства, была про двух братьев — один ел все больше конфетки, а другой — гречневую кашу, и вот поехали они в Индию на соревнования по поднятию штанги, и правильный брат, конечно, победил, а неправильный был посрамлен и потом тоже, конечно, перешел на гречневую кашу. Другая детская байка была про то, что уши на ночь желательно подкручивать, потому что ночью вертись и если не подкручивать, то могут отвалиться, утром проснешься — а они на подушке (дочь моя не совсем верила, но на всякий случай втайне подкручивала). Сам он был простодушен как ребенок, доверчив и временами застенчив.

Он никогда не упускал возможности посидеть-поговорить, и чтобы было первое, второе и компот, а лучше вермут, но можно и другое, и как неправы те, кто считает, что пить надо по восходящей

и не смешивая — они, говорил он, лишают себя разнообразия и радости жизни. Только радость общения я от него и помню. Его ничто не раздражало, он был в согласии с людьми и в согласии с миром, который был ему весь открыт и весь интересен. Он знал каждое дерево и каждую птичку, был настоящим другом кошек и собак, хорошо разбирался в почвах, в верблюдоводстве, например, и в китоводстве, во всех, кажется, естественных науках и во всех гуманитарных, и в различных технологиях, и только у него можно было надежно выяснить, стоит ли изолировать печную трубу алебастром и чем лучше заполнять межкомнатные перегородки (ячейками из-под яиц! — они хорошо поглощают звук). Он очень интересовался, правильно ли я строю дачный дом, научил меня положить под крышу тридцатку на ребро — получилось хорошо.

Кто был на даче у Александра Павловича, тот имел возможность не только в нем самом что-то главное понять, но и вообще задуматься об отношениях человека с окружающим миром. Почти все там сделано своими руками и видно, как человек может менять жизненное пространство вокруг себя, внося в него красоту и порядок, культуру и интеллект. Он корчевал пни и «наступал на болото» (это произошло со вкусом, с гордостью), выращивал идеальный газон, ограждая его специальным бордюрным камнем, строил забор из валунов, возя их на велосипедном багажнике с окрестных карьеров. При помощи каких-то египетских подъемных механизмов валуны эти подымались на нужную высоту, сажались на раствор, и за лето стена увеличивалась метра на два. Я ахнула, когда увидела, в каком стройном и красивом порядке содержались инструменты в его сарайчике — в таком же красивом порядке выстроены цитаты в его последнем печатном тексте. А зимой — день рождения традиционно справлялся на любимой даче — он выдавал гостям валенки и вел всех в двадцатиградусный мороз в лес, сетуя, что лес не чистят и вот он погибает, и надо собраться всем поселком и почистить, а то зарастет. Лес и землю он любил не созерцательно — он любил настоящий осмысленный труд на земле, как и всякий ручной труд, и сказал однажды, что копать «серьезную яму» — величайшее наслаждение, не сравнимое ни с какой умственной деятельностью. И вдруг мы оказались у края совсем другой «серьезной ямы» — его могилы...

Серьезен и ответственен он был во всяком деле. Меня привело в недоумение его отношение к такой дурацкой процедуре, как моя защита, — будучи призван в оппоненты, он, вместо того, чтобы отделать-

ся по минимуму, просидел над отзывом неделю и привез 26 страниц рукописного текста (мы оба не знали, что делать с этой пачкой листов, потому что у него как раз сломался компьютер, а у меня — принтер). В отзыве он развернул со мной принципиальную научную полемику, которая показалась мне тогда неуместной. На самой защите мы пикировались больше часа, народ роптал и переглядывался. И только потом я поняла все это, представив себе его на заседаниях ОПОЯЗА, поняла, что просто ОПОЯЗ для него не кончился, что любой научный вопрос для него жизненно важен и он готов обсуждать его сколько угодно и где угодно, хоть бы и на защите, что известный лозунг «Назад, к Тынянову!» — к его любимому Тынянову, труды которого он так блистательно прокомментировал и издал в 1977 году вместе с М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддесом — что этот лозунг для него не актуален, потому что никуда он не отрывался от этой школы, унаследовав от ее основателей не только филологические идеи, но и полную погруженность в науку как в жизненное дело. Но за жизненное дело у нас не платят, и денежные проблемы душили его, угнетали, отнимали драгоценное время и силы.

О последнем его тексте я хочу сказать особо, и не только как составитель «Пушкинского сборника» и заказчик материала. Речь идет о его статье «К проблеме тотального комментария “Евгения Онегина”» — по ней мы можем судить о том, каков был его грандиозный исследовательский замысел, как он мог быть осуществлен и чего мы лишились. Не могу отказать себе в потребности привести начало этого текста:

«Окружающий нас эмпирический мир физически непрерывен, и непрерывность эта абсолютна: человеку в его неспекулятивном бытии (и не связанном с такими феноменами, как частицы, античастицы) не дано пространства, свободного от какой-либо материальности.

Но для сознания эмпирический мир гетерогенен и отдельностен. Только так человек получает возможность сызмальства ориентироваться в нем, лишь умозрительным усилием устанавливая субстанциальную общность классов вещей и их иерархию. Отношения взаимопомощи, биологического симбиоза и прочие экологические связи не нарушают мировой гетерогенности. Лишайник, растущий на камне, остается лишайником, а камень — камнем. Чем активней использует лишайник свое “подножие”, тем больше он становится растением и тем сильнее разнится с камнем. Можно возразить, что органические тела рано или поздно превратятся в органический перегной. Но пока

они внешне-морфологически самостоятельны, для обыденного сознания они гетерогенны.

Наука давно привыкла видеть все вещи в их связях. Субстанция блюда не может быть описана биологически и гастронологически без самых дальних звеньев цепи: солнце — почва — трава — вода — барашек — шашлык.

Предметы же мира художественного изначально гомогенны: все вещи литературного произведения независимо от их мыслимого материального качественования подчинены общим для всех их законам и выражают некое единое начало. Однако литературоведческие описания художественных текстов по аналогии с эмпирическим миром обычно работают с дискретными единицами: герой — мотив — сюжет — реалии — слово и т.п. “Постатейное” рассмотрение этих проблем не изучает все элементы вместе, в их естественной взаимосвязи в процессе поступательного движения текста. Такое изучение может быть осуществлено только в медленном невыборочном его чтении-анализе.

Больше всего в таком комментированном чтении нуждается “Евгений Онегин” — чтении сплошном, без пропусков, слово за словом, стих за стихом, строфа за строфой.

Мы не должны обольщать себя мыслью, что наши представления совпадают с читательскими времени Пушкина — даже о самых простых вещах, например, о *санках* в I главе. Чтобы восполнить это хотя бы частично, необходимо, как и в научном описании, разрешить цепь вопросов, в данном случае упряжно-экипажных. Чем санки, на которых едет Онегин к Талону, отличаются от деревенских? Велики ли? Где на них обычно ездили? Открытые они или закрытые? Сколько лошадей? Какова запряжка? Русская? Немецкая (без дуги)? С постромками или оглобельная? Какое место эти санки занимают в экипажной иерархии? Почему на бал Онегин едет уже “в ямской карете”?» (Пушкинский сборник, М., 2005, с. 210—211).

Я пишу и выписываю все это по горячим следам его гибели, в ушах звучит его голос, и в этих вопросах я слышу его всегдашний неутолимый интерес к подробностям окружающего мира и его пристальное внимание к деталям художественного текста. Два эти интереса имеют общий корень в глубине его личности. На одной из презентаций своего романа Александр Павлович рассказал, что формирующее впечатление произвел на него когда-то в ранней юности список жизненно необходимых вещей, спасенных Робинзоном Крузо с зато-

нувшего корабля. Здесь — истоки его филологических пристрастий (вспомним работы о предметном мире и роли детали в творчестве Чехова), здесь же — истоки его романа, в котором сохраненная материальная культура, как и природа, возводится в ранг высшей духовной ценности.

В приведенном фрагменте он ставит лишайник и слово на одну шкалу познания — таково было его ценностное и целостное отношение к миру, подлинно гуманистическое отношение, не в сегодняшнем ограниченном смысле, а в том смысле, в каком говорят о гуманистах Возрождения, например. И гуманитарной науке он, как мне кажется, возвращал ее гуманистический пафос, возвращал ее в жизнь, от которой она искусственно уводится усилиями целых филологических школ.

О тотальном комментарии к «Евгению Онегину» Александр Павлович много говорил в последние годы, делал блестящие доклады и читал увлекательные лекции студентам МГУ и Школы-студии МХАТ. Мне кажется, это был его заветный замысел, в котором соединился его интерес к материальному миру в литературе с лингво-стилистическим анализом текста в плане «структурного взаимодействия словесных единиц». Любимый ученик В. В. Виноградова, он был, пожалуй, единственным из живущих ныне филологов, кто мог подняться на такой анализ пушкинского романа в стихах. Но эта работа имела для него и принципиальное теоретическое значение — он хотел в таком комментарии, придумав ему столь небанальное терминологическое определение — «тотальный комментарий», — осуществить тот самый системный подход к тексту, за который он так всегда ратовал. Пушкинский роман представлялся тут ему идеальным полигоном. О системном подходе был спор и на пресловутой защите — я говорила, что в системном подходе есть какая-то искусственность, что каждый исследователь задает свои вопросы к тексту и выбирает путь, который ведет к ответам, и что нельзя поставить все вопросы и идти всеми путями сразу. Александру Павловичу эти возражения казались неубедительными. Примером системного подхода он считал книгу Ю. М. Лотмана «Анализ поэтического текста». Другой спорной точкой был генетический комментарий: Александр Павлович говорил, что нельзя смешивать генезис текста с самим текстом, и в пример приводил XLVI строфу восьмой главы «Евгения Онегина», строки про «бедную няню», которые так часто объясняют смертью пушкинской няни и неправильно делают, потому что к восприятию пушкин-

ского романа читателем это не имеет ровно никакого отношения. Все эти методологические вопросы — не новость, это старинные вопросы нашей науки, и они не переставали его волновать. Он, между прочим, не любил «интертекстуальность», еще больше не любил так называемый «мотивный анализ» и посмеивался над его нелепыми проявлениями (помнится, мы сошлись в оценке «мотивных» трудов признанной мировой знаменитости). С юмором составленный список таких нелепостей можно найти в одной из его последних публикаций — в дискуссии о современной филологии, развернутой журналом «Знамя». Там он называет все это «игрой в бисер» и, перечисляя модные «мотивы», с горечью говорит о маргинализации литературоведения: «В самих этих и даже более мелких темах нет ничего плохого. Но при одном условии: установления места мотива в общей иерархии произведения или характера трансформации пратекста в новой художественной структуре, куда он вошел. Но такие системные задачи, работающие на описание целостной картины мира художника, в новейших работах не ставятся никогда: дескриптивная фиксация отдельной темы считается достаточной для того, чтобы работа считалась научной» («Знамя», 2005, № 1, с. 208—209). И вот эти системные задачи, как я понимаю, он предполагал решать в жанре «тотального комментария», соотносящего все со всем. Он говорил, что не надеется такой комментарий написать целиком — в статье для «Пушкинского сборника» комментарий к двум строфам занял почти два печатных листа — но он безусловно хотел его писать, он получал от этого наслаждение и публикацией был очень доволен. Мы не раз говорили с ним о том, как бы хорошо было ему перейти в нашу жалкую пушкинскую группу ИМЛИ и в порядке плановой работы сидеть и писать свой бесконечный тотальный комментарий, получая за него нищенское академическое пособие. Но и это казалось тогда нереальным. И вот он ушел, а с ним ушли его замыслы, его возможности, его уникальные исследовательские подходы, его колоссальная переполненная память, его яркая, легендарная личность, его особый физический облик — все обрушилось внезапно и дико, и, оглянувшись вокруг, я с ужасом вижу, что почти не остается больших людей из того старшего поколения русских филологов, с которым связала меня жизнь.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Сергей Бочаров

СИНЯЯ ПТИЦА АЛЕКСАНДРА ЧУДАКОВА

В последнем опубликованном тексте Александра Павловича сказано: «Но для сознания эмпирический мир гетерогенен и отдельностен»¹. Последнего слова нет в живом языке, оно образовано специально как термин — персональный термин как знак исследовательского языка А. П. Чудакова: «отдельностность» предмета в его картине поэтики Пушкина. Ну, а в классической «Поэтике Чехова», за тридцать пять лет до того, все помнят «случайностность» — не случайность, случайный, а случайностность и случайностный. Такие терминологические изыски должны иметь оправдание — открывать нам то, что без них не открывается. Терминологические эпатажи были во вкусе ОПОЯЗ'а, на который равнялся А. П. и хранил ему присягу на верность, — однако тут, похоже, слышится иная мыслительная традиция. Не просто случай, случайная случайностность, а «собственно случайное, имеющее самостоятельную бытийную ценность»² — это, казавшееся терминологической прихотью, было уровнем созерцания. Случайностность как возведенное в энную степень качество бытия, нечто, видимо, образованное по типу немецкого философского словообразования и больше напоминающее стилистические причуды шпетовской герменевтики (если уж вспоминать параллели из тех самых 1920-х годов), чем столь чуждый какой-либо философской туманности язык формалистов, которые, что любил вспоминать А. П., говорили про Шпета с его для них устаревшей философичностью: *zu spät*.

Как бы почти по-средневековому свою случайностность А. П. породил как универсалию. Насколько для Чехова универсальна эта универсалия — другой специальный вопрос, но направление было взято и в филологическом мире произвело тогда сильное впечатление. Чехова это тогда нам заново осветило, но впечатление было больше нового взгляда на Чехова.

Александр Павлович не умер в свои 67 лет — он погиб. *Ложится мгла на старые ступени* — свой роман он озаглавил блоковской строкой, а сбывлась над ним другая блоковская строка: *Нас всех подстерега-*

¹ Чудаков Александр. К проблеме тотального комментария «Евгения Онегина» // Пушкинский сборник. М., Три квадрата, 2005. С. 210.

² Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., Наука, 1971. С. 282.

ет случай. В общем потрясении главным чувством была человеческая утрата, только частью которой была утрата научная. В филологических поминках³ звучало — «мир Чудакова» как мир широко и богато личностный; между тем это слишком общее слово — «мир», «мир писателя» — он принимал и стремился обосновать как филологическое понятие, «не метафорически, а терминологически»⁴. Литературовед на наших глазах обернулся писателем-романистом, прозаиком, оставаясь верен своей филологии и понимая ее не как расплывчато-вольную эссеистику, но как достаточно «строгую науку», «не метафорически, а терминологически»; в свои 67 он был в развороте новой филологической деятельности, но мы вынуждены сегодня подводить ей итог.

Теоретическую генеалогию его научного мира нужно лучше себе представить. Виктор Шкловский писал ему, прочитавши «Поэтику Чехова»: «Мой совет: разучитесь от Лотмана, научитесь Чудакову»⁵. Зубр старого формализма советует «разучиться от» нового структурализма — и когда? — в 1971-м, в год пика этого последнего, к которому Чудаков, конечно, был близок и участвовал в его акциях, но собственный путь его отклонился от тартуского «мейнстрима». К Шкловскому в связке и в сочетании с В. В. Виноградовым, к учителям-собеседникам, он оставался все же ближе, чем к Лотману. Я писал недавно по случаю книги Юрия Николаевича Чумакова о том, как наша воскресшая поэтика на том рубеже 1960—70-х сразу была различно развернута в двух образовавшихся неслиянных руслах — поэтики структуральной и феноменологической. Чудаков и Чумаков недаром образовали филологически-содружеское созвучие-рифму⁶ (немного смешное в звучании, вроде как «Горбунов и Горчаков» у Бродского) — они шли параллельными курсами и оба устремились по феноменологическому пути, на котором в чистой поэтике становилось тесно. Свой путь Чумаков описал как движение от поэтики к универсалиям⁷, Чудаков же с универсалии

³ Новое литературное обозрение. № 75 (2005).

⁴ Чудаков А. Слово — вещь — мир. М., Современный писатель, 1992. С. 8.

⁵ Чудаков Александр. Слушаю. Учусь. Спрашиваю. Три мемуара. Сеул, 1999. С. 116.

⁶ «Воспоминания и размышления об Александре Чудакове» Ю. Н. Чумакова см. в НЛО, № 75, с. 225—229 и ниже в настоящем сборнике.

⁷ Чумаков Юрий. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., Пушкинский театральный центр, 1999. С. 7.

начал, и универсалия эта была бытийной. Чумаков на протяжении лет строил свою филологию вокруг «Евгения Онегина», понимая его и как словесный объект, по Тынянову, и дальше Тынянова — как бытийственный универсум, «модель мироустройства». Чудаков в конце концов, и тоже идя от Тынянова (онегинскую статью которого начала 20-х годов он первый опубликовал в 1974-м), к «Онегину» как универсальной цели пришел.

От «Поэтики Чехова» к идее онегинского тотального комментария — таков был путь. Путь достаточно прямой, о чем говорит преемство терминологического почерка — от «случайности» к «отдельности». Задание на «тотальность», собственно, было и в чеховской книге — на полное описание художественного мира по уровням (повествование, объективное и субъективное, предметный мир, сюжет и мир идей), и на всех этих уровнях обнаруживалось — «изоморфно» и даже, пожалуй, несколько монотонно — то же самое. Мир Чехова был несколько раз прокручен по уровням, и главное — не была упущена ни одна им написанная строка. Кажется, можно сказать, что исследователь за полнотой всех чеховских текстов имел перед собой некий теоретический, идеальный объект, не названный прямо по имени. Автор не называет термина «эстетический объект» — а так назывался тот идеальный объект в европейской феноменологической эстетике начала XX века. Это не то, что прямо конкретное произведение, это его умозрительный, философский эквивалент. У нас об эстетическом объекте, в отличие от произведения, теоретически писал в 1920-е годы Бахтин⁸ и свой полифонический роман в знаменитой книге рассматривал именно как эстетический объект Достоевского, ту общую модель его творчества, которую он описывал как бы сквозь произведения Достоевского как таковые (и этот ультра-теоретический уровень умозрения естественно породил великую массу вопросов, недоумений и возражений). А один из бахтинских alter ego, В. Н. Волошинов, в то же самое время назвал эстетический объект «синей птицей» творческого стремления художника и конгениально-го художнику интерпретатора⁹.

⁸ Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 1. М., Русские словари; Языки славянской культуры, 2003. С. 274—275.

⁹ Волошинов В. О границах поэтики и лингвистики // В борьбе за марксизм в литературной науке. Л., Прибой, 1930. С. 205—206.

Вот и Александр Павлович Чудаков тридцать пять лет ловил свою синюю птицу. И пришел к «Онегину» как к эстетическому объекту, единственному в своем роде. На «Онегине» встретились и сошлись его корневые темы. Комментарий к роману в стихах давал безбрежный простор любви комментатора к предметному миру в литературе и в жизни, с непрерывными переходами из одной в другую, от онегинских санок, которые мы, конечно, по-настоящему не представляем себе (петербургские городские «прогулочные санки, козырьки, запряжённые парой резвых лошадок»¹⁰ как вид столичного транспорта, вроде тогдашних такси), к целой «упряжно-экипажной» энциклопедии сведений. О «бобровом воротнике» («седой бобровый воротник» в черновом варианте) у нас с комментатором состоялся последний телефонный разговор за несколько дней до катастрофы. Читая воспоминания Фета, я наткнулся на рассказ о щегольстве молодого Льва Толстого, красовавшегося «в новой бекеше с седым бобровым воротником»¹¹. Я сообщил А. П. о таком продолжении онегинского сюжета в русском литературном быту уже следующей эпохи, и он был заинтересован весьма, особенно тем, что Толстой как новый Онегин щеголял как бы в пушкинском черновом варианте. Последний разговор был о бобровом воротнике!

И я помню еще, как А. П. любил говорить, ссылаясь, не помню точно, но, кажется, на Ю. Г. Оксмана, от которого слышал это, что комментарий — самый свободный жанр. Мне афоризм этот очень понравился, хотя он как будто в противоречии с тем фактом, что комментарий — это служебный жанр, который обязан быть строгим, и это так — но он же не только свободный жанр, но и самый свободный. И помню еще, как А. П. ценил примечания Б. Л. Модзалевского к 1—2 томам четырехтомника пушкинских писем — за что ценил? за то, что там «много лишнего», прямо к письмам не относящегося. Лишнего — как материалов к широкой пушкинской энциклопедии.

И вот филолог обернулся к нам и остался для нас писателем. Читатели «романа-идиллии» сразу опознавали в авторе филолога. И чеховеда опознавали, поставившего интимный чеховский знак на герое романа, назвав его Антоном. Героем автор отодвинул себя на дистанцию, что часто бывает в подобного рода личных повествованиях. Но что не часто бывает — это тонко организованная система сбоев

¹⁰ Пушкинский сборник. С. 211, 226—227.

¹¹ Фет А. А. Воспоминания. М., 1983. С. 347.

(нередко в одной фразе) с третьего лица героя на первое авторское лицо: «это он, Антон, это я бежал по шоссе — я много бегал тогда, по десять, пятнадцать километров»¹². (В 80—81-м Саша утром бегал так по московской окраине и забегал выпить кофе в Тёплый стан, где я тогда квартировал.) Автор включал себя в объективную картину без нарциссизма, не заслоняя ее, являясь больше свидетелем, чем участником. Но Антона Павловича Ч. в романе заметили все: перебои лиц героя и автора образовали виртуальную комбинацию из имени героя и отчества автора — что-то такое объемное строилось для читателя из героя, автора и Чехова в качестве идеального «образа автора».

Изобилие материальных и бытовых подробностей поражает нас в романе-идиллии. Словно мы читаем старый добротный русский роман. Но мы читаем роман, который нужно назвать историческим, и его материал — совсем другая история, нежели в старом романе. Это роман-эпоха, обнимающий несколько десятилетий прожитой нами с автором вместе суровой советской истории. Это моя эпоха, однако я не вполне ее узнаю, читая роман Чудакова; узнаю в московских, университетских главах, но основной мир романа, тот угол послевоенной советской жизни, откуда вышел автор-герой, мне, конечно, был неизвестен. Неизвестен он и нашей литературе — та полуссылная (недобровольно и добровольно ссыльная, т. е. спасавшаяся в глубинке от того, что творилось в центрах) среда, обосновавшаяся в конце 30-х на границе России и Казахстана, здесь, в этом романе, впервые литературе открыта и явлена. Об этом особом мире «далеко от Москвы», на краю советского бытия, где традиционная русская жизнь оставалась менее поврежденной, — литературное свидетельство кроме повествования Чудакова мне неизвестно. Это открытие неизвестного нашей литературе особого мира. Отсюда, видимо, и изобилие материальных подробностей — ведь это кто из наших мыслителей XX века сказал, что коммунистический материализм был злостный идеализм, поскольку он истреблял материальную жизнь и быт? Отсюда, видимо, и *идиллия* в жанровом определении романа.

Недавно М. Л. Гаспаров назвал Бахтина философом в роли филолога. Автора ни на что не похожего в нашей словесности романа-идиллии можно назвать филологом в роли писателя. Он изучал предметные миры русской прозы — а они такие были разные. Как сильно

¹² Чудаков Александр. Ложится мгла на старые ступени. М., Олма-пресс, 2001. С. 361.

они деформированы у Гоголя и Достоевского их идейными целями! У Собакевича, мы помним, и шкаф — Собакевич. Шкаф, составляющий обстановку идейного самоубийства Кириллова в «Бесах» («С правой стороны этого шкафа, в углу, образованном стеною и шкафом, стоял Кириллов, и стоял ужасно странно...»), обращается в трагический символ и в этом качестве переходит в будущую поэзию (*Шутки ль месяца молодого, / Или вправду там кто-то снова / Между печкой и шкафом стоит?*). «Дорогой, многоуважаемый шкаф» у Чехова — это просто шкаф, и юмор, снимая гаевскую патетику, позволяет ему стоять прочно; юмор снимает то, чем мог бы его нагрузить Достоевский. Как Пушкин в минимуме подробностей «видел твердые лики вещей»¹³, так Чехов, вопреки тем титанам, дал предметно-зримую картину материальной среды эпохи, такую картину, по которой можно предметно ее, эпоху, видеть и знать — как бы видеть такой, какой она «на самом деле» была.

У автора книги «Ложится мгла на старые ступени», конечно, чеховский взгляд на предметный мир своей эпохи. Но — как можно было столько запомнить и в памяти удержать конкретного, точного, материального материала (как косили, копали, варили мыло) из детства, из потонувшего времени? А. Немзер предполагает обширные записи прошлых лет; известно, что А. П. вел подневные записи до последнего дня¹⁴. Но столько можно ли записать? Это память, конечно, яркая личная, но не только: она историческая и художественная; сама память, по Немзеру, «дневниковая», «сопряженная с твердым сознанием твоей <...> включенности в историю»¹⁵.

Роман исторический — не бытописание же эпохи, хотя и бытописание тоже. Роман-свидетельство — так можно определить его свидетельский смысл — о том, как русская жизнь сохранялась внутри советской. И тоже искал свою синюю птицу в этом повествовании автор-филолог. С известной поправкой к определению жанра романа-идиллии. «И все они умерли» — его заключительная глава. Личный герой здесь погружен в мысль о смерти — так что нужна поправка и к тому, вероятно, поверхностному все же оптимистическому личному впечатлению, о котором была выше речь, — и первоначальное название романа было — «Смерть деда». Дед — первое и последнее

¹³ Чудаков А. Слово — вещь — мир. С. 18.

¹⁴ См. публикацию дневников в настоящем издании.

¹⁵ См. ниже статью А. Немзера «Мир Чудакова».

слово романа. «Дед был очень силен». В первой главе в современном армреслинге он кладет руку кузнеца. Я видел автора еще на прежних субботниках — видел, как он работает ломом, лед колет. Видел и как он строит на даче дом своими руками. Был высокий, тяжелый, большой человек — этот образ входил и в работу филолога, и в работу писателя. Мощь физическая, наверное, передавшаяся от деда. Но в трагическую минуту она не смогла помочь.

Если теперь вернуться к филологу и к его последнему замыслу тотального комментария, к бобровому воротнику, — то и здесь ведь не комментирование же вещей-реалий само по себе было той синей птицей для комментатора. «Цели воротнику назначены более дальние и важные»¹⁶. Цели, между прочим, в известной «множественной бесцельности» и «самодостаточной пристальности» поэтического зрения, утверждающей себя морозной пылью на бобровом воротнике, которая получает равное право на поэтическое внимание со сплном героя и списком им прочитанных книг во имя полного и свободного образа Божьего мира: «Такие детали разрушают иерархический принцип предшествующей литературы...» Эстетическая кантовская целесообразность без цели. Но то же мы уже имели в последних строках «Поэтики Чехова»: «Творчество Чехова дало картину мира адогматическую и неиерархическую, не освобождающую от побочного и случайного...» (с. 282). Значит, Чехов заново разрушал иерархические принципы того же, скажем, Достоевского. Так дорога исследователю эта мысль, что он хочет перенести ее и в свой филологический метод, словно уподобляясь любимым творцам, и самую тотальность своего комментария строить в «медленном невыборочном чтении-анализе», «чтении сплошном, без пропусков, слово за словом, стих за стихом, строфа за строфой»¹⁷. Не только чтении медленном, что с Гершензона было известно, но *невыборочном!* — такое известно не было. Замысел экстремальный — был ли осуществим?

Трудно представить себе завершённое осуществление такой работы, грандиозной и миниатюрной вместе — подстерегавший случай остановил ее на двух строфах первой главы. Но дальние цели заявлены. Дальние цели были те, чтобы взять грандиозно онегинский текст плацдармом-фундаментом целой литературной теории: в частности, медленным чтением романа в стихах А. П. предлагал заменить

¹⁶ Пушкинский сборник. С. 228.

¹⁷ Там же. С. 211.

традиционный курс введения в литературоведение на первых курсах филфаков (и такой онегинский курс он читал на протяжении нескольких лет в разных местах, в последний год — в школе-студии МХАТ'а). Ведь сам преизобильный предметный онегинский мир есть теоретический материал, дающий картину того, как строится поэтический мир из реального. Театр, деревня, красавицы, аи и бордо и пр. — это общий предметный мир у автора-«я» и героя романа, и автор у нас на глазах пересаживает все это в роман и строит из этой предметности новый волшебный подобный мир. Предметность «Онегина» — одновременно жизненная среда и строительный материал. А главное — все творится у нас на глазах. Наглядная теория в изначальном греческом понимании — как зрелище, созерцание, умозрение.

Но — и еще страница литературного дела А. П. Чудакова, еще один пафос, его увлекавший. А. П. чувствовал себя человеком академическим — но что это значит? Он хотел держать традицию не только отцов — филологических дедов, и он у них учился живьем, не только по книгам. Он годами, систематически разговаривал с ними и в тот же день разговоры записывал. Выйдя от Виноградова, он записывал слышанное на лавочке или же на концерте М. В. Юдиной («На концерт я приехал от ВВ; идея совместить эти мероприятия была ошибочной — опасения забыть рассказы мешали слушать замечательное исполнение Шуберта и “Картинок с выставки”»¹⁸). А потом он своих академических стариков провожал; я слышал, как он говорил у гроба 92-летнего С. М. Бонди и 88-летней Л. Я. Гинзбург. Виноградов ему рассказывал, что еще молодым прочитал все журналы и литературные газеты первых десятилетий XIX века. «Я переспросил: все ли? ВВ ответил, характерно подняв брови: “Разумеется, все”»¹⁹. Не без влияния рассказа учителя, признает ученик, он просмотрел все о Чехове в журналах и газетах за 1883—1904 годы и собрал около 4 тысяч статей и рецензий, в большинстве неизвестных. И организовал в последние годы составление полной чеховской библиографии, будет ли теперь она без него окончена? Своему академизму он учился у своих академических стариков и понимал академизм как работу прочную, профессионально «тотальную». В науке хотел работать, как на земле, или как строил дом на даче своими руками. Дом вышел

¹⁸ Чудаков Александр. Слушаю. Учусь. Спрашиваю. С. 52.

¹⁹ Там же. С. 46.

трехэтажный, вертикальный, готический, как собор. Одна знакомая, увидев его, сказала: «Автопортрет».

В христианской истории есть Писание и Предание. В светской культуре тоже. У А. П. был отменный вкус к филологическому преданию. В тетрадах с записями лекций Бонди на первом курсе он обнаружил, что, оказывается, записывал не только собственно лекции, но посторонние рассказы и отступления, и удивился, как он сразу же догадался, что это не менее важно и интересно. За Виноградовым, Шкловским и Бонди он записывал их рассказы об их эпохах и их признания, каких не получить от другого свидетеля — например, что академик-пушкинист Виноградов Пушкина не любил. «Сначала. Потом уж как-то...»²⁰. А. П. создал свой мемуарный жанр таких разговоров, который трудно даже назвать мемуарами, это что-то другое. Это челночная служба в культуре, связывающая ее картину начиная со времени задолго до рождения мемуариста. Он вел такую службу при столь интересных собеседниках и собирал картину филологического предания за полвека далеко сверх того, что мы знаем из письменных источников. Есть книга, которую мало кто видел, отпечатанная в Сеуле, когда он там преподавал, в количестве 10 (!) экземпляров — мы несколько раз на нее ссылались. Последний замысел Александра Павловича, вместе с тотальным онегинским комментарием, был — собрать этот свой мемуарный жанр одной книгой, дополнив названные имена Бахтиным и Лидией Гинзбург. И просто в общении, за столом он был переполнен рассказами и историями. Разножанровый был человек. «Ах, Сережа, милый друг, на что тратим мы досуг?» — написал он мне на книжке романа. Все у меня его инскрипты — в стихах. «Чехов думал туда и сюда — но мы точно не знаем куда», — написал он мне экспромтом на конференции, прослушав мой доклад о Чехове и философии (и поставив к записке эпиграф — «Я пролетарская пушка — стреляю туда и сюда» — и с ходу приписав его Демьяну Бедному с вопросом — вместо, кажется, Маяковского). И ведь очень по существу о Чехове этот шутейный застольный (здесь — за столом научной конференции!) экспромт. Несколько лет назад мы были вместе в Михайловском и плавали в приятно чистой Сороти; плавать была его страсть и несостоявшаяся у знаменитого послевоенного Леонида Мешкова спортивная карьера — вместо обещанной сборной СССР пошел в филологи. От меня, конечно, он отрывался и великодушно дожи-

²⁰ Чудаков Александр. Слушаю. Учусь. Спрашиваю. С. 65.

дался; выйдя же на берег, облачался в белый костюм и галстук и шел делать доклад. Таков был стиль-человек.

«Немота перед кончиною подобает христианину». Эта некрасовская строка стала последним словом романа-идиллии, озаглавленного строкой из Блока. Такое осталось нам от него последнее слово.

2005, 2006

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Юрий Чумаков

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ЧУДАКОВЕ

Сегодня у Александра Павловича две даты жизни: тысяча девятьсот тридцать восьмой — две тысячи пятый, это 67 лет. В моей жизни его пребывание отмечается двумя другими датами, и они настолько отчетливы, что я бы хотел их воспроизвести.

Мы познакомились утром 28 мая 1969 года в Пскове, куда мы с ним, оба слегка опоздав, приехали на пушкинскую конференцию: он из Москвы, а я из Питера. А расстались мы с ним в середине дня, 19 августа 2005 года, в моем доме, в Новосибирске, откуда он вместе с А. Долининым и А. Белоусовым отправился в аэропорт. А. П., будучи приглашенным на обед, объявил, что придет пораньше: поговорить и помочь, если нужно (мы все только накануне вечером возвратились с нашей Летней школы, проходившей за городом, где такие ученые, как Александр Осповат, Александр Долинин, Роман Лейбов, Александр Белоусов, сам Александр Павлович и мы, новосибирцы, говорили о тексте и комментарии). И, действительно, сидя за маленьким столиком кухни и обсуждая Летнюю школу и ее возможное, года через два, продолжение, он одновременно с большим удовольствием брался за любую «черновую» работу, только сетуя при этом, что нет у нас специального точильного камня, на котором он бы мог выправить наши кухонные ножи. «Мне очень подходит роль кухонного мужика, — говорил он, а потом, в качестве комплимента хозяйке, удивлялся: — Я не знал, что так хорошо умею готовить баклажаны».

Это воспоминание не случайно. Оно имеет отношение к той особенности А. П., которая сравнительно недавно, может, в связи

с автобиографическим его романом, была названа «уходящей натурой». Так говорят художники, когда нечто: явление, предмет, кусок пейзажа — необходимо зафиксировать, потому что оно вот-вот исчезнет и больше никогда не повторится. А. П. был человеком, которому было невозможно подражать, абсолютно неповторимой личностью, потому что таковой его создала сама природа, одарив ростом, под стать богатырям, физической мощью, удивительной и не характерной для нашего времени, как бы «начетнической» любознательностью и памятью и уникальной страстью к труду — на равных к труду физическому и умственному, страстью, которая могла казаться чудачеством. Зачем уметь не просто хорошо, но профессионально копать траншеи, плотничать, ухаживать за газоном, осушать болото? На своей даче он показывал траншею, с помощью которой он каждый год отвоёвывал у болота кусок земли. «Вы прямо Фауст какой-то!» — сказала ему Э. И. Худошина, и он был очень доволен такой оценкой. Зачем со страстью коллекционировать моря, океаны, реки, озера, плавая в любую погоду, преодолевая волны, или раздвигая льдины, или хотя бы одним нырком переплывая подмосковный пруд? Плавал и бегал он тоже как профессионал, но, кажется, с большим удовольствием, чем те, кто делает это по обязанности.

Читая его роман, узнаешь в герое — автора: «Свободно и просто он вступал в общение лишь с землей, камнем, снегом, деревом, железом — косной материей вообще. <...> Живой мир тоже располагался по степени возрастания сложности диалога: травы, деревья, насекомые, рыбы, коровы, кошки, лошади»¹ (и псы, особая его любовь). Как-то связана с этой его природностью еще одна черта: А. П. не был «артистичен», в нем совсем не было аффектации, в том числе аффектации «простоты». Будучи физически совершенным, он мог казаться неловким. Невозможно представить, чтобы у него была походка или жесты агрессивно-демонстративного свойства, намекающие на его силу или выносливость. Или чтобы он захотел щегольнуть модной терминологией. Он владел самыми разными языками науки; но в нем совсем не было замашек «вожака», той агрессии и выразительности, без которой нельзя стать лидером. И не то чтобы он «по капле выдавливал из себя» фальшь. Такова была его природа. В нем была закодирована некая созидательная мощь, при полном отсутствии агрессии. С годами это становилось особенно явным.

¹ Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени. М., 2001. С. 386—387.

Говоря о его уникальности, я хочу также сказать, что Александр Павлович, хотя и был вполне современен, но выглядел так (даже без его романа, где все потом объяснено), как будто в нем была представлена та Россия, которая уходила в небытие весь XX век, а уж в XXI ее точно не будет (и это тоже с годами проявлялось все отчетливее). Здесь тоже природа, но уже социальная, потрудились. Русское начало в нем присутствовало как нечто естественное и коренное. В нем, человеке интеллигентном по самой высокой мерке, его личная одаренность и его личная история соединили то, что принадлежало и народу, и дворянам, и священству.

Попутно расскажу небольшой анекдот о том, как я однажды «попался». Мы разговаривали о В. В. Виноградове, это было еще в первые годы нашего знакомства, и я сказал, что меня раздражает чрезвычайное многословие В. В., его большие толстые фолианты «и стиль какой-то “поповский”», на что А. П. очень мирно заметил, что он и сам-то «из поповской семьи». Я был посрамлен.

Вернусь к моим воспоминаниям, где существует 36 с половиной лет его жизни. Мне хочется вернуться к началу и рассказать, как я его впервые увидел. Это было на пятом этаже Псковского педагогического института. Там был большой профилакторий, занимавший, наверное, половину пятого этажа, в нем было множество комнат, в которых стояли железные кровати известного рода, и некоторым приезжим отводили по отдельной комнате, но с семью кроватями. В одной из них жил Ю. М. Лотман, меня поселили где-то рядом, Александра Павловича также. Мы оба опоздали на день, а во второй день конференции все отправились в Пушкинские Горы на экскурсию, а мы оказались без дела и вот, пришли сюда. Перед этим я познакомился с Е. А. Майминым и Ю. М. Лотманом, который, как оказалось, не поехал на экскурсию, потому что был простужен.

Впечатление от Александра Павловича было очень сильное. Приехав поездом рано утром, он был ослепительно выбрит, очевидно, не электрической бритвой, одет в черный строгий костюм, выглаженный и абсолютно безупречно на нем сидевший, в белоснежной, едва ли не накрахмаленной сорочке и черном галстуке с небольшим узлом, чрезвычайно острым, так что я сейчас даже подозреваю: а не было ли это принятым в те времена галстуком-самовязом. Но почему-то мне кажется, что никаких самовязов у Александра Павловича быть не могло, что все это было приготовлено в поезде для того,

чтобы явиться. У него был при себе то ли большой чемодан, то ли два саквояжа: он всегда ездил с довольно большим багажом.

При знакомстве он со мной поздоровался, но поздоровался несколько свысока, может быть, по причине его роста, но может быть, и потому, что он, все знавший и помнивший, никогда не встречал моего имени (в связи с некоторыми обстоятельствами моей жизни я оказался, будучи уже немолодым, среди «начинающих»). Тем не менее в его лице было что-то напряженное и даже растерянное. Он ожидал чего-то другого, может быть, не этого профилактория на пятом этаже, может быть, надеялся на встречу с кем-то, но он был явно разочарован, может быть, поэтому и появился в его лице оттенок высокомерия. Во всяком случае, мы с ним познакомились, но это наше знакомство далее не развернулось. Все произошло значительно позже, и сблизили нас все-таки Пушкин и Ю. Н. Тынянов.

За то время, которое прошло от первой встречи до последней, наши отношения сильно изменились, и в августе этого года (полтора месяца назад!) было, конечно, совсем по-другому. Я только не знал, что это наша последняя встреча. С. Г. Бочаров горестно заметил, что Александр Павлович назвал свой роман одной блоковской строкой, а исполнилась другая: «Нас всех подстерегает случай». Вот судьба или случай и подстерегли: «Как сумасшедший с бритвою в руке».

В откликах на его книгу «Ложится мгла на старые ступени» отмечалась одна черта в изображении предметов и вещей, которой, вроде бы, Александр Павлович мог научиться у Чехова и у своего чеховедения. Умение описать предметный мир было одним из мало с чем сравнимых научных достоинств А. П. Но именно потому, что у него самого было редкостное чувство предмета и вещи. Об отношении А. П. к миру я уже говорил. Слово и вообще все, что говорит, в семиотическом смысле, — это еще одна стихия, где А. П. чувствовал себя своим. Именно потому, что он так сильно чувствовал слово, он великолепно описал чеховскую словесную стилистику, но об этом единстве слова, вещи и мира — и его собственный роман.

Я, кажется, довольно много говорю о его отношениях с миром, но при всем этом он был именно настоящим ученым и настоящим филологом. Его профессиональное чувство, безусловно, включало в себя начало некоего поэтического созерцания и в то же время причастности к разнообразному, красочному, яркому, пластическому миру. В нем это было нераздельно. И, собственно говоря, это и отражалось на его видении писателей, классиков. Мир возможностей, который

раскрывается перед каждым свободным человеком, его очаровывал. И он мог видеть эти неожиданности, эти нечаянные радости, он их мог угадывать и стремиться к ним навстречу. Конечно, среди них свершаются и страшные, неожиданные, нелепые вещи, но это все происходит в том же — вот в этом мире.

Несмотря на то, что Александр Павлович в основном писал о прозаических текстах, он отлично знал, любил и понимал поэзию, понимал, какая громадная пропасть лежит между этими двумя разными, в сущности, видами искусства. В книге «Мир Чехова» он говорит о том, что «внедрение в прозаическую художественную систему элементов поэтического построения — акт дерзкого новаторства, по своей смелости сопоставимый лишь с организацией художественного мира на основе принципа случайности»². Я думаю, что все художественные миры, в которых может действовать что-то подобное, будут тем интересны, что в них, может быть, не целиком, но в обязательном порядке к художественному тексту должен прикасаться макрокосм. В конце-то концов, где же, собственно, случай-то находится — это «мгновенное и мощное орудие провидения»?

Не случайным является и обращение Александра Павловича к «Онегину». Ему принадлежит несколько статей о «Евгении Онегине», очень глубоких и серьезных, а в последнее время он загорелся идеей «тотального комментария» к пушкинскому роману. Он об этом говорил у нас на спецкурсах, об этом он напечатал статью совсем недавно в «Пушкинском сборнике», вышедшем в Москве в издательстве «Три квадрата»³, эти же идеи он развивал у нас на Летней школе. Здесь следует заметить, что идея тотального комментария, при развитии которой он своими соперниками, видимо, ощущал и Ю. М. Лотмана, и Владимира Набокова, имеет глубокое основание — прежде всего в удивительном комментаторском искусстве Александра Павловича. Настоящий филолог, видимо, — это комментатор по преимуществу, и, надо сказать, помимо своих теоретических книг, помимо своих художественных опытов, Александр Павлович — один из наиболее, я бы сказал, классических комментаторов, который стремится исчерпать свой предмет. Здесь у него много достижений.

² Чудаков А. Ложится мгла на старые ступени. М., 2001.

³ Чудаков А. К проблеме тотального комментария «Евгения Онегина». С. 210—237.

Для меня наиболее дороги его комментарии к работам Ю. Н. Тынянова, и я остановлюсь здесь на одной статье, которая у Тынянова получила (у него самого она оставалась в черновых записях) сначала название «Ленский», а потом — «О композиции “Евгения Онегина”». А. П. ввел эту статью в научный обиход. Она долгое время была неизвестна, и, когда в 1968 году подготавливался сборник статей Тынянова «Пушкин и его современники», эта статья, которую там уже собрались печатать и о которой в предисловии, заранее опубликованном в журнале «Русская литература», писал В. В. Виноградов, была изъята по той простой причине, что некоторые события десятилетней давности вновь припомнились издателям тех времен. Дело в том, что беловая часть была напечатана в «*Strumenti critici*» в переводе на итальянский язык, и эта публикация задержала выход великолепной статьи Тынянова на целых семь лет. Александр Павлович опубликовал ее впервые на русском языке и целиком лишь в 1975 году в «Памятниках культуры»⁴, сопроводив комментарием, различными материалами, черновиками и пр., а через два года в сборнике «Поэтика. История литературы. Кино» представил еще более подробный комментарий к этой статье. В сущности, тем, что Тынянов сохраняет столь значительное место в нашем теоретическом мышлении, мы во многом обязаны и Александру Павловичу и Мариэтте Омаровне Чудаковым, поскольку с 1982 года каждые два года проводятся Тыняновские чтения.

Сам Александр Павлович — большой сторонник Тынянова. Тынянов — одна из важнейших опор его мысли, и неудивительно поэтому, что некоторые его фундаментальные формулы связаны именно с его идеями. Недаром он считал, что структурализм хотя и продолжил то, что было заложено формальной школой, но внес в понимание литературы излишнюю жесткость и системность. Он предпочитал формализм в его первоначальной открытости миру, в той открытости, которая была прервана в самом начале.

В заключение я бы хотел еще раз вернуться к его замечательному роману, написанному после многих теоретико-литературных работ, так же как это было у столь чтимого Александром Павловичем Ю. Тынянова. Меня всегда интересовало присутствие блоковской

⁴ Чудаков А. П. Статья Ю. Н. Тынянова «О композиции “Евгения Онегина”» // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Архитектура. М., Наука, 1975. С. 121—140.

строчки, которая является заглавием всего романа и «держит» его целиком. Эта строчка принадлежит одному из мистических стихотворений «Стихов о Прекрасной Даме», и кажется, что она как-то не совсем схватывает огромную, многолюдную, рельефную, плотную панораму текста. Это блистательное стихотворение Блока — «Бегут неверные дневные тени...» (1902), очень цельное, очень ясное по своему настроению и в то же время остающееся мистическим, далековато от переживания романной пластики. Разумеется, можно воспринять строку Блока как меланхолическую ноту, как выражение печали об исчезающей культуре, и, возможно, массовый читатель так и поймет. Но мысль эту принять трудно.

Хочу предложить краткую гипотезу о возникновении заглавия «Ложится мгла на старые ступени». Александр Павлович говорил мне и многим другим, что сначала он хотел назвать роман «Смерть деда». Это вполне сходилось бы с общим замыслом романа, с его композицией и картиной изображенного. Дед в романе — это могучая фигура, и она является композиционной скрепой всего романа. Но «Смерть деда» оставляла текст привязанным хотя и к катастрофической, глобальной, но, тем не менее, земной истории, а был, вероятно, необходим выход в символическое, может быть, сакральное измерение. Допускаю, что для этого А. П. понадобилось стихотворение Блока «На смерть деда» (тот же 1902 г.), где говорится о том мгновении, когда умер Андрей Николаевич Бекетов. За несколько мгновений до его смерти все те, кто был в комнате, увидели, как в окне идет он же, манит их рукой, веселый и улыбающийся:

Там старец шел — уже, как лунь, седой —
Походкой бодрою, с веселыми глазами,
Смеялся нам, и все манил рукой,
И уходил знакомыми шагами.

Обернувшись, они увидели «прах с закрытыми глазами». И далее следует, в тютчевской манере, обобщение:

Но было сладко душу уследить
И в отходящей увидеть веселье.
Пришел наш час — запомнить и любить,
И праздновать иное новоселье (курсив мой.
— Ю. Ч.).

Наверное, именно этот блоковский подтекст хотел бы ввести Александр Павлович в основание своего романа. Но кто угадает наведение на него в информационном сообщении «Смерть деда»? Если бы можно было назвать роман «На смерть деда», знающие читатели быстро бы разгадали аллюзию. Но для заглавия это не подходит. И тогда могло быть найдено другое решение. Эмфатически-броская строка из ультрамистического стихотворения Блока, легко находимая и лежащая в близком соседстве со стихотворением «На смерть деда», обнаруживает христианское чувство, овевающее весь роман. К тому же блоковское «На смерть деда» возвращает читателя к еще одной ступени нашего имплицитного построения. Это концовка фильма Андрея Тарковского «Зеркало», где душа умирающего улетает птицей в бескрайнее небо.

Кому-то предложенный ход может показаться усложненным. Однако он вполне в духе самого Александра Павловича. В небольшом предисловии к его книге «Слово — вещь — мир» он пишет, что в ней «значительно облегчен справочный аппарат». И далее (это последняя фраза): «Любителей многоступенчатой сноски автор просит обращаться к первым публикациям, где автор, сам ее партизан, надеется удовлетворить всех вполне»⁵.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Андрей Немзер

МИР ЧУДАКОВА

Начну с простого и совсем меня не красящего факта: я не помню ни когда впервые увидел Александра Павловича Чудакова, ни когда с ним познакомился. То есть почти уверен, что видел его на вечере памяти М. М. Бахтина в Литературном музее (март 1975 года; трудно предположить, что А. П. там не было; были там и люди, которые непременно мне бы сказали: *вот Чудаков* — «Поэтику Чехова» я к тому времени прочел). Со знакомством чуть яснее: А. П. читал на филологическом факультете МГУ, где я учился, обязательный спецкурс для русистов-литературоведов — назывался он «Язык

⁵ Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. С. 6.

художественной литературы» (лингвисты, видимо, и без того про эту материю все знавшие, в это время постигали польский язык — литературоведам, надо полагать, изначально ведомый).

На спецкурс я ходил аккуратнo. А. П. рассказывал преимущественно о своем понимании структуры художественного текста, уделяя особое внимание его «предметному» уровню, — многое из услышанного тогда я вновь, разумеется, в претворенном виде, обнаруживал в его статьях, обнародованных позднее («Предметный мир Достоевского», 1980; «Вещь в мире Гоголя», 1985 и др.), звучали и мотивы будущей книги «Мир Чехова. Возникновение и утверждение» (1986) — например, любимая чудаковская мысль о «случайности» чеховской детали. По ходу дела А. П. постоянно цитировал тексты, которые... скажем так, привычно было читать в машинописи, а отнюдь не слышать в аудиториях МГУ. К примеру: *Буря! Ты армады гонишь / По разгневанным водам, / Тучи вьешь и мачты клонишь, / Прах подьмешь к небесам. / Реки вспять ты обращаешь, / На скалы бросаешь понт...* Здесь (отчетливо помню, с каким зримым удовольствием А. П. произносил эти стихи, буквально наслаждаясь их «вкусом» и звуком, артистично подчеркивая kloкочущую энергию и в то же время какими-то полутонами сигнализируя о том, что «не все так просто») следовал обрыв. Аудитории предлагалось приблизительно датировать текст. Обращенная к тем, кто точно знает автора, просьба помолчать была излишней: «Бури» Ходасевича тогда не знал даже самый сведущий в русской поэзии на нашем курсе мой друг Коля (Николай Николаевич) Зубков, а Андрей (Леонидович) Зорин учился курсом старше на романо-германском отделении и на спецкурс А. П. не ходил. Потому и последовали две версии: XVIII век и 1820-е годы. Я ясно понимал, что такого быть не может, и обдумывал гипотезу, которая и сейчас кажется мне чуть менее нелепой: конец 1830-х — начало 1840-х, что-то околобенедиктовское (или пародирующее Бенедиктова). К счастью, мудрость эту я огласить не успел, потому что А. П. приостановил дискуссию, продолжив чтение: *У старушки вырывает / Ветхий вывернутый зонт.* Он дочитал «Бурю», назвал поэта и довольно долго прояснял смысл его изошренной игры, балансирования на грани стилизации и пародии.

С не меньшим вдохновением А. П. читал Олейникова — и хотя его стихи я уже знал (спасибо тому же Андрею Зорину) и любил, до сих пор сотни раз перечитанные строки: *Жареная рыбка, / Дорогой карась, / Где ваша улыбка, / Что была вчерась* (и до трагического фина-

ла) или *Молодец профессор Греков, / Исцелитель человеков! / Он умеет все исправить, / Хирургии властелин. / Честь имеем Вас поздравить / Со днем Ваших именин* — для меня неотделимы от голоса Александра Павловича, его интонации и еле приметной мимики, мягкой улыбки, от его нежности к олейниковским персонажам и восторга от произведения замечательных стихов.

Лучшие наши лекторы были к студентам гораздо снисходительнее, чем их менее яркие коллеги. Борис Андреевич Успенский (он читал нам «Историю русского литературного языка», то есть свою — тогда еще не получившую книжного обличья — концепцию; единственным пособием могли служить конспекты лекций), кажется, ставил «хорошо» за сам факт появления на экзамене. Валентин Евгеньевич Хализев на экзамене по теории литературы мне сказал что-то вроде: *Андрей, я вас на НСО достаточно слушал.* (В. Е. курировал секцию теории литературы, где во второй половине 1970-х — начале 1980-х кучковалась наша тогда очень большая и сплоченная студенческо-аспирантская компания, но либерализм его распространялся не только на завсегдатаев НСО.) Весьма мягок был и Александр Павлович — тем более, что спецкурс венчался не экзаменом, а зачетом. К зачету я, однако, готовился старательно и, кажется, пристойно ответил на ныне безнадежно забытые вопросы. (Вот ведь абсурд: что на экзамене по русской литературе второй трети XIX века достались Аксаков и «Пролог» Чернышевского — помню; как некая аспирантка-зарубежница добивалась от меня характеристики «Поминок по Финнегану», а я твердил, что английским владею худо, переводов нет, а о неизвестных текстах суждений не имею, — помню, а о чем отвечал Чудакову или Успенскому — не помню!) Но хотелось большего, и я начал излагать Александру Павловичу «свои» школярские идеи, что должны были, как мне казалось, скорректировать его концепцию. Во-первых, я не понимал, почему А. П. выделяет «предметный» уровень. (Как же, литература ведь состоит из слов, следовательно, именно отобранные и надлежащим образом расставленные «слова» и создают тот самый «предметный мир» — о щенячий восторг неофита!) Во-вторых, мне не хватало «нижних» уровней — фоники, ритмики, синтаксиса (опять-таки: дай известно кому в руки Лотмана, он пол расшибет). А. П. с улыбкой заметил, что он и не думает отрицать стиховедение или изучение звукописи, что реальность этих уровней и необходимость их анализа и так ясна, а ракурс его раздумий несколько иной (и здесь важна именно тетрада — *слово—предмет—сюжет—мир*

идей), а по «предметной» части был совершенно непреклонен: это особый уровень текста (и/или мировидения писателя).

Признаюсь, что ушел я с зачета не то чтобы разочарованным, но и не окрыленным. Растерянным я ушел. Сомневаться в своих «открытиях», элементарно проверять их я, увы, научился позже (чего-чего, а самонадеянности в студенческие годы было с избытком — не только у меня). Но и не таким я был наглцом, чтобы предположить, что «перерос» автора «Поэтики Чехова», филолога, масштаб которого был только что явлен воочию, лектора, чьи обаяние, широта научного кругозора, тонкость и точность меня совершенно очаровали. Вывод был сделан тривиальный: мэтру просто недосуг вникать в болтовню студента, о своем думает, это для меня разговор с Чудаковым — событие, а он, понятное дело, слушал вполуха и через пять минут о шустром строптивце забудет.

Этой версии я придерживался примерно четверть века, когда почему-либо вспоминал о зачете по «Языку художественной литературы». Довольно скоро, впрочем, начав прибавлять к старому выводу крайне необходимое (утешительное) дополнение: *И слава Богу!* (Возможно, даже кому-то из младших коллег эту историю рассказывал.) Но сравнительно недавно, думаю, летом 2002 года, в застолье на даче у Мариэтты Омаровны и Александра Павловича я вдруг (после далеко не первой рюмки) спросил: *А. П., а вы, наверно, забыли, что я вам зачет сдавал?* Подчеркиваю (это помню твердо): я спросил только о самом факте, а не о том, как там дело обстояло. И услышал в ответ что-то примерно такое: *Почему же не помню. Очень хорошо помню. Вы там еще что-то свое говорили. Ниспровергали меня... Занятно было...*

Конечно, после того зачета мы с А. П. общались не то чтобы очень часто, но и не мало: в 1980-х — по делам «Литературного обозрения», где он иногда печатался (реже, чем хотелось бы; но там появился очерк «Спрашиваю Шкловского», с которого начался замечательный цикл чудаковских портретов его великих собеседников), а в пору «зрелой перестройки» стал членом редакционной коллегии; на Тыняновских чтениях (раз в два года; я туда впервые попал в 1986-м); на других ученых и литературских сборищах; в последние годы — и в доме (чаще — на даче) Чудаковых. Конечно, я чувствовал расположение Александра Павловича. Конечно, фамилия у меня маркированная (в школе говорили: «клички не надо»), а потому могла запасть в памяти и потом вновь «соединиться» со мной. И все равно, услышав

реплику А. П. и его добрый громкий смех, я был больше чем изумлен. Хотя, на самом деле, изумляться тут нечему: дело не во мне — просто Чудакову были по-настоящему интересны разные люди.

Он уважал людей. Замечательные воспоминания о Шкловском, Бонди, Виноградове выросли из тех записей, что А. П. делал сразу после бесед или лекций. И можно уверенно предположить, что фиксировал Чудаков не только «разговоры великих». А я вот дневников не вел (и не веду). А лекции если и конспектировал, то скверно (и конспектов не хранил). Вот и не могу подробно рассказать о чудаковском спецкурсе — даже не знаю точно, когда именно его слушал. Может, на втором курсе, а может — на третьем. То есть либо в 1975/76 учебном году, либо в 1976/77-м. Почему так? Что я — не понимал масштаба тех людей, с которыми был счастлив общаться? А среди них были (называю только ушедших) Эмма Григорьевна Герштейн, Зара Григорьевна Минц, Юрий Михайлович Лотман, Семен Израилевич Липкин, Юрий Владимирович Давыдов, Вадим Эразмович Вацуро, Натан Яковлевич Эйдельман, Андрей Григорьевич Тартаковский?.. Понимал, совсем уж дураком не был. И неповторимые достоинства многих иных людей — в том числе своих ровесников да и более молодых — тоже ощущал (ощущаю). На «идеальную» память рассчитывал? Тоже нет. И добро бы дело сводилось к моему личному разгильдяйству. Всякое непроверенное обобщение рискованно, но и смутные наши чувства возникают не просто так. Почему-то кажется, что мало кто из моих сверстников и тех, кто моложе, ведет дневники. (А круг моего общения, о котором только и берусь строить гипотезы, почти сплошь гуманитарии, коим собирать и хранить свидетельства, вроде бы, предназначено. Расцветший ныне сетевой «Живой журнал» с его установкой на мгновенную публичность — феномен, по моему разумению, совсем иного рода.)

Не знаю (интересно было бы узнать), на каком поколении и в какой момент дневниковая традиция оказалась потесненной. Для А. П., как и для многих его ровесников и тех, кто старше, она была совершенно живой. Не дневники, так письма, в которых «деловые» и «интимные» мотивы неотделимы от фиксации неостановимой и непредсказуемой истории. Давид Самойлов оставил нам свои «Памятные записки», хотя, видимо, не вполне завершил этот замысел, — основой их были поденные записи, ныне тоже опубликованные. Натан Эйдельман не успел выстроить книгу, о которой мечтал, — какой-то намек на ее возможные контуры мы можем вычитать в его дневниках.

Почти убежден, что Владимир Рецептер, работая над замечательным (и, увы, недооцененным критикой и публикой) мемуарным романом (его полная версия недавно выпущена «Вагриусом» под названием «Жизнь и приключения артистов БДТ»), опирался на давние записи. Но даже если в данном случае я ошибаюсь, даже если иные из ныне являющихся на свет достойных и глубоких русских книг о второй половине XX века написаны только по памяти, дела это не меняет. Кажется, сама память была другой, если угодно — «дневниково-вой», сопряженной с твердым сознанием твоей (сегодня — участника событий, собеседника тех, коему предназначено уйти раньше, чем тебе; годы спустя — мемуариста) *включенности в историю*.

Может показаться, что для автора романа-идиллии «Ложится мгла на старые ступени» история (и принадлежность ей) менее важна, чем природный мир или мир «вещный». Но это ложное противопоставление. Читая роман, мы ни на минуту не забываем, что основные его события, те, о которых вспоминает рассказчик (и стоящий за ним автор), происходят во вполне определенное время — военные и послевоенные (позднесталинские) годы. Время это постоянно противопоставляется другим эпохам — от докатастрофной до 70-х годов XX века. Всякая «вещь» у Чудакова имеет историческое и человеческое измерение. Она — плод рук человеческих (умелых или неумелых), она не только знак, но и неотъемлемая часть времени. Ровно так же мир природы не отделен от истории, но сопряжен с ней. Часто трагически — человеческое вмешательство губит первозданную красоту, уничтожает животных или растения. Точно так же дурная человеческая воля уродует социальный уклад, сводит на нет культуру, искажает людские души, ломает судьбы, попросту убивает людей. Оскудение природы, скукоживание культуры и расчеловечивание человека суть разные, но взаимообусловленные составляющие одного страшного процесса, противостоять которому стремятся (кто более, кто менее сознательно) любимые герои Чудакова и, разумеется, сам рассказчик. Такое возможно только для людей, живущих в истории. Пребывание в истории вовсе не равно приятию той действительности, которую только в тяжелом бреде можно счесть «разумной». Пребывание в истории означает доверие к Творцу и к человеку как Его творению, надежду на будущее восстановление норм (совсем не факт, что близкое — об этом герою не раз говорит дед) и осознание тех невосполнимых утрат, что уже случились и еще случатся

Неловко повторять то, что я писал прежде о романе Чудакова¹. Хотелось бы лишь подчеркнуть, что тема сохранения России под коммунистическим игом неотделима в романе от темы непоправимых потерь — природных, культурных, «бытовых», духовных, человеческих. При обсуждении романа звучали вопросы: что случилось со сверходаренным двоюродным братом рассказчика Вовкой? Почему так худо сложились судьбы иных детей и внуков идеального деда? Почему в семье рассказчика с легким презрением смотрят на эвакуированных неумех и не спешат всех их облагодетельствовать? Ответы просты, горьки и проговорены (иное умолчание стоит слов) самим автором. Потому что бывают такие обстоятельства (история на них щедра не только в России и в XX веке, но мы-то говорим о своем), когда самые добрые, честные, умные, сильные люди оказываются не в состоянии помочь тем, кто встретился им на жизненном пути, своим родным и друзьям, самим себе. От человека зависит многое, но жертвами войн, государственного террора, уголовщины, стихийных бедствий или несчастных случаев становятся не только слабые, безвольные, «обреченные». (Как тут не вспомнить трагическую кончину самого Александра Павловича.) Дед рассказчика (и автора), проживший большую жизнь, сохранивший веру, не отступивший от высшего нравственного закона, сумевший сберечь семью, сделавший много добра (однако, с чьей-то точки зрения, получается, что маловато — ох, строги мы бываем!), умирает хоть и на Святой неделе, но с сознанием глубокой личной вины перед женой (наверно, не только перед ней, но и перед несчастливymi детьми и внуками, о которых пекутся сердобольные литераторы) и не находя прощения для тех, кто «отобрали сад, дом, отца, братьев... отняли Россию». «И в последние мои дни нет у меня к ним христианского чувства. Неизбывный грех. Не могу в душе моей найти им прощения. Грех мой великий».

Повернется ли язык попрекнуть этим грехом деда? А заодно и внука, что, стоя над его могилой, мысленно произносит — а потом пишет в романе: «Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был прав

¹ Интересующихся отсылаю к моей книге «Замечательное десятилетие русской литературы» (М., 2003. С. 467—469, 320—321). Ср. также рецензию на книжное издание романа: Как сохранилась Россия // Отечественные записки. 2002. № 1. С. 244—245; некролог: Памяти Александра Чудакова // Время новостей. 2005. 5 октября, и рецензию на повесть Мариэтты Чудаковой «Дела и ужасы Жени Осинкиной», на мой взгляд, теснейшим образом связанную с романом А. П.: Как сохранится Россия // Время новостей. 2005. 19 мая.

во всем»? Ненависть — дурное чувство. Ненависть — чувство, прямо противоречащее всему душевному строю Александра Павловича, его доброжелательности и жизнелюбию, его открытости и сердечной теплоте, его дару «животворить» «наш свет». (Конечно, многомерное слово Жуковского относится ко всем «милым спутникам», но все же к А. П. оно как-то особенно подходит.) Но и клятвы верности над могилой деда (равно как и признания в ненависти к Лысенко) из романа не выкинуть. А значит, и из состава души его автора.

Ненависть в этом случае — тень сострадания, боли, печали по всему живому, по хрупкости бытия — природного, вещного, человеческого. В романе отчетливо звучит торжественная радость от великолепия мира, от тех чудесных навыков, которыми овладевает мальчик, от той красоты, что ему открывается, от того ума и благородства, которые он обнаруживает в своих домашних и других окружающих людях (будь то ремесленники, крестьяне, вернувшиеся с войны солдаты или ссыльные интеллигенты). Но не менее отчетлива другая мелодия: люди умирают (и не только от старости) или утрачивают свои дарования, вещи и навыки исчезают, мир, который должен обогащаться и усложняться, упрощается и беднеет. Сохранить его вполне невозможно, даже если ты аккуратен с вещами, бережно относишься ко всему живому, руководишься теми нормами (религиозными, этическими, поведенческими, интеллектуальными, эстетическими), что были переданы тебе родителями и лучшими учителями. Нужно что-то еще. Это что-то — слово и словесность.

Любовь к словам для героя-рассказчика романа «Ложится мгла на старые ступени» не менее значима, чем любовь к озерам и собакам, верблюдам и бабкиному сервису, деревьям и лопатам, градусникам и кашам... Все как-то называется. И слово может пережить свое означаемое, сохранить его, дать ему шанс на возрождение. Думаю, поэтому А. П. при всей его любви к животному и растительному царству, при всем его восхищении умной техникой стал не биологом или инженером (хотя наверняка и на этих поприщах преуспел бы), даже не историком, как его романский двойник (думаю, что ход этот нужен был прежде всего для внешнего расподобления автора и героя), а филологом.

Многие поклонники романа говорят, что он стал для них неожиданностью. Для меня — нет. Было восхищение, но не удивление. Потому что все в романе было совершенно «чудаковским». Широта стилового диапазона заставляла вспомнить и чудаковскую апологию тех

научных трудов, авторы которых органично сочетали «специальную естественнонаучную терминологию с живым, часто просторечным словом»², и слог его собственных работ. (Когда на кафедре истории русской литературы филфака МГУ обсуждалась докторская диссертация А. П., кто-то из рецензентов выразил неудовольствие употребленным там словом «разнота», которое и мой компьютер подчеркивает красным. А. П. отреагировал на это замечание с куда большей страстью, чем на все прочие, — он произнес настоящую похвальную речь несправедливо забытому слову.)

Дотошность в описании (воссоздании) предметного мира Чебачинска восходила и к теоретическим построениям А. П., и к его особому отношению к калейдоскопическому пространству прозы Чехова, и к колоритной, «вкусной» фактурности обращенной к школьникам чеховской биографии (1987). Установка на внеиерархическую всеохватность (и скрытый в ней глубинный демократизм, внимание ко всякому дыханию, что так или иначе Бога хвалит) не могла не ассоциироваться с библиографическим азартом исследователя, проштудировавшего всю «малую» пред- и околочеховскую прозу, стремившегося освоить все печатные отклики на сочинения его героя. (Явно рассчитывая на художественный эффект и вполне в том преуспевая, А. П. не в одном докладе обрушивал на аудиторию раблезианские списки названий провинциальных газет и журналов, которые мог читать Чехов либо в которых о нем писали.) Внимание к среде детства (в том числе — материальной) как важнейшему фактору формирования человеческой личности аукалось с той же чеховской биографией, треть которой посвящена таган-

² См.: Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. С. 306; статья «Язык и категории науки о литературе». Предъявив читателю великолепно выразительные фрагменты из трудов С. В. Ковалевской и Н. М. Тулайкова (брошюра «Кукуруза и ее возделывание», 1925), А. П. далее пишет: «Можно было бы привести похожие цитаты из трудов К. Тимирязева, П. Кропоткина (из его выдающихся естественнонаучных трудов), медика Г. Захарьина, профессоров сельскохозяйственной академии Д. Прянишникова и А. Чайнова, кораблестроителя акад. А. Крылова, большого знатока русского языка, в частности флотской речевой традиции во всех ее проявлениях. Сталкивать лексику метафизическую и слова просторечные любил В. Виноградов, а еще более — замечательный ученый, философ и филолог Г. Шпет: «Реализация идеального <...> сложный процесс раскрытия смысла, содержания, перевод в эмпирическое, единственно действительное бытие, а не пустопорожнее гипостазирование, т. е. со стороны предметной — взращивание капусты в облаках, со стороны функций — шлепанье губами»».

рогскому хронотопу, а общая логика ненавязчиво подводила к выводу: без этого детства Чехов не стал бы Чеховым³.

Образ провинции как «холодильника», в котором хранятся отвергнутые центром обычаи, умения, речевые обороты и «простые предметы», прямо соотносился с идеей о «малой прессе» как хранилище временно утративших актуальность жанров или стилевых тенденций. (Ясно, что эта чудаковская мысль возникла не без воздействия теории литературной эволюции Тынянова, с одной стороны, и бахтинской концепции «памяти жанра», к которой А. П. относился не без настроенности.) Особый — далекий от прекраснотушной дачной созерцательности — тип природоописания, кроме прочего, перекликался с той не дилетантской осведомленностью в естествознании, что была приметна и в цитированной статье о языке и категориях науки о литературе, и в «экологических» пассажах чудаковской чеховианы, и — особенно наглядно — в комментариях к теоретическим статьям Тынянова. И наконец, тот чудаковский дар сострадания, о котором уже шла речь выше, та тревога за судьбы всего живого, та щемящая печаль, что не раз прорывается сквозь торжественно эпический (а то и мажорный) тон повествования и уж без удержу разливается в финальной главе «И все они умерли», — все эти интимно-лирические ноты тоже можно было расслышать и до романа. Так, в одном из теоретических (по задаче своей) докладов на Тыняновских чтениях А. П. говорил, что литературная эволюция милосерднее эволюции биологической, способной загубить некий вид навсегда. Наверно, я никогда не забуду, как Александр Павлович воскликнул: *И мы ведь больше никогда не увидим настоящего зубра!* И чуть понизив голос, с приметным раздражением: *А не этих убудков из заповедника...*

³ Уже в 1990-х, на каких-то (опять стыдно, но не помню, на каких точно) Банных чтениях А. П. подробно размышлял на эту тему, в частности, приводя пример из романа Тынянова «Пушкин» (описание Юсупова сада и землетрясения). Я тогда возразил: Тынянов целенаправленно насыщает этот фрагмент реминисценциями самых разных пушкинских текстов («Бахчисарайский фонтан», «Борис Годунов», «К вельможе», не говоря уж о тех, что строятся на мотиве оживающей статуи, — здесь, кстати, опережая Якобсона), а у нас нет формальных оснований предполагать, что все эти сочинения — плод детских впечатлений Пушкина. Теперь думаю, что дело обстоит сложнее: Тынянов строил роман, создавая бытовые «претексты» сочинений Пушкина (см. первопроходческие работы Г. А. Левинтона), потому что видел в «детстве-отрочестве-юности» художника зерно его личности и творчества.

И снова голос шел вверх: *А стеллерова корова! Какое это было умное, полезное, благородное животное!* Каюсь, слыхом до того доклада я не слыхивал про стеллерову корову, а нагнетая эпитеты, А. П. пропустил ключевой, видимо предполагая большую подкованность аудитории. Так что о «замечательном морском животном, напоминающем тюленя», что «водилось только у Командорских островов», о его упомогающих статьях и гибели последнего экземпляра в 1768 году я узнал лишь из романа (глава «Псы»).

Исчисляя эти особенности романа (конечно, далеко не все), чувствуешь, что каждая из них сцеплена со всеми остальными. Наверно, это и называется единством мира — поэтического, научного, личностного. Почему важен «малый писатель»? Потому, что он просто был и нес свое — иногда жалкое, корявое, суетное — слово? Или потому, что невольно запечатлевал словом этим те предметы и явления, которые не попали в поле зрения его великих современников, а нам знакомы только благодаря его бесхитростным свидетельствам? Один ответ подразумевает другой.

Или только подразумевал? Как-то в конце 1990-х (точно знаю, что до появления чудаковского романа) я разговаривал с Семеном Израилевичем Липкиным о современной русской прозе. С. И., как правило, умудренно терпимый и всему находящий объяснения, отзывался о недавно прочитанных вещах (а читал он «Новый мир» и «Знамя» систематично) в непривычно резком тоне. Я пытался защищать авторов: *хорошие писатели есть, но их мало* (на некоторых именах мы сошлись), *плохих всегда больше, вот «народников» читать — тоже удовольствие сомнительное.* — *Не скажите,* — жестко остановил меня С. И. — *Я Златовратского читал. И других читал. Да, таланту мало. Но талант ведь от Бога. Если его нет, писатель не виноват. Но они знали, о чем пишут. И потому их читать было иногда скучновато, но интересно. А эти — ничего не знают.* Нечто подобное в чудаковском романе говорит дед, сравнивая дореволюционные исторические романы с советскими.

А. П. знал, о чем он пишет. И знал, что, кроме него, *об этом* никто не напишет. Так было и в его научной прозе, и в редких критических статьях, и в очерках о классиках филологической науки. Так было и в романе, где словом воссоздан тот мир, в котором возрастал автор, тот мир, уход которого он тяжело переживал и всеми недюжинными силами своими старался преодолеть. По многим причинам Чудаков не хотел писать книгу исключительно о себе (потому и потребовались

ему переходы от перволичного повествования к третьеличному), но и убрать себя из текста он тоже не хотел. Рассказать о своем мире — это значит рассказать и о своем человеческом становлении. Детством и отрочеством жизнь не кончается, и в романе «Ложится мгла на старые ступени» говорится не только о том, что было *тогда*, но и о тех тревогах, печалях, раскаяниях, радостях и надеждах, которыми полнилась «взрослая» жизнь автора. Счастливая жизнь человека, сохранившего душевную статью и внутреннюю свободу, избежавшего многих соблазнов, но отнюдь не победительного и самодовольного «олимпийца». В этой светлой книге куда больше печали, чем может показаться на первый взгляд. Что, кажется, входило в авторский замысел. Аудитория всегда структурируется: кто-то читает роман как идиллию без примесей, кто-то — как идиллию, соединенную с трагедией.

Кстати, никак не могу согласиться с тем, что роман вызвал всеобщий восторг. Не касаюсь откровенно глупых рецензий, хотя были и такие. Куда любопытнее, что не столь уж малочисленным читателям (в принципе книгу душевно принявшим) роман показался «затянутым», повторяющимся, фрагментарным, — в нем видели серию «картин», а не смысловое целое. В частности, находили лишними «московские» главы, хотя без описанных в них соблазнов вряд ли возможно финальное объяснение героя (автора) с ушедшим дедом, так трудно давшийся стон-выдох: «Ты был прав во всем!» Литературный быт всегда причудлив и несправедлив, но почему-то помнится, что «Знамя» было не первым журналом, куда А. П. предложил роман, что издательства отнюдь не вырывали книгу у автора, что Букеровской премии Чудаков не получил. (Получила ее в том — 2001-м — году Людмила Улицкая за «Казус Кукоцкого».) Конечно, не в том суть, чего-чего, а тщеславия А. П. был лишен начисто. И все же...

И все же он искренне радовался добрым словам о своей книге. Только ли потому, что это была его книга? Думаю, нет. Важно было, что люди нечто значимое читают, уразумевают и адекватно реагируют. Важно было, что слова не уходят в пустоту.

При нашей последней встрече — в тот самый вечер, что закончился трагедией, — А. П. вдруг заговорил о статье Мариэтты Омаровны «В защиту двойных стандартов» из только что вышедшего (мною в тот момент еще не читанного) № 74 «Нового литературного обозрения». Он говорил с несвойственной ему обычно горячностью о том, как важна эта статья, какая за ней стоит огромная работа, как сильно она написана, как он, разумеется, читавший статью в рукописи, толь-

ко что ее перечитывал в журнале и не мог оторваться. Сам себя перебивал несколько раз (*Вы же понимаете, что я все это говорю не потому, что Мариэтта...*), вновь возвращался к судьбе архивов, а потом сказал что-то вроде: *И никто ведь внимания не обратит...* Из контекста следовало, что не о власть предержащих он речь ведет, даже и не о гражданском обществе — о коллегах. Да, А. П. и добавил для ясности: *И так со всем, что теперь пишется...*

Сперва эта реплика показалась мне случайной. Но из головы она не выходила все те страшные дни, когда А. П. был между жизнью и смертью. Да и сейчас не выходит. Нет, он знал, что говорил. В шутовском стиховом инскрипте на сборнике «Слово — вещь — мир» А. П. поощрял меня именно за многописание. В дарственной надписи на книжном издании романа благодарил за рецензию на журнальный вариант (резко преувеличивая ее достоинства). Дело тут совсем не во мне — просто он знал, что писателю (ученому, человеку) необходим отклик на его труды. Не сетевой гул, продираясь сквозь который поневоле помоев нахлебаешься, не «организованные» рецензии, не понимающие улыбки давних друзей-единомышленников (*мы же и так всему цену знаем — неужели позволим себе, как советские чиновники от науки, публично восторгаться успехами друг друга*), а отклик по существу. Когда под занавес той или иной научной конференции А. П. представлял веселый стиховой отчет о ее ходе, забытым не оказывался никто. Ему действительно были интересны, важны, дороги очень разные люди.

И без этого чувства расположенности к своим современникам (в том числе — младшим), без требовательного доверия к ним, без умения радоваться их удачам и поддерживать самим своим присутствием нельзя представить того, что называется *мир Чудакова*. Теперь сохранение этого удивительного мира — гранями которого были книги и комментарии, библиографические списки и доклады, шутки и устные рассказы, лекции и семинары, заплывы и походы, пение и розыгрыши, посадка деревьев, наступление на граничащее с дачей болото, строительство дома, колка дров, истопницкие или плотницкие работы, любовь к жене и воспитание дочери и внучки — мира, так страшно и неожиданно, почти в одночасье рухнувшего, зависит от нас. Тех, кто знал и любил Александра Павловича. Тех, кто, никогда не встречавшись с ним, умел угадать его душу в печатных текстах. Тех, кто, даст Бог, сумеет творчески читать их и много лет спустя.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 75)

Дональд Рейфилд

«ОН К ВЕЛИЧАНЬЯМ ЕЩЕ НЕ ПРИВЫК...»

Как и все англичане-чеховеды, я воспринимаю смерть Александра Павловича как личную потерю. Я познакомился с ним всего десять-двенадцать лет назад, но заинтересовался его работами еще в 1970-е годы. Тогда многие русисты на Западе восхищались его исследованием «Поэтика Чехова». Потом эта книга была переведена на английский, пользовалась большим успехом, и все мы постоянно что-нибудь «воровали» у Чудакова. Ни одна хорошая монография (и ни одна плохая) не обходилась без влияния его ясных и глубоких мыслей. Эта книга казалась каким-то чудом — одним из редких оазисов в пустыне советского литературоведения. Скромно сочетая статистику с изложением фактов, Чудаков воскресил заглушенную русскую традицию. В его книге можно было видеть, как продолжается и уточняется подход Андрея Белого, разработанный в книге «Мастерство Гоголя», и лучшие достижения формалистского чеховедения — например, формалистские по сути открытия Петра Бицилли, — забытые и замалчивавшиеся под гнетом советского официоза. После расправ над такими критиками-нонконформистами, как Андрей Синявский или Аркадий Белинков, трудно было понять, как редакторы «пробили» в печать книгу Чудакова. Но известно, что великие палачи тогдашнего чеховедения (пропускаю фамилии) тщетно делали все от них зависящее, чтобы «Поэтика Чехова» не была опубликована.

Я не могу и не хочу обозревать всю библиографию Чудакова; просто упомяну о втором важном импульсе, который он дал чеховедению, опубликовав в 1991 году в «Литературном обозрении» (№ 11) статью «Неприличные слова и облик классика». Статья, с первого вида задорная и сенсационная, взорвала всю тину тогдашнего чеховедения. Она сделала для биографии Чехова и для жанра биографии в России то же, что «Поэтика Чехова» сделала за двадцать лет до того для литературной критики. После таких публикаций стало гораздо труднее врать. Было уже невозможно отождествлять Чехова ни с советским гуманизмом, ни с шаблонами его антигероев. Стало совершенно ясно, насколько нелепым было превращение в казенные лозунги «крылатых» фраз вроде «в человеке все должно быть прекрасно» или «надо работать». Благодаря этой и другим работам Чудакова творчество

и жизнь Чехова приобрели совершенно новое измерение и у нового поколения литературоведов и биографов появились актуальные задачи — им пришлось заново взглянуть на многое из того, что они находили в архивах... и в собственном сознании.

Позже, встречаясь с Александром Павловичем в Мелихове или в Баденвейлере, я, как многие другие, понял, что в нем человек ни в чем не уступает ученому. Чудаков воплощал в себе очень редкий пример: он был чеховедом с чеховским юмором. Как Чехов, он умел вовремя вмешиваться и вовремя оставаться в стороне. Подобно Чехову и Потапенко, отправившись столетием раньше в Монте-Карло, в 1995 году Чудаков поехал вместе с другими русскими докладчиками в Баден-Баден, где организаторы конференции устроили закрытый «турнир» по игре в казино. Почти вся без исключения российская делегация — в ней были почтенные академики, которые и улицу-то боялись перейти без гарантий полной личной безопасности, — впадала в азарт. Они проиграли все фишки, подаренные администрацией казино, а после турнира остались играть в рулетку и промотали карманные деньги, полученные от мэра города Баденвейлер. Александр Павлович, как все, заинтересовался игрой как исследователь, но — на практическом уровне — обнаружил полный иммунитет к этой «золотой лихорадке» и наблюдал с юмором, но без злорадства сцены, давно описанные Достоевским.

На заседаниях баденвейлерских конференций Чудаков был идеальным слушателем и докладчиком. Он не читал, а словно бы импровизировал свой доклад; возникало ощущение, что он спонтанно формирует его строгую внутреннюю структуру. Особенно запомнился его подход к одному фрагменту в дневниковых записках Чехова: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский же человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей, середина же между ними не интересует его; и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало». Именно тогда подавляющая масса литературных критиков только-только успела переметнуться от одной такой крайности к другой. Чудаков настаивал, что Чехова можно воспринимать только как автора, находящегося в поле между этими двумя определенными, устойчивыми мнениями¹. Он преподавал свой урок очень умно и изящ-

¹ На основе этого доклада была затем подготовлена статья: Чудаков А. «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле...». Чехов и вера // Знамя. 1996. № 9.

но, нарисовав мелом на доске две большие пересекающиеся окружности. Только в пространстве наложения этих фигур, объяснял Чудаков, есть смысл искать философию Чехова. Рисунок сразу стал известен под названием «яйца Чудакова», но тем не менее серьезное значение этой схемы было понятно всем.

В голодные годы, когда русские ученые зарабатывали так мало, что должны были если не уйти в бизнес, то уехать за границу, Чудаков начал преподавать в Германии, США, Корею. Как и в 1922 году, когда Менжинский по инициативе Ленина цинично выдворил 122 лучших русских ученых, — то, что стало катастрофой для России, оказалось «манной небесной» для Запада. Чудаков делал для своих американских и немецких коллег то, что за 70 лет до этого делали для Европы Трубецкой, Якобсон, Бердяев, — конечно, при том существенном различии, что «ссылка» постсоветских гуманитариев была частичной и временной и в России продолжали печатать их статьи и книги.

В Чудакове проявлялись не только юмор, но и другие чеховские качества. Он был, как и Чехов, одержимым садовником и искал чудесные семена, из которых на его подмосковной даче вырос бы зеленый покров вечнозеленого холеного английского газона. Им овладела та же мания акклиматизации, как и у Чехова, заказывавшего из Франции гималайские растения для своего крымского сада. Как и Чехов, он относился равнодушно к роскоши, но не мог удержаться от покупки красивого галстука. Чудаков знал, что он талантлив, но, как и Чехов, очень не любил, когда в его присутствии высоко оценивали его высказывания. Подобно пастернаковскому «артисту в силе», он «отвык... от фраз и собственных стыдился книг» (хотя надо сказать, что нором у него был совсем не строптивый и от женских взоров он не особенно прятался). Чудаков был от природы обаятелен, слушал больше, чем говорил. Он любил путешествовать и умел в любом городе создавать себе и своему окружению хорошую компанию. Его главной движущей силой, как мне казалось, было тихое, но стремительное любопытство.

Он был очень одарен как прозаик (состав его талантов сильно напоминает личность Владимира Лакшина — несмотря на то, что Лакшин реализовался не как филолог, а как критик и журналист). Чудаков писал не только ученые статьи, но и популярные биографические работы. Еще лучше, чем Чехова, он исследовал в зрелые годы самого себя. Несмотря на то, что его произведение «Ложится мгла на старые ступени» названо романом-идиллией, в нем можно увидеть

и написанную в свободной форме автобиографию. «Мгла», может быть, не хуже, чем «Детство» Толстого или «Детские годы...» Лескова, раскрывает душу автора. Северный Казахстан для Чудакова — все равно что Таганрог для Чехова. Детство на окраине империи, с пестрым населением, с богатым запасом впечатлений, со свободой, о которой столичный мальчик может только мечтать, вложило в будущего писателя достаточно «духовных калорий», чтобы пропитать всю его жизнь. В то же время из романа становится понятно, что студент из Казахстана никогда не станет вполне признанным гражданином в столичной культурной среде, что даст ему возможность не потерять независимость.

Как ни странно, детство русского мальчика в Казахстане сильно напоминало мне мое собственное детство в конце 1940-х годов в Австралии. Правда, в маленький город в австралийской глуши европейцы съехались не вынужденно, а по своей собственной воле: они спасались от холода и строгостей послевоенной Великобритании или надеялись на быстрое обогащение на австралийских золотых приисках. Они не знали, что такое раскулачивание и террор. Тем не менее как в Казахстане, так и в Австралии в такой «ссылке» оказались люди самого разнообразного происхождения — от представителей духовенства и аристократии до выходцев из преступного мира. Свободные от строгого расслоения столичного общества, они общались непосредственно и влияли друг на друга. Местные аборигены составляли какой-то странный призрачный фон, а огромные неевропейские просторы и сухой климат делали из любого ребенка маленького Робинсона Крузо. Как Чудаков, я, может быть, слишком рано, слушая рассказы самых разных друзей дома, узнал о сложностях и ужасах взрослого мира. Из такого мальчика потом очень сложно сделать послушного конформиста. Я приехал в Лондон, как Чудаков в Москву (если позволительно будет такое сравнение), человеком совершенно ни на кого не похожим: то ли навсегда «одичавшим», то ли просто независимым. Провинциализм — это великая сила. Поэтому книга Чудакова еще лежала у меня на ночном столике (я читал ее медленно и не хотел ее заканчивать), когда позвонили с радио «Свобода» с сообщением, что ее автор погиб.

Почти одновременно с ним погиб еще один еще совсем не старый и всеми любимый русский ученый, языковед Сергей Старостин. Ученых такого масштаба, как Чудаков и Старостин, остается с нами все меньше и меньше, и тех, кто есть, надо теперь особенно оберегать.

Для чеховедения смерть Александра Павловича Чудакова значит не только, что мы лишились многих ненаписанных хороших книг и еще одного незаурядного собеседника: сломалась главная шестерня в машине. Конечно, еще многие годы его будут читать и помнить. Но горе еще долго не пройдет.

(Новое литературное обозрение, 2005, № 77)

Анна Саввина

РАБОТА НАД ЧЕХОВСКОЙ БИБЛИОГРАФИЕЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ А. П. ЧУДАКОВА (1990—2003)

В январе 1990 года Александр Павлович предложил мне поработать с ним по сбору газетных материалов для прижизненной библиографии А. П. Чехова. Я не имела ни малейшего представления о том, что мне предстоит делать. Но Александр Павлович так увлеченно и интересно говорил об этой работе, что я согласилась. Записалась в тогдашнюю Ленинку и получила доступ в газетный зал; научилась оформлять требования, пользоваться справочниками и каталогами. Александр Павлович рассказывает мне, что такое библиография, в его словах такое убеждение в важности этой науки, он с таким удовольствием перебирает библиографические карточки учета материалов, что мне все интереснее и интереснее.

Довольно быстро я вошла в курс дела. Мне понравилось листать газеты столетней давности, и первое время, просматривая их, я читала много всякой всячины о жизни тех времен. Но со временем, когда материала было найдено уже много, и я стала понимать важность каждой строки, относящейся к нашей именно работе — стало жаль тратить время на чтение материалов, не относящихся к Чехову.

Наша работа строилась следующим образом. Ал. П. составил картотеку газет, которые нужно внимательно, сплошь, а не выборочно, по рубрикам и датам, как было ранее, просмотреть.

На каждую намеченную к просмотру газету заводилась карточка — *экран просмотра*. На этом экране по годам отмечалось наличие найденных материалов, а также при необходимости — наличие

нужных нам рубрик (литературные подвалы, театральные обзоры и рецензии), хотя наши материалы могли быть где угодно — даже в передовице и рекламе. Попадались и фотографии.

Когда материал был найден — он регистрировался, и на него заводились две карточки. В одной, собственно библиографической, указывались автор, название статьи, название источника и дата — и давалась краткая, часто — кратчайшая аннотация. Вторая — учет по названиям просмотренных газет. Она начиналась именно с названия газеты; дальше — дата, автор, название статьи, обзора и т. д. — и слова, ограничивающие участок текста, интересующего нас.

Очень важной и трудоемкой частью работы было изготовление фотокопий текстов. Когда накапливалось достаточное количество материалов, обычно 100—150 наименований, я составляла ведомость с указанием всех данных, выписывались нужные издания и отправлялись в фотолaborаторию. К сожалению, столетней давности газетные подшивки нельзя подвергать ксерокопированию

Нужно сказать, что, как и везде в советские времена, в фотолaborатории были долгушие, на многие месяцы очереди, и, хотя там работали очень хорошие профессионалы, работа в условиях дефицита (пленки, химикаты, аппараты для съемки) создавала тягостное настроение. И если принять во внимание, что, как и в каждой работе, что-то терялось, что-то портилось, нужно было много терпения, чтобы все это проверить, исправить, найти снова и заказать, убедить сделать побыстрее, ни с кем не поссорившись, никого не обидев, и, должна признать, что нам это удавалось. Нашу работу знали все лаборанты газетного зала, старались быть нам полезными и иногда звонком или еще как-то сообщали о встреченных трудностях. Ал. П. любил повторять: «Людам нравится, когда кто-то хорошо и равнодушно делает свою работу, им нравится участвовать в хорошо исполняемом деле — значит, оно важно и нужно». Принимая во внимание загруженность работников лаборатории, я сама выписывала все нужные подшивки, делала разметку, и готовые к съемке газеты отправлялись в фотолaborаторию. Некоторые тексты — небольшие по размеру — переписывались от руки и затем печатались на машинке.

Полученные фотокопии разбирались, наклеивались на плотную бумагу в виде двойных стандартных листов формата А4. На них надписывали все данные и укладывали в папки по годам. Ал. П. говорил, что со временем они все будут сшиты — и таким образом готовы к изданию.

Его очень беспокоило, что работа, делавшаяся много лет, претерпела изменения по оформлению и учету. Многие собранные ранее материалы не имели полных данных (страниц, точной даты и т. п.), и мы потихоньку пытались ликвидировать эти пробелы. Но эта работа еще предстоит.

В конце 90-х годов, несмотря на общий развал в библиотеке, мне работать стало легче. Фотолаборатория с удовольствием выполняла наши заказы, у меня были хорошие канцтовары (которые раньше были на вес золота!), и я привозила Ал. П. кипы копий материалов по нашей теме.

И тогда начиналась самая интересная для меня часть работы. Каждый раз, беря в руки пачку обработанных фотокопий, Ал. П. радовался, как ребенок. Поскольку аннотации в библиографические карточки писал он сам, то всегда спрашивал, какие из новонайденных статей с моей точки зрения самые интересные. И немедленно при мне прочитывал их, давая свои комментарии. Первое время я удивлялась малости некоторых заметок, упоминаний и они казались мне неважными. Чтобы я раз и навсегда оставила эти сомнения, Ал. П. рассказал мне, как известная исследовательница творчества А. Н. Островского 40 лет работала над подобной библиографией, и когда посчитала работу законченной, в предисловии написала, что собрала основные и, с ее точки зрения, самые интересные материалы.

«Никто не может знать и судить о том, что является главным, а что неважным в подобном собрании. То, что сегодня кажется нам очевидным и важным — завтра таким не будет. И наоборот. И никто не знает, зачем и для получения каких знаний будет изучаться творчество и жизнь писателя», — говорил Ал. П. Он не уставал повторять, что нет неважного в любых печатных отзывах и упоминаниях об А. П. Чехове. Об этом станут судить исследователи будущих времен. А наше дело — все скрупулезно собрать и сделать доступным.

И когда я находила крохотную заметку в какой-нибудь забайкальской газете о том, что на таком-то золотом прииске силами местных работников устроен спектакль — поставлен водевиль А. П. Чехова «Медведь», или — «В Благовещенском женском епархиальном училище на святках был устроен утренник с читкой рассказов А. П. Чехова», — я понимала, что значение творчества писателя, самой его личности в жизни общества того времени — вопрос, который еще не осмыслен в должной мере, и тому, кто этим займется, наша работа — клад.

И вот, когда все принесенное было просмотрено, обсуждено и разложено по папкам, Ал. П. делал оценку моей работе, и должна сказать, что с годами замечаний делалось все меньше. В первые годы случались и выволочки (с моей точки зрения), которые заключались в том, что лицо Ал. П. делалось очень огорченным и тихим голосом, с безнадежной интонацией он говорил что-нибудь вроде: «Ну как же так?» Обычно это касалось отсутствия у меня навыков работы, ошибок в оформлении библиографических карточек в соответствии с требованиями стандартов и, конечно, аннотаций. Написание их ему все-таки пришлось целиком взять на себя, уж очень мой свободный текст не совпадал с требованиями сухого библиографического изложения. Я убедила его, что ему легче написать несколько строк, чем править мои эмоциональные оценки, — ведь все равно он все тексты прочитывает сам.

Проще было с составлением карточек по наименованиям газет. Это была техническая работа, где нужно только внимание и терпение. В основном с ними не было проблем.

Но вот вся текущая добыча разобрана, разложена (иногда работа шла по 6—8 часов!) и наступает прекрасный момент, когда мы, усталые и очень довольные, садимся выпить чаю. Ал. П. заваривает свежий чай, достает кое-что к чаю, я — маленькую баночку с домашним вареньем. Тут возможны и личные беседы.

Впоследствии, читая его роман «Ложится мгла...», я узнавала многих героев, знакомых мне по его устным рассказам. Вспоминая его рассказы, как учил внучку читать (у него на стене висела детская азбука), я видела теперь его деда.

Рассказывал о своей работе за границей, любил вспоминать, как с Мариэттой Омаровной путешествовали по Испании, по Италии, как купался в Средиземном море в апреле, к изумлению местной публики. Бывая на берегах океана — обязательно должен был поплавать в океане! «Представляете, они (обитатели гостиниц) купаются в бассейнах! Жить у океана — и не искупаться!!»

Но особенно мне запомнился рассказ о том, как он покупал вагонку для дачи. Сейчас, когда в каждом почтовом ящике лежат рекламные листовки строительных фирм, которые в короткие сроки построят вам что угодно, уже невозможно себе представить, как в 80-е годы строились маленькие дачки на 6-ти сотках. Наверное, все его близкие знают эту историю, но мне доставляет удовольствие записать ее со слов Ал. П., как ее помню я.

Когда понадобилась *вагонка* и Ал. П. начал систематические поиски, его в магазинах встречали постные лица продавцов. «Нет, сейчас нет, заходите еще».

С присущим ему терпением он обходил магазины стройматериалов. Однажды вечером зашел в такой магазин в Химках. В руках у него был портфель с бумагами и связка только что полученных книг из типографии (его биография Чехова, написанная для «Школьной библиотеки»).

Пообщавшись с продавцами, которые с грустно-загадочными лицами, не глядя, лениво цедили «Нет, сейчас нет; бывает иногда», он направился к выходу, как вдруг к нему подошел человек, представившийся директором (читай, хозяином) магазина. У человека была яркая, как теперь говорят, кавказская внешность (при ближайшем знакомстве выяснилось, что он чеченец). Он представился и деликатно спросил, нельзя ли взглянуть на книжки, которые у Ал. П. в связке, и узнать, где он их купил. Он как-то углядел, что это — Чехов, и объяснил, что его семья очень любит Чехова, и они с сыном-десятиклассником каждый вечер читают его рассказы. Конечно, он был поражен, когда узнал, что перед ним стоит автор книги и исследователь творчества А. П. Чехова. И когда Ал. П. подарил ему экземпляр, попросил сделать памятную надпись — для сына, а то ему, дескать, не поверят, что он действительно получил ее в подарок от автора. После этого тихонько сказал: «Напишите ваш телефон, вагонку скоро будут резать, я вам позвоню».

И какое-то время спустя, чуть не в 5 утра Ал. П. действительно, на его удивление, позвонили. И вагонка благополучно была куплена.

Ал. П. очень любил свою дачу, и она довольно часто была предметом наших разговоров. Выращивание огурцов, цветов, даже проблема покупки навоза и выкапывания ям для всяких хозяйственных нужд — все это в изложении его образным, живым языком приобретало значительность и вызывало интерес. Всегда внимательно выслушивал мои истории, в основном житейские, и никогда ничего не забывал.

Однако не так уж много было этих праздных минут отдыха. Он провожал меня до транспорта (особенно вечерами), и я вновь приступала к сплошному просмотру следующей партии газет — по тем экранам *просмотра*, которые он мне приготовил в этот раз.

В начале 90-х годов еще плохо было в магазинах с ширпотребом, и вот Ал. П., приезжая из загранкомандировок (лекции, научные конференции и т. д.), никогда не забывал привезти мне небольшой подарок:

зонтики, платочки, парфюмерные наборы и какие-то мелочи, которые сейчас уж и не упомяну, но которые всегда были к месту, действительно были мне нужны — все это как-то вписывалось в атмосферу доброжелательности и взаимопонимания в нашем крохотном коллективе. Он все время очень переживал, что не может платить мне, и вдруг — о радость! — ему выделяют грант РАН! Но все не так просто. Для того, чтобы мы получили эти деньги, они должны поступить в бухгалтерию ИМЛИ, там пройти все отчисления на содержание аппарата института, на пользование институтским оборудованием — которым мы никогда не пользовались (я даже на стуле там ни разу не сидела), а потом остаток по каким-то их расценкам выплачивали нам. Сколько сил было потрачено Ал. П. на оформление всех этих бумаг, а особенно на зачисление меня в штат института в качестве уж не помню кого... И я получила зарплату в течение нескольких месяцев.

Затем наступило новое время. Нам выделил грант фонд Сороса. Там тоже было много возни с оформлением, отчетами об использовании средств, но все уже оказалось проще. Сумма была в нашем распоряжении, без посредников, нужно было только предоставлять регулярные отчеты о проделанной работе, что для нас не представляло затруднений. Кроме того, здесь уже я могла помочь в оформительских и прочих делах. Что я и делала. Мы смогли купить необходимую канцелярщину, которую раньше Ал. П. покупал за свой счет, а главное, оплачивать изготовление фотокопий с текстов — весьма дорогостоящий процесс, который Ал. П. также оплачивал из «семейных» денег. Теперь он смог нанять еще одну помощницу, Т. И. Понтрягину, библиотекаря РГБ, и она посвящала какое-то время просмотру газет и сбору наших материалов. Мы стали мечтать о покупке компьютера и составлении компьютерной базы данных. Но это счастье довольно быстро кончилось, и мы опять остались без денег.

В процессе работы накапливались материалы, сведениями о которых мы располагали (из разных источников), но самих статей в фондах РГБ не обнаруживалось по разным причинам — газеты уничтожены в связи с ветхостью, изъяты по цензурным соображениям, потеряны — было и такое! — и т. п. Таких материалов накапливалось с годами довольно много, и дважды, пока гранты давали такую возможность, Ал. П. организовывал мне командировку в Петербург, в Публичную библиотеку им. Салтыкова-Щедрина. Конечно, времени было мало, но я успевала сделать намеченное, чему в немалой степени способствовала помощь работников библиотеки. Они всегда гото-

вы были помочь, понимая, что мое командировочное время — отмеряно, сразу же создавали обстановку доброжелательства. Особенно приятно мне было работать с отделом фотокопий. Лицо начальницы отдела расцветало улыбкой, как только она слышала, что материал — для работы Чудакова. Все, выполняемое по моим заявкам (и более ранним, самого Ал. П.), было всегда сделано очень хорошо и — никаких ошибок!

Ал. П. считал, что собранный материал достаточен — учтено несколько тысяч публикаций, это очень много, — и должен быть опубликован. Мы обсуждали с ним вопрос о том, как именно публиковать — может быть, частями, по томам... Потому что материал-то огромный. Подготовка к публикации, составление указателей — это была уже незнакомая мне работа.

По причинам, не связанным с работой над библиографией, сугубо семейным, мое участие в ней закончилось в конце 2003 года.

Июнь 2006 г.

* * *

Необходимое пояснение

В тот год, когда А. П. с огромным напряжением делил свое время между научной работой и поездками на Левобережную — для сплошного просмотра газет, в доме нашего друга, моего школьного еще приятеля Г. И. Гаева он познакомился с Анной Ивановной Саввиной. В тот момент она оказалась на ранней (по особенностям производства, которым занималась, — совершенно далекого от гуманитарных дел) пенсии, вырастила дочь и располагала временем. Услышав увлеченный рассказ А. П. о замысле полной библиографии прижизненной критики Чехова, она предложила ему свою безвозмездную помощь по просмотру газет на Левобережной (А. И. жила в Зеленограде, и некоторая географическая близость к газетному залу тоже была немало важной).

Жизнь его, можно сказать, изменилась. Главное и неоценимое свойство новоприобретенной помощницы было вскоре им оценено — и далее все возрастало в цене: сколько бы молодых чеховедок и библиотечных работников ни пробовал А. П. привлечь к техническому, казалось бы, делу просмотра газет, после всех приходилось, вслед

за первой же его (обязательной) ревизией, все пересматривать — и находить пропущенные материалы. Только одна А. И. просматривала газеты сплошь, *не пропуская ничего*. Он не уставал восхищаться этим ее качеством.

Я не ставлю сейчас цели рассказать о замысле и о перспективе издания всего труда (работа над подготовкой уже начата). В разное время к этой огромной работе удавалось подключать разных людей, с разными функциями. И все-таки именно с конца 2003 года она практически остановилась — или, во всяком случае, резко замедлилась.

М. Ч.

*(Тыняновский сборник. Десятые—Одиннадцатые—
Двенадцатые Тыняновские чтения, М., 2006)*

Юрий Щеглов

ПАМЯТИ А. П. ЧУДАКОВА

Наша филология потеряла за короткое время ряд замечательных ученых. Среди них особенно неожиданным и горестным был уход Александра Павловича Чудакова.

Я знал Сашу с первого курса филфака МГУ. Как и недавно ушедшие М. Л. Гаспаров и Е. М. Мелетинский, он был моим сотрудником по Институту мировой литературы в Москве. Последний раз я видел его давно — в Норвиче (штат Вермонт) в июле 1989 года. Как чеховские герои Лаевский и Самойленко в рассказе «Дуэль», мы разговаривали, стоя в воде, между отвесной скалой и водопадом. В память об этом дне у меня осталась его книга «Мир Чехова» с надписью: «Дорогому Юре Щеглову через много лет с неизменными чувствами, а также после совместного нахождения под струями водопада», да фотография: Саша, Мариэтта и я. Книга, только что мною перечитанная, испещрена моими пометками, следами тогдашнего увлеченного чтения.

Александр Павлович был не только известным автором работ о Чехове и одним из редакторов его последнего Полного собрания сочинений и писем. Он в своей жизни занимался многим другим: исторической поэтикой, теорией, советской литературой, писал мемуары, комментировал труды классиков филологии. В последние годы завоевала всеобщее признание его проза — «роман-идиллия» из жизни

далекой окраины России в послевоенные годы. Саша Чудаков навсегда оставил свое имя в русской филологии и словесности. Как всегда, мы начинаем полностью понимать всю меру и значение человека, когда с этим пониманием уже мало что можно сделать.

Я буду говорить прежде всего о чеховедческих работах А. П., так как сам занимаюсь Чеховым, могу оценить Сашин вклад в эту область, и знаю эту сторону его научного творчества лучше других.

Научный профиль А. П. Чудакова во многом определился благодаря влиянию, с одной стороны, лучших идей русского академического литературоведения, а с другой — его учителя В. В. Виноградова и традиций русской формальной школы (ОПОЯЗ) в лице, главным образом, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума и В. Б. Шкловского; в его работах ощутимо также влияние идей М. М. Бахтина и его учеников. Говоря о влиянии, я имею в виду лишь выбор сферы и общее направление исследования: как ученый, молодой А. П. Чудаков с самого начала был оригинален, не отправлялся от уже написанного, от чужих книг и статей, не занимался возведением неких пристроек к трудам предшественников, но занял с самого начала собственную позицию, результат многолетней личной привязанности к литературе и читательского увлечения ею. Этой самостоятельности отнюдь не противоречит то, что видно на любой странице его книг, — осознание и учет всей критической литературы и переключки с наиболее плодотворными идеями прошлого и нового времени. (Помнится, он критиковал автора знаменитой книги о Гоголе за полное отсутствие ссылок: «Вот тут бы ему и сослаться на Василия Васильича».)

Динамическая конструкция литературного произведения, меняющееся соотношение разных его компонентов, идея единого «конструктивного принципа», пронизывающего разные аспекты повествования, генезис и эволюция жанра — эти отчасти знакомые по работам русских формалистов понятия находятся в центре первой книги А. П. «Поэтика Чехова» (1971). Молодой ученый дает им новые и разветвленные применения, основываясь на конкретном материале — творчестве Чехова. В первой части исследуется эволюция речевых форм писателя, более конкретно — соотношение различных «голосов», или «точек зрения», в общем балансе повествования на разных этапах его творчества. Здесь интересы А. П. Чудакова естественным образом смыкались с некоторыми из направлений тогдашнего советского структурализма (см., в частности, почти в тот же год вышедшую «Поэтику композиции» Б. А. Успенского на практически ту же тему),

но несвязанность формальным ригоризмом этой школы, равно как и редкостная научная пронизательность, позволили А. П. достигнуть небывалой глубины в формулировке своеобразия чеховского повествовательного метода. В те годы структурализм, бахтинизм и семиотика как-то отодвинули в тень все остальное, что делалось в литературоведении. Теперь лучшее из этого остального снова входит в фокус нашего внимания. И становится очевидно, что в этой относительной тени создавались замечательные работы, без которых не смогут обойтись будущие поколения филологов. К таким образцовым работам относятся и труды А. П. Чудакова о Чехове.

Общее направление эволюции Чехова представляется ученому как неуклонное движение в сторону «объективности», т. е. сокращению доли авторского и повествовательского вмешательства в пользу голосов (сознаний, точек зрения) различных персонажей, как реальных, так и гипотетических, «теневых». Важным достижением была демонстрация того, как «объективизация» реализуется на разных уровнях текста (повествование, пространственная организация, пейзаж, интерьер, портрет), становясь, таким образом, одним из структурных *инвариантов* Чехова и основой того, что уже современники отметили как своеобразный «чеховский стиль». Исследование истории «объективной манеры» *позднего* Чехова, равно как и выявление основного инварианта его повествования на *всех* этапах (каковым, по Чудакову, является «конкретное воспринимающее сознание», реализуемое в различных, меняющихся по ходу эволюции облициях) — по своей технической точности, глубине и богатству обнаруживающейся системы не имеет параллелей в чеховедении и остается непреходящим вкладом А. П. в науку о Чехове. Кстати говоря, это тот аспект творчества Чехова, который мало замечается западной славистикой, где, как видно, еще царит высказанный некогда Д. Мирским взгляд на чеховский язык как «бесхитростный», бесцветный, лишенный стилистических приемов. (Исключение — крупный чеховед Д. Рэйфилд, кратко излагающий чудаковскую концепцию в своей недавней книге «Понимание Чехова».)

Во второй части «Поэтики» Чудаков исследует принципы изображения предметного мира у Чехова. Мир вещей, роль его в организации художественных миров постепенно становятся одним из ведущих интересов ученого (именно об этом сделал он доклад в то памятное для меня вермонтское лето). Во второй части «Поэтики» он обращается к одной из главных чеховских «загадок», которую

критики пытались разрешить с самого начала известности писателя, — проблеме так называемых «случайных», «лишних» и «немотивированных» элементов (деталей описания, сценических реплик, сюжетных моментов). Над целью их задумывался и каждый внимательный читатель. Вывод автора о *«случайностной целостности»* чеховского мира — как вещного, так и психологического — и здесь оригинально разрабатывается и распространяется на разные аспекты структуры. Рассуждения автора на эту тему, увлекательно изложенные, явно вызывают на размышления и споры, и ученый, видимо, чувствуя это, вернулся к ней и углубил свои выводы в последующих работах. Эта часть книги оснащена цитацией громадного количества современных Чехову критических суждений (черта, усвоенная Чудаковым у В. В. Виноградова и Б. М. Эйхенбаума) с их разнообразными типологиями (как, например, деление отзывов на посмертные, ранние и поздние прижизненные, и анализ их сравнительной объясняющей силы).

Еще более обширные пласты современной Чехову, а ныне забытой литературной и критической продукции вскрыл А. П. в другой фундаментальной работе о Чехове — «Мир Чехова» (1986). Невзирая на прошедшие 15 лет и на очевидный научный рост автора, можно видеть в ней продолжение первой книги, выявляющее генезис и эволюцию чеховских жанров на фоне современной «малой» литературы — главным образом юмористической журналистики, каковую А. П. впервые в столь массовом масштабе вводит в научный и читательский обиход. Малая литература обладает целым рядом ценных качеств: например, она часто служит хранилищем («холодильником», говорит Чудаков) отживших форм и представляет в более резком, выпяченном виде штампы и шаблоны, которые в большой литературе труднее заметить. Этот бесценный материал приводится ученым не в чисто «антологических» целях, хотя, конечно, и значение ее как антологии, а также как обширного комментария к ПСС Чехова, действительно неопределимо. Эти современные отражения служат ученому для анализа ныне стершихся структурных черт и для широких, глубоко «фундированных» обобщений о происхождении и природе различных сторон чеховского стиля. В этой книге опять поражает богатство оригинальных идей, новых понятий (например, *«фамильярный антропоморфизм»* скетчей и «сенок» того времени) и обилие экскурсов в русскую сатиру и журналистику, от физиологического очерка начала века до Щедрина, Лейкина и Мясницкого. По смелости, глубине проникновения, эруди-

ции, кругозору, широте охвата эта работа кажется мне типологически родственной и стоящей на одном качественном уровне с давно уже классическими книгами Л. Я. Гинзбург или Н. Я. Берковского. Данные конкретные сопоставления, может быть, и субъективны, но то, что этот труд зрелого Чудакова войдет в классику чеховедения (а может быть, и в классику *tout court*), не вызывает у меня сомнения.

Наконец, последняя по порядку, но не по важности книга А. П. о Чехове — это маленькая биография писателя «Антон Павлович Чехов: книга для учащихся» (1987). Возможно, это одна из лучших литературных биографий на русском языке. Здесь нет теории, нет филологического аппарата, нет впрямую высказываемых идей и нет массы малоизвестного, впервые вводимого в обиход литературно-критического материала. Вернее же — все это есть, но находится не на виду, а спрятано, органически спаяно с чрезвычайно плотным биографическим и бытовым повествованием. Книга читается с интересом и без знания других работ Чудакова. Но если читатель с ними знаком и знает, насколько важное место занимает вещное окружение человека в «случайностно-целостном» мире чеховских произведений, то ему становится яснее, почему автор счел нужным подробно описывать экономику города Таганрога и цитировать товарные книги бакалейной лавки отца писателя (кстати, увлекательное чтение). Впрочем, литературного анализа в чистом виде биограф тоже отнюдь не чуждается. Но он выбирает наиболее бесспорные, наглядные образцы такого анализа и подает их в превосходно популяризованной форме. Для тех учащихся, в том числе и взрослых, которые, прочитав эту книжку, захотят ближе познакомиться с Чеховым, она будет отличной подготовкой к восприятию больших работ ученого.

Важным ответвлением научного творчества А. П. явились его комментарии к Чехову и к работам классиков отечественной филологии (Ю. Н. Тынянова, В. В. Виноградова), а также мемуарные записи о выдающихся деятелях культуры и ученых (беседы с В. Б. Шкловским, воспоминания об аспирантских годах под руководством академика Виноградова и др.). Филологическое комментирование, принятое им, не имеет прецедентов: в примечаниях реконструируются диалоги идей и концепций, в контексте которых создавались научные работы, разъясняется тогдашний смысл научных терминов, прослеживаются концептуальные «изоглоссы» — связи между теоретическими концептами, история и вариации идей; для выполнения этих задач А. П. и его коллегами привлекались все доступные источники,

включая архивные материалы. Мемуары о крупных деятелях старшего поколения неоченимы в сегодняшних условиях, когда постепенно изглаживается память об академических стандартах и требованиях, характере учености и стиле научной жизни первой четверти века.

В последние годы перед нами открылась еще одна грань чудаковского таланта — дар беллетриста, автора прозы, основанной на личных воспоминаниях, рисующей жизнь российской «глубинки» в незапамятные сороковые годы. Мемуары в наши дни пишут многие: для одних, равнодушных к прожитым временам и виденным местам и людям, они служат способом уловления публичного внимания, упражнением в литературном стиле и экспозицией произнесенных в течение жизни *bons mots*; другие, вспоминая школьные годы, почему-то сосредоточивают свое внимание на пятнах грязи и малоаппетитных подробностях детской сексуальности; иных, отдающих щедрую дань модной «поэтике отвратительного» и бывшему матерному, а ныне элитарному словарю, хочется отложить в сторону и забыть по прочтении первых же строк. Как небо от земли, далека от таких образцов мемуарная проза Чудакова. В ней — отложившаяся в крови и в памяти каждого из нас история прожитого времени и характер нашего народа; читая ее, мы яснее видим источники литературоведческих интересов автора, понимаем его интерес к духу прошедших времен и желание извлечь из Леты частицу массовой культуры прошлого, столь ярко выразившееся в книге «Мир Чехова» и в исследованиях «вещного мира».

Замечательный ученый и литератор, Александр Павлович Чудаков был скромным человеком, мало делал для продвижения собственной персоны, ценил науку и литературу больше себя самого, избегал публичности и всему предпочитал кабинетный исследовательский труд. Его яркие работы, представляющие собой редкое сочетание большого творческого таланта, ясности ума, методичности, научной добросовестности, обеспечили ему прочное место в отечественной науке о литературе. Благодаря им он останется добрым собеседником и другом нынешних и будущих филологов. Каждый из нас может пожелать для себя столь же завидной научной судьбы.

*(Тыняновский сборник. Десятые—Одиннадцатые—
Двенадцатые Тыняновские чтения, М., 2006)*

Александр Кушнер

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ЧУДАКОВА

Воистину из равнодушных уст
Я смерти слышал весть – и ранен ею
Был и не мог не выдать горьких чувств.
Предупредить нельзя же: побледнею .
И пошатнусь. А я и побледнел
И пошатнулся. Бедный собеседник
Мой был не рад, что новость не сумел
Скрыть от меня, нечаянный посредник
Меж мной и тем – не знаю, как назвать –
Зияньем, брешью, трещиною этот
Кошмар? Где друг мой, ум его и стать?
Что я мелю? Его научный метод,
Не метод, нет, улыбка и статьи
О Чехове? О Господи, другое
Хотел сказать я в страшном забытьи –
Слов не нашел. Притих. Махнул рукою.

10. 8 2015

А. Кушнер



Грамота, полученная А. Чудаковым в первых московских соревнованиях по зимнему плаванию (первое и второе места заняли профессиональные спортсмены — мастера спорта по нескольким видам)



Апрель-май 1969 г. В походе по р. Горовастиге. Таня и Вадик Паперные и семья Чудаковых



Река Протва. З. С. Паперный,
М. Чудакова, А. Чудаков



Сентябрь 1987 г. В Баденвайлере по приглашению бургомистра
(впервые выпущен за границу по «чеховским» делам...)



Декабрь 1987 г.
Пушкинский конгресс
в Амстердаме.
Справа налево —
В. Н. Турбин,
С. Г. Бочаров



Июнь 1988 г.
В Мюнхене
с В. Войновичем



Июль 1988 г.
В Кёльне
у Л. Копелева
и Р. Орловой



Август 1988 г. С мамой.
Строит дачу
в Истринском районе



С Сергеем Давыдовым



Декабрь 1988 г. Бонн,
Пушкинский конгресс.
С Е. Г. Эткиндо
и Н. Я. Эйдельманом



Декабрь 1989 г.
В доме дочери
с Ю. Н. Чумаковым
и С. Г. Бочаровым



1994 г. В Самаре на конференции. С В. Аксеновым, Е. Поповым, В. Козаком



Август 1994 г. На даче с коллегами. Справа — Б. Гаспаров и Р. Вортман



2000-е. На даче — К. Рогов, А. Осповат, А. Чудаков, А. Немзер



На даче. Слева от А. Чудакова — С. Гандлевский с женой Леной, справа — внучка Женя, М. Чудакова, Андрей Мосин



2 февраля 2005 г.
У дочери



Лето 2005 г. с внучкой Женей



22 сентября 2005 г. — на вечере Василия Аксенова;
последнее фото

Елена Ушакова (Елена Невзглядова)

Памяти А. П. Чудакова

Мне легче городов представить разрушенье,
Внезапный взрыв в час утренний, час ранний
И гибель тысячную при землетрясенье,
Чем смерть, исчезновение сознания

...И бегство из Москвы в Чебачинск дальний, ссылный,
И детство в нём внимательный филолог
Запомнил и достал из каждой крохи пыльной
Смысл драгоценный, острый, как осколок.

Вот Витька Сидоров, вот Боб с ножом в кармане...
Для самого себя, противясь лени,
Живёт не нужное, не прикладное знание.
Ложится мгла на старые ступени.

Он помнил все стихи и знал, как варят мыло,
Бытописание обернулось песнью,
Стихом, поэзией, и всё, что в жизни было,
Казалось праздником, а не болезнью.

Скажи, в какую тьму, в какую бездну канул
В обломках памяти такой богатой
Весь этот мир, когда он головой о камень,
Упав, ударился?.. Спросить бы надо...

Да некого, а Тот, кто дал инициалы
Одни и те же Чехову и другу-
Исследователю, с небес полоской алой
Глядит равно на наш вопрос и муку.

Эмма Полоцкая

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА ЧУДАКОВА

С. А. П. Чудаковым меня свела работа над Полным собранием сочинений и писем Чехова. Мы оба были зачислены в чеховскую группу ИМЛИ летом 1964 года.

Но еще прежде я получила от него первый печатный дар — его отчет о Таганрогских чтениях 1962 года. Он упомянул в нем и свой доклад о «Попрыгунье», рассматриваемой на двух уровнях: на нижнем, т. е. на повествовательном, и на более высоком, т. е. композиционном и идейно-тематическом, с выводом: «Такой путь открывает возможности объективного и полного описания» («Филологические науки», 1963, № 1). Еще начинающий чеховист, он, таким образом, уже определил особый, неповторимый научный подход к творчеству писателя. И этим начал участие в общей работе над изданием произведений Чехова — вплоть до 1983 года, когда вышел последний том собрания сочинений.

С первого заседания нашей группы запомнилась манера А. П. — высказывать свои мысли спокойно, с мягкой улыбкой, оставшейся на всю жизнь, но при этом с уверенностью, с откровенным выражением своего критического отношения к взглядам собеседника, если был к этому повод. С подлинной интеллигентностью. Ученик В. В. Виноградова, он с самого начала своего появления в Институте поражал широтой филологических знаний.

В первый год работы чеховской группы мы договорились в день рождения Чехова встречаться по очереди у каждого из нас дома и назвали эти встречи «Антоновым днем». Первая из них состоялась на квартире Чудаковых. А. П. и Мариэтта Омаровна были очень гостеприимны. С особой гордостью хозяин дома показал нам тогда большую картотеку, где для каждого произведения Чехова, начиная с «Агафьи», было отведено свое место. Эта картотека переезжала потом вместе с семьей во все другие квартиры.

Остальные наши «Антоновы дни» не запомнились, кроме одного, — во вновь открывшемся незадолго до этого «Славянском базаре» на Никольской улице, где когда-то Немирович-Данченко со Станиславским договорились о создании Художественного театра.

На заседаниях чеховской группы нередко возникали споры по разным вопросам комментирования и текстологии, в частности, по поводу купюр в письмах Чехова идеологического характера и так называемых нецензурных слов, которые были сделаны в предыдущем 20-томном собрании сочинений и писем и которые академическое начальство требовало и теперь заменить многоточием в угловых скобках. Позицию Н. И. Гитович, считавшей, что печатать надо всё, и представившей редколлегии полный список купюр в письмах, поддерживали тогда только А. П. Чудаков, Н. А. Роскина и Л. М. Долотова, обе, к сожалению, преждевременно ушедшие из жизни. Впрочем, подробного обсуждения купюр, предложенных Н. И. Гитович для восстановления, так и не было. Много было восстановлено в рабочем порядке, но не всё. Приведу один пример такого восстановления — отрывок из письма к И. Л. Леонтьеву-Щеглову от 20 декабря 1888 года, отсутствовавший во всех прежних собраниях писем: «Отчего вы так не любите говорить о Соболевом переулке. Я люблю тех, кто там бывает, хотя сам бываю там так же редко, как и Вы. Не надо брезговать жизнью, какова бы она ни была». Поскольку специально купюры не обсуждались, мне, например, не были известны те из них, что Чудаков получил от Н. И. Гитович и много позже опубликовал в «Литературном обозрении», посвященном «эротической традиции в русской литературе» (1991, № 11. С. 54—56) под заглавием «Неприличные слова» и облик классика. О купюрах в изданиях писем Чехова». Как видно из статьи, эти купюры были не просто остроумными, но и содержательными, а в некоторых случаях отражающими взгляды писателя, в том числе эстетические. По поводу исключения слов о Соболевом переулке, приведенных выше, А. П., в частности, иронически тогда писал: «Нужды нет, что в последнем случае писатель высказывает также свое творческое кредо».

Споры в чеховской группе возникали и по другим поводам. Никогда не забуду, как А. П. и Л. М. Долотова, самые квалифицированные участники нашей работы, помогли мне как комментатору при обсуждении первой фразы повести «Три года»: «Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна». У некоторых критиков еще при жизни Чехова сложилось впечатление, что вместо слова «темно» здесь должно было стоять «светло». Но контекст повести все-таки не позволил сделать эту замену и, благодаря поддержке Чудакова и Долотовой, авторский текст был сохранен.

Свое личное участие в издании сочинений Чехова Александр Павлович начал с подготовки рассказов 1883 года (для т. 2), сначала — совместно с заведующей группой Л. Д. Опульской. В сотрудничестве с ним же она закончила свое личное участие в работе над изданием — подготовку к печати рассказа «Невеста». Это была, пожалуй, самая ответственная текстологическая работа в издании, потому что Чехов не успел уничтожить, как он это делал чаще всего, рукописи последнего своего рассказа. Что касается 2-го тома Сочинений, то ясно: подробнейшие комментарии к ранним рассказам принадлежали А. П., а Л. Д. Опульская, опытейший текстолог, взяла на себя подготовку текстов. Она знала цену А. П. как исследователю и свое личное участие в публикациях делила с ним. Его комментариям предшествовала тщательная исследовательская работа. Так, задолго до подготовки «Попрыгуньи» для 8-го тома он, кроме доклада в Таганроге, написал об этом рассказе великолепную статью «Поэтика и прототипы», опубликованную в первом из наших чеховских сборников, вышедшем в 1974 году. («В творческой лаборатории Чехова»). Самые обстоятельные комментарии к зрелой чеховской прозе были подготовлены им к повестям «Дуэль» для т. 7 и «Палата № 6» для т. 8. К драматургии Чехова он прикоснулся лишь в т. 13 Сочинений, но существенно дополнил тогда комментарий к «Чайке». Однако нельзя сказать, что его мало интересовала драматургия. Начиная с книги «Поэтика Чехова», вышедшей, когда ему было только 34 года, в свои размышления о прозе писателя он включал и его пьесы, а в 1999 году опубликовал статью «Драматургия Чехова в кривом зеркале пародии» в «Чеховском сборнике». И его последняя чеховская статья «Вторая реплика» — тоже о драме.

Как комментатор А. П. блестяще проявил себя в работе над 18-м томом Сочинений. Во вступительной статье к примечаниям тома, очень обстоятельной, охвачен, в сущности, весь творческий путь писателя, начиная с гимназических сочинений и кончая редакторской работой последних лет. И составил перечень 27 произведений, по его мнению, ложно приписываемых Чехову.

Подготовка для этого тома шуточного рассказа «Сапоги всмятку» — моя единственная с ним совместная работа. И, как я вспоминаю, на мою долю выпала публикация текста рассказа, а А. П. составил подробный комментарий, исправив попутно традиционную ошибку в дате письма Чехова к М. В. Киселевой, сопровождающего текст рассказа, посвященного ее детям (см.: С. 18, 225). Блестящий

талант Чехова-юмориста и точный комментарий делают эту публикацию одной из жемчужин тома.

А. П. был и активным участником разделов «Dubia» и «Редактированное» в этом томе. Среди чужих текстов, исправленных Чеховым, впервые публиковалась «Ссора» А. К. Гольдебаева (А. Семенова). Отметив общую черту чеховской правки чужих рукописей — то, что он «не подчинял манеру редактируемого автора целиком своей собственной» (С. 18, 314), А. П. закончил раздел мыслью, что рассказ Гольдебаева благодаря правке Чехова стал его лучшим произведением.

Чувство справедливости, свойственное Александру Павловичу, сказалось на его отношении к Нине Ильиничне Гитович, вложившей неоценимый вклад в серию Писем собрания сочинений. Он высоко ценил ее самоотверженный труд, и когда она была практически отстранена от общения с ИМЛИ, навещал ее. Он по себе знал, что значит быть в немилости у так называемого начальства.

Жизнь расставила все по справедливости. Он не был допущен на первую конференцию в Баденвейлере в 1985 году, однако оказался самым упоминаемым специалистом по Чехову в вышедшей книге докладов на этой конференции, что легко заметить по алфавитному указателю имен. А спустя некоторое время стал личным гостем мэра г. Баденвейлера. И был приглашен на вторую конференцию в Баденвейлер в 1994 году, посвященную вопросам философии и религии в жизни и творчестве Чехова. Помню, как радостно его встречали чеховисты из разных стран.

В своем докладе «Человек поля», посвященном вопросу о религиозности Чехова, он опирался на одну из главных идей своей книги 1971 года «Поэтика Чехова»: «Догматично у Чехова только одно — осуждение догматичности. Никакая неподвижная, не допускающая коррективов идея не может быть истинной». Свой доклад он иллюстрировал изображением яйца в двух позициях: «Есть Бог» и «Бога нет». Вывод его совпадает с чеховским способом установления истины: «В сознании Чехова антиномически сосуществовали христианские представления о телеологии мироустройства и научный антителеологизм (в дарвинском смысле)». Доклад живо обсуждался, и «яйцо Чудакова», как шутили, оказалось веским доводом в пользу сложного представления Чехова о мире.

После завершения работы над ПССП мы встречались чаще всего в ИМЛИ или во время поездок на конференции. Помню его оживленно беседующим с крупными специалистами разных стран и молодежью,

еще до Баденвейлера, в Нью-Хейвене и во множестве «чеховских» городов — от украинских Сум до Иркутска, а особенно часто в Ялте и Таганроге. Называю лишь города, где бывала и я, остальных, где бывал он, было гораздо больше. Известным специалистом по Чехову он стал уже после первой книги, а присутствие на многих конференциях прибавляло ему уважения и вызывало личные симпатии. Незабываемо его присутствие на Мелиховской международной чеховской конференции 2000 года. Его доклад значился в начале программы пленарного заседания 29 января: «Исчерпывающая прижизненная критика как фундамент научного изучения Чехова» (этой теме он уделил много лет, составляя библиографию чеховской прижизненной критики).

На вечерние неформальные, как это стало называться, встречи в дни заседаний в Мелихове, впрочем, как и в других местах, мы собирались, отчасти чтобы обмениваться впечатлениями от докладов (эта конференция была «многосекционной», и мы сожалели о невозможности слушать все доклады), а отчасти чтобы повеселиться. Шутки, воспоминания, пение, в которое втягивались и скромные, обычно не раскрывавшие рта люди. Именно там открылась еще одна грань личности А. П., ученого мирового значения, — умение возглавить такие сборища, сочетать серьезное со смешным.

В недавнем письме из Южно-Сахалинска директор чеховского музея И. А. Цупенкова вспоминала встречу с А. П. в Японии в 2004 году, в частности, то, как он «увлекательно рассказывал разные литературные байки, читал стихи» и вообще вел себя «с некоторой долей гусарства, что ничуть его не портило».

Да, как никто, в разных городах, где он бывал на конференциях, он умел радовать других и сам находил радость, например, от природы. Особенно от моря. Вообще он любил воду, и когда-то они с семьей в компании с детьми З. С. Паперного любили плавать на байдарках. Пловцом он был отменным, не боявшимся никакой холодной воды.

А когда наступал день отъезда, он подводил «итог» конференции в стихотворной форме, смешной, но, в сущности, точно передающей смысл докладов. Если бы собрать эти стихи и опубликовать...

В день моего 75-летия А. П. прочитал в Отделе литературы «серебряного века» ИМЛИ свою «Оду». Это был длинный лист, скрученный наподобие старых рукописей в трубочку. Перечитывая теперь этот текст, я изумляюсь, как точно, по этапам, в нем отражен мой путь до этой даты — с младенческого купания в Каспийском море (вот уж

не помню, чтобы я рассказывала кому-нибудь о своем детстве) вплоть до завершения работы над собранием сочинений Чехова. Обыгрывая «Гренаду» Светлова, он писал от моего имени:

Я дочек покину,
Пойду воевать,
Гренадским крестьянам
Чтоб Чехова дать.

.....

И сущий пустяк:
20 лет не прошло,
Как 30 томов
К нам на полку легло.
Небесной лазурью
Синеют тома
И, кажется, шепчут:
Больше не на...

Его дарственные надписи на книгах могли быть скромными — как, например, на сборнике произведений Чехова в серии «Школьная библиотека» — «...от неопита в этой области». Но всегда написанными с чувством собственного достоинства. Вторая его монография о Чехове — «Мир Чехова. Возникновение и утверждение» (1986) — была вручена мне с надписью, напоминавшей о его переживаниях 1971 года, т. е. в связи с «Поэтикой Чехова»:

Как только вышла в свет ПЧ,
Сочли: не в том она ключе.
Хоть я не стал моложе,
С ключом, боюсь, все то же.
Здесь нет про мрачные года
(Которых не было тогда),
И тоже нет про реализм,
Футлярность мелочей,
Конфликты, разный романтизм...
Примите все ж труд сей.

А поднося мне книгу «Слово — вещь — мир» с подзаголовком «От Пушкина до Толстого» (1992), он сопровождал подарок таким четверостишием:

Прошло уже немного лет,
Как я не только чеховед,
И чтобы это подтвердить,
Решаюсь это подарить.

В сущности, он всегда был не только чеховедом. В этой книге отразились его давние интересы. С одной стороны, к русской литературе вообще (статьи о пушкинской прозе, о Гоголе и Некрасове, Тургеневе, Достоевском, Толстом — и все-таки о Чехове, о единстве его видения). А с другой — его еще более давний интерес к филологической науке в собственном смысле — об А. А. Потебне, В. Б. Шкловском, В. В. Виноградове.

А. П. умел уважать чужой труд. Когда вышла моя первая книга о Чехове в 1979 году, он высказал свое довольно высокое мнение, благодаря ряду глав этой книги («А. П. Чехов: Движение художественной мысли». М., 1979) был посвящен теме, в целом ему близкой — о творческом процессе писателя. Но, решая эту тему по-своему, он умел высказаться с уважением и к другой позиции. Не забуду, как он позвонил мне, получив книгу о «Вишневом саде». Считаю своим долгом сказать, что ему в ней было близко и интересно (первая часть книги, особенно разделы о русской литературе), он признался, что его мало интересуют последующие главы — о зарубежной литературе и о театре. Меня это, признаюсь, удивило, но не ранило. Это точно. Недаром французы говорят: тон делает музыку. Сказались в его словах свойственные ему честность, прямота и — доброжелательность. И если он основную идею чьей-нибудь работы не принимал, как, например, в рецензируемой им статье Б. Парамонова о Чехове (в книге «Конец стиля», М., 1997), то обычно излагал и свою. В данном случае, ссылаясь на «нормальный механизм великого консерватизма культуры» (Чеховский вестник, 2000, № 6), ратовал за необходимость сопротивляться неологизмам массовой культуры (вроде «инженера» вместо «инженеры» и т. д.). Но и в этой рецензии он обратил внимание на ряд точных наблюдений автора статьи (например, о том, что провинция — «резервуар» художественного творчества Чехова).

Наконец, несколько слов об удивительном словаре А. П., единственном в своем роде в нашей литературной науке. Он не злоупотреблял иностранными словами и терминами, что так характерно для многих современных авторов. Но он смело и кстати употреблял слова, которых нельзя найти ни у В. Даля, ни в других толковых словарях.

В его текстах оказывается к месту и «построяемый Чеховым мир», и то, что имя В. В. Виноградова в истории поэтики «необойдимо». А в другой фразе — о том, что наша «отечественная драма может соперничать с завозной», последнее слово близко только к варианту Даля — «завозный». Нарушая, можно сказать, законы грамматики (глаголы «построить» и «обойти», к примеру, не должны иметь формы причастия настоящего времени), А. П. придавал своей речи новизну. Впервые в его книге 1971 года слова «случайность» и «случайный» приняли необычную форму «случайность» и «случайностный», что в наше время понемногу входит в научное словоупотребление.

Если собрать воедино подобные отклонения от нашего обычного словаря в работах А. П., то можно отнести его к числу открывателей новых слов. Слов, которые имеют больше оснований для вхождения в разговорный язык, чем названные им в конце его рецензии на книгу Б. Парамонова. Думая об этом, я вспоминаю наши планы о создании чеховского словаря в годы работы над собранием его сочинений. Увы, не сбылось.

Стопка книг А. П. у меня на полке, как и у многих наших товарищей, завершается его биографическим романом, названным строкой из Блока. Обращенный ко времени молодости деда героя романа, он стал памятником всей его жизни и личности. Памятником, который воздвиг ему внук. И как же соответствует характеру А. П. его последнее выступление, текст которого опубликован в 40-й день его кончины под заголовком: «Величина гонорара не влияет на творчество...» (Газета, 2005, 11—13 нояб.).

Невозможно закончить эти строки чеховским «Прощай, милый Саша!» Потому что Саша Чудаков и его книги — всегда с нами.

(Чеховиана. Из века XX в XXI: итоги и ожидания, М., 2007)

Ирма Видуэцкая

«И ВСЁ Ж ЗА СОВЕСТЬ, НЕ ЗА СТРАХ»

Саша пришел к нам в группу на четвертом курсе после академического отпуска. Мариэтта, с которой они уже были женаты, подвела его ко мне в коридоре и попросила опекать его и не давать в обиду. Я была старостой группы, а Мариэтту знала по семинару

Н. И. Либана. Просьба ее выглядела достаточно комично: кто бы мог обидеть огромного (рост 188 см) и независимого в своем поведении Сашу?! Он эту независимость вскоре и показал, когда активно игнорировал педагогическую практику. Он понимал, что она ему не нужна, и не хотел тратить время понапрасну.

Так сложилась моя научная судьба, что не только из группы, но и со всего курса я после окончания университета ближе всего сотрудничала с Сашей. В 1962 году я поступила в аспирантуру ИМЛИ. Хотела заниматься Лесковым, но В. Р. Щербина сказал мне: «Нам Лесков не нужен, нам нужен Чехов».

В институте начиналась подготовка 30-томного академического собрания сочинений Чехова. Саша в это время был аспирантом МГУ и писал диссертацию по Чехову у В. В. Виноградова. Статья аспирантом академика Виноградова была большая честь. Это означало признание особых научных способностей ученика, и Саша вскоре оправдал ожидания, написав интересную, новаторскую работу, которая впоследствии была напечатана отдельной книгой и прочно вошла в обиход чеховедения. Саша рассказывал, что первую консультацию Виноградов назначил ему на 7 часов. Он и пришел к В. В. в 7 часов вечера. Оказалось, что надо было прийти в 7 часов утра. Академик вставал в пять, и в семь часов у него уже начинался рабочий день.

Сашу пригласили в Чеховскую группу ИМЛИ как специалиста по Чехову, и он, оставив аспирантуру, стал сотрудником отдела русской классической литературы ИМЛИ. Научная судьба Саши в институте поначалу складывалась очень удачно. После выхода отдельной книгой кандидатской диссертации его идеи стали известны широкому кругу ученых, и уже ни одно исследование о Чехове не могло их игнорировать: одни с ними соглашались, другие пытались их опровергнуть. Но когда Саша представил в Отдел докторскую диссертацию, К. Н. Ломунов в течение восьми месяцев не ставил ее на обсуждение. В результате Саша защищал докторскую диссертацию в МГУ.

Саша был моим оппонентом на защите докторской диссертации в 1994 году. Для меня это было большой удачей, потому что его выступления всегда были необычайно интересны, насыщены новыми идеями, будили мысль и воспринимались аудиторией с неослабевающим вниманием.

Последний раз я видела Сашу на каком-то заседании в Отделе русской классики. Мы оказались рядом, и он похвалил комментарий к 30-томному собранию сочинений Лескова, над которым работает

независимая группа ученых из Москвы, Петербурга и других городов. Я понимала, что его похвала дорогого стоит, и сказала: «Вот ты и написал бы с Мариэттой рецензию на вышедшие тома». Но он замазал руками: «Что ты, что ты! Это такой огромный труд!» Да я и сама знаю, что написание серьезной рецензии — труд огромный и неблагодарный. Зная о Сашиной загруженности, я не стала обижаться.

На одной из книг, подаренных мне Сашей — «Мир Чехова. Возникновение и утверждение» (М., «Советский писатель», 1986), — он сделал такую дарственную надпись:

Дорогой Ирме Видуэцкой в память о юности.

«Начало жизни помню я»:

Я плавал, ты плясала.

Студентов легкая семья...

Куда всех разбросало?

Вся жизнь в недружеских стенах...

И все ж за совесть, не за страх.

А. Чудаков

5.2.87 г.

(Время, оставшееся с нами, М., 2006)

Андрей Немзер

ЧЕЛОВЕК СЛОВА

К семидесятилетию Александра Чудакова

Филологи редко становятся «культовыми» фигурами, и, наверно, это правильно, ибо их дело не автопрезентация, но служение другому, осмысление и истолкование писательского слова, личности, судьбы. Александр Павлович Чудаков (2 февраля 1938 — 3 октября 2005) не был харизматичным властителем интеллигентских дум и в пору позднесоветского «гуманитарного бума», когда — в силу многих весьма противоречивых и к разным следствиям ведущих социокультурных обстоятельств — появление серьезной (но зачастую, увы, лишь имитирующей серьезность) историко-литературной работы, научная конференция, посвященная «узкой» проблеме, публичная лекция могли становиться значимыми событиями. Он не снискал

той славы, что совершенно заслуженно обрели тогда С. С. Аверинцев или Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов или Н. Я. Эйдельман, а позднее М. Л. Гаспаров. Профессиональное сообщество знало, что Чудаков — автор неотменимых — одновременно фундаментальных и перво-проходческих — трудов о Чехове, ярких статей о других русских классиках (Пушкине, Гоголе, Достоевском, Некрасове, Толстом), блестящий публикатор и комментатор филологической классики (Тынянов, Виноградов), и высоко эти работы ценило. Более широкая (даже гуманитарно ориентированная) публика едва ли задерживала на них внимание. Скрыто живущая во всех научных сочинениях Чудакова мощная и свободная этическая и общественно-историческая мысль, их *человеческое* содержание не были должным образом расслышаны, а потому и удивительная личность автора была явью преимущественно для близких, друзей, не слишком многих учеников.

Положение это должно было измениться с появлением «мемуарного» романа «Ложится мгла на старые ступени» — книги, подводящей итоги русского XX века, не только фактурой, но всем строем своим объясняющей, *что* нами за десятилетия большевистского ига утрачено и почему мы — вопреки диктату «логики» и «фактографии» — все еще вправе надеяться на воскресение свободной России. Оно и изменилось — для тех, кто роман прочел. Другое дело, что в начале нового тысячелетия круг читателей зримо скукожился, недоверие к ответственному и полновесному — чуждому цинизма, оговорочности, суетливого приспособления к невесть кем навязанному «формату» — слову вошло в обычай, а у издателей и собратьев по литераторскому цеху не хватило ума, воли и сил (может, и желания) для того, чтобы приобщить к роману Чудакова его потенциальную аудиторию. За общие близорукость, лень и неблагодарность (исключения были, но погоды не сделали) нам еще придется платить, но сейчас речь не о том — сам Чудаков свой подвиг свершил. И это был именно *его* — то есть никому иному непосильный — подвиг.

Роман Чудакова больше, чем история одной семьи, которой выпало жить в страшное время. Это книга о неразрывной связи прошлого и будущего, трудно сберегаемого предания (духовного и «материального» опыта многих поколений) и становления свободной и ответственной личности. Рефлектирующий, ошибающийся, постоянно и многообразно соблазняемый «новой жизнью», но выдержавший испытания рассказчик (внук) здесь не менее важен, чем внутренне неколебимый, возросший в ином мире, изначально приобщенный к

основополагающим ценностным началам главный герой повествования — дед. Все, о чем с такой сердечной теплотой и завораживающей убедительностью поведано в романе (зигзаги людских судеб, этюды о промыслах и ремеслах, пейзажные и исторические «отступления», трагедии, мелодрамы, детективы, легенды и анекдоты, ученые и педагогические экскурсии, заходы в будущее и лирические признания), — вся эта цельность бытия обретает особый смысл в финале, когда рассказчик-внук обращается к уже погребенному деду.

Здесь лежит тот, кого он помнит с тех пор, как помнит себя, у кого он, слушая его рассказы, часами сидел на коленях, кто учил читать, копать, пилить, видеть растение, облако, слышать птицу и слово; любой день детства невоспоминаем без него. И без него я был бы не я. Почему я, хотя думал так всегда, никогда это ему не сказал? Казалось глупым произнести «Благодарю тебя за то, что...» Но гораздо глупее было не произносить ничего. Зачем я спорил с ним, когда уже понимал все? Из ложного чувства самостоятельности? Чтобы в чем-то убедить себя? Как, наверно, огорчился дед, что *его* внук поддался советскому вранью. Дед, я не поддался! Ты слышишь меня? Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был прав во всем!

Это не декларация, а смысловой итог неторного пути рассказчика. И стоящего за ним автора. Весь роман, заставляющий нас ощутить величие и красоту бытия и вспомнить о божественном происхождении человека, строится и держится правотой деда. Правотой, которая не кончилась и не померкла после его ухода, ибо сохранилась в памяти внука, ставшей *словом*. Чудаков сделал своего романного двойника не филологом, а историком, но избавить его от филологизма, то есть от любви к слову, захваченности словом и веры в его могущество не захотел. Язвительный оппонент рассказчика замечает: «Я не видел человека, который бы так по уши был погружен в слово. Ты и историю представляешь как словесный поток». И слышит в ответ: «— А есть иная?». Только слово может одолеть тленность, что властвует в мире природном и мире рукотворном, только слово может противостоять смерти и забвению, тому ужасу, которые испытывает рассказчик, когда его вновь и вновь настигают вести об уходе тех, кто еще вчера был жив...

Чудаков не написал бы заветного романа без хронологически предварявших его филологических трудов, но и его размышления о Чехо-

ве и Пушкине, «предметном мире» и художественной «случайности», литературной эволюции и языке науки не обрели бы своей глубины и весомости без личной верности ученого и литератора правоте деда. Той верности, что и сделала Александра Павловича человеком слова. Во всех смыслах.

Р. С. Роман «Ложится мгла на старые ступени» будет вновь выпущен в свет издательством «Время». Книга воспоминаний А. П. Чудакова (очерки о С. М. Бонди, В. В. Виноградове, В. Б. Шкловском и других классиках филологической науки) готовится в «Новом издательстве».

(Время новостей, 1.02.2008)

Андрей НЕМЗЕР

КАК СОХРАНИЛАСЬ РОССИЯ

Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. М., Издательский дом «ОЛМА-ПРЕСС». Серия «Оригинал. Литература категории А». 511 с.

Первая глава романа Александра Чудакова называется «Армреслинг в Чебачинске» и открывается простым предложением, констатирующим простой факт — «Дед был очень силен». Внук, давно перебравшийся в Москву, приезжает в городок на границе Сибири и Казахстана, где прошли его детство и отрочество, где еще живут дед, бабка, их дети и внуки. Деду за девяносто, «но и теперь... когда он с трудом потянулся с постели взять стакан с тумбочки, под закатанный рукав нижней рубашки знакомо покатился круглый шар». Тот самый шар-мускул, что оживляет в памяти рассказчика состязание, «которое теперь именуют армреслингом, а тогда не называли никак». И тот же шар появляется в последней главе, когда опоздавший на дедовы похороны внук слушает рассказ теток о том, как незадолго до смерти дед просил прощения у жены:

— Я обещал тебе счастье, покой, довольство, а дал бедность, беспокойство, изнурительный труд. Я думал, что могу предложить

тебе хорошую жизнь, потому что был молод, потому что многое умел, потому что был силен.

— В этом месте, — вмешалась в рассказ Тамара, — он выпростал из-под одеяла руку и согнул в локте.

И живо представил Антон, как покатился под засученный рукав крутлый шар, и впервые заплакал.

Дед был очень силен — о его силе и написана книга с подзаголовком «роман-идиллия». Какая тут «идиллия», если время действия — военные и первые послевоенные годы, а место — городок, набитый ссыльнопоселенцами. (Семья рассказчика — исключение. Они сами вовремя выбрали захолустье. Потому и спаслись.) И все же авторское определение единственно точно. И не только потому, что Чебачинск расположен в счастливой местности, здешние озера краше прославленной Риццы, а такого скопления истинных интеллигентов «на единицу площади» рассказчику не доведется больше увидеть никогда и нигде. И тем более не потому, что детство — у всех «счастливое». Очень даже не у всех! «Идиллию» создавала семья, взращенная польской дворянкой, выпускницей Института благородных девиц, и русским поповичем, окончившим семинарию, но избравшим мирскую стезю — бабкой и дедом рассказчика. А если добираться до сути, «идиллию», настоящую Россию, сохранил дед. В большевистской мясорубке, среди нищеты, раздора и общего одичания. Сохранил, потому что был очень силен. И столь же душевно тонок.

В нашем сознании живут навязчивые, но глубоко лживые анти-тезы. Так сила, хозяйственная крепость, мастеровитость привычно противопоставляются интеллектуальному и духовному богатству (интеллигент должен быть хлипким), убежденная приверженность идеалам — толерантности (интеллигент должен быть плюралистом), вера — разуму (интеллигент должен быть атеистом, в крайнем случае — агностиком). Вся жизнь деда, с его глубокой верой и опытом агронома, презрением к бандитской власти и любовью к физическому труду, верностью обычаю и уважением к чужим мыслям и чувствам, была опровержением этих пошлых «установлений». Об этом и написана книга Чудакова, книга о том, как в СССР сохранялась Россия. А значит и о том, почему в нашу страну смогли вернуться и вера, и чувство истории, и осознание неповторимой ценности всякого человека, и свобода. С трудом и страшными потерями, по кривым дорогам, но смогли. Как и на какое время? А это, извините, вопрос не к деду,

а к нам. К сверстникам внука-рассказчика и теперь, пожалуй, в большей мере к тем, кто годится уже ему в сыновья и внуки. И обдумывая этот вопрос (а жизнь — хотим мы того или не хотим — ставит его ежедневно), должно слышать душой щемящую мелодию «Вечернего звона», не раз помянутую на страницах книги Чудакова. Потому как что-то мы потеряли безвозвратно. Дед знал и об этом.

Роман Чудакова — это книга о красоте и естественности живой жизни. Той, что была искорежена людьми, равно презирающими отдельного человека (все герои Чудакова — неповторимые личности, но их-то и стремилась превратить в «материал» или «прах» советская система), культуру (которую стремятся «осоветить» официальные институты) и самую природу. Не случайно одно из самых счастливых мгновений в жизни рассказчика то, когда отец показывает ему Вернадского, создателя теории «ноосферы». И так же не случайно, что никого в жизни рассказчик (следуя правилам своего деда) так не ненавидел, как Лысенко, патентованного губителя и природы, и творческой мысли, и ее носителей.

Построенная на мемуарной основе, выразительно и настойчиво являющая читателю и многоцветный природный мир и мир не менее богатый, мир «предметный» (рукотворный), книга Чудакова настойчиво литературна. Это не удивительно: противопоставление «жизни» и «искусства» так же пошло, как и другие «удобные» антиномии. Потому, читая роман, естественно вспоминаешь то Аксакова, то Тургенева, то Лескова. Но всего отчетливее звучат в книге две мелодии — чеховская и некрасовская.

Чехов — любимый писатель деда рассказчика и главный объект научных работ автора (именно они обеспечили литературоведу А. П. Чудакову всемирную известность) — важен своим уважением к каждой личности, тем представлением о неисчерпаемой сложности всякого человека, что объективно противостоит унифицирующему пафосу XX столетия. Но не только. Индивидуальность для Чехова неотделима от творческого начала (не важно идет ли речь о враче, певчем, мастеровом, художнике или собаке) и почтения к органической жизни, того самого «экологизма», что тонко и убедительно интерпретирован в чеховедческих работах Чудакова. Отсюда «экологизм» (или, если угодно, «ноосферическая» установка) «семейной хроники».

В некрасовской тональности выдержаны мотивы свободного крестьянского труда. Но поскольку свободы в сталинском СССР

было еще меньше, чем в дореформенной (не говоря уж о пореформенной) России, на память приходят не только поэмы «Дедушка» (тарбагатайский эпизод) или «Мороз, Красный нос», но и «Железная дорога» или «Надрывается сердце от муки...». Умирая, дед шепчет строчку из «Орины, матери солдатской» — *Немота перед кончиною подобает христианину*. Муки деда не легче тех, что выпали Иванушке. Он тоже был очень силен, но не вынес николаевской солдатчины. Дед вынес больше. Но по-настоящему защитить свою семью и свою страну от нечеловеческого зла он не мог. Был силен, но — вопреки детским представлениям рассказчика — вовсе не всемогущ.

— Они отобрали сад, дом, отца, братьев. Бога они отнять не смогли, ибо царство Божие внутри нас. Но они отняли Россию. И в мои последние дни нет у меня к ним христианского чувства. Неизбывный грех. Не могу в душе моей найти им прощения.

Над могилой деда рассказчик размышляет: «Зачем я спорил с ним, когда уже понимал все. (А о том, как рассказчик уклонялся от этого понимания, как соблазнялся социалистической утопией, говорится в «московской» главе, вроде бы и лишней, «выпадающей» из главного сюжета. Ох, нужная это глава. — А. Н.) Из ложного чувства самостоятельности? Чтобы в чем-то убедить себя? Как, наверно, огорчился дед, что *его* внук поддался советскому вранью. Дед, я не поддаюсь! Ты слышишь меня? Я ненавижу, я люблю то же, что и ты. Ты был прав во всем».

На протяжении романа автор то и дело переходит с перволичного повествования на рассказ об Антоне (значимо чеховское имя). Чудаков не хочет, чтобы читатели увидели в книге *лишь* историю его семьи, ибо верит и знает: семья не была единственной. Но в наиболее пронзительных и духовно значимых пунктах «Антон» исчезает — здесь нужно прямое «я» и обращение не к деду-герою, но к деду единственному. Тому, что был прав во всем. И передал свою правду внуку. И опять не обойдешься без Некрасова — не модного, не толерантного, вроде бы идеологизированного и революционного. На деле выговорившего не «правду момента» (тут оговорок с три короба будет), но правду глубинную, кровоточащую, человеческую — *То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть*.

(Отечественные записки, 2002, № 1)

Сергей Боровиков

МОЛНИЕВИДНЫЙ БРЫЗНЕТ ЛУЧ

В 1967 году я был студентом-третьекурсником саратовского филфака. Читал, естественно, «Новый мир». Помню, как одолевал наделавшие много шума статьи В. Лакшина «Мудрецы Островского на сцене и в жизни», о трилогии в театре «Современник». Аллюзии на современность, конечно, понял, но все равно было скучно. Любимыми в отделе критики были фельетоны Наталии Ильиной и др. Очень не хотелось быть серьезным, хотелось смеяться и высмеивать, быть таким, как молодой Чуковский или та же Ильина, — выпускать на волю едкие наблюдения над прочитанным текстом. Я любил чужие пародии и уже делал успехи в пародировании. Ведь так обрыдло все то, чем нас кормили со школы, и так хотелось развеять все навязанное без остатка. Чем? — конечно смехом! Но как ни глуп был я тогда, все же не мог не чувствовать растущей пропасти между возвышающим чувством полноты и значительности жизни, рождающемся при чтении исполненных в том числе и юмора повестей Белкина, комедий Островского, «Обломова», и принижающим шквалом подмигиваний. И вот читаю:

Новая повесть и стили, связанные с ней, возникли в конце пятидесятих годов. Впервые за многие годы резко изменилась общественная обстановка. Было прямо сказано о ложности многих прежних догм.

Эта ложность ощущалась многими в первую очередь как ложность прежней знаковой системы: она-то и воспринималась как главный враг. Борьба с фразеологией предшествующего времени заняла в умах еда ли не первенствующее место.

Возникла литература, тесно связанная с этим явлением — отрицанием прежней фразеологии. Литературные герои отрицали любые высокие слова. Это означало: они отрицают ложь, подчас стоявшую за этими словами. Простое, «бытовое» слово в поэзии и прозе стало синонимом правды, истинного, искреннего чувства.

Прошло время. Стало очевидно, что отбросить знак еще не значит отбросить означаемое. Но приверженцы «нового» стиля еще не замечают, что юмористическое, ироническое, пародийное слово, так широко проникшее в литературу, лишь по традиции

выступает сейчас в качестве сигнала чего-то нового. За ним давно уже стоят свои каноны, своя инертность мысли и стиля. Оно уже само превратилось только в знак истины, который читателю предлагается по старой памяти принять за самое истину...

Иронически-пародийная манера вести рассказ в последние годы все больше теснит манеру «положительную». Она становится нормой. Выделяться стали, напротив, случаи ровного повествовательного стиля, а оживленный, игривый стиль, интенсивно окрашенный авторским чувством юмора, стал основным «наполнителем» любого повествования...

Возникает не редкая в истории литературы ситуация — обретая некоторые новые качества, литературная школа задерживается на «переходном этапе», увлекшись эксплуатацией своих завоеваний, не чувствуя исчерпанности раз найденных путей.

Но не только смыслом поразила (если не потрясла) меня напечатанная в 7-м номере за 1967 года статья А. Чудакова и М. Чудаковой «Современная повесть и юмор», но и тем, как была она написана. В ней не было и следа той ненавистной мне «научности», которая гнала меня прочь из университетской аудитории куда-нибудь поближе к природе и пиву. «Научности», которая объединилась для меня ненавистным словом «дискурс». Но не было в тексте и следа той разрушительной всеобъемлющей иронии с ужимками, которые спустя годы превратятся в уховертку под названием постмодернизм.

К тому времени я полагал, что М. Чудакова — сотрудник отдела прозы «Нового мира», ибо, нагло посылая туда свои прозаические упражнения, получал вдумчивые, уважительные, подробные отзывы за ее подписью.

Шло время, и в силу все возраставшего интереса к А. Чехову и М. Булгакову, я начинал угадывать место, и значение, и различие авторов статьи. К этому же периоду (70-е годы, служба в редакции журнала «Волга») относится и поразившая меня реакция на статью Чудаковых профессора Саратовского пединститута Таисии Наполовой. Неистовые взгляды любимой ученицы Валерия Друзина были мне известны, за них я даже прозвал ее Напалмовой, и все же был поражен, когда по какому-то поводу упомянул статью, и Таисия Тарасовна прямо-таки зашипела: «Это, это все чужое, вражеское!». Думаю, что не столько сама статья стала причиной шипения, сколько ее авторы. Такую же ее реакцию я уже наблюдал, когда высоко отозвался

о моем филфаковском учителе, впоследствии затравленной коллегами по филфаку СГУ Гере Владимировне Макаровской.

А сигналы, посылаемые мне великим филологом, которого я никогда не видел, становились все значительнее. Я прочитал «Поэтику Чехова», а выкупая в магазине подписных изданий тома голубого полного Чехова, первым делом заглядывал в конец: есть среди авторов примечаний А. П. Чудаков?

Но более всего был покорен небольшой статьей Александра Павловича «Вещь в мире Гоголя» в сборнике «Гоголь: история и современность: к 175-летию со дня рождения» (М.: Сов. Россия, 1985).

Странный, надо сказать, был сборник, где нашлось место и литературным генералам С. Михалкову и В. Щербине, и модному тогда П. Палиевскому, и старательно подражавшему ему В. Сахарову, и текстам, авторам которых за одни только названия статей «Родник русского реализма» и «Порыв к высокому» следовало бы запретить писать. По крайней мере о Гоголе.

Но была там, среди других важных текстов (С. Бочаров, Ю. Манн, М. Чудакова, В. Биbihин, Р. Гальцева, И. Роднянская), и статья А. Чудакова. Тогда я не знал, что «вещность» русской литературы была его излюбленной темой. Меня не просто поразил текст — он влился в меня. Я почувствовал себя соавтором Чудакова! Ведь знал уже, как важны в русской прозе, выражаясь словами героя И. Гончарова, «материальные приметы нематериальных отношений», и говорил и писал кое-что на этот счет, и не раз получал отпор от возвышенных коллег за внимание к посуде и платью, меню и мебели в классических произведениях. Статья «Вещь в мире Гоголя» стала для меня посланием, адресованным мне лично.

А потом, потом был роман «Ложится мгла на старые ступени» и две мимолетные встречи с его автором.

Первая — 7 декабря 2001 года на Буковском премиальном ужине, если не ошибаюсь, в ресторане Дома архитектора. После вручения премии Людмиле Улицкой, в адрес которой подвыпивший Андрей Немзер выкрикивал разные непочтительности, в зале стало, по выражению Сергея Максудова, «сумбурновато». Стали бродить от столиков и между. Я беседовал с Мариэттой Омаровой, когда увидел, что моя жена подошла к Александру Павловичу, жарко что-то ему втолковывая. Я знал, что она объясняется в любви к роману Александра Павловича, вошедшему в шорт-лист, но не получившему премии. Она прочитала его в «Знамени» прежде меня, и пока

я не прочитал, все уши прожужжала. Замечу, что жена не литератор, но доктор. Спустя какое-то время Александр Павлович подошел ко мне и, склонившись (он был очень высок) спросил: «Как зовут Вашу жену?» И вскоре вручил ей отдельное издание романа с дарственной надписью.

Вторая встреча была в аналогичной обстановке: на вручении Премии И. П. Белкина 18 марта 2002 года в застекленном «Атриуме» Пушкинского музея, который один из членов жюри Сергей Юрский тогда удачно уподобил залу вокзала. От того вечера у меня сохранилась запись, которая заканчивается так: «Потолстевший Слаповский. Они все с А. П. Чудаковым к Дмитриеву, часов около 11. Я благодарно в гостиницу».

Конечно, благоразумие вещь постыдная, и в оправдание себе скажу, что был я тогда безработным, денег на ночное такси не имел, а главное, чувствовал себя неважно, продолжением чего стал обширнейший инфаркт, накрывший меня летом того же года.

Присуждение роману Александра Павловича премии «Русского Букера десятилетия» стало общим праздником, для меня вдвойне: как член одного из жюри прошедшего десятилетия я голосовал, естественно, за него.

А книгу, подаренную жене, у нас вскоре украли, и следы вора так и не отыскались.

Но недавно Мариэтта Омаровна подарила нам новое, «лауреатское», издание «Ложится мгла на старые ступени» с приложением отрывков из дневников Александра Павловича.

Никакое, самое блестящее послесловие не дало бы такого эффекта, как эти отрывки. Дневники показывают, что «Ложится мгла на старые ступени» не мемуар, как полагали и полагают некоторые, а роман. Автор дневников и автор романа совсем не одно и то же. Роман писал настоящий художник для настоящего читателя, а в дневники записывал прекрасный, наблюдательный, талантливый человек, крупный ученый, но вовсе не с художественной целью. Записи интересны и сами по себе, для понимания личности А. П., и для характеристики нравов эпохи и т. д. — чего уже много. И все же особенно поразителен стереоскопический эффект соседства двух текстов: русский талант — писатель, ученый, человек.

Юрий Попов

НАША ЮНОСТЬ

На первом курсе филологического факультета МГУ мы оказались с Сашей в одной группе и вскоре подружились. Саша был очень общительным человеком, открытым всем впечатлениям новой для него московской жизни. Я бывал у него в общежитии на Стромынке, а он у меня дома, мы вместе ходили в студенческие походы (одним из организаторов их был ставший потом известным лингвистом Игорь Мельчук). Это была идеальная юношеская дружба, полная наивных мечтаний об обновлении мира, противостоянии официозу (наши первые университетские годы пришлись на время т. н. оттепели, разоблачений XX съезда партии). Я с упоением слушал его захватывающие рассказы о жизни в Щучинске, переполненном ссыльными самого разного звания и чина (теперь все это можно прочитать в его романе).

Его знакомство с московскими музеями и художественной жизнью столицы перешло в страстное желание стать искусствоведам и перейти на соответствующее отделение исторического факультета МГУ. Вместе с ним мы ходили к моей старшей двоюродной сестре (невестке С. И. Ожегова), когда-то окончившей это отделение (тогда оно было еще на филологическом факультете) и обсуждали все перипетии этой проблемы. Саша серьезно готовился к предстоящему собеседованию. Однажды, будучи в Пушкинском музее изобразительных искусств, услышав, как одна из посетительниц рассказывает своему сыну о мифологических сюжетах на картинах Рембрандта, Саша вступил в разговор и стал объяснять, что Рембрандт каждый раз истолковывает мифы по-своему. Собеседование на историческом факультете состоялось весной, в конце первого курса (кажется, в переговорах участвовал и декан факультета Арциховский), и Сашу готовы были принять в искусствоведы — но снова на первый курс, и тогда, как выяснилось, он на целый год остался бы без стипендии. Это решало его судьбу — без стипендии он просто не смог бы жить в Москве (по той же причине герой его романа не сможет перейти с исторического факультета на филологический).

Саше постоянно приходилось подрабатывать, в числе прочего участвовать в экспериментах, проводимых в Институте психоло-

гии, который находился тогда возле университета. И он пересказал мне услышанную им поразительную историю о выступлении Вольфа Мессинга на сессии института в конце 1940-х годов, где его собирались разоблачать и где во время заседания он заранее воспроизвел предполагаемые речи его обличителей.

В первые университетские годы я находился под сильным впечатлением от общения с моим бывшим школьным учителем, с которым я познакомил Сашу и который впоследствии стал прототипом одного из персонажей его романа — философа Григория Васютина. Георгий Викторович Панфилов — так звали моего учителя — появился у нас в конце 10-го класса (до окончания оставалось месяца два) в качестве преподавателя логики и психологии — предметов, незадолго до этого включенных в школьный курс. Придерживаясь каких-то руссоистских принципов, что всякий ученик по природе добр, он ставил всем пятерки и не обращал никакого внимания на то, что происходило в классе во время урока. Несколько человек, которым было интересно то, что он рассказывал в своей неторопливой манере, садились на первые парты, а остальные занимались чем угодно — болтали, играли в морской бой, читали, делали уроки, только что не пускали голубей.

Мое тесное общение с ним завязалось уже после окончания школы, когда я был на первом курсе. Встретившись как-то с ним в книжном магазине у Моссовета, где продавались немецкие книги, изданные в ГДР, мы разговорились, и он пригласил меня к себе. В его крохотной прокуренной каморке (быт его, точнее полная безбытность, выразительно описаны в романе) в многочасовых разговорах, заканчивавшихся глубокой ночью, развертывалась передо мной панорама мировой культуры — Данте и Шекспир, Микеланджело и Рафаэль, Шиллер и Гете, Байрон и Шелли, Бетховен и Вагнер, Гегель и, конечно, молодой Маркс, его «Философско-экономические рукописи 1844 г.» (коммунизм как «завершенный гуманизм» и «решение загадки истории», человек творит также и «по законам красоты»). На книжной полке стояла статуэтка Венеры Милосской, висели репродукции Сикстинской Мадонны Рафаэля и художников Возрождения. Одной из самых любимых его картин была «Дама в голубом» Константина Сомова в Третьяковке. Для своих немногочисленных посетителей (я, а потом и Саша значились в числе его адептов) он часто находил прообразы в искусстве прошлого — для меня в одном из немецких портретов XVI в., для Саши — в Бруте Микеланджело. Его повседневной мифологией были образы и ситуации Достоевского, через которые неред-

ко воспринимались им перипетии его личной жизни и которые он часто цитировал, особенно из «Идиота». Думаю, что подсознательно он ощущал свою близость к кн. Мышкину. Тишайший человек, не способный и мухи обидеть, и притом проповедник романтического младомарксизма, — кн. Мышкин, грезящий о коммунизме как царстве красоты, наступлению которого препятствуют лишь «антагонистические элементы» (они ассоциировались у него с образами гномов из вагнеровского «Золота Рейна», которого он слушал когда-то у Эвальда Ильенкова, большого почитателя Вагнера), с каковыми должна покончить грядущая коммунистическая революция. Так преломилась в его сознании метафора коммунистической революции как Страшного суда истории, содержавшаяся в одной из статей почтившегося им Михаила Лифшица. Трудно было представить, как он мог окончить философский факультет (о какой-то его студенческой работе факультетский преподаватель сказал, что это «стиль Ницше, а не советского интеллигента»). «Антагонистическими элементами» (именно так он называл их, слова «контрреволюционеры» я от него не слышал) оказывались и его соседи по густо населенной коммунальной квартире, считавшие его кем-то вроде городского сумасшедшего. И упоминаемый в романе топор (привет Раскольникову) хранился на случай, если когда-либо придется обороняться от «антагонистических элементов». Наше интенсивное общение с Георгием на первых курсах потом как-то сошло на нет (рассказом об одной из последних встреч с ним во дворе университета завершается посвященная ему глава романа).

Николай Комаристый

СТРОМЫНКА, 1954

Стромынка 1954 года. Огромное общежитие, второй этаж, Скомната, кажется, 9. И нас в ней тоже 9: три аспиранта — два болгарина, Николай Цветанов и Петр Добрич, и один кореец, Мин-Су. И нас шестеро: монгол Пэлжид Тогмиддин, москвич Славка Фереферов, курянин Толик Сычев, «китаец» Васька Товаров (сидит постоянно в углу с китайским разговорником в руках и все время матерится: «Ши бу ши, ни ху... бу ху...» и т. д.), Сашка Чудаков

из Казахстана, кстати, самый молодой из нас, 16 лет. И моя персона, старше Сашки на 10 лет.

Глядя на Сашку, я удивлялся — как много в нем мальчишества. У нас ни у кого не было комнатных шлепанцев, а только у Славки Фереферова, и мы постоянно над ним подтрунивали, то прятали, то подсовывали ему под подушку. А однажды Сашка слегка прибил их к полу и скомандовал «подъем!». Славка вскакивает сует ноги в шлепанцы и, не сделав шага, тут же падает. Потеха для всей комнаты. В другой раз опять же Сашка вместе со своим «идеологическим противником» Толиком Сычевым (тоже шутник!) пришили одеяло Пэлжида, любителя долго поспать, к матрасу. А потом потешались, глядя, как он, что-то бормоча то по-русски, то по-монгольски, видимо, ругаясь, выбирается из койки. Но никто ни на кого не обижался. Жили дружно. Утром стремительно сбегали вниз и, не дожидаясь трамвая, скорым ходом мчались к метро «Сокольники». Так получалось быстрее, опять же экономия в три копейки. Сашка на голову выше меня, длинноногий, ходкий — я не успевал за ним: он делает шаг, а мне нужно два. А когда я смотрел, как он легко, как щука, пересекает бассейн в университете на Ленинских Горах, то откровенно завидовал. У него была отличная фигура пловца, и он постоянно брал призы.

Как-то я написал, на мой взгляд, слабенький рассказ, но Сашка прочитал его и восхитился, и начал расхваливать. И грустно произнес: «Тебе хорошо, у тебя такая биография: и служба на флоте, и шахта, и тайга. А мне о чем писать? Я ничего не видел...». Но когда через много десятков лет я прочитал его роман «Ложится мгла на старые ступени», то очень удивился: как это не о чем было писать? Жить в таком окружении знаменитых людей, в таком завидном историческом месте, с таким отцом и тем более с таким дедом-эрудитом, лучшим воспитателем внука, — и не о чем писать? Нам Сашка никогда ничего подобного не рассказывал и даже не упоминал. И тем не менее, он, чувствовалось, во многом превосходил нас: своей обширной эрудицией, культурой, музыкальными познаниями. Однажды подходит ко мне и с довольным видом произносит: «Отец прислал 30 рупий, представляешь? Какое богатство! Я закупил билеты в Большой, на пару симфонических концертов... Жаль, что мало рупий осталось... Но я нашел выход, как пополнить свой бюджет: давай будем ходить по ночам на вокзал разгружать платформы?». Ходили мы, разгружали. Ох, нелегкая эта работа — всю ночь вкалывать

десять часов кряду, нагружать и катать тачки с горячим цементом, обжигающим ноги даже через спецваленки. Но 60-тонный пульман к десяти утра мы впятером разгрузили, заработав всего... по девять рублей! Бригадир-прощелыга похвалил нас и, конечно, обсчитал, но зато пообещал на завтра легкую работу: разгружать платформы, гружённые щебнем. А щебенка — это не цемент, это намного легче. И потому спорить мы не стали. И тут меня в очередной раз удивил Сашка: ну откуда в 17-летнем парне такая выносливость? Мне, бывшему шахтеру, было нелегко. Но он, потомственный интеллигент, никому из нас не уступал: яростно работал лопатой, нагружая тачки, яростно катал их, когда приходила его очередь, лихо опрокидывал содержимое тачки в бункер и не задерживался возле него, хотя мог бы там хоть минуту просто постоять, отдышаться. Нет, он торопился назад. И я, как никто другой, понимал его: если уж взялся за гуж, то... Вот это чувство ответственности за порученное или предстоящее дело было, пожалуй, главной чертой его характера, главной его движущей силой. Именно это сделало его тем, кем он стал: и знаменитым ученым, и одним из лучших писателей России, удостоенным Букеровской премии десятилетия.

Общежитие МГУ на Стромьнке (замечательно описанное А. Солженицыным в романе «В круге первом») — на границе Сокольников и Преображенки — было первым московским жилищем А. П. Чудакова.

Наш однокурсник Н. Комаристый (рождения 1928 года) послужил прототипом морячка Коли Сядристого в романе «Ложится мгла на старые ступени» («Надо было изыскивать дополнительные источники дохода. Ночная разгрузка вагонов не подошла. После нее бывший морячок Коля Сядристый сидел на лекциях как ни в чем не бывало, Антон же засыпал»). Он родился в Воронежской области, пять лет отслужил во флоте, после МГУ работал в Омске на радио, затем корреспондентом газеты «Социалистический Донбасс» (в Донецке в 1982 году вышла его первая книга), затем завотделом в районной газете «Трибуна» Красноярского края. С 1996 года живет в Канаде, где закончил многолетнюю работу над увлекательным, с тонким слухом на диалоги героев романом-трилогией — полувековой летописью драматичной колхозной жизни («Луч Света» в темном царстве. Киев, 2005). (Примечания М. Ч.)

Наталья Иванова

ПЕРВЫЙ, ПОСЛЕДНИЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ

Александр Павлович Чудаков был ярким, особенным человеком. Замечательный филолог, чеховед, в последние годы жизни увлеченно занимавшийся Пушкиным.

«Слаб стал до слез на великую русскую литературу», — записывает он в дневнике последнего, 2005 года. Всю жизнь ею заниматься — и все равно воспринимать ее как исключительно близкое, личное, свое, родное. Не сухое — видали мы сухих профессоров, — увлажненное слезами, высокое отношение. Пушкин: «Над вымыслом слезами обольюсь», а Чудаков — над Пушкиным.

И это ведь — слезы высокого, представительного, красивого и совсем не старого мужчины.

Это был поистине чеховский (вымечтанный Чеховым) человек. В человеке ведь все должно быть прекрасно... В нем, в А. П., все и было прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

А как он смеялся!

И ни капли — раба.

Об этом свидетельствуют не только его литературоведческие труды.

Он стал — уже после своих пятидесяти — писателем. Автором одного — увы, всего одного, но — замечательного во многих отношениях романа. И я рада, что имела непосредственное отношение к его публикации.

Мое знакомство с А. П., как и у всех будущих филологов моего поколения, началось заочно. Еще в старших классах средней школы, а тем более на 1-м курсе филфака МГУ, я читала «Новый мир». И обратила внимание на статью «Заметки о языке современной прозы», подписанную двумя именами — Мариэтта и Александр Чудаковы. Статью я по сей день помню. Позже — чтение и изучение книг Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума — текстов, расширявших тогда сознание филологов, сопровождалось чтением комментариев, написанных все теми же М. и А. Чудаковыми, которых я с тех пор оценила — и ценю всю жизнь.

Прошли годы.

Александр Павлович Чудаков позвонил мне в редакцию. Как помнится, находилось «Знамя» тогда еще на Никольской улице, внутри Китай-города, в Чижевском подворье. Вход из-под старой арки, с вечной лужей под ней (лужу авторам и сотрудникам редакции приходилось практически переплывать): «Хочу вам кое-что предложить». — А что такое, есть новая статья? Я обрадовалась — замечательный автор, если у него есть что-то новое, это всегда украсит страницы журнала, его вторую половину.

Тем более — у нас есть специальная рубрика, «Пристальное прочтение»... Но пока все эти соображения менялись в моем сознании, знакомый голос ответил: «Нет, не статья. Другое». — Другое? (Я была сразу заинтригована.) Приносите поскорее! — «А вот сейчас и принесу».

Не прошло и часа, как передо мной сидел Александр Павлович, прекрасный, большой, румяный, веселый, с ясным и теплым из-под очков в пластмассовой оправе взглядом. А на столе у меня появилась толстая папка с тесемками. Роман? Не может быть. — Да, роман.

Читать я начала буквально тем же вечером, быстро, очень быстро прочитала, изумилась, передала читать Сергею Чупринину и в отдел прозы. Мы быстро и дружно сошлись на том, что безусловно берем и печатаем, только, может быть, попросив автора немножко подсократить — иначе в два номера не влезет. А журнал, увы, не книга...

Оказывается, Чудаков был полгода приглашенным профессором в Сеульском университете (Южная Корея), и там, как он мне сказал, «от нечего делать», точнее — «времени было навалом», начал себя пробовать в ином виде литературы. Не интерпретаторском, не комментаторском — а прямо сочинительском! Попробовал, и ему понравилось. Вот так он и исписал две, если не больше, сотни страниц.

Конечно, главный герой, от лица которого ведется повествование, Антон, — это альтер-эго автора. Все, что пережил молодой герой, пережил сам автор — в Казахстане, куда была сослана семья, а потом в Москве, куда он поехал, чтобы поступать в университет. Не буду пересказывать роман — кто читал, тот поймет мою радость при знакомстве с этой прозой, полной благородства, а кто не читал — пусть прочтет и тоже порадует. Очень, очень хорошо, — позволила я Чудакову, — чтобы сообщить ему о положительном редакционном решении. Compliments не говорим — печатаем! Это и есть наш главный комплимент автору. И редактор назначен — Елена Хомутова.

Что поразило в этом не совсем обычном, пересекающем границы жанров романе?

Зрение писателя.

Все знают, что Чудаков анализировал вещный мир Чехова. Прекрасно чувствовал вещную деталь — и замечательно об этом написал в своих книгах, Чехову посвященных.

В романе обнаружилось прекрасное владение вещным миром в собственном слове. Потом уже, когда мы присудили автору ежегодную «Знаменскую» премию с тогда еще не очень вызывающим наименованием «Премия за произведение, утверждающее либеральные ценности», Александр Павлович сказал в своей благодарственной речи:

Советское время обладало удивительной способностью искажать значения слов, характеризующих человеческие ценности; делалось это при помощи выразительных эпитетов: гуманизм — абстрактный, либерализм — гнилой, космополитизм — безродный, консерватизм — реакционный. (Кое-кто эту манеру, упростив, унаследовал, заляпав коричневатой грязью одно из замечательнейших слов — «патриот».) Ценностей европейской цивилизации это, разумеется, не поколебало, в частности, одно из фундаментальных положений классического либерализма — идею реформ, постепенства и неприятия революционной ломки. Что революции — крайне негодные локомотивы истории, Россия в ходе и после трагического опыта осознала вполне.

Опыт этот, однако, не коснулся в сознании общества предметно-бытовой сферы. Радикальная, и антиприродная, и направленная против памятников культуры, и агрессивная вещноуничтожительная деятельность с годами даже усилилась <...>.

Основная проблема — быстрота смены вещного окружения человека, у которого все смелее отбирают вещи привычные и любимые, заменяя их новыми, которые надо осваивать. Раньше вилок или тарелкой пользовались четыре поколения, а одноразовый пластиковый прибор находится в руках двадцать минут, после чего отправляется на свалку. Уже придуманы трансформирующаяся мебель, дома-башни с ячейками, где квартиры-кубики свободно вынимаются: неделю назад был квартал нормальных домов, а сегодня вы видите мачты-скелеты: хозяева уехали, забрав свои «блоки личной архитектуры». Предполагается устроить предметный мир меняющимся во всех его элементах — как если б человек всю жизнь куда-то ехал, глядя в окно вагона <...>.

Человек в конце концов ориентируется в постоянно перемещающихся секциях универмага, научится что-то улавливать в с бешеной скоростью меняющихся картинках клипов и угадывать время на часах, где стрелки движутся по циферблату, на котором всего две черточки или вообще ни одной. Человек может вынести все — даже двадцать лет одиночки или ГУЛАГа, или северную тюрьму-яму без крыши, как протопоп Аввакум. Но не лучше ли затратить эти огромные психические ресурсы на дела духовного порядка, чем на гибельное для психики приспособление к самим же человеком изменяемому миру?

Какова была жизнь в нашей стране 50—60 лет назад, объяснить не надо. Предметный мир тоже был совершенно другим — я попробовал среди прочего показать это в своем сочинении, поняв постепенно, что на самом деле пишу исторический роман. Но этот скудный вещный мир не был враждебен человеку, не бил по его сетчатке, слуху, не насиловал память, оказываясь его союзником в борьбе с Системой, освобождая душевные силы для этой борьбы.

Как «предметник», Чудаков прозревал в вещи ее смысл. «Основная проблема, — говорил и писал он о нашем времени, уже на грани XXI века, — быстрота смены вещного окружения человека».

Замечательное название дала Людмила Улицкая своей книге — «Священный мусор», те вещи, которые копятся у человека годами, в которых закодированы его воспоминания, его личная религия. И вот Чудаков эти вещи (своих персонажей, поколений своей семьи) предъявил читателю — и читатель это оценил.

Вместе с Юрием Давыдовым я входила в жюри премии «Русский Букер» 2000—2001 года, когда в финал вышел роман Чудакова. А приз он тогда не получил — получила как раз Улицкая за роман «Казус Кукоцкого». Решение жюри принималось арифметически — и мы с Давыдовым, голосовавшие за Чудакова, не перевесили остальные три голоса.

Ну, что ж, А. П. вынес это стоически, — хотя вообще-то очень радовался, что попал в финальный список. Оказывается, ту же вещь ему вернул (!) «Новый мир» — и сразу после этого он позвонил мне тогда в редакцию. Этот возврат все-таки был обидным — и если бы лауреатство было обретено, травма, нанесенная журналом, исчезла бы скорее.

(А. П. не дожил до того момента, когда голосованием всех членов жюри за десять лет именно его роман был удостоен премии «Букер десятилетия» — победив в соревновании *шестидесяти* финалистов.)

Спустя несколько лет я была в совместной с ним и с Сергеем Георгиевичем Бочаровым поездке в Геную, на конференцию памяти Чехова. Генуя вообще проявила невероятную благодарность, устроив у себя в чеховский юбилей целый фестиваль — и все потому, что кто-то из действующих лиц в пьесе Чехова отмечает красоту и притягательность генуэзской уличной толпы... Мы поехали, вернее, полетели в Геную и там провели вместе несколько дней — не только на конференции, где выступали с докладами и сообщениями, но и на прогулках по городу (шатаниях — еще и в компании Клары и Витторию Страда), и в поездке в Нерви, и в путешествии через Рапалло в Чинкве-Терре, чудесные итальянские городки, которые буквально лепятся к скалам, зависая над Лигурийским морем. Александру Павловичу было очень хорошо. Он был счастлив, весел и здоров. Его артистизм покорял. Его радость была ключом. Никогда бы не подумала, что ему так мало оставалось жить.

Он был готов купаться — а дело было в ноябре! Он ничего не боялся: доктора в его здоровье не вмешивались — правда, он что-то упомянул, так, между прочим, о кардиологе в академической поликлинике. И все.

Обаяние — интеллектуальное и физическое — просто исходило от него. Да, что-то было в нем от главного героя его работ чеховское. Только, в отличие от Чехова, — при здоровом, прекрасно работающем организме.

В Геную тогда мы попали благодаря Августе Бобель, с которой А. П. учился на филфаке МГУ. И я помню, с какой радостью они вспоминали студенческие годы — те, которые были описаны и в его романе. Первом, последнем, единственном.

Владимир Немцев

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

С Александром Павловичем я встречался нечасто, но, кажется, знал его всю сознательную жизнь. А уж если ты его хоть чем-нибудь заинтересовал, тогда общение с ним становилось легким, глаза из-за очков смотрели сердечно, а улыбка была самой обаятельной. «Самая обаятельная» — здесь значит смущенно-ироничная.

В начале 1990-х в Самаре проводилась научная конференция, посвященная писателям третьей волны русской эмиграции. В то время такой литературоведческий форум, тем более в провинции, уже был редкостью, поэтому конференция собрала много участников. После пленарных речей небольшая часть писателей и критиков решила прогуляться по старой части города. На улицах было оживленно, даже весело, тогда обычным было обменяться со встречными компаниями остротами и цитатами с какого-нибудь прямого теле-репортажа заседания Госдумы. И тогда общение в обеих компаниях приобретало новый импульс, и все, довольные, расходились своей дорогой.

Александр Павловичу нравились люди с доброй душой, и такое забытое отношение друг к другу его увлекало, временами приводило в восторг, тогда он вдруг принимался читать вполголоса стихи. Их ритм гармонировал с уличной праздничной суматохой, хотя официального праздника как будто и не было.

— Александр Павлович, ты что бормочешь такой великолепный стих? Кто это? — окликнул один из коллег.

— Кибиров.

— О-ооо, неосвоенное явление поэзии... Но все равно, громче! Громче!

Громче Александр Павлович не мог, поэзия, видно, на его вкус, не могла быть громкой.

На правой стороне пешеходной улицы Ленинградской продавали картины. Участники литературоведческой конференции приостановились — уж больно яркие краски пробивались сквозь пешеходный поток. Александр Павлович двинулся на цвета... Надо сказать, он был довольно привлекательным человеком и внешне: стройный и высокий, в синем джинсовом костюме, рубашке в тон, и в желтом из желтых галстук.

Несколько притомившиеся продавцы картин оживились. Они окружили заметно возвышавшегося над ними Александра Павловича и стали бурно беседовать. Разговор шел в нормальном ключе, но вдруг коллега замахал рукой и пошел обратно. Продавцы отвернулись.

— Александр Павлович, коммерция не получилась?

— Не получилась. Цены заломили неадекватные.

— Рынок знает, какие надо!

— А что за иностранные фразы донеслись до нас?

— Они ко мне обратились по-английски... — Александр Павлович виновато рассмеялся. — А я ответил на нем же, и пошли разговаривать, как на орегонской улице.

Все недоуменно закурили головами: «Ну и художники пошли!».

— Это не художники, продавцы... Да и картины какие-то облизанные, пошловатые... — Александр Павлович погрузился, и похоже, что расстроился.

Я провожал его до аэропорта. Времени до посадки еще оставалось с полчаса. Александр Павлович предложил выпить по стопочке. Выпили. Обсудили какие-то свои дела. Он сходил и принес еще водки.

— Знаете, Самара произвела яркое впечатление. Я ведь только из Штатов приехал, контраст сильный... Но и чувство некоего разочарования вдруг появилось. Не знаю, почему...

Нет сомнения, признание это было для него важным. Трудно только было его осмыслить. Фантазии какие-то, что ли, сложные ассоциации...

Думаю, что Александр Павлович был несомненным и подлинным романтиком. Теперь их трудно встретить на просторах России. Романтизм мне чувствуется и в трудах Александра Павловича, и в его романе, публицистике. Вспоминая Александра Павловича, приходишь только к этой мысли.

Ирина Гитович

ПОПЫТКА ВОСПОМИНАНИЙ

Сколько раз за жизнь мы повторяем как непреложную истину строки Ахматовой — «когда человек умирает, изменяются его портреты» Но однажды осознаем, что изменяются не портреты, а мы, в них вглядывающиеся. Пока человек жив, он существует для окружающих в условиях той повседневности, в которой живут они сами, в ее бытовых измерениях. Смысл его жизненных усилий открывается по-настоящему потом, когда человека уже нет, и наступает время воспоминаний о нем.

Когда рано утром 4 октября 2005 года большинство из нас узнало о смерти А. П. Чудакова, случившейся накануне вечером, мы в своей

чеховедческой среде пережили настоящий шок. Я и сейчас помню, как все повторяли одни и те же слова с одной и той же интонацией растерянности, ужаса, обреченности: «Как же это может быть, что его нет? Как же мы теперь?»

Но время шло. И мы продолжали жить, что поначалу казалось невозможным, с этим новым знанием, к которому постепенно привыкали, — Саши нет. Куда-то ездили, что-то делали и планировали, и боль как будто становилась меньше или — привычнее — иногда вроде бы все отодвигалось куда-то, и о Саше мы говорили, как о живом.

Сначала так пережили зиму, весной съездили в Ялту на ежегодные Чеховские чтения — *без него*. И полетели годы — с конференциями, выходом новых книг, новыми планами. Но сколько раз на бегу вдруг останавливал, почти сбивая с ног, тот же вопрос, от которого снова перехватывало дыхание и на который ни у кого не было ответа: «Как же так могло это случиться, что его нет?».

Как это может быть, что мы ходим, дышим, спорим, что-то проектируем по линии чеховедения — *без него*, а он там — на Востряковском кладбище и над ним две огромные березы? Когда мы его хоронили, они шелестели на фоне бледно голубого, почти прозрачного неба еще не облетевшей и даже не пожелтевшей листвой. Я помню, как на короткое мгновение возникло во мне чувство примиряющего покоя, когда, подняв голову, я увидела эти березы. Теперь в моих мыслях о Саше они возникают именно как — *Сашины березы*.

Саши — нет. Есть лишь память о нем. Она работает по своим законам. В психологии есть понятие — «непроизвольные воспоминания». Они, как известно, существенно отличаются от той установки на процесс вспоминания, в результате которого создаются мемуарные тексты, сам этот жанр. Непроизвольные воспоминания настигают человека вдруг и неизвестно почему — в переполненном вагоне метро вдруг видишь внутренним зрением знакомое лицо или слышишь знакомый голос, или в чьем-то чужом лице, услышанном случайно разговоре видишь человека, которого давно нет, время и обстановку, в которых он был. В моей внутренней жизни такие непроизвольные воспоминания о Саше заняли за эти годы огромное место. В сущности, из них состоит мысленное общение с ним, которое продолжается причудливым пунктиром обрывочных фраз, присутствием его в мыслях и делах, казалось бы, с ним уже не связанных, и хотя я уже знаю, что раздавшийся в двенадцать ночи телефонный звонок больше никогда не будет его звонком, я все еще вздрагиваю...

Легче вспоминать о человеке, которого знал мало. Такие воспоминания обычно ограничены каким-то эпизодом, впечатлением. И почти невозможно, когда с человеком осталась неисчерпанной внутренняя связь. Потому что в этом случае, вспоминая о нем, неизбежно говоришь и о себе. И всегда присутствует сомнение — не выпячиваешь ли в этом случае вольно или невольно себя? Важно ли то, что ты помнишь, для других или это важно только для тебя?

О мемуарах как психологической потребности человека и необходимости культуры мы с Сашей не раз говорили в связи с Чеховым. И о том, что, стремясь к правде и к ее сохранению во времени, воспоминания так часто и беззастенчиво лгут. А если так, то надо ли *писать* воспоминания? Иногда я думаю, что если бы как-то само могло записаться то, что вспоминается о Саше, насколько это было бы точнее и интереснее, чем то, что получается, когда мучительно ищутся слова, особое внутреннее состояние, единственно возможная интонация.

И в страшном кошмаре не могло мне привидеться, что когда-нибудь придется говорить, думать, писать о Саше в прошедшем времени. Он казался рассчитанным на бесконечность.

За несколько лет до смерти Саши, на наших традиционных ежевечерних ялтинских симпозиумах, с завидной регулярностью сменявших дневные научные заседания Чеховских чтений, по сложившейся традиции «ни единой рюмки без тоста», В. Б. Катаев, бессменный тамада этих чеховских посиделок, поднял сидевшего рядом со мной Сашу вопросом: «Что Вы, Александр Павлович, можете сказать об Ирине Евгеньевне?». Саша задумался на секунду и, придав лицу значительность, а голосу — пафос докладчика, начал так: «Наукой еще достоверно не установлено, какое слово — мама или Чехов — было произнесено Ириной Евгеньевной раньше, но несомненно, что...» Мне давно поднадоели остроты насчет моей наследственной «обреченности» на занятия Чеховым, и я бросила реплику: «Не забудьте так начать мой некролог в “Чеховском вестнике”». Саша весело сказал: «Ладно». Дня через два ситуация с тостом повторилась. Снова Саша был поднят и на этот раз вспомнил что-то еще, что не доказано наукой, а я снова предложила ему воспользоваться этим для моего некролога. Мы уже к тому времени немало выпили массандровских напитков, и Саша весело и слегка пьяно ответил: «Обязательно». А потом, сев, как-то вдруг протрезвел и сказал: «Да, ладно, Ира. Еще неизвестно, кому чей некролог придется писать».

Я больше ни разу не повторила этой глупой остроты. Но ту Сашину фразу, а главное, интонацию, с какой это было сказано, как и его глаза, когда он произнес это, запомнила навсегда. Сначала только почувствовала — и потом, много думая об этом, поняла — он *стал* вдруг бояться старости и смерти. Потому что до того раза он иронически относился ко всем этим *е.б.ж.*, венчающим разговоры о том, кто до чего доживет или не доживет. Он долго верил, что впереди у него уйма времени, почти по-детски радовался своему жизнелюбию, его силе, как-то даже играл этим.

А тут получается, что незаметно для других, кто привык к образу полного жизненной энергии Чудакова, — а может быть, и для себя самого — он вступил в тот последний возраст, когда конец, который ждет каждого, становится лично актуальным переживанием.

Спустя примерно год мы говорили с ним о Чехове, и по какой-то ассоциации он вспомнил мой доклад в Таганроге на конференции «Молодой Чехов», о котором во время конференции, к моему огорчению, не сказал мне ни слова. Доклад был о невысказанной зрелости молодого Чехова, написавшего в 29 лет «Скучную историю», которая для меня никогда не была историей об отсутствии у героя «общей идеи» (о каком отсутствии ее можно говорить, когда речь идет об ученом, живущем стремлением к научной истине?). Для меня это история о вдруг наступающем человека старении, об угасании жизненных сил и горьком мужестве осознанного переживания своего приближения к смерти. Для меня остается непостижимым, как молодой писатель мог изнутри понять это переживание, не зная его лично, не имея тогда даже, кажется, реального примера рядом с собой, допустив только одну ошибку, выдававшую его молодость, — сведение у героя всей мучительности этого переживания к отсутствию у него «общей идеи». Саша тогда сказал, что никогда так прежде не думал о «Скучной истории», но, может быть, я права. «И тем страшнее», — почему-то добавил он и перевел разговор на что-то другое. А я еще раз подумала тогда, не стали ли уже подобные переживания *его* переживаниями.

И на панихиде в день похорон, и на сороковом дне, и на вечере памяти Саши через месяц в музее Чехова, и в мемориях семьдесят пятой книги «НЛО» почти все вспоминали Сашу веселым, жизнерадостным, никогда не болевшим, полным беззаботного жизнелюбия и какой-то редкостной самодостаточности. Я тоже знала его таким, знала долго — мы ведь были знакомы больше сорока лет. Как и другие, очень долго думала о Саше только так. И сам Саша *так* думал о себе

и каким-то образом программировал в окружающих такое восприятие себя. Но вот почему-то сейчас я гораздо чаще вспоминаю его другим. Вспоминаю и думаю, как же на самом деле мы плохо знаем друг друга, как, занятые собой, избегаем замечать, что происходит с другим. Я не раз в последние два-три года его жизни видела в его глазах не свойственную ему прежде усталость от жизни — жизни, которую он так жадно любил. Иногда было видно, что он плохо себя чувствует, но не хочет этого замечать, что его словно что-то точит изнутри. Возникало на мгновение тревожное чувство. Но спрашивать об этом не принято и, оберегая личное пространство — чье? — мы, в сущности, деликатно позволяли себе быть равнодушными. Помню, как на конференции в Мелихове в 2004 году он так и не собрался выкупаться в узенькой и мелкой Лопасне, где плыть можно было только посредине — по течению или против. Встречая меня на завтраке после этого сомнительного заплыва и интересуясь, какая вода, он тем не менее сам не купался. Чтобы Саша не использовал любую возможность поплавать... Одно это — и его неопределенное «да как-то лень» — было необычным, непривычным. Но все мы проскочили тогда мимо этого...

За поминальным столом Мариэтта прочитала стихотворение Саши из его записной книжки «Когда я умру». Оно было написано в марте 2005 года. То есть за полгода до смерти. Шутливое вроде бы, но и полное неожиданно прочувствованной обреченности. Просьба, когда он умрет (но почему, собственно, он должен был умереть? Что он чувствовал тогда, в марте, когда писал это?), не говорить о его книгах, а вспомнить, как он любил плавать. Я не запомнила тогда в точности, о чем еще он просил вспомнить. Кажется, о том, как любил и умел все делать своими руками.

О книгах как раз говорили больше всего. Мемории о Саше в семьдесят пятом номере НЛО — в основном, о книгах. На вечере памяти сначала в Чеховском музее, где он начинающим ученым сорок с лишним лет назад выступил с первыми своими докладами о Чехове, а потом на вечере в ИМЛИ, говорили о них же. И первое, о чем стали думать мы все после его смерти, — это о том, что нужно было бы переиздать его книги, давно ставшие раритетами.

Да и как иначе? А. П. Чудаков — один из самых крупных наших филологов-современников — значителен именно своими книгами, в них он, прежде всего, и будет жить. Каждая страница тут важнее

случайных мемуарных штрихов. Точнее, сами книги будут жить своей жизнью, вдумчиво прочитанные, надо думать, новыми поколениями, и внимательно перечитанные и заново осмысленные нами. Они еще дадут немало импульсов и толчков и к новым поворотам в чеховедении, и к новым методологиям. Конечно, про заплывы эти книги не расскажут, и все эти мелочи, составлявшие ту живую жизнь, в которой эти книги были написаны, уйдут постепенно в песок. Уйдут вместе с нами, которые тоже уйдут. Но ведь определяли же они что-то в жизни и личности Саши. Как человек живет, так он и мыслит, так и пишет.

А о Сашиних заплывах у тех, кто ездил с ним на чеховские конференции, сохранилось не одно воспоминание.

Через год после смерти Саши, в Гурзуфе, поездкой куда кончаются все ежегодные ялтинские Чеховские чтения, я долго стояла одна у парапета и смотрела на море — это было то самое место, где несколько лет назад Саша, чтобы не нарушать традицию, решил поплавать, хотя было холодно и довольно сильно штормило. С ним в ледяную воду полезли, но быстро вылезли назад В. Б. Катаев и молодой наш коллега Руслан Ахметшин. А Саша стремительно поплыл вперед. И, глядя на то, как его бросает в стороны (а там — скалы), я вдруг по-настоящему испугалась. На мой крик: «Саша, вернитесь!» — он не отреагировал, просто не услышал, и тогда я засвистела в спортивный свисток, который оказался у меня в кармане куртки — раз, второй, третий. Никто не понял, откуда свист. Но все встрепенулись. А Саша вдруг резко повернул назад. Через несколько минут он был уже у берега, встреченный воплями облегчения наших дам. Когда он вылез, я призналась, что свистела я, и назидательно произнесла что-то насчет того, что вот снова спасла его для чеховедения (у нас была с ним такая постоянная шутка, что это теперь моя планида — беспокоиться за него мне завещано Н. И. Гитович, очень любившей Сашу), а он сказал, что, услышав свисток, был уверен, что это милиция, с которой — как знал по опыту советской жизни — лучше не связываться. Осталась от того пребывания в Гурзуфе фотография — Саша в плавках, тельняшке, с полотенцем в руках, и мы по обе стороны от него в теплых куртках.

Переплывали мы однажды вчетвером — он, В. Б. Катаев, И. Н. Сухих и я — возле станицы Старочеркасской обманчиво тихий Дон с его коварным течением, резко сносившим плывущих в сторону. И от этого эпизода тоже осталась кем-то сделанная фотография. Так что о заплывах мы многое можем вспомнить и рассказать.

Ну, и о том, как Саша знал толк в строительстве, в материалах, как говорил об этом, рассматривая деревянные брусья, что всегда вызывало у меня восхищение, — тоже помним. Так что просьбу его выполняем: вспоминаем не только о книгах... Хотя книги не мешало бы нам читать почаще и повнимательнее, не выдергивая из них цитаты, не вульгаризируя его мысли и не заимствуя его идеи без ссылок на источник.

А что касается строительных дел, которых он был великий мастер, то, помню, я как-то показала ему кусок плохо оструганной сырой сосновой доски, увезенный мною как «сувенир» из Мелихова. Тогдашний директор музея, наша многолетняя головная боль, собирался латать этими досками, купленными где-то по дешевке, — на его языке это называлось «реставрировать», слово, которому он тут же обучил нанятых им тоже по дешевке шабашников — мемориальный флигель, в котором была написана «Чайка». Флигель был тогда в крайне аварийном состоянии. Деньги же, которые зарубежные доброты присылали музею на ремонт, растворялись в чьих-то карманах, не доходя до флигеля.

Саша повертел деревяшку в руках и спокойно и твердо сказал, что именно и в какой срок станет с флигелем, если эти доски пойдут в ход. Сказал с такой же определенностью, с какой выступал по вопросам филологическим. Все, что он делал, он делал именно так — обстоятельно и профессионально. Вообще профессиональный рефлекс — или инстинкт? — в нем был абсолютен, как бывает абсолютным музыкальный слух.

Он не был борцом по темпераменту, не любил, когда его отвлекали от занятий, чтения, писания, дачных его работ, во время которых ему так отлично думалось, но я хорошо знала вот это его качество — он, человек спокойный, неторопливый, берегущий время и силы, буквально взвивался, когда сталкивался с наглостью невежества или откровенной халтурой, и тут его легко было подвигнуть на поступок, на протест. Он мгновенно соглашался быть заодно, когда речь шла о противодействии научному любительству или культурному варварству. Каюсь, в качестве секретаря Чеховской комиссии я не раз рассчитывала именно на это его свойство и пользовалась им, чтобы с его поддержкой сделать что-то, что в данный момент представлялось необходимым.

Мы были однажды с ним и В. Б. Катаевым на приеме у тогдашнего министра культуры М. Швыдкого как раз по вопросам спасения

Мелихова от рук его тогдашнего директора — варвара и графомана, и именно Саша организовал эту встречу, он же договорился о публикации в «Литературной газете» нашего открытого письма по поводу сочинений этого «писателя», как тот себя именовал. Наивные люди, надеялись мы, что министр нас мгновенно поймет, проникнется нашим беспокойством, возмутится, как мы, и немедленно поможет... Помню, как Саша звонил мне перед аналогичным походом в Министерство культуры по поводу безнадежно тогда приостановленного издания словаря «Русские писатели», чтобы посоветоваться, как себя вести («где сдвигать брови», как я называла это) и что говорить. И мы долго придумывали ударные формулы, которые — как нам казалось — должны были потрясти чиновничьи сердца. А потом как-то попросил посмотреть телепрограмму Александра Архангельского, где он говорил о значении словаря для культуры и долге всех культурных людей способствовать его спасению. Его интересовало, достаточно ли он был убедителен и грозен для чиновников. Он был убедителен. Но — не для чиновников. Впрочем, капля все-таки долбит камень. И рано или поздно усилия такого противодействия дают свои результаты. Возобновлено (хоть и не чиновниками!) издание словаря, спасен и мелиховский флигель...

А потом, уже без него — и как его тогда не хватало! — было долгое сражение за ялтинский дом, стены которого небрежением директора музея (и где только штампуют этих безразличных варваров?) оказались поражены грибком, несущие опоры здания, пережившего в свое время крымское землетрясение, теперь покрылись глубокими продольными трещинами, по стене чеховского кабинета вдоль картины Левитана «Река Истра», текла вода, под обоями буквально кустилась плесень... Мы опять писали, объясняли. И казалось, что, будь с нами Саша, было бы много легче чего-то добиться...

При его жизни мы все — его ровесники, знавшие его десятки лет, и молодые чеховеды, встречавшиеся с ним практически только на конференциях, защитах, заседаниях — не догадывались, до какой степени он был нам всем нужен. Одним своим присутствием он задавал уровень, ниже которого работать было стыдно, продуцировал направление исследований, не давал превратить чеховедение в скучную индустрию, к чему оно заметно скатывалось. Научный авторитет его был огромен. При нем, как сказал потом Руслан Ахметшин, трудно, а то и невозможно было халтурить и выдавать за науку люби-

тельство. Помню охватившую многих из нас тревогу в первые недели после его смерти: удастся ли без него не впасть сплошь в то, что мы с его легкой руки называли «народным чеховедением», то есть откровенным дилетантством, и что, судя по стремительно падающему уровню чеховских конференций и многих писаний о Чехове, на нас угрожающе надвигалось.

Он был совсем не воинственен, иногда даже излишне мягок, но ложную толерантность ненавидел. Помню и его язвительность, и даже не свойственный ему гнев, когда он сталкивался с профанацией науки. Боюсь, удержаться без него на должном уровне мы все-таки не сумели.

К концу конференций он иной раз заканчивал стихотворный отчет, который сочинял даже во время заседаний, и в котором доставалось докладчикам, а потом на банкете в Гурзуфе читал его. Есть фотография, где он, стоя на возвышении, разворачивает длинный свиток с этакой одой, посвященной конференции по поводу столетия «Трех сестер».

Мы много с ним говорили о будущем чеховедения, о людях, которые в него приходят, о разлагающих его профанациях. И меня радовало, что мы совпадали в оценках — надеялись на одних и тех же, опасность видели в одном и том же. Мы оба были убеждены, что исследователей Чехова надо каким-то образом возвращать к изучению факта, документа, реального исторического контекста — к тому, к чему интерес тогда начисто был утрачен.

Однажды он почти без связи с тем, о чем мы говорили, спросил, помню ли я столь распространенные в советское время очерки жизни и творчества писателей. «Еще бы, — сказала я. — Прекрасно помню и даже знаю, кто их упразднил как жанр». — «И кто же?» — «Да Вы, Саша. Ведь после Вашей “Поэтики” очерков творчества Чехова больше не появлялось. Их было стыдно писать и стыдно читать...» И, продолжая какую-то свою мысль, он сказал, что ему самому очень не хватает сейчас в работах о Чехове того целостного ощущения его жизни и творчества, какое в идеале предполагали те очерки. «Ну, и напишите такую книгу, — сказала я ему. — Кому ж это сделать, как не вам?» «Вы думаете?» — вопросом ответил он и переменял тему.

Мы иногда встречались, чтобы поговорить о срочных делах, в ... Макдональдсе на Пушкинской. Место было выбрано Сашей, как самое удобное для обоих. Он тогда преподавал рядом, в Литинституте, мои маршруты тоже чаще всего проходили через Пушкинскую.

Саша называл это «встретиться по-студенчески», а я говорила, что это скорее «по-детски», потому что Макдональдс любят дети, а современные студенты ходят, кажется, совсем в другие места. У нас был любимый столик — в дальнем углу кафе, у окна. Мы обсудили за ним уйму серьезных вопросов, однажды даже написали там план-сценарий для конференции в Таганроге «Молодой Чехов», мечтая провести хоть одну идеальную конференцию. План был действительно великолепный, но *так* конференцию нам провести не дали.

Месяца через полтора после смерти Саши мы зашли в Макдональдс с Русланом Ахметшиным. Я хотела показать ему тот столик в углу. Но за это время прошел ремонт — и столика больше не было, да и вообще все изменилось.

Помню, как накануне сорокового дня, ночью у меня в квартире раздался громкий междугородный телефонный звонок и в трубке послышался голос нашей оренбургской коллеги Ольги Михайловны Скибиной: «Ирина Евгеньевна, я знаю, что Вы не спите. Потому и звоню». Сказала, что гложет тоска и просто захотелось «поговорить об Александре Павловиче». И мы долго говорили о нем, вспоминали поездки с ним, какие-то смешные истории, случавшиеся на конференциях. Ольга рассказала о его приезде в Оренбург и о купании в ледяном Урале, напугавшем ее родителей. Спала Москва за окном, возле которого я стояла с трубкой, где-то за тысячи километров спал не ведомый мне Оренбург, откуда звонила Ольга. И что-то пронзительно печальное было в этой тьме, этом обрывочном разговоре, нашей общей тоске и самой потребности в общей нашей беде быть всем вместе. Те дни вообще проявили в каждом из нашего чеховедческого сообщества что-то очень важное — вроде меры личного уровня подлинности.

А год спустя после смерти Саши я сидела на балконе ялтинского Дома творчества «Актер», где мы жили во время конференций, рядом с номером, который всего год назад занимал Саша. Это был самый большой номер в корпусе, и мы собирались тогда у него. А теперь была первая Ялта без него. Конференция складывалась как-то неудачно, неинтересно. Из механизма нашей сложившейся чеховедческой жизни — это чувствовали все — выпало что-то. И. Н. Сухих сказал вскоре после этого, что должны возникнуть новые центры притяжения, и только тогда конференции обретут новую жизнь и смысл.

Имел ли он в виду то, что Саша был таким центром притяжения? Не знаю. Но Саша был чем-то гораздо большим.

На этой осиротевшей без него ялтинской конференции мы в первый же день почтили минутой молчания его память. И в первый наш вечерний сбор первый же тост был, естественно, в память о нем. Как только я вошла в музей, старейшая его сотрудница Алла Васильевна Ханило потащила меня смотреть маленькую выставку, которую она сделала в память о Саше. Лежали в стандартной музейной витрине его книги, статьи, фотографии с конференций. Я попыталась посмотреть на фотографии отстраненно и представить, что они скажут тем, кто не знал Сашу лично, а может быть, никогда не видел его. Но так не получилось — было слишком больно.

Мы ходили на заседания, произносили свои доклады, сбегали, когда становилось невыносимо скучно, в чеховский сад, обедали в том же кафе, что и при Саше, по вечерам пили те же массандровские вина, а В. Б. Катаев так же поднимал нас для тостов. Но все было не то. Даже с пением, которым славилась чеховская комиссия, без него уже ничего толком не получалось. Пели в тот приезд вразброд, фальшиво и вяло. И, начав, быстро замолкали.

На конференции в Баденвейлере в 2004 году мы вели с ним общую секцию. Как-то я первой пришла в аудиторию, где мы заседали, и увидела на столе ворох бумаг. Это оказался Сашин доклад «Вторая реплика», прочитанный им накануне и забытый в аудитории. Написанный от руки. С его же поправками. Выговаривая вскоре пришедшему Саше, что он растяпа, я требовала, чтобы он оценил мое благородство — вот, мол, честно возвращаю, а могла бы обогатить свой архив. А Саша, довольный заботой о себе, благодарно попросил: «Ира, пожалуйста, следите за мной и дальше». Но какое счастье, что убиравшая помещение женщина, не выбросила эту стопку исписанной бумаги, как скорее всего сделала бы наша уборщица. Дубликата-то не было.

Впрочем, на конференциях мы общались мало. Может, раза два или три, случайно оказавшись вне чеховедческой толпы, говорили о чем-то серьезно.

Были годы, когда мы и виделись очень редко (я жила тогда по семейным обстоятельствам на два города и по полгода, а то и больше, не бывала в Москве), хотя, когда потом встречались, искренне радо-

вались встрече и никогда — за все эти четыре с лишним десятилетия — не было у нас пустых, бытовых разговоров ни о чем.

В молодости у нас были — и так это осталось — разные «круги общения», хотя свои главные литературные университеты мы проходили в одном и том же месте — «Новом мире», у редактора отдела критики умнейшей Калерии Николаевны Озеровой, которую с благодарностью часто вспоминали. Потом, когда началась работа над академическим тридцатитомником Чехова и Саша стал сотрудником Чеховской группы ИМЛИ, занимавшейся изданием, мы встречались или на обсуждениях томов, или в архивах и разговаривали в основном о делах, связанных с этой работой. Тогда Саша начал много общаться с Н. И. Гитович и нередко бывал у нас дома. Он часто ей звонил, консультировался по поводу архивных своих находок, спрашивал о каких-то встреченных в переписке неизвестных ему именах, рассказывал о найденных в периодике текстах, которые вполне могли принадлежать Антоше Чехонте, советовался по поводу их атрибуции. Помню, как после одного такого эпизода Нина Ильинична с восхищением говорила, как мастерски Саша освоил работу с архивными документами и какое у него потрясающее тут чутье — и документ, и самый факт, и самую личность Чехова, и контекст, в котором все это существовало, он представляет в удивительной цельности — как художник. Вспомнила в связи с этим Александра Иосифовича Роскина, которого, видимо, этими качествами ей напоминал Саша, и сказала, что так чувствующих материал исследователей и одновременно таких блестящих теоретиков теперь практически нет.

Когда он навещал Нину Ильиничну, она с удовольствием рассказывала ему о найденных ею новых фактах биографии Чехова, о том, как параллельно с собранием сочинений идет ее работа над вторым изданием Летописи жизни и творчества Чехова (так и не увидевшим свет). Он подробно расспрашивал ее о работе над двадцатитомным «вишневым» собранием сочинений и писем Чехова, о ее борьбе с партийными начальниками, требовавшими безжалостно купюрить письма Чехова. Нина Ильинична показывала ему копии своих протестных писем, которые она писала в ЦК и благодаря которым многое удалось отстоять, вспоминала о разных курьезах с чеховскими изданиями. Потом, когда ее, отдавшую изданию, в буквальном смысле, всю страсть души, все свои знания, все личные находки, дирекция института просто вывела из редколлегии (вместе с З. С. Паперным) и факти-

чески отстранила от общения с Чеховской группой, именно Саша более или менее регулярно навещал ее, скрашивая ее одиночество, за что я была ему безмерно благодарна. Вот тогда, слушая ее рассказы, он стал уговаривать записать все, что вот так случайно ей вспоминалось, — и в связи с историей создания в 20-е годы чеховского музея и чеховских обществ, т. е. началом чеховедения, и о ее встречах тех лет с современниками Чехова. Вспоминались люди, которые для большинства уже были только именами, и какие-то штрихи научного быта. Именно под его нажимом она стала записывать эти подробности и при встрече отдавала Саше листочки со своими рукописными или машинописными записями. Часть их он после ее смерти опубликовал в «Чеховском вестнике».

Помню наши с ним случайные встречи и неслучайные разговоры в часовых очередях за зарплатой в первые годы перестройки, в темном, тесном и душном имлийском коридоре. Именно там несколько раз у нас возникали интереснейшие планы чеховских изданий и переизданий. Мы много говорили о необходимости расширения источниковой базы чеховедения, невозможном без тех или иных публикаций, о том, что из молодых исследователей почти никто не умеет работать с рукописями и документами. Именно в такой очереди мы однажды заговорили о том, как хорошо бы сделать заново и откомментировать Описание личной библиотеки Чехова, о необходимости издания *всех* найденных мемуаров о Чехове. А сейчас готовятся к изданию и собрание мемуаров, и Описание библиотеки.

Там же, в той очереди, я рассказывала ему об эвакуации ИМЛИ в Ташкент во время войны, об эвакуационном быте и его «предметном мире» (Академия наук со своим общежитием и библиотекой заняла трехэтажное здание балетной школы Тамары Ханум в центре Ташкента), об очередях за кипятком, в которых стояли крупные ученые, и о том, как в этой очереди — так казалось мне в мои четыре-пять лет — интересно было слушать разговоры, как мне разрешали передвигать флажки на карте в вестибюле, фиксирующие продвижение наших войск на фронтах, о современниках Чехова, которых я видела ребенком и помнила странной детской памятью, выхватывающей и укрупняющей какие-то подробности, — Телешове, Щепкиной-Куперник; пересказывала запомнившиеся рассказы родителей о Потапенко, Буренине, Лазареве-Грузинском, Ежове... Он подробно расспрашивал меня об С. Д. Балухатом, с которым дружили мои родители, а потом

очень хотел издать его письма к ним. И — убеждал меня писать воспоминания. Он никогда не мог смириться с той расточительностью, с какой большинство из нас относится к собственной памяти. Я отнекивалась — не мой жанр. А после выхода его романа, когда мы говорили как-то о делах в нашем чеховедении, я сказала, что его лавры не дают мне спокойно спать и, кажется, я скоро сяду писать роман о Чеховской комиссии, название во всяком случае есть. «Да? И какое же?» — спросил Саша. «Что за комиссия, создатель...» — ответила я. Он очень смеялся.

Сблизились мы в последние лет десять, после смерти Н. И. Гитович, а какие-то новые точки общности стали возникать в последние несколько лет. Сначала из-за общих дел в Чеховской комиссии, где я была ученым секретарем, а потом и помимо комиссии, прежде всего, на почве интереса к Чехову.

В последние несколько лет общение приняло форму долгих ночных телефонных разговоров. Первый такой разговор возник случайно. Начал его Саша с ворчанья, что долго не мог мне дозвониться, — было все время занято, а он терпеть не может ни долго дозваниваться, ни долго разговаривать по телефону. Когда же тот наш разговор закончился, он с изумлением сказал: «А знаете, сколько мы проговорили? 2 часа 37 минут». Вот с тех пор он и стал звонить довольно регулярно. Всегда сразу после двенадцати. Он точно фиксировал время разговора в конце. Ему это почему-то очень нравилось. Сейчас я с изумлением вспоминаю, о скольком мы успели поговорить. Как-то долго говорили о том, почему Чехов так и не смог написать роман. Перебрав все возможные историко-литературные причины этого феномена, пришли к выводу, что дело, скорей всего, в особенностях дарования писателя — быть может, на романную фабулу просто не хватало темперамента. В другой раз я спросила его, кем, по его мнению, больше был Чехов — прозаиком или драматургом. Ведь не родился Художественный театр и не будь в числе его создателей фигуры Немировича, неизвестно, какой была бы судьба его драматургии, да и его литературная репутация, и сколько пьес Чехова мы сегодня имели бы. Или — наоборот — не имели бы. Говорили мы об этом долго. Саша то соглашался, что Чехов был прежде всего прозаиком, как считала я, то приводил аргументы против, и мы тогда так и не пришли к согласию, а мне он посоветовал написать об этом. Говорили о деформации языка и смысла документов при их изложении современным

языком авторами появлявшихся тогда биографических книг о Чехове и его семье; о том, насколько продуктивнее была бы комментированная публикация этих архивных материалов, чем проекция личных проблем и комплексов биографов на судьбу Чеховых, во что превращаются такие пересказы.

Обычно разговор начинался с какой-нибудь почти случайной фразы, но, зацепившись за нее, я старалась изложить свои представления о Чехове, часто не совпадавшие с общепринятыми. Хотелось проверить на Саше их право на существование. Саша слушал, как мне кажется, внимательно и заинтересованно, задавал вопросы, что-то уточнял и чаще всего соглашался, что в такой интерпретации есть смысл. Он дал мне однажды и важный совет — как можно реже употреблять в своих текстах слова «возможно», «вероятно», «может быть» и т. п., выдающие сомнение и неуверенность автора в высказанном: «Если уж высказали собственное суждение и уверены в своей правоте, держитесь твердо и не демонстрируйте сомнение».

В последний наш разговор за месяц до его смерти — я уезжала в тот день в Питер на три недели — мы договорились после моего возвращения встретиться и «поговорить обо всем», что накопилось. Саша был в тот день на даче, долго не отвечал на мой звонок, а, когда, наконец, взял трубку, на вопрос, не косит ли он случайно травку, ответил утвердительно и сказал, что единственно, где он себя чувствует в последнее время нормально (не физически, а душевно), это на даче, что не хочется выходить из этой летней инерции, не хочется в город, и он с тоской думает о начинающейся осенней жизни с ее служебными и прочими обязанностями. На мою реплику по поводу наших дел в комиссии «устала, надоело все» он сказал, что вот и ему тоже «все надоело» и он не знает, что с этим делать, не привык. И тут же «закрыл» тему, сказав, что об этом надо говорить не на бегу, а серьезно, и, когда я вернусь, мы в числе других вещей поговорим и об этом — как и почему «все надоело».

Мы успели тогда наметить темы разговора: о чеховской много-томной Летописи, какой она получается, и о том, что должна измениться исследовательская парадигма чеховедения, иначе оно погибнет, о необходимости заново откомментировать сочинения и особенно письма Чехова и о многом другом. Но на следующий день после моего возвращения из Питера случилась с ним эта страшная беда — и Саша попал в больницу. Потом мы улетели на конферен-

цию на Сахалин. А на следующий день после нашего возвращения Саши не стало.

Я много думала все эти годы, почему так велика оказалась моя личная боль от этой потери. Мы ведь не были с Сашей друзьями или приятелями в обычном житейском смысле. Зная друг друга с молодости, оставались на «вы». Как-то, правда, Саша предложил выпить на брудершафт, но я вспомнила стихи Окуджавы «Зачем мы перешли на “ты”», и Саша, подумав, согласился, что лучше оставить, как само сложилось. У нас был свой, шутивно-иронический стиль общения, он безошибочно регулировал отношения.

Саша в последние годы стал моим постоянным *собеседником*. Мы понимали друг друга с полуслова, иногда хватало интонации. Наверное, потому наши участвовавшие ночные телефонные разговоры были так насыщены. Очевидно, и для него они что-то значили. Иначе не звонил бы, не говорил часами. Темы наших разговоров постепенно расширялись, все чаще и дальше уходя от Чехова. Но как раз о Чехове после Саши разговаривать, как оказалось, по-настоящему стало не с кем. Почему-то у наших чеховедов не было и нет в этом потребности.

При создании в Чеховской комиссии в 1987 году в ней не оказалось двух человек — Н. И. Гитович, автора настольной тогда книги всех чеховедов мира «Летопись жизни и творчества Чехова», и А. П. Чудакова, автора перевернувшей чеховедение «Поэтики Чехова». Факт для будущих исследователей советского научного быта. В первый выпуск «Чеховианы» тогдашняя редколлегия не взяла статью Саши о Буренине. Было сказано — «нечего нам пропагандировать Буренина».

А в семьдесят седьмом номере НЛО британский профессор Д. Рейфилд, высоко оценивая «Поэтику Чехова» и ее значение для мировой русистики, назвал вторым импульсом, «взорвавшим тину тогдашнего чеховедения», статью Чудакова «Неприличные слова и облик классика». Вещи, вообще говоря, несопоставимые, да и о какой «тине» чеховедения в эти годы ведет профессор речь, если уже было издано ПССП, в котором, между прочим, Чудаков был одним из главных участников, и тогда же вышли следующие за «Поэтикой» книги, «Мир Чехова» в частности.

А к проблеме восстановления купюр в двенадцати томах Писем Чехова (их было сделано 63 на четыре с лишним тысяч напечатанных там писем) и к своей статье о «неприличных словах» Саша относился

не так однозначно, как потом это интерпретировали. Научным подвигом во всяком случае не считал. И уж никак не ожидал, что публикация им в статье некоторых купюр будет способствовать агрессивной потребности, охватившей многих, развенчать тот образ Чехова, который традиционно сложился в русской и мировой культуре и продержался много десятилетий. Мы несколько раз об этом с ним говорили. Тем более, что всю предысторию этой статьи я знала не понаслышке — помню, как Саша получил эти купюры от Н. И. Гитович, и как решался в ИМЛИ сам вопрос о них при издании ПССП (кое-что об этом пишет Э. А. Полоцкая в своих воспоминаниях о Саше, напечатанных в Чеховиане, посвященной его памяти), и как единственный раз была огорчена Сашиной статьей Нина Ильинична; она оставалась последовательным врагом любых купюр, считала, что все их надо восстановить, но печатать их просто списком, создавая ложное представление о концентрации этих слов, с ее точки зрения, не стоило.

Как-то за несколько месяцев до его смерти мы выходили вместе из ИМЛИ с заседания сектора. Саша был сумрачен, чем-то расстроен, и я впервые прямо задала ему вопрос — что с ним? Он сказал с какой-то детской интонацией обиды и растерянности: «Я думал, что меня все любят, а оказалось, что это не так». Я ответила, что не бывает так, чтобы кого-то любили *все*. А потом все думала, о чем это он? Он ведь не был столь наивен, чтобы считать, что его действительно любили «все». В родном ИМЛИ его дважды «прокатили» на Ученом совете при выдвижении в членкоры. Не палачи чеховедения, вроде Бердникова, на много лет сделавшего Сашу невыездным и запретившего упоминать его имя в «Вопросах литературы» и «Русской литературе»... А коллеги, товарищи по работе. Как это могло случиться? Кому, как не Чудакову, стать членкором, а потом и академиком? А вот прокатили. Чем-то он раздражал — не тем ли, что занимается чем-то непонятным? Вон роман написал. А зачем ему, доктору наук, роман? А план не выполняет. И часто уклоняется от коллективных трудов и общественной деятельности. Нет в нем подлинного имлийского патриотизма. Одна наша общая знакомая в ответ на мое возмущение тем, что Сашу Ученый совет не пропустил на выборы в членкоры, объясняла мне, что Саша работает не на институт, а «на сторону», и опять же план не выполняет, и еще что-то такое же мелочное и абсурдное. А я сказала на это, что одно то, что Саша является сотрудником института, украшает ИМЛИ и повышает его статус, никак не наоборот.

Но тогда, пожаловавшись, что его не все любят, он имел в виду что-то другое. Что-то в нем, как мне показалось, — какая-то опора внутри — дала трещину. Если есть усталость металла, то что же говорить о человеке. Иногда мне чудилось, что он сам в чем-то засомневался, как-то потерялся или растерялся.

Как-то я рассказала Саше, что Н. А. Роскина в пору нашей совместной работы в Литнаследстве заметила мне, что заниматься Чеховым всю жизнь невозможно. Пушкиным — можно, Толстым можно, а вот Чеховым — нельзя. Я не поверила ей тогда, но, спустя годы, почувствовала что-то похожее. И на годы ушла из чеховедения. О чем не жалею. Саша, когда я передала ему слова Роскиной, только обронил задумчиво: «Наташа была очень умная женщина». А вот в последний наш разговор он вспомнил об этом и спросил, что, как я думаю, Наташа имела в виду. Мне показалось, что в нем самом произошло перенасыщение Чеховым и чеховедением, что ему нужно или уйти в другое — он и ушел в Пушкина и пушкинистику, — или вернуться к самому началу — именно это он и собирался сделать, возвратившись к работе над библиографией прижизненной критики, которую считал своим главным делом, то есть к реальному контексту и историческому Чехову. Вернуться назад, чтобы получить новый импульс. Я думаю, что именно эта неуверенность в чем-то, что касалось Чехова, помешала ему переиздать свои книги. По просьбе директора библиотеки им. Чехова я как-то попросила у Саши по экземпляру «Поэтики Чехова» и «Мира Чехова» для библиотеки. В ней был очень неплохой чеховский фонд (я сама передала туда часть чеховской библиотеки Н. И. Гитович), но книг Чудакова не было. Саша клялся, что у него не осталось ни одного экземпляра, а на мой вопрос, почему он не переиздает книги, сказал, что хотел бы многое в них изменить, дописать или написать заново. «Ну, пока Вы соберетесь с этим, надо хотя бы просто переиздать их. Подросли новые исследователи, книг нет даже во многих университетских библиотеках и чеховских музеях, нет их и в городских библиотеках провинции». Он вроде бы согласился, но так этого и не сделал.

А с Чеховым, как мне иногда кажется, произошла странная вещь. Хотя о нем написаны горы, как мало о ком, о нем надо, по-моему, писать сегодня заново — заново выстраивая и интерпретируя контекст, творчество, биографию и личность. Возможно, Саша тоже это чувствовал, но для реализации этого нужны были гигантские душевные силы и жизнь впереди, чего он уже не ощущал в себе.

Очень давно одна моя приятельница, ныне покойная, читала мне свои стихи. Одна строчка тогда поразила своей психологической точностью: «И полон мир отсутствием твоим». Строка эта стала буквально преследовать меня спустя, наверное, месяц после смерти Саши — после 3 октября 2005 года мир для нас надолго оказался полон его отсутствием.

2006, 2012

Евгений Попов

ЧТОБ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Помню первый «перестроечный» вечер в Доме Архитектора, посвященный все еще тогда запрещенному, лишенному советского гражданства «отщепенцу» Василию Аксенову.

Помню, что устроителя этого вечера, культуртрегера — энтузиаста Сашу Майорова на следующий же день вытащили в КГБ, где, как он с наслаждением потом рассказывал, состоялся краткий бредовый чекистский разговор следующего содержания: «Ты чего?» — «А ничего». — «Кто разрешил?» «Никто. Перестройка. Новые времена». — «Ну, иди отсюда и больше не светись!» — «Иду. Не свечусь».

Помню, что было это — о, ужас! — теперь уже почти четверть века назад, а кажется, что вчера.

«Я гляжу на фотокарточку»: вот киношник Володя по прозвищу «стальная птица», вот Булат Шалвович Окуджава собственной великой персоной, поэт Генрих Сапгир, драматург Виктор Славкин, и, конечно же, Александр Чудаков, которого я скорей всего увидел тогда впервые в жизни. Был он для меня в те времена представителем каких-то далеких от моей тогдашней экзистенции «академических кругов». Господин серьезный, осанистый, крупный, в хорошем костюме, роговых очках. *Профессор*, одним словом!

Заробел я и насторожился. Но он был столь прост и естественен, столь открыт и безыскусен, что комплексуха моя мгновенно растворилась в лучах сценических софитов, особенно после того, как он точно, ясно и *любовно* заговорил о прозе моего старшего товарища Василия, о мятежной, романтической личности его.

Я не был близким другом семейства Чудаковых. Мы встречались время от времени. Он нарисовал мне план, как вырुлить с Волоколамского шоссе в сторону деревни Алехново, где у них с Мариэттой Омаровной была деревянная дача, построенная, как я потом узнал, его собственными руками, которые не только перо умели держать или тюкать по клавишам пишущей машинки, но и с топором, пилой, стамеской были в полном согласии.

Он говорил мне, что большую часть времени проводит там, на даче. Я иногда приезжал к нему. Мобильников тогда не было, и я как-то явился туда нежданно-негаданно с приношениями — собственными книжками, которые наконец-то стали печатать на родине вместо того, чтобы, как это длилось годами, хаять меня за «идейно-ущербное, близкое к клеветническому сгущенное изображение отдельных теневых сторон социалистической действительности». Хозяев не было дома. Я положил книжки у порога и долго разглядывал диковинное, узкое трехэтажное здание в глубине ухоженного участка, оказавшееся впоследствии библиотекой профессора. Здание, которое тоже было выстроено им, умельцем, который, как я узнал значительно позже, умел делать *всё*: запрягать, пахать, сеять, выращивать, из золы и жира мыло варить, печки класть, валенки подшивать, землю копать лучше всякого беломорканальского сидельца.

... О чем и прочитал потом в его великой книге «Ложится мгла на старые ступени», которая вдруг дивным образом разрушила в начале нынешнего века своим появлением всё «скромное обаяние» постмодернизма. Явив городу и миру светлые лики новых робинзонов поневоле, здравомыслящих русских людей, что не стали дожидаться, когда их повезет конвой по матушке — России, а сами скрылись с державных глаз на периферию коммунистического зрения, в крохотный североказахстанский городок Щучинск-Чабачинск. И тем самым победили, выиграли, выжили в конце-то концов. А добывая хлеб насущный в поте лица своего и обеспечивая себя всем самым необходимым, были, пожалуй, иногда и более счастливы, чем многие душевно опустошенные люди нашей нынешней одноразовой цивилизации. Нет, не «филологический» это роман, не проба пера теоретика литературы, а сама литература, сама жизнь, сама память о *соли земли*, что растворилась и растворяется в неведомом веществе пространства и времени.

Ну и еще сладкое воспоминание. Начало февраля 2003-го года. Чудакову — 65, и мы пируем в его честь все на той же, но заснеженной

даче. Андрей Немзер, супруги Чудаковы и вернувшийся из эмиграции Георгий Владимов, которому жить осталось всего-ничего.

И совершенно я не помню, о чем мы тогда толковали в застолье. Да это и не суть важно. Помню только атмосферу доброты, которая инициировалась этим большим, сильным человеком с натруженными, мозолистыми, *крестьянскими* ладонями. И как провожает он нас, выйдя на крыльцо, в своей красной фланелевой ковбойке, и как замело всю дорогу под мутным лунным сияньем так, что и Волоколамское шоссе потеряло свои четкие очертания, мгновенно превратившись в снежное, метельное русское пространство.

Вот это, это запоминается.

Вот это обеспечивает ту самую «связь времен», утраченную многими нынешними моими современниками, весьма часто толкующими *о чем-то не о том*. Не о том, что волновало Чехова, творчеству которого Чудаков посвятил изрядную часть своей жизни. Или о том, что заботило великих собеседников Александра Павловича — Виноградова, Бонди, Шкловского, с которыми Чудаков встречался и разговаривал на протяжении многих лет, записывая по свежим следам эти бесценные разговоры.

И уж не на него ли глядя, я внезапно вдруг понял, что, пожалуй, не только в коммунистах дело, которые в семнадцатом году вдруг взяли да захапали огромную прекрасную страну, которой жить бы да жить, как все люди в мире живут, — размножаясь, богатая, изживая дикость, злобу, страх, невежество? И о том еще я думаю, вспоминая Александра Павловича Чудакова, что сволочи приходят и уходят, а Россия, законным и хорошим сыном которой он был, остается навсегда.

9 января 2013, Москва

Мария Чудакова

МОЙ ПАПА АЛЕКСАНДР ЧУДАКОВ

Я пойду на речку Истру,
По теплу ее скучая,
Наберу воды канистру,
Вскипячу ее для чая,
Над кипящим самоваром,
Над теплом его и паром
Никогда не буду старым,
Никогда не буду старым...

А. Городницкий

Когда я в 2008-м начала думать, о чем бы мне хотелось рассказать на вечере в ИМЛИ, посвященном 70-летию Александра Павловича, я начала понимать, что пора, наверно, писать воспоминания, хотя я и не вела дневников. Рассказывать надо *всё*, начиная примерно с моих лет пяти, так как времени мы проводили вместе очень много — я была «папиной дочкой», он всюду, сколько мог, таскал меня с собой (и на себе).

Наш с ним спортивный досуг был достаточно экстремальным — мы не просто гуляли в Серебряном бору: папа погружался в прорубь (вместе с другими «моржами»), а я наблюдала. Еще катались часто на лыжах — почему-то всегда в морозы.

Плавать учились так: Гагры, мне 9 лет. Мы приходили на бетонный пирс, и с него папа бросал меня в воду. (Я практически не умела плавать, но его это не смущало.) Мама доверяла меня папе, знала, что он меня не утопит, но на пляж с нами не ходила («не могу смотреть, как вы далеко заплываете»).

Вспоминаются постоянно копошащиеся дома под ногами щенята и котята. Котята регулярно рождались у сибирской пушистой кошки Фени (папа и мама сами принимали несколько раз роды), прожившей с нами 17 лет, щенята же поступали с определенной периодичностью — их приносила я или папа или мы вместе с каких-то помоек, завшивевших, отмывали дустовым мылом и потом кому-то находили новых хозяев, а кто-то оставался надолго — например, черная, как вороново крыло, дворянка Жучка.

Жучка была необычайно любвеобильной, регулярно «сбегала со двора» и часто беременела (это называлось «снова-готово»).

Один раз родилось *восемь* щенят, и эти мульташного вида комочки черной плотной стайкой долго (до трех месяцев — только тогда начинали потихоньку пристраивать в хорошие руки) носились взад и вперед по нашему длинному коридору с книжными стеллажами.

Я часто думаю: как мама все это выдерживала?

Александр Павлович самым важным делом в воспитании детей считал личный пример. В моем детстве были: совместное плавание, велосипед, катание на лыжах и чтение вслух — как можно раньше.

Раньше — это лет с трех. Очень рано в простой и доступной форме папа объяснил мне разницу между стихотворными размерами. Это очень помогло мне во всех классах школы. Также он рано научил меня сочинять в рифму, что часто помогало на разных вечеринках в компаниях.

По любимой привычке воспитывать личным примером папа часто сочинял так называемые *оды*. Сочинял он их и на мои дни рождения, не ежегодно, но к важным датам — на 12-летие, на 18-летие... Моими любимыми строками были такие:

Много лет уж нашей Мане,
Ее баба моет в бане,
Потому что Казахстан
Не представил Мане ванн.

(В Северный Казахстан я в детстве уезжала летом к деду и бабе; потом они переехали в Москву.)

Оды на юбилей родственников Александр Павлович сочинял всегда в метро, когда мы с ним ехали в гости. Заранее сочинять не любил («нет смысла»), но всегда заранее собирал минимальную информацию о виновнике торжества. Ода была, как правило, длинная, склеенная из отдельных листов. То есть сначала он быстро, почти сразу набело, писал, потом все листы склеивал, и получался свиток. Скотч в те времена (70-годы) не всегда продавался, так что с собой в метро брали простой клей.

Чтение всегда сопровождалось громом аплодисментов, и оригинал оставлялся адресату (так что многие оды так и остались в единственном экземпляре).

Папа объяснил мне, что научиться сочинять оды легко, только надо запомнить несколько простых правил: тщательно выбрать

размер (то есть сочинить первую строчку), знать основные факты жизни героя, а также стараться придумывать небанальные рифмы. Тогда всем интересно слушать.

А где же взять небанальные рифмы? Считалось, что читая с детства стихи, приобретаешь не только общую культуру, но и привычку мыслить стихотворно.

Еще считалось, что стихи лучше всего учить с ребятенком наизусть — чем больше, тем лучше. И был очень грустный для детской души Есенин — *Утром в ржаном закуте... Семерых оценила сука, Рыжих семерых щенят... Семерых всех поклат в мешок...* (рыдала, но читала и учила наизусть) — и, конечно, Пушкин, и Хлебников...

Когда я в 6 лет готовилась идти на собеседование для поступления во французскую школу, то заявила, что буду читать моего любимого Хлебникова — *...А, так сказать, лягушечка...*

Родители переглянулись. (Было, напомним, густо-советское время.) Папа осторожно сказал, что, может быть, не стоит...

— Почему?!

— Ну...Они, может быть, не поймут...

— Как не поймут?! Ведь это же школа!!!

Еще из домашних сентенций (может, они и не произносились, но были мне как-то известны): чем больше дитя слышит хорошей русской речи, тем дальше оно отходит от массовой культуры и не впитывает жлобскую, грубошерстную, невыразительную советскую речь. По этой же причине в доме не было телевизора, но это еще и для того, чтобы голова не замусоривалась советчиной, которая тогда постоянно звучала из телевизора. Родители купили его только в 1987-м году, когда советчина пошла к своему концу. А я к тому времени уже переехала в свою семейную жизнь, так что дома телевизора посмотреть так и не удалось!!!

По вечерам же пытались слушать (сквозь грохот глушилок) уже другое радио — «Голос Америки», но папа больше любил «Немецкую волну» — потому что хорошо знал немецкий язык и литературу, да и европейская интерпретация событий ему больше нравилась.

Очень часто мы с ним вместе слушали обыкновенное радио из радиоточки, по воскресеньям с утра передавали великолепную «Радио-няню» и радиоспектакли, причем Александр Павлович знал не только содержание всех пьес, и детских и взрослых, но и тексты всех песен, которые там пелись, а также имена композиторов, авторов слов и имена исполнителей.

Он любил слушать хор мальчиков, исполнявший чистыми детскими голосами пионерские песни (где он и они теперь?). Потом он все эти песни сам же и пел, так что скучать было некогда.

Кстати, он изобрел — не только известный итальянский писатель д'Аннунцио, но мой папа тоже — разные новые слова: типа — громкий *мяв* (о кошке Фене). В доме была спецтетрадка общественная на кухне, куда каждый мог написать что-нибудь новоизобретенное смешное. *кормовуха* (конверт с деньгами на хозяйство), *псица* и наконец, привившаяся в нашей семье *вкусняпа*, которую я пронесла в жизнь даже в свой офис и заставила всех сотрудников употреблять.

Как уже сказано, воспитывал папа в основном личным примером (марафонский бег по 21 км от Коктебеля до Феодосии — то есть половина марафонской дистанции, которая, как я с детства от него знала, 42 км 195 метров), или рассказами о необыкновенных людях — например, о героическом спартанском мальчике, *которому лисенок съел внутренности*. Правда, уже не помню, зачем.

Тогда же родилась фраза: «Откуда ты берешь информацию, что ты устала?» Я так и не смогла в течение многих лет ответить на этот вопрос.

Главной книгой детства была необыкновенно пронзительная книга «Мученики науки» (впоследствии бесследно исчезла) — дореволюционный сборник биографий ученых, в основном физиков и химиков, которые, ставя на себе эксперименты, платили порой собственной жизнью за прогресс в науке.

Воспитательное значение имела и проходившая на моих глазах многолетняя борьба моих родителей с цензурой. Борьба эта основывалась на том, что в своих работах Александр Павлович хотел печатать то, что считал нужным он, а не разное — институтское и другое — начальство. Он, безусловно, понимал новаторство своих идей и то, что они останутся в науке, и для него была еще и поэтому важна каждая строка.

Когда шла работа над сборником Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино» (среди коллег родителей закрепилась потом аббревиатура ПИЛК), мне было 12—13 лет, и я не до конца понимала изнурительность каждодневной борьбы за эту книгу — главным образом за комментарий, который составлял 17 печатных листов. В скобках отмечу, что на мне лежало в основном хозяйственно-бытовое обеспечение авторского коллектива (Чудаков, Чудакова, Женя Тоддес, мой, как я называла его, апи), что занимало довольно много

времени и было довольно нудно (очереди, поиски продуктов и пр). И значение этих лет в жизни нашей семьи я, конечно, поняла гораздо позже.

Одной из любимых книг моего детства был роман «Евгений Онегин», который А. П. знал *целиком наизусть*; у него было несколько любимых поэм, вторая была «Конек-Горбунок», и еще — «Кому на Руси жить хорошо».

...К очень ранним воспоминаниям относится запах стружки. Переезд моих очень юных тогда родителей в их первую кооперативную квартиру (аспиранты, они заняли деньги на два с лишним года у сорока или пятидесяти знакомых) сопровождался практически полным ее оборудованием собственными папиными руками. Были сконструированы и построены стеллажи для книг, откидной стол в кабинете, кровать для меня. Еще многие годы папа совмещал столярные работы с научными... Такого гармоничного сочетания (свойственного, как мне ошибочно казалось, всем мужчинам) я больше ни в ком не встречала.

Может показаться, что все это — частная внутрисемейная жизнь. Но у Александра Павловича и в самом деле непостижимо сочеталась поэтика собственной «природной» жизни и поэтика как предмет изучения.

Я всегда считала, что *понятия*, разработанные А. П., термины, им изобретенные, навсегда вошли в научный обиход. *Вещный мир, случайность, поэтика Чехова, предметный мир литературы* — все эти слова и словосочетания уже около 30 лет используются в научном обиходе.

И так же, как слова *сила тока, масса вещества*, — их никому не удастся отменить.

А. П., создавая свою научную школу, в глубине души надеялся, что его младшие коллеги и ученики не позволят его открытиям раствориться в новую эпоху *в новой эклектике*, раз уж он всю жизнь положил на борьбу за новый подход к литературоведческой науке.

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ЧУДАКОВ
Сборник памяти

Корректор Л. Голунова
Оригинал-макет и художественное
оформление переплета И. Богатыревой

Подписано в печать 15.08.2013. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Minion Pro.
Усл. печ. л. 27. Тираж 1000. Заказ № м216 (л-кн).

Отпечатано в филиале «Смоленский полиграфический комбинат»
ОАО «Издательство «Высшая школа»
214020, Смоленск, ул. Смольянинова, 1
Тел.: +7 (4812) 31-11-96. Факс: +7 (4812) 31-31-70
E-mail: spk@smolpk.ru <http://www.smolpk.ru>

Издательство «Языки славянской культуры».
Издательство «Знак»
№ государственной регистрации 1027701010435.
Phone: 8-495-959-52-60. E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru> <http://www.lrc-lib.ru>

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
117342, Москва, ул. Бутлерова, 17Б, офис 313.
Тел.: (499) 793-57-01, e-mail: gnoxis@pochta.ru
Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).

В издательстве вышли следующие книги:

ПОЭТИКА И ПОЭЗИЯ

- Гаспаров М. Л.* Избранные труды. Том IV: Лингвистика стиха. Анализы и интерпретации. 2012.
- Жуковский В. А.* Полное собрание сочинений и писем: В двадцати томах / Ред. коллегия: И. А. Айзикова, Э. М. Жиялкова, А. С. Янушкевич (гл. редактор) и др. Т. 9: Дон Кишот Ламанхский. Сочинение Серванта. Переведено с Флорианова французского перевода В. Жуковским / Ред. И. А. Айзикова. 2012.
- Игошева Т. В.* Ранняя лирика А. А. Блока (1898—1904): поэтика религиозного символизма. 2013. (Studia Philologica).
- Козлов В. И.* Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. 2013.
- Пискунова С. И.* От Пушкина до «Пушкинского Дома»: очерки исторической поэтики русского романа. 2013. (Studia philologica).

ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

- Вопросы культуры речи. Вып. 11 / Отв. ред. А. Д. Шмелев. 2012.
- Дементьев В. В.* Коммуникативные ценности русской культуры: категория персональности в лексике и прагматике. 2013. (Studia philologica).
- Джаксон Т. Н., Коновалова И. Г., Подосинов А. В.* Imagines mundi: античность и средневековье. 2013. (Studia historica. Series minor).
- Кириллин В. М.* О книжности, литературе, образе жизни Древней Руси. 2013. (Studia philologica).
- Ларина Т. В.* Англичане и русские: Язык, культура, коммуникация. 2012.
- Михайлов А. Д.* Поэтика Пруста / Изд. подгот. Т. М. Николаевой. 2012.
- Михайлова Т. А.* Ирландия от викингов до норманнов: Язык, культура, история. 2012.

- Тюрина Г. А. Из истории изучения греческих рукописей в Европе в XVIII — начале XIX в.: Христиан Фридрих Маттеи (1744—1811) / Отв. редактор Б. Л. Фонкич. 2012. (Монфокоп. Вып. 2).
- Ратмайр Р. Русская речь и рынок: Традиции и инновации в деловом и повседневном общении. 2013. (Studia philologica).
- Сендерович С. Я. Фигура сокрытия: Избранные работы. Т. 2: О прозе и драме. 2012
- Славянский стих. Т. IX.: Лингвистика и структура стиха / Под ред. А. В. Прохорова, Т. В. Скулачевой. 2012. (Studia poetica).
- Степанян К. А. Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени. 2013. (Studia philologica).
- Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий
- Латухинская степенная книга. 1676 год / Изд. подгот. Н. Н. Покровский, А. В. Сиренов; отв. ред. Н. Н. Покровский. 2012.
- Оксфордское руководство по философской теологии / Сост. Томас П. Флинт, Майкл К. Рей; ред. М. О. Кедрова. Ин-т философии РАН. 2013.

ISBN 978-5-9551-0664-9



9 785955 106649 >